This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

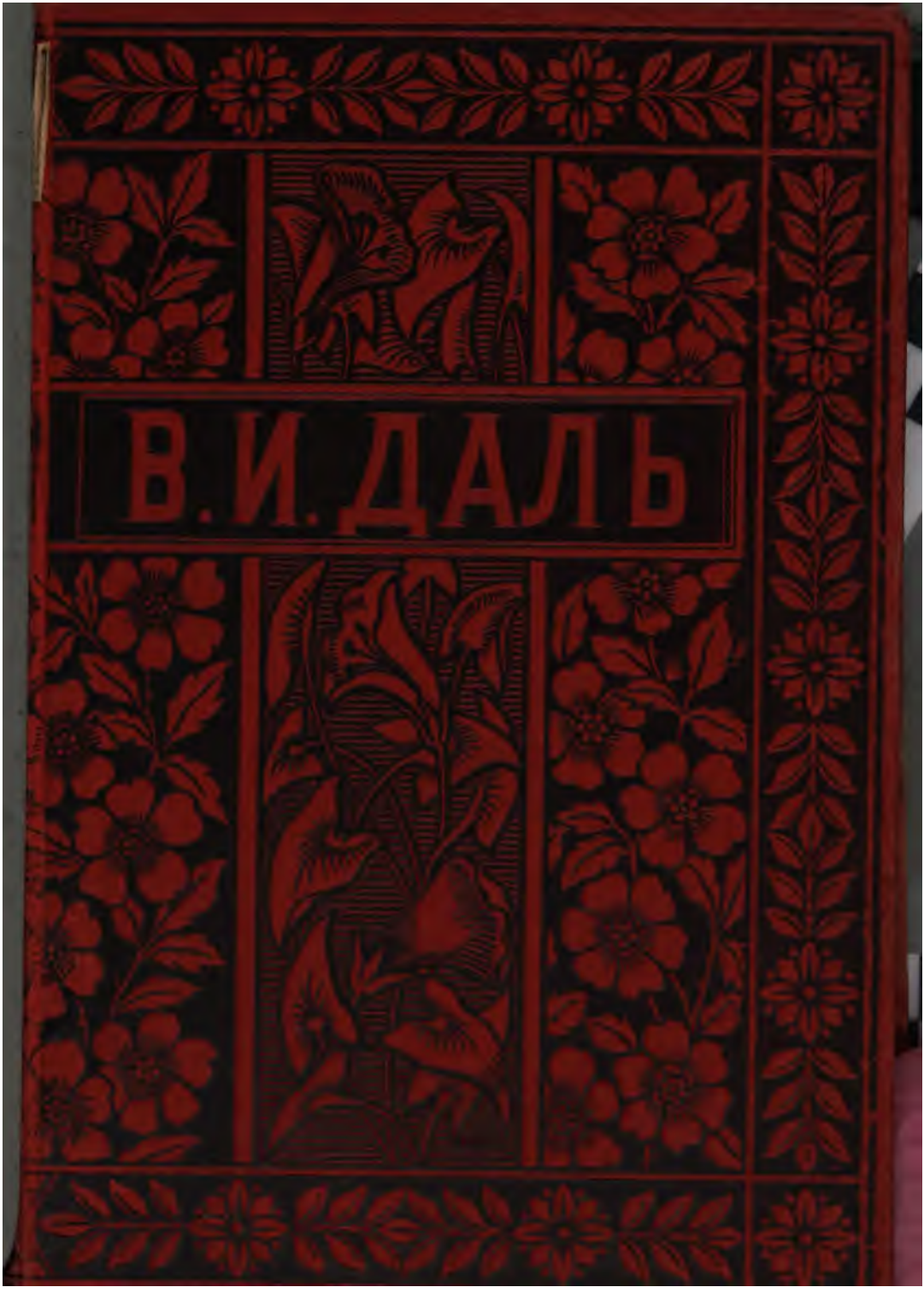
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

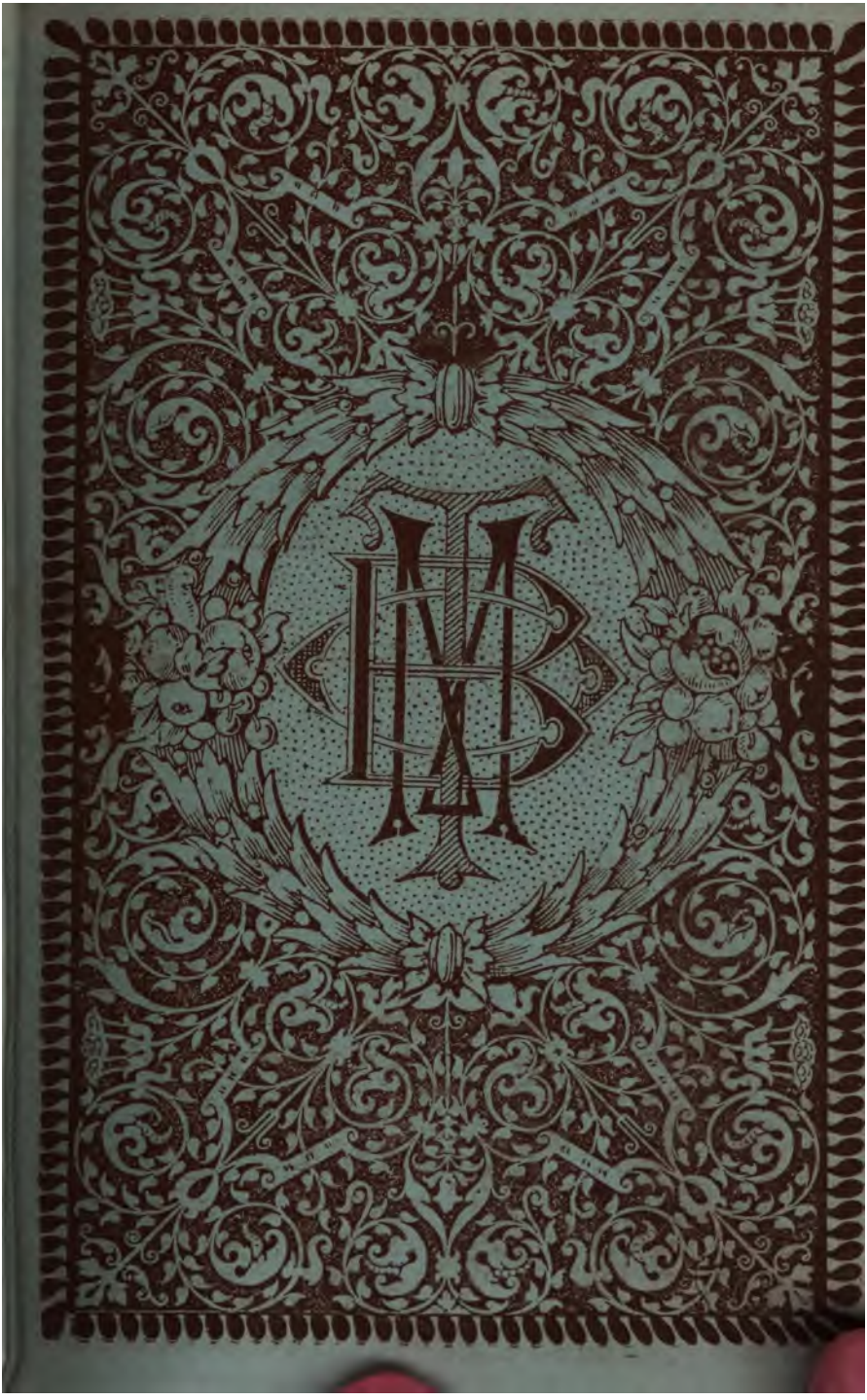

В.И.ДАЛЬ

A45216

STANFORD UNIVERSITY LIBRARY

ИЗЪ БИБЛІОТЕКИ.

№167



Л 14 - VII
121

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

ВЛАДИМІРА ДАЛЯ

(КАЗАКА ЛУГАНСКАГО)

ТОМЪ СЕДЬМОЙ

Дал, В. И.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
ВЛАДИМІРА ДАЛЯ
(КАЗАКА ЛУГАНСКАГО)

Первое посмертное полное изданіе, дополненное, свѣренное и вновь просмотрѣнное по рукописямъ

ТОМЪ СЕДЬМОЙ

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ

ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Гостиный дворъ, № 18

МОСКВА
Кузнецкій мостъ, № 12

1898

291.73
D131
K 7

Типографія Товарищества М. О. Вольфъ. Спб., Вас. Остр., 16 л., д. № 5—7.

Дозволено цензурою 30-го марта 1898 г. Редакторъ-издатель А. М. Вольфъ.

I

ЧЕРВОНО-РУССКІЯ ПРЕДАНІЯ

Отчего на Великой Руси такъ мало историческихъ преданій? Немногіе памятники древности, которые тутъ и тамъ встрѣчаются, развалины, пещеры, курганы, городища, остатки загадочныхъ укрѣпленій, рѣдко напоминаютъ русскому крестьянину историческій бытъ Россіи: либо никто и ничего не знаетъ объ этихъ памятникахъ, либо скажутъ вамъ наобумъ, въ самыхъ общихъ словахъ, что тутъ воевали татары, литва, ляхи или даже какой-нибудь разбойникъ новѣйшихъ временъ, въ которомъ не было ничего замѣчательнаго, хотя онъ со всею вольницею своею и обратился уже, черезъ пятьдесятъ лѣтъ послѣ казни своей, въ какое-то богатырское, сказочное преданіе. То же самое находимъ мы въ пѣсняхъ великорусскихъ: въ нихъ до того господствуетъ лирическое направленіе, что между тысячами ихъ довольно трудно найти хотя одну эпическую, съ какимъ-либо историческимъ преданіемъ. На самомъ сѣверѣ Россіи сохранилось нѣсколько болѣе подобныхъ памятниковъ: видно, новгородцы, населившіе Заволочье и Поморье, вынесли съ собою тогда нѣсколько болѣе наклонности къ бытовымъ воспоми-

наніямъ; все племя это вообще и понынѣ отличается говоромъ своимъ отъ всѣхъ прочихъ жителей Великой Руси и приближается, частію по произношенію, частію по сохранившимся издревле выраженіямъ, къ южной Руси.

Что касается до сей послѣдней, то она, по направленію и духу воспоминаній своихъ, въ пѣсняхъ, сказкахъ и преданіяхъ, братски примыкаетъ къ сосѣднимъ южно-славянскимъ племенамъ; не было, конечно, въ томъ краѣ ни одного историческаго событія, которое бы не оставило по себѣ памятникомъ пѣсни или сказки въ устахъ слѣпого бандуриста.

На рѣкѣ Сбручѣ, пограничной между Россіею и Австріей, на чрезвычайно крутомъ и довольно высокомъ берегу, стоитъ село Чернокозинцы, гдѣ видны понынѣ остатки каменнаго укрѣпленія: направо отъ развалинъ этихъ, вверхъ по рѣкѣ, находится замѣчательный самородный мостъ, длиною въ пять, а шириною до четырехъ саженъ. По первому взгляду кажется весьма вѣроятнымъ, что укрѣпленіе охраняло и обезпечивало переправу, особенно если предположить, что рѣчка Сбручъ, какъ и увѣряютъ мѣстные жители, теперь обмелѣла, но нѣкогда вздымалась гораздо выше. Мѣстное преданіе говоритъ, что это остатки замка князя Куріатовича. Онъ жилъ тутъ съ сестрою своею, дѣвицею. Во время татарскаго набѣга, когда замокъ захваченъ былъ врасплохъ, князь принужденъ былъ бѣжать подземными ходами и скрыться въ ущельяхъ Сбруча. О дальнѣйшей участи его ничего болѣе неизвѣстно; но одинъ старикъ, изъ мѣстныхъ жителей, полагалъ, что онъ ушелъ въ Польшу. Сестра князя Куріятовича, страшась татаръ, бѣжала черезъ описанный нами самородный мостъ за Сбручъ, въ Галицію, унесла съ собою значительное богатство, построила невдалекѣ, въ глухомъ лѣсу, каменную церковь съ

келіею, гдѣ до конца дней своихъ молилась о пропавшемъ безъ вѣсти братѣ. Говорятъ, что тамошніе поселяне указываютъ понынѣ остатки этой церкви.

На томъ же Сбручѣ, на крутомъ каменистомъ берегу, есть селеніе Голенищево, съ ясными остатками небольшого каменнаго укрѣпленія, среди коего находится чистый и холодный родникъ, снабженный богатою жилою воды. Крестьяне мѣсто это называютъ *Забыткомъ*, но помнятъ и понынѣ преданіе, въ которомъ частица истины смѣшана со странною сказкою: «Въ глубокой древности стоялъ здѣсь замокъ, доставшійся по наслѣдству одинокой и сирой княжнѣ, произнесшей обѣтъ дѣвства. О ту же пору властвовалъ по сосѣдству какой-то сильный и страшный владѣтель, бывшій, сверхъ того, еще чародѣемъ: никто и даже ничто не переносило его взгляда; онъ побѣждалъ и разрушалъ глазами все, на что бы ни обращалъ взоръ; но зато благая природа и взяла нѣкоторыя предосторожности: вѣки у чародѣя этого всегда были сомкнуты, за что онъ и получилъ прозваніе *сонливаго Баняка;* онъ даже не могъ самъ открыть глазъ, а для этого нужны были два помощника, которые, ставъ осторожно за плечи его, чтобы не встрѣтить страшнаго, губительнаго взора, осторожно подпирали вѣки сонливаго Баняка золотыми вилочками.

Банякъ-сонливый былъ человѣкъ самовластный, самовольный и свирѣпый: все должно было ему покорствовать; малѣйшее противорѣчіе возбуждало въ немъ неукротимый гнѣвъ и месть, а страшная чародѣйская сила, которою онъ владѣлъ, наводила ужасъ на всѣхъ,— и вся страна безусловно ему покорялась. Услышавъ о молодой, прекрасной княжнѣ въ Голенищевѣ, онъ тотчасъ же вспыхнулъ: одной молвы о дѣвственномъ обѣтѣ ея было уже достаточно для возбужденія въ своевольномъ Банякѣ неодолимаго хотѣнія подчинить

княжну своей власти, заставить ее нарушить обѣтъ свой и выйти за него замужъ. Самый обѣтъ казался ему личнымъ для него оскорбленіемъ, какъ нарушеніе безусловной его власти.

Банякъ-сонливый послалъ къ княжнѣ посольство, приказавъ въ довольно гордой, высокомѣрной рѣчи требовать руки княжны. Она отказала. Онъ послалъ на замокъ ратныхъ людей; но они ничего не могли сдѣлать, потому что замокъ снабженъ былъ съѣстными припасами въ изобилiи и, сверхъ того, ключевою водой. Нетерпѣливый, своевольный Банякъ не сталъ выжидать конца этой продолжительной осады: онъ поднялся съ наперсниками своими, прибылъ въ станъ подъ Голенищево, приказалъ себя поставить на такомъ мѣстѣ, откуда видѣнъ былъ весь замокъ, и два человѣка изъ ближнихъ его, доставъ роковыя золотыя вилочки, приподняли ими обвислыя вѣки Баняка до самыхъ бровей: одного этого взгляда на замокъ княжны было достаточно для конечнаго его разрушенія; стѣны рухнули, дружина Баняка побила не только дружину княжны, но даже и всѣхъ жителей городка *Дивича*, стоявшаго подъ замкомъ княжны, на берегу рѣки. Опустошеніе было таково, что ни замка, ни городка съ той поры не стало; но зато, въ темныя, дождливыя, осеннія ночи, тѣни побитыхъ жертвъ и понынѣ еще скитаются по долинѣ, на которой стоялъ городъ, и долина эта понынѣ именуется Дивичъ; надъ городищемъ по воздуху проносятся тѣни бывшаго замка и въ толпѣ ихъ свѣтлый, лучезарный образъ самой княжны. Она спускается въ долины и утѣшаетъ сѣтующія тѣни. Тогда слышатся вокругъ: топотъ конскій, звуки неизвѣстныхъ нынѣ роговъ, клики и вопли и какія-то военныя пѣсни съ припѣвомъ: *идемъ на Дивичъ*.

Долина Дивичъ разстилается по обѣ стороны Сбруча, и русской и австрійской сторонѣ; мѣстами

скалиста и лѣсиста и на запздъ упирается въ отроги Карпатовъ.

По близости мѣстечка Черче, въ лѣсу, находится какое-то городище, мѣсто, обнесенное земляными раскатами: его называютъ просто монастыремъ, увѣряя, что въ древности стоялъ здѣсь православный монастырь и что самое названіе Черче происходитъ отъ слова чернецъ, черницы.

Въ былое время, когда всякій засыпалъ подъ страхомъ татарскаго ночного набѣга и просыпался съ молитвою и вопросомъ, не слышно ли чего о татарахъ, жители Черче узнали отъ бѣжавшаго крестьянина, что татары ползутъ на нихъ чешуйчатой змѣей вверхъ по Днѣстру. Жители разбѣжались, спасая кто что могъ, искали убѣжища въ лѣсахъ и въ пещерахъ, донынѣ еще видныхъ въ крутобереговомъ, каменистомъ ложѣ рѣки Смотрича, который обтекаетъ кольцомъ Каменецъ-Подольскій. Но одна изъ жительницъ Черче, молодая, недавно вышедшая замужъ женщина, не могла поспѣть за скрывшеюся толпою и, увидѣвъ, что татары уже разсыпались по улицамъ, едва только успѣла скрыться въ вѣжу, т. е. башню или колокольню, которая стоитъ и понынѣ. Тамъ, подъ самой кровлей колокольни, молодица увидала цѣлую груду разной утвари и домашняго скарба, спрятаннаго жителями отъ хищныхъ татаръ, и въ числѣ этихъ вещей было нѣсколько пищалей. Увидавъ въ то же время приближающійся поѣздъ, въ которомъ, какъ она догадывалась, долженъ былъ находиться главный вождь татарской дружины, и лишена будучи всякой надежды на спасеніе, она схватила въ отчаяніи одно изъ ружей и, намѣреваясь отмстить за гибель столькихъ земляковъ своихъ и за себя, прицѣлилась сверху черезъ перила колокольни въ татарскаго вождя, ѣхавшаго напереди и одѣтаго въ самое богатое платье: выстрѣлъ раз-

дался, и мурза татарскій, пораженный пулею на смерть, упалъ съ лошади.

Оглядываясь кругомъ убитаго и не видя нигдѣ ни одной живой души, ни даже слѣда дыма, который въ первую минуту при общей тревогѣ никѣмъ не былъ замѣченъ, татары подхватили убитаго предводителя своего, ударили въ рога отбой и поспѣшно отъ города отступили. Простоявъ въ полѣ не болѣе того, сколько нужно было для отданія вождю своему послѣдней послѣдней почести, дикіе нашельцы, пораженные какимъ-то суевѣрнымъ страхомъ, поспѣшили уйти назадъ и разсыпаться по необозримымъ степямъ своимъ; жители Черче вскорѣ возвратились и, къ неизъяснимому изумленію своему и радости, нашли въ цѣлости всѣ вещи, имущество, дома и даже забытыхъ въ хижинахъ дѣтей.

Имя молодицы, которой приписываютъ геройскій подвигъ этотъ, забыто; но она благополучно возвратилась подъ кровъ домашній и своевременно родила тройней, трехъ сыновей, которые получили прозваніе *Троянъ*. Потомки Троянъ этихъ ведутся понынѣ; они крестьяне и сохраняютъ прозваніе Троянъ, вмѣстѣ съ описаннымъ нами повѣрьемъ.

II

ДВѢ БЫЛИНЫ

Память нашего народа коротка — въ этомъ упрекаютъ его не безъ основанія: рѣдко и мало можно услышать у него историческихъ преданій, особенно преданій древнихъ. Но есть небольшое число замѣчательныхъ лицъ минувшихъ вѣковъ, лицъ, обратившихся въ баснословныя видѣнія и живущихъ въ памяти народной въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ: сюда принадлежатъ, изъ самыхъ древнихъ, Владиміръ князь, а затѣмъ и Грозный-царь. Чѣмъ рѣже сказочныя преданія эти попадаются въ народѣ, тѣмъ бо́льшаго они заслуживаютъ вниманія, тѣмъ болѣе должны мы стараться объ отысканіи и сохраненіи ихъ. Вотъ двѣ былины такого рода: одна о временахъ Владиміра, записана съ крестьянскаго разсказа въ Тамбовской губерніи; другая — о царѣ Иванѣ Васильевичѣ, Архангельской губерніи.

Во время князя, красна-солнышка Владиміра, появился около Кіева страшный змѣй и бралъ онъ съ народа поборы немалые: съ каждаго двора по красной дѣвкѣ, съ дыму по ягодкѣ; а какъ возьметъ дѣвку съ череднаго двора, такъ и съѣстъ ее — и поминъ простылъ. Въ такую бѣдовую годину горе всѣхъ уравняло: что жилецъ, что стрѣлецъ, что гость, что бояринъ, что посадникъ, что самъ царь-великій князь — все одно: никому не миновать, что змѣю-людоѣду покориться, красной дочерью поклониться: на кого жеребій покажетъ, съ того и поборъ.

Вотъ и пришелъ чередъ идти къ тому змѣю поганому на съѣденіе, самой царской дочери — и пошла. Схватилъ змѣй царевну и потащилъ къ себѣ въ берлогу. Взвылъ народъ голосомъ: то каждый плакалъ по своей, а тутъ всѣмъ міромъ воздохнули по царевнѣ. Всѣ думаютъ: пропала дочь нашего краснаго солнышка — теперь ужь нѣтъ ея на свѣтѣ: змѣй съѣлъ; но змѣй не сталъ ея ѣсть: красавица собой была, какой на свѣтѣ нѣтъ другой, такъ приберегъ да за жену себѣ взялъ, такъ и живетъ.

Полетитъ онъ, змѣй поганый, на свои людоѣдные промыслы, а царевну завалитъ въ берлогѣ бревнами, чтобъ безъ него куда не ушла. А у той царевны маленькая собачка была; увязалась за нею изъ дому царскаго да съ нею въ берлогѣ и живетъ. Вотъ и напишетъ, бывало, царевна грамотку батюшкѣ любезному съ матушкой, навяжетъ собачкѣ этой на шею и махнетъ, заплакавъ, рукой, а та побѣжитъ да прямо въ теремъ царскій, у воротъ поскребетъ, залаетъ, стражники тотчасъ ворота отпираютъ, собачку принимаютъ, ведутъ на пресвѣтлыя очи княжескія и царскія: царь и царица прочитаютъ, помолятся, что дочь, еще жива у нихъ, поплачутъ, что сгубилась за чудищемъ, змѣемъ-людоѣдомъ, отвѣтную грамотку собачкѣ на шею по-

вѣсятъ, та и бѣжитъ прямо въ берлогу змѣиную, да тайкомъ отъ поганаго чудища къ царевнѣ своей, тишкомъ да молчкомъ, проползетъ, а та и отвяжетъ опять грамотку и вѣсточку разберетъ и сердце и душу отведетъ.

Вотъ и пишетъ разъ царь съ царицей къ царевнѣ своей такъ: «Узнай-де, кто сильнѣе змѣя». Царевна и догадалась, къ чему это дѣло пошло, и стала попривѣтливѣй къ своему лютому врагу, стала у него, по женскому обычаю, допытываться, кого онъ боится, кого не боится и кто его сильнѣй. Тотъ, хоть и ластится, а долго не говорилъ; однако, противъ женской пытки устоять трудно; онъ разъ какъ-то и проговорился, что «есть на свѣтѣ одинъ только человѣкъ, котораго я боюсь, да онъ и самъ силы своей не знаетъ, такъ онъ мнѣ и не страшенъ, кабы только кто его не надоумилъ: живетъ, вишь, въ городѣ престольномъ, въ Кіевѣ, мужикъ Кожемяка, такъ этотъ силенъ, и страхъ силенъ, такъ-что съ нимъ возиться и мнѣ неподсилу. Кабы у него была дочь, да досталось бы ей по жеребью ко мнѣ, такъ, чай, Кожемяка и не отдалъ бы, а мнѣ бы за лиху бѣду стало, и самъ бы не зналъ, что дѣлать»

Какъ узнала про это царевна, такъ въ ней сердце взыграло. Выждала она, чтобъ змѣй улетѣлъ на свои людоѣдные промыслы, скорѣе позвала вѣрную свою собачку, написала записочку. «Сыщите, батюшка, въ городѣ престольномъ въ Кіевѣ мужика Никиту Кожемяка, да пошлите его меня изъ неволи высвободить». И навязала грамотку собачкѣ на шею и махнула бѣлой рукой. Собачка проползла между колодами, которыми змѣй завалилъ входъ въ берлогу, побѣжала прямо въ теремъ царскій и принесла царю желанную вѣсть.

Царь приказалъ сыскать Никиту Кожемяку и самъ

пошелъ, и съ царицею, просить его, чтобъ онъ опросталъ его землю отъ лютаго змѣя-людоѣда и освободилъ бы царевну. А въ ту пору Никита Кожемяка (держалъ онъ въ рукахъ двѣнадцать кожъ), какъ увидалъ онъ, что къ нему во дворъ пришелъ самъ царь, великій князь, сробѣлъ, задрожалъ со страху, руки у него затряслись, онъ и разорвалъ за одинъ разъ тѣ двѣнадцать воловьихъ кожъ, да сколько ни упрашивали его царь съ царицей, не пошелъ онъ супротивъ того змѣя: «Ты видишь», говоритъ онъ пресвѣтлому князю: «я человѣкъ смирный, робкій; не могу я противъ змѣя того бороться, не мужицкое это дѣло».

Вотъ и созвалъ царь думцевъ своихъ и приказалъ имъ надуматься, какъ бы и какъ упросить Никиту, чтобъ пошелъ онъ на змѣя; а побить онъ его сможетъ: самъ змѣй объ этомъ проговорился. И придумали собрать пять тысячъ малолѣтнихъ дѣтей и послать ихъ просить Никиту Кожемяку, авось на ихъ слезы сжалобится. Пришли малыя дѣти несмѣтной толпой на дворъ Никиты Кожемяки, стали всѣ на колѣни и ну просить со слезами, чтобъ шелъ супротивъ змѣя; дѣвочки всѣ плачутъ, говорятъ: «дядюшка Никита, спаси, не дай намъ подрости да пропасть; покуда мы вотъ малы, такъ ходимъ и бѣгаемъ-себѣ и горя не знаемъ, а какъ только которая изъ насъ подростетъ, такъ не на радость отца-матери, а на гибель свою, на смерть лютую отъ змѣя поганаго людоѣда»

Ребятишки тоже плачутъ, кричатъ: «Дядюшка Никита, и встать передъ тобой не встанемъ, и съ мѣста не сойдемъ, и съ широкаго двора твоего не выйдемъ, покуда не скажешь намъ, что пойдешь побить чудище лютое; у всѣхъ у насъ сестрицы есть, у всѣхъ у насъ, какъ подростемъ, невѣсты будутъ, да не на радость намъ и родителямъ, — на плачъ и горе, на съѣденіе змѣя-людоѣда!»

Прослезился и самъ мужикъ Никита Кожемяка, на ихъ слезы глядя. «Чтожъ, говоритъ, пусть проглотитъ меня, коли не подавится: авось ловко повернусь, такъ и въ глоткѣ его коломъ стану. На васъ глядѣть мнѣ за бѣду стало. Подите прочь, такъ я и на змѣя пойду.»

Взялъ Никита триста пудовъ пеньки, свилъ всѣ въ одинъ плетешокъ, да насмолилъ его смолой, и смолы пенька приняла триста пудовъ; обмотался онъ весь плетешкомъ этимъ, чтобъ не съѣлъ его змѣй, не исчавкалъ его за одинъ разокъ, и пошелъ на него.

Подходитъ Никита Кожемяка къ берлогѣ змѣиной, а змѣй увидалъ его, поджалъ хвостъ и заперся и не выходитъ къ нему. «Выходи, братъ, лучше въ чистое поле!» гаркнулъ Никита Кожемяка: «не то и берлогу твою размечу на вѣтеръ всю.» Да и сталъ-было приниматься за работу, колоду за колодой, какъ лучинки, вытаскивать, чрезъ себя перекидывать. Змѣй видитъ бѣду неминучую, что хуже въ берлогѣ задушитъ его Никита, и вышелъ къ нему въ чистое поле.

Долго ли, коротко ли бился со змѣемъ Никита, только повалилъ его врукопашную; тутъ змѣй взмолился ему: «Не бей меня до смерти, Микитушка: сильнѣй насъ съ тобой на свѣтѣ нѣтъ, останемся мы жить съ тобой, такъ-что добра не сдѣлаемъ, а худа не увидимъ: раздѣлимъ мы съ тобой всю землю, весь свѣтъ по-ровну: ты будешь жить въ одной половинѣ, я въ другой; ни тебѣ, ни мнѣ обидно не будетъ.»—«Ладно»,— сказалъ Никита Кожемяка: «такъ надо намъ поперекъ всей земли межу проложить; протащишь ли соху?»— «Протащу», сказалъ змѣй. Вотъ Никита и выковалъ сошникъ въ триста пудовъ и сдѣлалъ по немъ соху, запрягъ змѣя, да и сталъ изъ-подъ Кіева межу пропахивать: такъ и провелъ онъ борозду отъ Кіева до самаго до моря

Запыхался змѣй и изнудился; радъ, что службѣ его пришелъ конецъ. «Ну», говоритъ онъ Никитушкѣ: «теперь мы съ тобой всю землю подѣлили: которая половина будетъ твоя, которая моя?»—«Землю раздѣлили», проговорилъ Никита, а самъ змѣя изъ сохи не выпускаетъ: «да еще не раздѣлили моря; теперь тащи соху по морю, давай и его межевать, а то скажешь послѣ, что твою воду берутъ».

Нечего дѣлать змѣю, поволокъ змѣй соху по синему морю; самъ плыветъ, самъ голову гребенчатую подымаетъ, кругомъ озирается, скоро ли тому морю конецъ. Какъ въѣхали они на самую средину моря, такъ Никита Кожемяка убилъ того змѣя и утопилъ его въ морѣ.

Про царскую дочь и говорить нечего, что освободилась она и стала жить да поживать въ терему у батюшки. А борозда эта осталась и понынѣ; она была глубиной въ двѣ сажени, а въ отвалѣ на столько же вышины; сколько сотъ лѣтъ прошло, а борозду все знать, только помаленьку осыпается. И вокругъ пашутъ, по обѣ стороны, а ее не трогаютъ; а кто не знаетъ этого дѣла, тотъ называетъ борозду эту валомъ, а для чего и кѣмъ такой валъ сдѣланъ — не говорятъ

Никита Кожемяка, сдѣлавъ святое дѣло, за трудъ не взялъ ничего; онъ опять пошелъ, попрежнему, кожи мять.

Когда царствовалъ царь Иванъ Васильевичъ, царь Грозный, то литовцы задумали взять Москву. Какъ тутъ быть, сила не беретъ, такъ пойти на хитрости: не волчій зѣвъ, такъ лисій хвостъ. Вотъ они и купили бояръ царскихъ, а тѣ и подали царю облыжную жалобу на новгородцевъ, что они-де смутные, непокорные

люди, противъ царской власти бунтуютъ, только того и смотрятъ, гдѣ бы и какъ бы причинить измѣну; и уговорили царя пойти самому смирять ихъ. Царь и взялъ съ собой губниковъ да палачей московскихъ, Малюту, сына Скуратова, и другихъ, и отправился смирять новгородцевъ.

Вотъ царь Иванъ Васильевичъ чинитъ судъ страшный и расправу жестокую въ Новѣгородѣ, а литовцы тѣмъ часомъ подошли и накрыли Москву и заняли ее, и правятъ съ нея окупа серебра и золота возами.

Въ одну ночь лежитъ Грозный царь въ опочивальнѣ своей, утомившись кровавыми казнями невинныхъ новгородцевъ. Не можетъ онъ соснуть, не можетъ глазъ сомкнуть, и видитъ не во снѣ, а въявь: подходитъ къ ложу его могучій воинъ; и опозналъ онъ въ воинѣ этомъ Заневскаго.

— Чего хочешь!—прошепталъ испуганный царь,—покланяюсь тебѣ, а самъ лежитъ, сложа руки на груди, и смотритъ.

— Что спишь, царь Иванъ,—сказалъ воинъ, — на вдовѣ твоей сватается женихъ незваный; она безъ тебя не знаетъ,—идти ли?

Не понялъ Грозный царь словъ посланника; ночь прошла, страхъ прошелъ; на утро пошли опять тѣ же убійства, тѣ же кары и казни. Пришла ночь; ослѣпленный клеветою крамольныхъ бояръ, измученный дневными казнями, царь легъ опять на ложе свое, но его опять взялъ страхъ, онъ будто чего-то ждалъ Въ полночь тотъ же посолъ и тѣ же слова: «царь, на вдовѣ твоей сватается женихъ; она безъ тебя не знаетъ, идти ли ей, нѣтъ ли.»

Долго лежалъ бѣдный царь не смыкая глазъ, все глядѣлъ на то мѣсто, гдѣ стоялъ грозный воинъ; давно уже не было его, но это не сонъ, царь не спитъ и не спалъ; это то же, что было вчера; и вчера ночью

Запыхался змѣй и изнудился; радъ, что службѣ его пришелъ конецъ. «Ну», говоритъ онъ Никитушкѣ: «теперь мы съ тобой всю землю подѣлили: которая половина будетъ твоя, которая моя?»—«Землю раздѣлили», проговорилъ Никита, а самъ змѣя изъ сохи не выпускаетъ: «да еще не раздѣлили моря; теперь тащи соху по морю, давай и его межевать, а то скажешь послѣ, что твою воду берутъ».

Нечего дѣлать змѣю, поволокъ змѣй соху по синему морю; самъ плыветъ, самъ голову гребенчатую подымаетъ, кругомъ озирается, скоро ли тому морю конецъ. Какъ въѣхали они на самую средину моря, такъ Никита Кожемяка убилъ того змѣя и утопилъ его въ морѣ.

Про царскую дочь и говорить нечего, что освободилась она и стала жить да поживать въ терему у батюшки. А борозда эта осталась и понынѣ; она была глубиной въ двѣ сажени, а въ отвалѣ на столько же вышины; сколько сотъ лѣтъ прошло, а борозду все знать, только помаленьку осыпается. И вокругъ пашутъ, по обѣ стороны, а ее не трогаютъ; а кто не знаетъ этого дѣла, тотъ называетъ борозду эту валомъ, а для чего и кѣмъ такой валъ сдѣланъ — не говорятъ

Никита Кожемяка, сдѣлавъ святое дѣло, за трудъ не взялъ ничего; онъ опять пошелъ, попрежнему, кожи мять.

Когда царствовалъ царь Иванъ Васильевичъ, царь Грозный, то литовцы задумали взять Москву. Какъ тутъ быть, сила не беретъ, такъ пойти на хитрости: не волчій зѣвъ, такъ лисій хвостъ. Вотъ они и купили бояръ царскихъ, а тѣ и подали царю облыжную жалобу на новгородцевъ, что они-де смутные, непокорные

люди, противъ царской власти бунтуютъ, только того и смотрятъ, гдѣ бы и какъ бы причинить измѣну; и уговорили царя пойти самому смирять ихъ. Царь и взялъ съ собой губниковъ да палачей московскихъ, Малюту, сына Скуратова, и другихъ, и отправился смирять новгородцевъ.

Вотъ царь Иванъ Васильевичъ чинитъ судъ страшный и расправу жестокую въ Новѣгородѣ, а литовцы тѣмъ часомъ подошли и накрыли Москву и заняли ее, и правятъ съ нея окупа серебра и золота возами.

Въ одну ночь лежитъ Грозный царь въ опочивальнѣ своей, утомившись кровавыми казнями невинныхъ новгородцевъ. Не можетъ онъ соснуть, не можетъ глазъ сомкнуть, и видитъ не во снѣ, а въявь: подходитъ къ ложу его могучій воинъ; и опозналъ онъ въ воинѣ этомъ Заневскаго.

— Чего хочешь!—прошепталъ испуганный царь,— покланяюсь тебѣ, а самъ лежитъ, сложа руки на груди, и смотритъ.

— Что спишь, царь Иванъ,—сказалъ воинъ, — на вдовѣ твоей сватается женихъ незваный; она безъ тебя не знаетъ,—идти ли?

Не понялъ Грозный царь словъ посланника; ночь прошла, страхъ прошелъ; на утро пошли опять тѣ же убійства, тѣ же кары и казни. Пришла ночь; ослѣпленный клеветою крамольныхъ бояръ, измученный дневными казнями, царь легъ опять на ложе свое, но его опять взялъ страхъ, онъ будто чего-то ждалъ Въ полночь тотъ же посолъ и тѣ же слова: «царь, на вдовѣ твоей сватается женихъ; она безъ тебя не знаетъ, идти ли ей, нѣтъ ли.»

Долго лежалъ бѣдный царь не смыкая глазъ, все глядѣлъ на то мѣсто, гдѣ стоялъ грозный воинъ; давно уже не было его, но это не сонъ, царь не спитъ и не спалъ; это то же, что было вчера; и вчера ночью

III

УПЫРЬ

Украинское преданіе.

Отецъ Маруси былъ казакъ зажиточный, а мать ея добрая хозяйка, такъ они и жили хорошо, а какъ дочь была у нихъ однимъ-одна, то они въ ней души не слышали; баловали ее и одѣвали краше всѣхъ дѣвокъ на селѣ. Марусѣ и всего-то былъ тринадцатый годъ; но когда она, бывало, въ воскресенье выйдетъ погулять, разодѣтая какъ невѣста, то ужь къ дѣвчонкамъ не пристаетъ, а все къ большимъ дѣвушкамъ, чтобъ съ ними скорѣе поровняться. И правду сказать, что скоро стали на нее всѣ парубки заглядываться; а когда она еще немного подросла и сложилась, то всѣ знали, что не только на селѣ, но и во всемъ повѣтѣ не было красавицы противъ Маруси. Марусенька, рослая и статная, была и покруглѣе другихъ, и потоньше ихъ: она и не глядѣла простой мужичкой, и немного было такихъ пышныхъ дѣвушекъ даже между богатыми хуторянками.

И, видно, Маруся сама знала, какъ она была хороша, потому что, гуляя съ подругами, не давала однакоже никому изъ паробковъ къ себѣ приступиться, а, влюбивъ ихъ въ себя, тѣшилась надъ ними, забавлялась и только дурачила. Отъ этого и прозвали ее *гордой* Марусей и говорили, что она не пойдетъ за простого, хорошаго человѣка, а развѣ только за паныча, въ тонкой сукманкѣ. Маруся отшучивалась, а все держалась противъ парней строго; но подругъ своихъ, дѣвокъ, не чуждалась и часто ихъ обдаривала и наряжала; а ужь убрать голову, заплести и положить вокругъ косы ленты, заткнуть къ вискахъ пучечки цвѣтовъ — этого никто не умѣлъ сдѣлать противъ Маруси, хоть она и не училась этому нигдѣ, а такъ сама знала. Бывало, когда время такое, что никакихъ цвѣтковъ нѣтъ, то достанетъ пучокъ старыхъ, сухихъ, что и смотрѣть не на что, либо желтенькихъ да лиловыхъ неувядалокъ или хоть просто пучечекъ алой калины, да какъ только уберетъ этимъ голову свою, то ровно на ней все расцвѣтетъ и заиграетъ, и такъ она хороша, что ни одна дѣвка не пріукрасится противъ нея и самыми лучшими цвѣточками.

Пришла осень, и по обычаю, отъ праздника Андрея Первозваннаго, начались дѣвичьи вечерницы; всѣ собираются въ одну избу, каждая приноситъ съ собою что есть, пекутъ пампушки, вареники, пьютъ и ѣдятъ, и веселятся. Собрались онѣ, и Маруся съ ними; напекли и наварили всего. Вечеромъ пришли и парни, одинъ со скрипицей, другой съ сопѣлкой, и началась пляска и такая гульба, что дымъ коромысломъ. А Маруся все больше особнячкомъ себѣ, какъ ломливая гостья; смотритъ она и шутитъ, мотается туда и сюда, а до нея не дотыкайся никто. Наконецъ, упросили ее, что пошла плясать, да и то съ тѣмъ уговоромъ, чтобы парень по трогалъ ея, а плясалъ бы самъ по себѣ, а она сама

по себѣ; какъ пошла—то всѣ заглядѣлись на нее, не могли налюбоваться.

Вдругъ входитъ въ избу молодецъ, котораго никто прежде тутъ не видалъ: и собой пригожъ, и одѣтъ такъ чисто и хорошо, какъ и у самыхъ богатыхъ казаковъ рѣдко дѣти одѣваются: одна шапка смущата. чего стоитъ, — поясъ, чоботы, а платокъ шелковый, персидскій. Поздоровался онъ со всѣми, дѣвушки сказали: «милости просимъ», онъ тотчасъ и досталъ кошелекъ съ деньгами и посылаетъ парней за медомъ, пивомъ, наливками, пряниками и орѣхами. Вотъ одна изъ дѣвокъ вызвала брата своего, чтобы шелъ скорѣе за лакомствами, а тотъ, взявъ деньги отъ чужого молодца, стоитъ да и вертитъ ихъ промежъ пальцевъ. Что жь ты?—а онъ и показываетъ, что, вмѣсто четвертачка, чужеинъ далъ таки настоящій золотой червонецъ! Тотъ глянулъ:—«все одно,—говоритъ,—ничего, ступай, тамъ сдадутъ; а не то хоть на всѣ возьми, коли съѣдятъ, на здоровье!..» Люди поглядѣли на него, переглянулись да и притихли; такихъ-де богачей въ нашемъ околоткѣ не водилось!..

Пошло гуляньe, пляска, и Маруся не отказывалась плясать съ чужениномъ, а онъ всѣхъ угощаетъ и потчуетъ, а самъ съ нею съ одною только и водится. Такъ онъ, видно, сразу полюбилъ Марусю, да и она на него ласковѣе смотрѣла, чѣмъ на Михàлка и на другихъ; а плясалъ онъ такъ, что всѣ на него заглядѣлись, и рѣшили, что одинъ онъ только въ ровни Маруси и годится. Пришла полночь, и гость говоритъ, что пора ему домой; взялъ онъ шапку, утеръ лицо шелковымъ платкомъ и проситъ Марусю, чтобъ она его проводила хоть до воротъ. Она было призадумалась, да дѣвки спровадили ее: «иди, говорятъ, отчего тебѣ такого хорошаго человѣка не проводить?»—Какъ только они вдвоемъ вышли, то онъ поцѣловалъ Марусю и спросилъ ее:

— «А пойдешь ли ты за меня?»

— «Что жь!—отвѣчала она:—«вы, кажется, хорошій человѣкъ, возьмете, такъ отчего не пойдти?»

Онъ поцѣловалъ ее и ушелъ.

Воротившись, Маруся не долго посидѣла на вечерницѣ, грустная, задумчивая, и никто не могъ ее развеселить. Правда, что она не рѣзва была и въ прежнее время, а всегда держалась и пышно и гордо, но все-таки она была теперь не та, что прежде; это замѣтили всѣ, и потому, посмѣявшись, въ голосъ рѣшили, что Маруся полюбила чуженина и теперь ужь подавно никого не захочетъ знать изъ ровней своихъ; а гость этотъ долженъ быть богатый хуторянинъ, коли не самъ дворянинъ, но никто не зналъ, откуда онъ взялся.

Михалка, о которомъ мы упомянули, слушалъ также все это молча, подгорюнившись еще больше, чѣмъ Маруся, и скоро ушелъ. Это былъ добрый и предобрый дѣтина, но не такъ богатый, а простой и работящій, который давно уже любилъ гордую Марусю, не смѣя ей сказать этого, и не надѣялся увидать своего счастія, потому что она не глядѣла на него, и онъ видѣлъ, что услуги его ей докучаютъ. Онъ, горько вздохнувъ, побрелъ домой, посидѣлъ еще съ часокъ на заваленкѣ, прислушиваясь издали, какъ на вечерницѣ гуляютъ, да раздумывая о горѣ своемъ, а потомъ вошелъ въ избу, гдѣ отецъ и мать его давно спали, и также завалился, горемычный, на свое мѣсто. «Не видать мнѣ счастья своего,—подумалъ онъ:—а другой не возьму, сердце не приметъ; такъ и буду колотиться, лишь бы день за днемъ проходилъ...»

Маруся пришла домой, и мать разспросила ее, хорошо ли она погуляла, и что у нихъ тамъ было. Маруся разсказала все, и про чужаго человѣка, красавца и богатаго, который ее сваталъ. «Кто жъ онъ такой,—спросила мать: — и откуда?» — «Не знаю.»—

«Такъ ты, доню, какъ пойдешь опять завтра вечеромъ, вѣрно онъ будетъ, и разспроси его хорошенько обо всемъ.»

На другой вечеръ, Маруся одѣлась и нарядилась опять, какъ могла получше и пришла на вечерницу, а вскорѣ пришелъ и вчерашній молодецъ. Михалка сердечный ужь и не приходилъ больше, хоть его мать и посылала, а сказалъ: «не хочу; что я тамъ буду дѣлать? есть безъ меня.»—Вотъ опять пошла гульба вчерашняя, опять молодецъ тряхнулъ деньгами, всѣхъ употчивалъ лакомствами и плясалъ съ Марусей на диво: она была такъ весела и игрива, что всѣ ею любовались; а когда женихъ ея пошелъ домой и вызвалъ ее опять проводить его, то она спросила его, кто онъ, откуда и какъ его зовутъ? — Онъ отвѣчалъ, что онъ панскаго роду, а не простаго, что у него богатый хуторъ и много скота, а зовутъ его зовуткой: «какая тебѣ нужда, Петра ли ты полюбила, Максима ли? какъ бы ни звать, а за имя не разлюбить стать!» Съ тѣмъ и ушелъ.

Маруся прямо пошла домой и разсказала все матери, а та дала ей на другой вечеръ клубокъ пряжи и сказала: «когда будетъ уходить хуторянинъ твой и съ тобою прощаться, то прицѣпи ты ему нитку, а сама стой и разматывай клубокъ, покуда нитка больше не будетъ тянуться; тогда пойди осторожно по ниткѣ слѣдомъ за нимъ, и ты увидишь, по какой дорогѣ и куда женихъ твой ушелъ».

На другой вечеръ все шло попрежнему; дѣвки насилу дождались тароватаго чуженина, который всѣхъ ихъ потчуетъ всякими лакомствами, такъ хорошо пляшетъ и веселитъ всю вечерницу; онъ опять ухаживалъ болѣе всѣхъ за Марусей и позвалъ ее за собой въ проводы. Тутъ она сдѣлала, что велѣла мать, и, наконецъ, никому ни сказавъ ни слова, пошла одна ночью, чтобъ выслѣдить своего хуторянина. Нитка не долго шла по

улицѣ, а повернувъ по проулочкамъ, пошла черезъ плетни, дворы, а тамъ задами на край села; Маруся остановилась было, но подумавъ, бойко пошла по ней дальше. «Неужто я своего суженаго буду бояться?— подумала она: — пойду, куда онъ, туда и я; теперь же темно, ему меня не увидать, а хоть бы и увидалъ— нужды нѣтъ; скажу, что хотѣла узнать, откуда и кто онъ.» Но Маруся вскорѣ опять робко остановилась: нитка довела ее до кладбища, которое было, безъ огорожи или канавы, тотчасъ за селомъ. «А что жъ? подумала она:—коли онъ прошелъ тутъ, то и я пойду за нимъ; тутъ дѣдушка мой лежитъ и бабушка,—чего мнѣ бояться? Еще разъ десятокъ шагнула Маруся и ниткѣ былъ конецъ: она уходила въ землю. Чтобъ увѣриться, такъ ли это, Маруся потянула за нитку: кто-то сильно дернулъ ее къ себѣ въ землю, оборвалъ въ рукахъ Маруси и отвѣчалъ на испугъ Маруси не голосомъ, а синимъ огнемъ, который вспыхнулъ на могилѣ и погасъ. Бѣдная дѣвка, не помня себя, бросилась бѣжать, спотыкаясь впотьмахъ и падая, и наконецъ чуть живая добѣжала домой; тутъ она долго отдыхала и потихоньку вошла въ хату.

Мать, однакожъ, услыхала ее и спросила: — Что, доня моя, былъ онъ?

— Былъ.

— Что жъ?

— Обѣщается взять за себя.

— А по клубку слѣдила?

— Слѣдила, да недалеко; оборвалъ онъ нитку и бросилъ.

Больше ничего и не сказала.

На утро Маруся весь день ходила, какъ сама не своя, съ больной головой, и ничего не могла ни припомнить хорошенько, ни понять; но ей чудились во снѣ и на яву такія страсти, отъ которыхъ въ ней

замирала кровь: будто видѣла она, когда вспыхнуло синее пламя, что дѣлалось подъ землей, въ могилѣ, и будто милый ея—страшно сказать...—грызъ тамъ покойника. Она все молчала, не смѣла ничего сказать; прошелъ вечеръ, и мать ее опять посылаетъ: «иди, доня, да играй и веселись хорошенько, чтобъ любо было и тебѣ, и другимъ». А мать, которая, бывало, часто журила Марусю за гордость и недоступность ея, боясь, чтобъ не ославилась она черезъ это, и чтобъ не откинулись всѣ женихи, рада-радешенька была, что дочь, наконецъ, хотъ кого-нибудь нашла по себѣ, да еще и богатаго хуторянина.

Пошла дочь, и все опять до конца было то же; только она боялась идти провожать своего жениха и хотѣла было отказаться; но прочія дѣвки всѣ за него заступились и выпроводили ее почти силой:

«Иди, чего ты, дура, боишься? съ такимъ молодцомъ? да впервые, что ли тебѣ, провожать его?»

Пошла. Онъ остановился, спросилъ опять:

— «Пойдешь за меня?»

Ей нечего больше говорить, отвѣчаетъ: «пойду.»

— «А была ты вчера ночью на погостѣ?»

— «Нѣтъ, не была.»

— «А видѣла тамъ что-нибудь?»

— «Нѣтъ, не видала ничего.»

— «За это завтра твой отецъ умретъ», — сказалъ онъ и пошелъ.

Страшно Марусѣ бѣдной, и тоска напала на нее смертная, — а дѣваться некуда: пришла домой и молчитъ. День насталъ—она бродитъ ровно безъ ума, не знаетъ, что Богъ дастъ, что будетъ. Пошла рано по воду, приходитъ съ ведрами домой отъ колодца,—мать голоситъ, говоритъ,—отецъ вдругъ померъ. Къ вечеру его похоронили, а Маруся бѣдная сидитъ, забившись подлѣ печи, закрыла лицо руками, свѣту Божьяго не

видитъ. Настала ночь, и подруги за нею пришли: звать на вечерницу, чтобъ хоть немного ее развеселить; она не хочетъ, такъ и мать говоритъ: «Поди, доню; что тебѣ тутъ дѣлать! Хоть посиди да погляди на другихъ...» Дѣвки заговорили ее и потащили дружно силою за собой.

Маруся сѣла подгорюнясь въ углу, не стала ни пѣть, ни плясать, ни играть, а когда пришелъ женихъ ея и сталъ распрашивать, отчего она такая невеселая, то дѣвушки отвѣчали за нее, что у нея у бѣдной сегдня отецъ умеръ. Маруся тряслась, какъ листъ; молодецъ пожалѣлъ, сталъ ее утѣшать, потчивалъ всѣхъ попрежнему, пѣлъ и плясалъ, а уходя опять сталъ ласково просить, чтобъ Маруся его проводила. Она тряхнула головой, но подруги подняли ее насильно и отдали въ руки чуженина; Маруся вздрогнула, затряслась, но будто не своей волей молча пошла за нимъ.

— Что, Маруся?—спросилъ онъ ее на дворѣ:—была ты третьяго дня ночью на погостѣ, ходила за мною слѣдомъ?

— Нѣтъ, не была.

— А видѣла тамъ что-нибудь?

— Ничего не видала.

— За это у тебя завтра мать умретъ.—И пошелъ самъ своей дорогой.

Маруся упала, хотѣла кричать, но не смогла; у нея не было ни силы, ни голоса, ровно кто рукою зажалъ ей ротъ, такъ что она не могла дышать и обомлѣла. Дѣвкамъ было не до нея: у нихъ шло тамъ свое веселье; а если кто и вспомнилъ про нее, такъ думалъ, что она пошла съ молодцомъ, либо ушла домой. Долго ли она лежала, и сама того не помнила, но очнувшись, она пошла домой, легла и всю ночь тихонько проплакала. На зарѣ мать ея вдругъ начала стонать и черезъ часъ, ни съ того, ни съ сего отдала Богу

замирала кровь: будто видѣла она, когда вспыхнуло синее пламя, что дѣлалось подъ землей, въ могилѣ, и будто милый ея—страшно сказать...—грызъ тамъ покойника. Она все молчала, не смѣла ничего сказать; прошелъ вечеръ, и мать ее опять посылаетъ: «иди, доня, да играй и веселись хорошенько, чтобъ любо было и тебѣ, и другимъ». А мать, которая, бывало, часто журила Марусю за гордость и недоступность ея, боясь, чтобъ не ославилась она черезъ это, и чтобъ не откинулись всѣ женихи, рада-радешенька была, что дочь, наконецъ, хотъ кого-нибудь нашла по себѣ, да еще и богатаго хуторянина.

Пошла дочь, и все опять до конца было то же; только она боялась идти провожать своего жениха и хотѣла было отказаться; но прочія дѣвки всѣ за него заступились и выпроводили ее почти силой:

«Иди, чего ты, дура, боишься? съ такимъ молодцомъ? да впервые, что ли тебѣ, провожать его?»

Пошла. Онъ остановился, спросилъ опять:

— «Пойдешь за меня?»

Ей нечего больше говорить, отвѣчаетъ: «пойду.»

— «А была ты вчера ночью на погостѣ?»

— «Нѣтъ, не была.»

— «А видѣла тамъ что-нибудь?»

— «Нѣтъ, не видала ничего.»

— «За это завтра твой отецъ умретъ», — сказалъ онъ и пошелъ.

Страшно Марусѣ бѣдной, и тоска напала на нее смертная, — а дѣваться некуда: пришла домой и молчитъ. День насталъ—она бродитъ ровно безъ ума, не знаетъ, что Богъ дастъ, что будетъ. Пошла рано по воду, приходитъ съ ведрами домой отъ колодца,—мать голоситъ, говоритъ,—отецъ вдругъ померъ. Къ вечеру его похоронили, а Маруся бѣдная сидитъ, забившись *подлѣ печи*, закрыла лицо руками, свѣту Божьяго не

видитъ. Настала ночь, и подруги за нею пришли: звать на вечерницу, чтобъ хоть немного ее развеселить; она не хочетъ, такъ и мать говоритъ: «Поди, доню; что тебѣ тутъ дѣлать! Хоть посиди да погляди на другихъ...» Дѣвки заговорили ее и потащили дружно силою за собой.

Маруся сѣла подгорюнясь въ углу, не стала ни пѣть, ни плясать, ни играть, а когда пришелъ женихъ ея и сталъ распрашивать, отчего она такая невеселая, то дѣвушки отвѣчали за нее, что у нея у бѣдной сегдня отецъ умеръ. Маруся тряслась, какъ листъ; молодецъ пожалѣлъ, сталъ ее утѣшать, потчивалъ всѣхъ попрежнему, пѣлъ и плясалъ, а уходя опять сталъ ласково просить, чтобъ Маруся его проводила. Она тряхнула головой, но подруги подняли ее насильно и отдали въ руки чужеянина; Маруся вздрогнула, затряслась, но будто не своей волей молча пошла за нимъ.

— Что, Маруся?—спросилъ онъ ее на дворѣ:—была ты третьяго дня ночью на погостѣ, ходила за мною слѣдомъ?

— Нѣтъ, не была.

— А видѣла тамъ что-нибудь?

— Ничего не видала.

— За это у тебя завтра мать умретъ.—И пошелъ самъ своей дорогой.

Маруся упала, хотѣла кричать, но не смогла; у нея не было ни силы, ни голоса, ровно кто рукою зажалъ ей ротъ, такъ что она не могла дышать и обомлѣла. Дѣвкамъ было не до нея: у нихъ шло тамъ свое веселье; а если кто и вспомнилъ про нее, такъ думалъ, что она пошла съ молодцомъ, либо ушла домой. Долго ли она лежала, и сама того не помнила, но очнувшись, она пошла домой, легла и всю ночь тихонько проплакала. На зарѣ мать ея вдругъ начала стонать и черезъ часъ, ни съ того, ни съ сего отдала Богу

душу. На бѣдную дѣвку напалъ такой страхъ, что она ужь не могла и плакать.

Что жъ? живой не безъ мѣста, мертвый не безъ могилы: похоронили и мать, больше дѣлать было нечего. Осталась бѣдная Маруся одна, и такъ ей страшно стало въ пустой избѣ, что заперла она ее и пошла къ сосѣдямъ. Тамъ она просидѣла до вечера: и опять пришли товарки ея, чтобъ не дать ей загруститься и закручиниться и, жалѣючи ее, противъ воли увели съ собой. Она, бѣдная, совсѣмъ была безъ памяти, не опомнилась еще и не опозналась въ сиротскомъ одиночествѣ своемъ и сидѣла среди общаго веселья, будто пришла съ того свѣта. Вдругъ всѣ радостно зашумѣли: Маруся вздрогнула--къ ней подошелъ чужеинъ.

— Полно тужить, Маруся!—сказалъ онъ:—вотъ я опять къ тебѣ пришелъ; тугой поля не изъѣздишь, нудой моря не переплывешь! Пойдемъ плясать!

— Не троньте ее, бѣдную,—сказали дѣвушки:—у нея сегодня мать умерла!

— Какъ?—сказалъ тотъ, удивившись этому новому горю и крѣпко жалѣя бѣдную Марусю:—вчера отецъ, а сегодня мать? Шутите вы?

— Нѣтъ; кто шутить станетъ,—избави Богъ!

— Бѣдная ты, сердечная моя! — сказалъ тотъ: — какъ же ты теперь жить станешь круглою сиротою, вести хозяйство, управлять домомъ? Тебѣ нужно искать добраго человѣка... Какъ вы разсудите, люди добрые, я на всѣхъ на васъ пошлюсь, — правду я говорю?

Съ этого слова пошли шутки; Маруся молчала на все, что ни говорили, хотѣла было уйти, но не смогла, а сидѣла какъ прикованная; когда же ненавистный ей женихъ собрался идти, не поддаваясь ни на какія просьбы дѣвушекъ остаться еще и погулять, то онъ опять ласково позвалъ ее въ проводы. Маруся взгля-

нула на него въ первый разъ во весь вечеръ, встала и пошла за нимъ.

— Теперь я ничего не боюсь, — подумала она: — пусть дѣлаетъ со мною, что хочетъ!

— Любишь ли ты меня, Маруся?— спросилъ онъ ее.

— Нѣтъ, не люблю.

— А пойдешь ли за меня?

— Нѣтъ, не пойду.

— Стало быть, ты меня обманула?

— Ты первый меня обманулъ, а я потомъ.

— Ну, а признайся, ходила ты за мною слѣдомъ, была на погостѣ?

— Нѣтъ, не была.

— А видѣла тамъ что-нибудь?

— Ничего не видала.

— Ну, такъ за это ты завра къ вечеру и сама помрешь

— Дай Богъ!—сказала бѣдная Маруся:—дай Богъ! Чего мнѣ еще оставаться тутъ?

Но едва успѣла она это выговорить, какъ вдругъ, и сама она не знала съ чего, пришелъ ей на умъ Михалка, котораго она съ такимъ презрѣніемъ всегда отъ себя гоняла, а теперь и давненько ужь не видала, потому что онъ не навязывался, а съ того вечера, какъ въ первый разъ появился чужанинъ, ни разу ей не попадался на глаза.

— Что дѣлать, бѣдный мой Михалка? — подумала она:—видно, такая судьба наша, и твоя и моя!—И залилась горючими слезами.

Задумавшись, повѣсивъ голову и опустивъ обѣ руки, побрела она домой и, забывшись, вдругъ остановилась передъ порожней хатой своей, взглянула, вздрогнула, заломила руки и долго глядѣла на темныя окошечки; потомъ она повернула назадъ и пришла ночевать къ сосѣдкѣ. Та приняла ее чадолюбиво и долго еще утѣ-

шала, не замѣчая, что бѣдная Маруся не слушала утѣшеній этихъ и даже не слышала ихъ.

Рано утромъ пошла она домой, посидѣла въ одинокой избѣ своей, помолилась, напоила скотину, пошла на могилы отца и матери и поплакала тамъ, воротилась домой и заперлась, будто ея нѣтъ. Она хотѣла умереть такъ, въ одиночествѣ своемъ, вѣря словамъ страшнаго чуженина, который ей доселѣ пророчилъ одну правду; но вскорѣ взяла ее такая тоска и даже страхъ, что, вспомнивъ о слѣпой бабушкѣ своей, жившей верстахъ въ семи, она, вышла, заложила воловъ и поѣхала къ старухѣ, которую ужь очень давно не видала, поѣхала—выплакать передъ нею горе свое. Ей хотѣлось чего-нибудь роднаго, а тутъ она была одна, между чужими людьми, и даже не смѣла подумать о бѣдномъ Михáлкѣ, который теперь также сдѣлался для нея чужимъ. .

— Здравствуй, бабушка!

— Здравствуй, доню; кто ты? Я что-то не признаю тебя по голосу...

— Охъ, бабуся, и давно ужь ты меня не слышала; я Маркушенкова Маруся, внучка твоя!

— Такъ здравствуй же, я рада тебѣ; что отецъ и мать, дочка моя?

— Худо, бабушка; оба передъ Богомъ, померли

— Передъ Богомъ!—сказала слѣпая бабушка, перекрестившись: — такъ тутъ ничего худаго нѣтъ; я и близко живу, да не слышала еще объ этомъ; а вотъ тебя жаль; ты въ дѣвкахъ еще?

— Въ дѣвкахъ, бабуся; вѣдь я еще молода!

— Знаю, помню, ты родилась въ тотъ годъ, какъ у васъ по дорогамъ стали канавы копать; годовъ семнадцать, чай, будетъ... Да, такъ, будетъ; когда я ослѣпла, такъ тебѣ былъ одиннадцатый годокъ. Ну, какъ же ты теперь живешь?

— А такъ живу, бабуся, что пріѣхала къ тебѣ умирать...

— Христосъ съ тобой! Зачѣмъ такъ? Тебѣ ли умирать? Это наша доля, а вамъ жить!

Внучка, горько заплакавъ, разсказала бабушкѣ все, что съ нею было, и кончила тѣмъ, что ей теперь немного часовъ осталось до вечера жить.

— Охъ, бабушка!—погубила я и отца, и мать... Когда онъ, злодѣй мой, сказалъ мнѣ, что и мой чередъ насталъ, то я обрадовалась, будто свѣтъ увидѣла; а теперь, какъ время подходитъ, такъ страшно!

— Ну, дитятко,—сказала бабушка:—прошлаго не воротишь, нечего о немъ и вспоминать; а пострадала ты довольно, и тебя теперь журить—дѣла не поправить. Слушай же ты меня: любовникъ твой—это упырь; онъ встаетъ изъ могилы, морить и ѣсть людей... Простись теперь со мною и сейчасъ поѣзжай домой: тамъ выбери хорошаго надежнаго человѣка, котораго бы міръ послушался и не сталъ бы съ нимъ спорить; подари ему пару воловъ своихъ, — они тебѣ ужь не нужны,—съ тѣмъ, чтобы тебя, какъ умрешь, не выносили хоронить въ двери, а подкопали бы порогъ и пронесли подъ порогомъ. Домъ и все, что есть, отдай попу на церковь, и только!

— Бабушка, все, что говоришь ты, все сдѣлаю, вѣрно; да скажи же мнѣ, что съ этого будетъ?

— А вотъ видишь что, доню: когда есть человѣкъ на свѣтѣ, который тебя по правдѣ и всѣмъ сердцемъ любитъ, то онъ тебя найдетъ.

— Какъ найдетъ, бабушка, когда умру?

— Ну, умрешь, такъ умрешь; нечего дѣлать, и всѣ мы умремъ; а если нѣтъ такого человѣка, чтобъ тебя дѣвушку любилъ,—ну, тогда другое дѣло, и я ни въ чемъ не властна.

Заплакала Маруся, простилась съ бабушкой, а ба-

бушка, какъ ни любила внучку свою, давно уже разучилась плакать, не прослезилась. Внучка поѣхала домой. Вотъ тутъ-то болѣло сердце ея по тому человѣку, котораго она, изъ одного только тщеславія, удалила отъ себя, тогда какъ онъ ее любилъ, да и сама она, еслибъ только дала сердцу своему волю, полюбила бъ его давно... Прошлаго не воротишь! «Нѣтъ,—подумала она:—такого человѣка нѣтъ, чтобъ меня дѣвушку любилъ... За что Михалкѣ любить меня?»

Пріѣхавъ домой, она тотчасъ распорядилась, какъ ей было сказано, сославшись на слѣпую бабку свою, противъ которой никто не посмѣлъ спорить. Никто не вѣритъ однакожъ, чтобъ Марусѣ пришло время умереть — думали, что она съ горя начала бредить... но къ вечеру сосѣдка заглянула въ Марусину избу, когда еще не смеркалось, и увидѣла ее лежащую на постели. «Что она все лежитъ да убивается?» подумала добрая сосѣдка и пошла, чтобъ вызвать ее, анъ Маруси бѣдной ужь нѣтъ: она лежитъ себѣ и простываетъ...

Сошлись люди и не могли надивиться, что такое сталось съ бѣдной семьей Маркушенка, что въ три дня не стало ни отца, ни матери, ни дочки! Многіе заплакали, глядя на красавицу, которая лежала, какъ живая, сложивъ сама заживо рухи и приготовивъ платье, въ которомъ ее хоронить... И подруги всѣ собрались и крѣпко ее оплакали; молодые парни говорили, что такой дѣвки не скоро наживешь... Но одинъ былъ, который съ недѣлю уже никому на глаза не показывался, либо сидѣлъ дома, либо работалъ въ полѣ, а теперь смѣло пришелъ въ хату Маруси, когда она уже лежала на лавкѣ, одѣтая и убранная въ цвѣтахъ, какъ невѣста, сѣлъ и сидѣлъ тутъ безвыходно до самыхъ похоронъ. Когда уже другіе пѣтухи пропѣли, то онъ все еще сидѣлъ противъ Маруси и смотрѣлъ на лицо

ея, которое освѣщалось одною лампадкой, потомъ вдругъ заплакалъ, простился съ нею, снялъ у нея съ пальца мѣдный перстенекъ и надѣлъ себѣ на палецъ, а ей надѣлъ свое колечко и опять сложилъ ей попрежнему руки.

Поутру пришли люди, подкопали порогъ въ сѣняхъ и сдѣлали такой спускъ и подъемъ, чтобъ можно было пронести гробъ. Затѣмъ принесли и порядочный, выкрышенный гробъ, потому что Маруся оставляла достатку довольно. Собрались дѣвки, парни и старики со старухами и, вынесши покойницу, какъ было сказано, поставили въ церковь, отпѣли и похоронили. Никого не осталось изъ Маркушенкиной семьи, и Маруси не стало; избу продали и въ ней живетъ теперь чужой человѣкъ, а объ Марусѣ тамъ и помину нѣтъ...

Пришла весна, красная, веселая, и тотъ же молодой парень, который обручился съ Марусей-покойницей, частенько по вечерамъ прихаживалъ на могилу ея и тамъ молился. Замѣтивъ однажды, что изъ могилы этой вырастаетъ какой-то особенный стебель, съ гладкими, длинными листьями, Михалка сталъ присматривать за нимъ и поливать его; но какъ кладбище не было огорожено и туда нерѣдко заходила скотина, то Михалка рѣшился выкопать кустъ этотъ съ корнемъ и посадить его въ своемъ садикѣ. Сдѣлавъ это, добрый Михалка, который вообще очень любилъ цвѣты и разводилъ ихъ у себя много, ходилъ и смотрѣлъ за этимъ кустикомъ какъ за глазомъ своимъ; и чѣмъ болѣе вырасталъ цвѣтокъ, тѣмъ болѣе дивился ему садовникъ нашъ и радовался, потому что онъ никогда такой травы не видалъ; листья вышли длинные, неширокіе, гладкіе и ровные; посрединѣ одинъ стебель, довольно высокій, а на маковкѣ его завязывался цвѣтокъ, Михалка радовался ему, какъ кладу. Наконецъ, наканунѣ Иванова дня, къ вечеру, цвѣтокъ этотъ расцвѣлъ—бѣлый, боль-

шой и густо-махровый; Михалка не могъ имъ налюбоваться; сидѣлъ онъ при немъ до поздней ночи, все не него глядѣлъ, а потомъ подумалъ: «теперь тутъ тепло, а мнѣ хорошо и весело—зачѣмъ пойду въ избу?»—легъ въ садикѣ своемъ, подъ кленомъ, такъ что цвѣточекъ его стоялъ прямо передъ нимъ и слегка кивалъ головкой отъ налетнаго вѣтра. Вдругъ бѣлые лепестки въ головкѣ цвѣта зашевелились, цвѣтокъ опалъ и изъ него медленно поднялась, какъ въ туманѣ, рослая, статная дѣвушка... Туманъ прояснился, и Михалко, не утерпѣвъ, вскочилъ и робко сказалъ: «Маруся!»

Она подошла къ нему и, указывая на его колечко, сказала: «Кто обручился съ мертвою, тотъ будь женихомъ и живой: ты мой спаситель; безъ тебя я погибла бы въ вѣчныхъ мукахъ.»

Сколько ни дивовались люди, что Маруся жива, а поглядѣвъ на нее, надо было поневолѣ повѣрить. Не долго откладывая дѣла, сыграна была свадьба, и говорятъ, не было на свѣтѣ другой такой дружной и любовной четы, какъ добрый Михалка и красавица Маруся.

Не надѣйтесь, однакожъ, дѣвушки, на цвѣтокъ этотъ: не любите чужихъ парней безъ ума, и не обманывайте, не обльгайте никого!

IV

ПОЛУНОЩНИКЪ

(Уральское преданіе).

Лѣтъ тому — да много, еще когда дѣдушка внучкомъ былъ, никакъ вскорѣ послѣ пугачевшины, опять выдался такой годъ, что стало по низовымъ станицамъ уральскимъ больно безпокойно. Казаки ни днемъ, ни почью не выходили со двора безъ винтовки за плечами; стада и табуны частію отогнаны были на Камышъ-Самару, а частію держались по близости станицъ и пикетовъ, извѣстныхъ подъ именемъ *полдвинокъ, маяковъ и реданокъ*; пастухи, вооруженные и въ обыкновенное время копьемъ и винтовкой, были удвоены и едва смѣли прилечь; одинъ изъ нихъ, конный, всегда стоялъ на ближайшемъ возвышеніи и высматривалъ окружность.

Между-тѣмъ, въ темную осеннюю ночь, небольшая шайка киргизовъ «учинила пролазъ», то-есть успѣла незамѣтно пробраться черезъ Уралъ, по одному и по два, и залечь въ береговые камыши. Когда ихъ собралось довольно, то они выѣхали осторожно на степной кряжъ, оставивъ пикеты и маяки за собою, на берегу

рѣки, и пустились къ станицѣ. Въ другое время, можетъ-быть, набѣгъ ихъ и былъ бы удачнѣе, но какъ теперь всюду были приняты необыкновенныя предосторожности, то шайка и наткнулась, при самомъ въѣздѣ въ селеніе, на выставленный за скотнымъ дворомъ *секретъ*, то-есть ночной отводный караулъ. Три казака, изъ коихъ одинъ приказный, услышали издали фырканье лошадей и топотъ ихъ; всѣ трое, перемолвившись шопотомъ, прилегли на-земь, чтобъ не окликая отличить и распознать приближающихся конныхъ, а подпустивъ ихъ шаговъ на тридцать и различивъ положительно киргизскіе малахаи, и разслышавъ говоръ, встрѣтили непріятелей залпомъ изъ трехъ винтовокъ, бросились съ гикомъ впередъ, ухвативъ пики, и разогнавъ этимъ мгновенно толпу, кинулись вопьмахъ къ лошадямъ своимъ, сѣли и поскакали, одинъ въ пикетъ, и двое по станицѣ, распространяя повсюду тревогу. Но не успѣлъ еще первый изъ нихъ доскакать до пикета, какъ тамъ уже запылалъ яркимъ пламенемъ *маякъ*, обвитый камышомъ и соломой шестъ; сигналъ этотъ приняли по всей линіи, вверхъ и внизъ, и вскорѣ цѣлая полоса по Уралу освѣтилась заревомъ маяковъ. Въ то же время, казаки со всѣхъ постовъ спѣшили по призыву туда, гдѣ первый маякъ загорѣлся. Черезъ часъ времени, послѣ трехъ выстрѣловъ секрета, тревога обняла уже верстъ по сту въ обѣ стороны линіи, по направленію къ Гурьеву и къ Уральску; все было на ногахъ, отовсюду спѣшили на помощь.

Осторожные воры, киргизы, не желая бороться съ открытой силой, тотчасъ же отступили, зажгли встрѣченный на пути стогъ сѣна, приололи ни за-что, ни про-что, мужика, бабу и двухъ ребятъ, семейство сызранскаго сапожника, отправившагося по ремеслу своему изъ одной станицы въ другую, и перебрались вплавь

черезъ Уралъ. Значительный отрядъ казаковъ не успѣлъ еще собраться; но человѣкъ пять смѣлыхъ наѣздниковъ, зная хорошо тактику непріятелей своихъ и потому предвидя ихъ дѣйствія, перебрались заблаговременно черезъ рѣку и, ложась, прислушивались, чтобы подстеречь ихъ переправу. Шумъ воды подъ ногами конскими дѣйствительно обнаружилъ невдалекѣ шайку, на такъ-называемомъ броду, хотя отчасти надо было и тутъ переплыть русло; а разгорѣвшійся стогъ сѣна, хотя и былъ отъ этого мѣста верстахъ въ двухъ, освѣтилъ нѣсколько поверхность рѣки, и шайка встрѣчена была ружейными выстрѣлами. Но сила преодолѣла, и казаки наши отступили, захвативъ, однакоже, одного раненаго киргиза; кромѣ того, первыми тремя выстрѣлами, близъ станицы, былъ убитъ одинъ киргизъ, а другой также раненъ и захваченъ; такимъ-образомъ, казаки добыли *языка*, что было для нихъ очень важно, потому-что теперь знали, какая именно была шайка эта, какого рода и племени и изъ какихъ ауловъ, а когда это извѣстно, то уже всегда было болѣе надежды отыскать виновныхъ или заставить однородцевъ ихъ за нихъ поплатиться.

Къ утру собрался небольшой отрядъ въ Сарайчикъ. Въ то время вообще не было строгой формы для казаковъ, а *штаты*, какъ называлась форменная перевязь съ подсумкомъ, надѣвались только во время внѣшнихъ командировокъ. Въ то время уральцы ходили, по обыку, въ алыхъ и малиновыхъ кафтанахъ, съ откидными рукавами по синему поддѣвку, и въ высокой малиновой шапкѣ съ перехватомъ; сабля была принадлежностью войсковыхъ чиновниковъ, а рядовичи довольствовались копьемъ, винтовкой съ ружками и пистолями. Въ степныхъ же походахъ, которые нерѣдко дѣлались, какъ въ настоящемъ случаѣ, спѣшно и по домашнему распоряженію, по поводу набѣга—каждый садился на

коня въ домашней одеждѣ своей: въ простомъ синемъ кафтанѣ, въ хивинскомъ полосатомъ халатѣ, въ чапанѣ, въ стеганкѣ, поддевкѣ или курткѣ, но всегда съ добрымъ оружіемъ, и въ черной, высокой смущатой шапкѣ.

Отрядъ этотъ выступалъ уже съ зарей: сѣдла и необходимую поклажу погрузили на *бударки*, легкія лодочки; туда же сѣли и казаки, человѣка по три и по четыре, взявъ лошадей за чембуры; черезъ часъ кони были уже осѣдланы на противномъ берегу, и отрядъ подымался на кряжъ, потянулся змѣйкой по степи и долго еще виднѣлся издали черной полосой по желтоватому ковылу

— Погоди жъ вы, разбойники!—сказалъ одинъ казакъ, попадая носкомъ сапога въ мочку пики своей,—развѣ не дастъ Богъ сойтись съ вами, а то будете вы помнить Сарайчикъ!

— И чего ихъ, собакъ жалѣютъ, прости Господи!—сказалъ другой, — вотъ вѣдь, которому дашь аманъ, онъ-то самый и надѣластъ тебѣ больше всѣхъ хлопотъ; я говорю, что волкъ, такъ волкъ и есть, попался въ руки, такъ бей его до-суха, а прикормишь да отпустишь—такъ самъ на свою голову кистень выковалъ. Я знаю, что это опять Китайка проказитъ; ужъ отъ него намъ добра не видать. А кабы прошлую осень подняли его на копья, какъ былъ въ рукахъ, такъ бы съ нимъ и не хлопотать. Такъ ли, Сидорычъ, — продолжалъ онъ, обратившись къ подъѣхавшему чернобородому, смуглому казаку, очевидно персидскаго происхожденія, почему онъ и прозывался Кизылбашевымъ,—такъ ли?

— Такъ,—отвѣчалъ тотъ, не подымая глазъ и проворчавъ что-то про себя, а затѣмъ прибавилъ вслухъ,—поднять-то на копья мало бъ кого надо; есть люди и тошнѣй киргизца.. И отъѣхалъ въ сторону

— Вишь, хорасанская кровь! — сказалъ одинъ изъ первыхъ, — гляди, вѣдь онъ все еще зубы точитъ на стараго супротивника своего, на Пахолкина: аль опять они не поладили?

Объяснимъ эту выходку. Кизылбашева отецъ былъ плѣнный персіянинъ, выходецъ изъ Хивы. Приписавшись къ войску, крестившись и женившись тамъ, онъ извѣстенъ былъ въ войскѣ назойливымъ, скрытнымъ нравомъ своимъ и передалъ по наслѣдству это свойство персидской крови старшему сыну. Семейство ихъ жило довольно бѣдно, потому-что рыболовство имъ какъ-то не давалось, а торговлей промышлять безъ истинника очень трудно. По этому поводу, сынъ смолоду вынужденъ былъ идти на службу, на которую и тогда, какъ теперь, вызывались одни охотники, съ уплатою имъ довольно значительныхъ подможныхъ денегъ; эти обстоятельства и отношенія заставили Кизылбашева-сына оставаться холостымъ почти до тридцати лѣтъ; въ эти годы только сдѣлался онъ владѣтелемъ отцовскаго хозяйства и пріобрѣлъ столько своего, что могъ купить невѣстѣ *сороку*, родъ богатой кички, что̀ въ то время считалось совершенною необходимостью и безъ чего ни одинъ казакъ не могъ подумать о сватовствѣ. О приданомъ же и тогда, какъ теперь, у уральскихъ казаковъ никогда не бывало рѣчи: тесть надѣлялъ дочь свою или зятя, по своему усмотрѣнію, и то нѣсколько лѣтъ спустя послѣ женитьбы, когда убѣждался, что молодые хорошо и согласно живутъ.

Задумавъ жениться, Кизылбашевъ сталъ заглядываться на Орину Мироновну, дочь урядника Красоточкина, и хотъ ему, въ его годы и съ его чернобородой рожей, не совсѣмъ къ лицу было любезничать, но онъ, по принятому обычаю, выходилъ къ *базкамъ*, то-есть къ скотнымъ дворамъ, встрѣчать и провожать вмѣстѣ съ Ориной Мироновной стадо, а также хаживалъ зимой

вслѣдъ за дѣвками, на *синчикъ*, то-есть, на молодой ледъ, скользить, играть и бѣгать. Еслибъ Кизылбашевъ былъ вовсе не по нутру Красоточкину, то онъ бы самъ проводилъ дочь къ базкамъ или на синчикъ, и сказалъ бы тамъ тому, кто ухаживаетъ за его дочерью: «не прогнѣвайся, братъ; это не наша дѣвка, чужая»; но какъ ничего подобнаго не случалось, а Орина Мироновна, хотя и называла поклонника своего въ глаза заморской пу́целкой — то-есть чучелкой, потому что Орина Мироновна, какъ и всѣ землячки ея, пришепетывала—хотя и неразъ угражывала, что надѣнетъ ему подойникъ съ молокомъ на голову, но либо пожалѣла молодца, либо пожалѣла молодца, потому что угрозы не исполнила и, какъ Кизылбашеву казалось, бранила его и отбивалась отъ него только для забавы и приличія.

Въ такомъ положеніи было дѣло это, когда вдругъ, недуманно, негаданно, добрые люди изъ сосѣдней станицы прибыли въ домъ Красоточкина и привезли поклонъ и ласковое слово отъ старика Пахолкина, который сватался Орину за сына, за молодого сотника. Это было, конечно другое дѣло и не Кизылбашеву чета: сотникъ Пахолкинъ былъ молодецъ молодцомъ, а у отца его былъ хуторокъ на Камышъ-Самарѣ, другой на узеняхъ, гдѣ ходило косякомъ до десятка добрыхъ коней, да, кромѣ того, старикъ ежегодно вымѣнивалъ у киргизовъ тысячи по двѣ и по три барановъ, отгоняя ихъ на убой въ салотопни. При такихъ отношеніяхъ, не только Кизылбашева и въ поминѣ не было въ этомъ дѣлѣ, но объ немъ и думать позабыли; Красоточкинъ далъ слово, и черезъ нѣсолько дней женихъ навѣстилъ невѣсту, а вскорѣ опять пріѣхалъ и привезъ ей въ подарокъ такую сороку, которая выставлена была цѣлыя двѣ недѣли на показъ, и казачки съѣзжались даже съ Баксая и изъ Кармановской станицы посмотрѣть на этотъ подарокъ.

Кизылбашева, который, какъ мы уже сказали, довольно долго крѣпился и собирался, покуда обстоятельства не позволили ему подумать о сватовствѣ, неудача эта крѣпко смущала. На бѣду не стало дѣло за такими людьми, которые начали подтрунивать надъ бѣднякомъ; въ особенности же дѣвушки, будто сговорились, стали спрашивать его, при встрѣчѣ, отчего его теперь нигдѣ не видно? Злобное сердце его вскипѣло местью. и онъ не разъ искалъ случая, чтобъ отомстить Пахолкинымъ или Красоточкинымъ — все равно—за неудачу свою, тогда какъ ни тѣ, ни другіе и не думали о немъ и мирно и весело сыграли свою свадьбу.

Со времени этого происшествія прошло уже съ полгода, но Кизылбашевъ не считалъ еще, какъ видно, дѣла своего конченнымъ и, какъ можно было догадываться по отвѣту его, который мы слышали, замышлялъ что-нибудь недоброе. Поводъ же къ этому былъ вотъ какой: въ собранномъ наскоро отрядѣ находился не только счастливый соперникъ Кизылбашева, Пахолкинъ, но и два брата его и дядя, и сверхъ того самъ старикъ Красоточкинъ съ сыномъ и племянникомъ; словомъ, такъ какъ казаки сосѣднихъ станицъ вообще всѣ почти между собою въ родствѣ и свойствѣ, то въ набранномъ изъ Сарайчика и ближайшихъ станицъ отрядѣ было много казаковъ, рядовыхъ и чиновныхъ, состоявшихъ въ болѣе или менѣе близкомъ родствѣ съ Пахолкиными и Красоточкиными. Кизылбашевъ, состоявшій на линейной службѣ, тдѣ изрѣдка только встрѣчался съ кѣмъ-нибудь изъ этихъ людей, теперь внезапно сошелся со всѣми съ ними лицомъ-къ-лицу. Встрѣча столькихъ ненавистныхъ лицъ возмутила его и пробудила давнишнюю злобу.

Отрядъ сдѣлалъ до вечера, съ приваломъ, очень большой переходъ, но, не настигнувъ хищниковъ, оста-

новился, съ тѣмъ, чтобъ на завтра продолжать поискъ свой и напасть на аулы, къ которымъ грабители принадлежали. Зная опасность своего положенія, казаки приняли всѣ обычныя предосторожности и не только выставили цѣпь вокругъ всего стана, но и еще особенную вокругъ всего табуна, потому что лошадей надобно было пускать ночью на подножный кормъ.

Когда стали вызывать по наряду караульныхъ въ ночную цѣпь, на вторую или третью смѣну, то въ числѣ чередныхъ одного не досчитывались: оказалось, что Кизылбашева нѣтъ. Пустили голосъ и прокричали по всему отряду, искали вездѣ, полагая, не заснулъ ли онъ гдѣ — но нигдѣ его не оказалось, и никакого слѣда его не нашли. Никто не зналъ, что подумать. «Сошелъ съ ума нашъ Кизылбашевъ», говорили казаки, «диво куда онъ запропастился: а былъ тутъ съ вечера—развѣ не подхватили ль его какъ-нибудь втихомолку карсаки (т.-е. киргизы?)».

А Кизылбашевъ, между тѣмъ, разузнавъ о близости ауловъ, рѣшился на небывалое дѣло: онъ бѣжалъ изъ отряда, съ тѣмъ, чтобы подвести непріятеля, напасть врасплохъ и уничтожить, какъ онъ надѣялся въ слѣпой злобѣ своей, весь отрядъ. Несчастная мысль эта поселилась въ немъ уже въ то самое время, какъ только весь отрядъ былъ въ сборѣ и Кизылбашевъ увидѣлъ, что тутъ находилась большая часть мнимыхъ непріятелей его, по-крайней-мѣрѣ ненавистныхъ ему людей. И въ надеждѣ погубить ихъ, онъ не пощадилъ никого и не подумалъ даже о себѣ-самомъ...

Еще было темно, и востокъ не обозначился заревомъ; весь отрядъ покоился, одни только часовые на цѣпи перекликались, какъ три отчаянные молодые киргиза, будучи подведены къ отряду отступникомъ и измѣнникомъ, легли на земль, въ такомъ разстояніи отъ отряда, какъ только могли разслышать фырканье

и чиханье казачьихъ лошадей, и поползли по травѣ. Одинъ служилъ вожакомъ, другіе два ползли за нимъ и вовсе не подымали головы, полагаясь во всемъ на передового, который останавливался на каждыхъ десяти-пятнадцати шагахъ и осторожно озирался кругомъ, едва только отдѣляя голову отъ земли. Они ползли съ такою осторожностью, что шороху было не болѣе, какъ отъ змѣи. У каждаго изъ нихъ висѣлъ на поясѣ добрый ножъ: одежда на нихъ была самая легкая—одни лохмотья; оружія, кромѣ ножа, никакого. Такимъ образомъ подползли они вплоть къ цѣпи, и увидать ихъ, по темнотѣ ночи, было невозможно. Выждавъ удобную минуту, когда оба смежные часовые оборотились въ противную сторону, воры проползли внутрь цѣпи и вскорѣ очутились посреди пасущихся, стреноженныхъ лошадей. Тутъ каждый изъ нихъ окликалъ потихоньку и огладилъ по лошади, поспѣшно перерѣзалъ ножемъ треногу и сдѣлалъ то же у нѣсколькихъ сосѣднихъ лошадей; тогда всѣ трое вдругъ вскочили на коней, со страшнымъ, внезапнымъ гикомъ пустились скакать во весь духъ, безъ узды, куда лошади угодно, продолжая дикій, неистовый ревъ свой, погоняя лошадь подъ собой тычками ножа и поражая имъ на скаку лошадей вправо и влѣво. Весь табунъ шарахнулся, ни одна тренога не удержалась, и ошалѣвшіе кони понеслись вслѣдъ за проскакавшими всадниками, опрокинувъ передъ собою караульную цѣпь.

Казаки въ ту же минуту вскочили, ухватившись за оружіе; и была пора, потому что шайка въ нѣсколько сотъ человѣкъ, съ такимъ же неистовымъ, дикимъ ревомъ, кинулась теперь на отрядъ. Какъ ни жестокъ бываетъ подобный приступъ, но при устойкѣ и встрѣчѣ ружейнымъ огнемъ, нестройная толпа эта всегда поспѣшно отступаетъ, возобновляя нападенія свои посте-

пенно съ меньшею отвагою и меньшею удачею, потому что казаки выигрываютъ время, могутъ собраться въ порядкѣ и успѣваютъ зарядить ружья. Такъ было и тутъ: киргизы, послѣ нѣсколькихъ отчаянныхъ попытокъ, отступили; вопли ихъ слышались въ отдаленіи; отрядъ даже пустился было преслѣдовать ихъ, но пѣшій конному не товарищъ, и сотникъ Пахолкинъ остановилъ безполезное рвеніе казаковъ. Въ цѣломъ отрядѣ не осталось болѣе пяти лошадей; лучшіе казаки вскочили на нихъ и понеслись во весь духъ за отогнаннымъ табуномъ.

Заря уже начинала заниматься, когда погоня взяла на видъ хищниковъ, гнавшихъ лошадей съ возможною поспѣшностью. Одна только изъ пяти лошадей была довольно бойка и надежна, на остальныхъ нельзя было положиться. Урядникъ Красоточкинъ, лихой старикъ, тесть Пахолкина, сидѣлъ на этой лошади и рѣшился попытать счастія, не дожидаясь отставшихъ четырехъ товарищей своихъ. Онъ пустился во весь духъ, обскакалъ табунъ, не обращая никакого вниманія на тревогу, поднятую киргизами, повернулъ круто въ бокъ лошадямъ, скололъ одного изъ воровъ, кинувшихся ему на встрѣчу, и съ такимъ же дикимъ ревомъ проскакалъ поперекъ всего табуна, увлекая шарахнувшихся снова коней за собою. Давъ значительный кругъ и скача впереди, Красоточкинъ воротилъ благополучно часть табуна и привелъ его въ станъ, между тѣмъ какъ отставшіе четыре казака подоспѣли и защитили отбитую добычу свою отъ новыхъ нападеній.

Какъ только лошади прибыли въ станъ, то мгновенно были осѣдланы, и Пахолкинъ пустился съ лучшими казаками въ погоню за шайкой. Настигнувъ ее, онъ частію разбилъ, частію разсѣялъ ее и успѣлъ захватить въ плѣнъ до пяти человѣкъ, въ чемъ, кромѣ показанія хищниковъ, и состояла цѣль поиска

его; эти пять человѣкъ должны были выручить весь отрядъ изъ бѣды

Убитыхъ не воротить, и потому киргизы объ нихъ мало заботятся, кромѣ того, что стараются увезти трупы съ собою для погребенія; но о плѣнныхъ они чрезвычайно хлопочутъ и для выкупа ихъ готовы сдѣлать все, что могутъ, ничего не жалѣя. Когда ободняло, весь отрядъ собрался опять на становище; пересчитали людей и лошадей и увидѣли, что, кромѣ Кизылбашева, всѣ казаки были на лицо, въ томъ числѣ двое или трое раненыхъ пикой или чеканомъ; но недоставало еще до семидесяти лошадей. Разсмотрѣвъ и разобравъ плѣнниковъ своихъ, Пахолкинъ выбралъ изъ нихъ одного простого киргиза, сверхъ того еще и раненаго, далъ ему одну изъ плохихъ лошадей и, настращавъ порядкомъ, приказалъ ѣхать къ султану Юсуфу Галикееву, начальнику шайки, и объявить, что если до полудня не будутъ доставлены всѣ лошади и бѣглецъ Кизылбашевъ, то киргизы найдутъ на этомъ мѣстѣ четырехъ плѣнниковъ, забитыхъ до смерти нагайками; отрядъ же выступитъ, съ тѣмъ числомъ конныхъ, сколько есть, для разграбленія ауловъ Галикеева и будетъ рѣзать все, что ни попадется ему подъ руку.

Часа черезъ три, гонецъ отъ султана Галикеева прискакалъ, соглашаясь на предложенія о размѣнѣ плѣнныхъ, но просилъ прибавить нѣсколько часовъ срока, потому что лошади были загнаны далеко и послано за ними въ догонку. Размѣнъ состоялся на половину: коней пригнали; за раненыхъ и неотысканныхъ казачьихъ лошадей киргизы додали своихъ; но Кизылбашева, котораго, конечно, не пожалѣли бы, при такихъ обстоятельствахъ, выдать не могли, не смотря ни на какія настоянія Пахолкина, увѣряя, что онъ скрылся. Поэтому сотникъ счелъ себя вправѣ не выдавать и плѣнныхъ, утверждая, что договоръ со-

стороны киргизовъ не исполненъ; тогда эти вздумали требовать выдачи обратно лошадей; завязался споръ, а наконецъ и драка, которая кончилась весьма невыгодно для киргизовъ: казаки жестоко наказали ихъ, напавъ еще вторично на приблизившуюся шайку и гнали ее, побивая, до самой ночи. Такимъ образомъ, отрядъ Пахолкина воротился благополучно въ Сарайчикъ, съ пѣснями и побѣдными кликами, не потерявъ ни одного человѣка, а сдѣлавъ свое дѣло: наказавъ хищниковъ порядкомъ и отогнавъ довольно скота. Вѣсть объ измѣнѣ Кизылбашева, о которомъ не было ни слуху, ни духу, разошлась вскорѣ по всему войску, и едва ли на чью-нибудь голову было когда-либо произнесено столько проклятій, сколько досталось отъ мала и велика на долю позорной памати этого несчастнаго полу-персіянина. Прошло нѣсколько лѣтъ, и о Кизылбашевѣ не было рѣчи; всѣ свѣдѣнія изъ степи подтвердили первоначальное извѣстіе, что онъ пропалъ безъ вѣсти.

Однажды, въ темную и бурную осеннюю ночь, повторилось почти то же, что было описано нами въ началѣ этого разсказа: шайка киргизовъ прорвалась или прокралась внутрь линіи неподалеку Кожехарово; пущенные по линіи маяки подняли на ноги все населеніе, и собранный отрядъ пошелъ вслѣдъ за грабителями. Онъ къ вечеру остановился, прислонившись тыломъ къ озеру, гдѣ было хорошее пастбище, выставилъ впереди цѣпь и послалъ разъѣздъ до извѣстнаго урочища, гдѣ былъ крутой, обширный яръ, чтобъ удостовѣриться, нѣтъ ли тамъ засады.

Разъѣздъ подъѣхалъ къ урочищу ужъ въ сумерки и пустился на нѣсколько верстъ, для осмотра, вдоль яра. Все было мертво и пусто, нигдѣ и слѣдовъ аула или стоявшей шайки не найдено. Вдругъ (я говорю по словамъ разъѣздныхъ казаковъ) конный казакъ выѣзжаетъ

вплоть передъ ними изъ оврага: кивнувъ головой онъ берется за шапку, будто здоровается, и робко объѣзжаетъ вокругъ разъѣзда. Явленіе это до того поразило казаковъ, что они стояли нѣсколько минутъ, какъ вкопанные, и даже не окликали встрѣчнаго и не подали голоса... Наконецъ, урядникъ, узнавъ въ казакѣ этомъ Кизылбашева, назвалъ его по имени и звалъ къ себѣ, убѣждая покаяться въ грѣхахъ своихъ и добровольно явиться къ начальству... Кизылбашевъ не отвѣчалъ сперва ничего, но покруживъ, сталъ разспрашивать, что дѣлается въ войскѣ: кто теперь атаманъ, дома ли такіе-то казаки, и проч. Урядникъ повторилъ ему настоящіе свое, чтобъ онъ ѣхалъ съ ними, а когда тотъ кивнувъ опять слегка головой, передвинулъ шапку, въ видѣ поклона, и поворотилъ лошадь къ оврагу, то урядникъ кинулся за нимъ и протянулъ уже руку, чтобъ схватить, какъ вдругъ его не стало. Урядникъ и разъѣздные казаки перекрестились, прочитали «аминь, аминь, разсыпься»; поискали еще нѣсколько времени переметчика, но не найдя ничего, воротились.

То же почти случилось на слѣдующую весну, когда небольшой казачій отрядъ посланъ былъ на помощь султану-правителю по поводу баранты и угоновъ. И тутъ опять, ночью, нечаянно подъѣхалъ къ отряду казакъ, будто изъ земли выросъ; робко приближался, но все держался поодаль; и опять разспрашивалъ, что дѣлается въ войскѣ. Всѣ, кто зналъ Кизылбашева, узнали его; казаки бросились и окружили было его, но онъ пропалъ опять на мѣстѣ, будто провалился сквозь землю.

Съ этого времени уральскимъ отрядамъ частенько случается видѣть въ степи *полунощника*; и полунощникъ этотъ не иной кто, какъ Кизылбашевъ. Много прошло лѣтъ, много десятковъ лѣтъ прошло съ той несчастной ночи, когда безразсудная, злобная месть

воспламенила персидскую кровь этого несчастнаго и какъ онъ, посягнувъ на одно изъ самыхъ страшныхъ преступленій, продалъ свою душу—и все еще привидѣніе его шатается по обширной степи, ищетъ и не находитъ покоя и, встрѣтивъ русскій отрядъ, подъѣзжаетъ къ нему и разспрашиваетъ о томъ, что дѣлается на Руси и въ родномъ уральскомъ войскѣ... Теперь уже привыкли къ нему и знаютъ его; казаки не пугаются болѣе этого загадочнаго явленія: какъ только увидятъ они издали, ночью, чужого казака на бѣлой лошади, въ чапанѣ и шапкѣ стариннаго обыка, съ густой и черной круглой бородой, со смугло-желтымъ, болѣзненнымъ цвѣтомъ лица, съ мутными, непостоянными глазами, такъ и творятъ молитву и говорятъ другъ другу: «гляди, полунощникъ!»

V

ЗАУМАРКИНА МОГИЛА

Радуница и семикъ принадлежать къ важнѣйшимъ и любимымъ праздникамъ устюжанъ: оба посвящены памяти усопшихъ. Радуницей называется вторникъ Ѳоминой недѣли, въ который и во всей великой Россіи совершаются поминки, тогда какъ на Украинѣ это дѣлается въ понедѣльникъ. Семикомъ называется четвертокъ седьмой недѣли по Пасхѣ. Тотъ и другой день празднуются устюжанами при Іоанно-Предтеченскомъ дѣвичьемъ монастырѣ, съ установленія при немъ въ эти дни крестныхъ ходовъ, или съ 1445 года.

За стѣнами этого монастыря была сосновая роща, отжившая вмѣстѣ съ отцами нашими, но остатки пней о-сю-пору покрываютъ неровную мѣстность. Это не тотъ боръ однакоже, который, еще до построенія монастыря, служилъ мѣстомъ соколиной охоты для устюжскихъ баскаковъ; есть, напротивъ, любопытное и правдоподобное преданіе, которое объясняетъ намъ, откуда взялся на этомъ мѣстѣ небольшой сосновый борокъ, коего пни доказываютъ и нынѣ, что деревья стояли довольно рѣдко и притомъ большею частію на небольшихъ бугоахъ или насыпяхъ.

На этомъ мѣстѣ было встарину, въ теченіе многихъ вѣковъ, покоище, т. е. тутъ погребали умершихъ безъ покаянія, скоропостижною смертію, погибшихъ несчастными случаями и самоубійцъ. Для этого здѣсь становилась *скудельня*, родъ часовни и упокойнаго дома, подъ которымъ вырывалась одна общая большая могила, гдѣ ставились всѣ, кому суждено было въ теченіе того года лежать не на кладбищѣ, а на покоищѣ, и быть погребеннымъ безъ отпѣванія. Но человѣколюбіе и христіанское примиреніе не лишало и этихъ отверженныхъ части благодатныхъ обрядовъ своихъ, совершая ихъ къ утѣшенію родственниковъ и ближнихъ одинъ разъ въ году, въ видѣ общаго поминовенія. Тогда на покоищѣ этомъ дѣлался крестный ходъ, въ которомъ участвовалъ самъ преосвященный со всѣхъ духовенствомъ, и надъ общей могилой отправлялась панихида. Это дѣлалось именно въ день семика. Приходскіе священники по просьбѣ мірянъ отправляли, послѣ общей панихиды, частныя. Отъ этого произошло здѣсь обыкновеніе посѣщать въ семикъ кладбище. По окончаніи панихидъ, скудельня переносилась по близости на новое мѣсто, для приготовленія другого *зимовища*, какъ называли эту общую могилу, а старая зарывалась, на ней насыпался небольшой курганъ, и вмѣсто креста или иного памятника, который вообще у насъ не заведено ставить надъ могилами безъ покаянія умершихъ, здѣсь была посажена молодая сосна. Вотъ происхожденіе бывшей монастырской рощи. Время изводитъ все; въ могилахъ остались однѣ полуистлѣвшія кости, а на могилахъ дуплястые пни, которыхъ вскорѣ не будетъ вовсе.

Есть преданіе, что когда въ Устюгѣ свирѣпствовалъ моръ, подъ названіемъ черной смерти, гдѣ болѣзнь обнаруживалась черными болячками по тѣлу, то многіе изъ жителей, коль скоро только черная немочь на

нихъ обнаруживалась, сами уходили за городъ въ скудельню, и тамъ умирали.—Всѣ знали, что спасенія отъ этой болѣзни не было, что она заразительна и легко передавалась отъ одного человѣка другимъ, и народъ, покоряясь этому бичу небесъ, шелъ въ скудельню, и, такъ сказать, заживо самъ ложился въ могилу свою. Полагаютъ, что это было поводомъ къ основанію скудельни, которая впослѣдствіи обратилась въ кладбище для умершихъ безъ совершенія надъ ними таинства и христіанскихъ обрядовъ.

Кромѣ этого общаго зимовища, на томъ же мѣстѣ было много могилъ одиночныхъ или семейныхъ, если цѣлое семейство погибало внезапно отъ какого-либо несчастнаго случая. Такъ, напримѣръ, преданіе о Заумаркиной могилѣ еще свѣжо; на нее укажетъ вамъ каждый устюжанинъ; и пень сосны, посаженный по тогдашнему обычаю на небольшую насыпь, составляетъ одну изъ примѣтъ ея. Вотъ что разсказываютъ объ этой могилѣ.

Жилъ-былъ устюжанинъ по прозванію Заумарко, житель, такъ называемой здѣсь, горы, человѣкъ пьяный и буйный. Никакія увѣщанія родственниковъ не могли его исправить, ни даже склонить малѣйше къ обузданію себя: онъ пьяный страшно мстилъ всякому, кто ему трезвому дѣлалъ упреки или читалъ наставленія, стараясь пробудить въ немъ совѣсть Такимъ образомъ всѣ отъ него отступились, никто не хотѣлъ связываться съ Заумаркой, ни съ пьянымъ, ни съ трезвымъ, если только онъ бывалъ когда-нибудь трезвъ; всякій обходилъ его, встрѣчаясь съ нимъ на улицѣ, а черезъ порогъ къ нему не переступалъ никто.

Но есть связи такого рода, которыхъ человѣкъ не въ силахъ разорвать, и была такая несчастная душа, которая должна была жить подъ одной кровлей съ Заумаркою: за нимъ утопили хорошую дѣвку, которой

плачъ и стоны слышалъ одинъ только Богъ, сосѣди же были до нея глухи. Этого мало, у нея было еще отъ Заумарки двое дѣтей, сынъ и дочь, которыхъ она хоронила отъ мужа, опасаясь его звѣрскаго и безумнаго сердца. Однажды раннимъ утромъ сосѣди увидѣли семи-лѣтнюю дочь Заумарки передъ домомъ на улицѣ: она стояла спокойно и не сводила глазъ съ родительскаго дома. Люди объ ней не заботились; многіе ходили туда и сюда, за суетными нуждами своими, и обходили несчастнаго ребенка, чуждаясь отверженнаго отца. — Уже солнце поднялось въ дерево и выше, а дѣвочка стояла все на одномъ и томъ же мѣстѣ, какъ не живая. Наконецъ одинъ добрый человѣкъ, которому показалось это небывалымъ, подошелъ къ ней и сталъ ее разспрашивать; вскорѣ собралось много народу, всѣ слушали, пожимали плечами, переговаривались шопотомъ, и со страхомъ поглядывали на Заумаркину избу; ребенокъ говорилъ очень просто и ясно, что отецъ зарѣзалъ мать и сына, а самъ упалъ на полъ и сгорѣлъ. Послѣ долгихъ толковъ рѣшились войти въ избу; ребенокъ сказалъ правду: мать и сынъ были зарѣзаны и плавали въ крови, а безобразные остатки отца, сгорѣвшаго самъ собою отъ вина, лежали на полу. Трехъ покойниковъ похоронили на извѣстномъ покоищѣ, но въ особой могилѣ; она, какъ я сказалъ, и донынѣ называется Заумаркиной, и по общему тогда обычаю украшена была сосной.

VI

БОГАТЫРСКІЯ МОГИЛЫ

Сродство и потаенная связь языковъ, обычаевъ, повѣрій и преданій у различныхъ племенъ и въ отдаленныхъ другъ отъ друга мѣстахъ нерѣдко заставляютъ насъ призадуматься. Въ Нерехтѣ вы услышите *божить* вмѣсто желать, хотѣть; и только, проѣхавъ 1000 верстъ на югъ, вы опять услышите нѣчто похожее на Украинѣ: *бажать*, или въ Бѣлоруссіи: *бажаць*. Глаголъ *шишнуть*, употребляемый въ просторѣчіи почти только въ повелительномъ наклоненіи: *шишни*, замолчи — также отзывается на Украйнѣ въ нарѣчіи *нищечкомъ*, потихоньку, тихо. Говорятъ, что древнѣйшая рукопись сказки или сатиры о *лисѣ*, обработанной между прочимъ также Гете, найдена на языкѣ галльскомъ; въ Германіи сказка эта съ незапамятныхъ временъ обратилась въ народную, и тоже находимъ мы въ Великой и Малой Россіи; въ нашихъ сказкахъ лиса пускается на однѣ и тѣже продѣлки, какъ и тамъ. Кто и когда отъ другого заимствовался?

Въ Россіи, въ нѣсколькихъ отдаленныхъ другъ отъ друга мѣстахъ, но впрочемъ все болѣе на сѣверѣ, находимъ мы въ народѣ сохранившійся понынѣ обычай

или повѣрье чествть загадочную могилу неизвѣстнаго богатыря тѣмъ, чтобы, поминая его, когда минуешь могилу эту, бросать на нее, что случится подъ рукой. Это находимъ мы у Торопца, у Холма, а также на самомъ сѣверѣ у Ледовитаго океана, у Ижемской Чуди. Вотъ что объ этомъ тутъ и тамъ разсказываютъ мѣстные жители.

Холмскаго уѣзда, вплоть у деревни Изоръ, при устьѣ впадающаго въ оную безъименнаго ручья и при дорогѣ отъ погоста Канищева, къ рѣчкѣ Купьей, есть холмъ, мимо котораго не пройдетъ и не проѣдетъ ни одинъ крестьянинъ того околодка, не кинувъ, перекрестясь, на бугоръ этотъ клочекъ сѣна или травы; даже конный сходитъ на этомъ мѣстѣ съ лошади, чтобы исполнить завѣтный обрядъ. Старожилы говорятъ, что это ведется съ незапамятныхъ временъ, въ чемъ и нельзя сомнѣваться; такой обычай не могъ родиться, не только въ память нынѣшняго поколѣнія, но даже въ память дошедшаго до насъ преданія, — иначе былъ бы также извѣстенъ поводъ къ тому, и самое время, когда онъ завелся. Преданіе говоритъ только, что это дѣлается въ поминъ погребеннаго на томъ мѣстѣ могучаго въ свое время богатыря, съ вѣрнымъ конемъ его. Если кто не захочетъ или даже позабудетъ воздать ему заповѣдную честь, то онъ ночью выходитъ изъ заповѣдной могилы своей, на конѣ и въ полномъ вооруженіи, и заслоняетъ великодушному путнику дорогу. И всадникъ и конь его необычайнаго роста, вооруженіе древнее, шеломъ и кольчуга съ налокотниками; все это блеститъ ярко; видно— богатырь о-сю-пору чистится отъ скуки и бережетъ сбрую и доспѣхи свои отъ ржавчины. Это мѣсто называется *сопкою богатыря, богатырской сопкой.*

Мѣстоположеніе вкругъ деревни Изоръ ровное и боровое; по другую сторону рѣки, въ сосновомъ бору,

стоятъ рядомъ еще три насыпныя сопки или могилы, но небольшія, немногимъ выше человѣка. Вокругъ нихъ раскидано множество крестовъ, грубо вытесанныхъ изъ дикаго камня, и, по наружному виду ихъ, весьма древнихъ. Это мѣсто называется *могильниками*. Нѣтъ даже и преданія о томъ, чтобы здѣсь когда-нибудь стояла церковь или было кладбище; но и по другимъ направленіямъ вокругъ богатырской сопки также разсѣяны такіе же небольшіе курганы, повидимому насыпные, но безъ всякаго порядка и нерѣдко порознь.

Съ открытіемъ весны, на багатырской сопкѣ оказывается столько сѣна, что, какъ крестьяне говорятъ, стало бы его на прокормъ одной лошади во всю зиму; но никогда и никто не посмѣлъ свезти этотъ стожокъ, для потребы своей, домой, даже во время большого недостатка корму и трудности прокормить скотъ. Отъ этого приключилась бы такая бѣда, что мужики, на вопросъ объ этомъ, не могли даже придумать, чѣмъ бы такой смѣльчакъ поплатился.

Почти тоже находимъ и въ Торопецкомъ уѣздѣ. Тутъ дорога къ Смоленску, между рѣками Торопою и Двиною, пролегаетъ песчанымъ берегомъ, и невдалекѣ отъ погоста Бѣнецъ виднѣются нѣсколько кургановъ, по здѣшнему—сопокъ, довольно возвышенныхъ и уже поросшихъ лѣсомъ. Замѣтимъ впрочемъ мимоходомъ, что послѣднее обстоятельство не доказываетъ древности кургана:—такъ называемыя французскія могилы, на пути обратнаго шествія великой арміи, также поросли уже соснами въ человѣка толщины. Здѣсь однако же, въ Торопецкомъ уѣздѣ, въ память людскую не было никакого событія, объясняющаго присутствіе бѣнецкихъ сосенъ; одно преданіе говоритъ, что это есть побоище Руси съ Литвою; другое напротивъ утверждаетъ, что здѣсь побита и погребена большая

шайка вольницы, истребленной неизвѣстно когда царскимъ войскомъ.

Подлѣ самой дороги и вблизи кургановъ есть мѣсто, урочище, не означенное ни сопкой, ни другимъ наружнымъ признакомъ; а между тѣмъ оно живетъ въ памяти народа, и каждый изъ окружныхъ жителей его знаетъ. Здѣсь подвизался, съ неимовѣрною храбростію, какой-то славный витязь, котораго имя забыто и забыто также — для чего и для кого онъ положилъ свой животъ; но думать надо, что онъ стоялъ за святое дѣло, иначе бы народъ не чтилъ о-сю-пору память его: либо онъ побилъ Литву, либо разбойниковъ Встарину, по увѣренію стариковъ, за него служили панихиды; теперь же поминовеніе его замѣнено особымъ, установившимся за общій обычай, обрядомъ: каждый изъ окрестныхъ жителей, минуя это мѣсто, считаетъ ненарушимою обязанностію своею отломить вѣтку отъ дерева и бросить ее на могилу или на поприще удалого богатыря. Въ лѣтнее время здѣсь бываетъ много ѣзды, и обратившійся въ привычку обычай исполняется всякимъ проѣзжимъ, кромѣ развѣ чужестранныхъ людей; поэтому костеръ сучьевъ наростаетъ день ото дня и образуетъ, наконецъ, большую кучу или курганъ. Но вотъ что замѣчательно: костеръ этотъ растетъ только два года, а на третій сгораетъ; на пепелищѣ появляются два сучка, сложенные крестомъ, и они служатъ основаніемъ новаго костра, который накопляется опять также два года, а на третій — сгораетъ. Такъ ведется съ незапамятныхъ временъ. Отчего костеръ сгораетъ и кто кладетъ въ основаніе новаго памятника два сучка крестомъ, — этого никто не знаетъ; по крайней мѣрѣ вы не найдете никого, кто бы это вамъ сказалъ. Крестьяне увѣряютъ, что ни у кого рука не поднимется поджечь костеръ, хотя ему и суждено сгорѣть, и это должно быть витязю

пріятно; — но никто однако же не посмѣетъ къ нему прикоснуться. Старики говорятъ, что уже за нихъ память это дѣло идетъ своимъ порядкомъ болѣе полустолѣтія, а при отцахъ и дѣдахъ ихъ было все тоже, но что никто и никогда не могъ подсмотрѣть, кѣмъ костеръ зажигается. Мало того, увѣряютъ, что многіе заставали свѣжую и теплую золу на могилѣ богатыря, но огня никто не видалъ, хотя такая огромная куча и должна горѣть ярко и довольно долго. Вѣроятно это дѣлается зимой когда лѣтняя дорога покидается и западаетъ снѣгомъ, а прокладывается ближайшій зимникъ по болотамъ и озерамъ. Это объясняется также, какимъ образомъ пылающій костеръ никогда не разносилъ лѣсного пыла или пожара, котораго слѣдовъ не видно на ближайшихъ хвойныхъ деревьяхъ. Если мы не согласимся вѣрить, вмѣстѣ съ народомъ, въ это чудо, то остается предположить: либо, что распространенное и укоренившееся въ народѣ повѣрье заставляетъ того или другого, кого случай наведетъ въ урочное время на то мѣсто, зажечь костеръ и утаить это, обманывая себя и другихъ, какъ это нерѣдко въ суевѣріяхъ случается; либо, что этотъ обрядъ всесожженія составляетъ тайну немногихъ, соблюдающихъ въ родѣ своемъ какое-нибудь завѣтное преданіе.

Теперь перейдемъ на Ижму и разскажемъ чудесное преданіе о *Ясѣ*, о зломъ волхвѣ и богатырѣ, котораго имя осталось понынѣ въ памяти народной, обратившись въ нарицательное и означая почти тоже въ повѣріи племенъ этихъ, что по вашему лѣшій.

Саженъ полтораста отъ селенія Ижмы, гдѣ между изгородями пролегаетъ по берегу рѣки дорога, лежитъ небольшой курганъ, заваленный хворостомъ, облом-

ками сучьевъ, коменьями и тому подобнымъ хламомъ. Кто бы ни шелъ мимо, всякій бросаетъ на холмикъ этотъ, что попадается ему подъ руку; такъ ведется съ незапамятныхъ временъ, и народъ до того къ этому привыкъ, что всякій, не доходя до кургана, оглядывается и запасается во-время хворостиной, вѣткой или камнемъ, потому что вокругъ самаго кургана чисто, и все движимое давно уже подобрано. Кто бы рѣшился не исполнить этого обычая, на того народъ сталъ бы смотрѣть, какъ на опаснаго вольнодумца и безбожника, или какъ на невѣжду, пренебрегающаго священными, вѣковыми обычаями отцовъ и дѣдовъ.

Старики разсказываютъ, что въ прежнія времена, которыя, какъ всякому извѣстно, славились чудесами, вкругъ этой могилы бродили въ осеннія, темныя ночи какія-то страшилища, сверкая раскаленными какъ уголь глазами и завывая страшными голосами. Иногда на курганѣ вспыхивалъ синеватый огонь, и въ огнѣ этомъ видны были яркіе, красные, будто налитые кровью глаза. Бывали смѣльчаки, которые подходили въ это время къ кургану, но они возвращались оттуда изувѣченными и нѣмыми, или даже сумасшедшими. И теперь еще курганъ этотъ внушаетъ суевѣрный страхъ всѣмъ окрестнымъ жителямъ; никто, конечно, не рѣшился бы пройти ночью по близости его, а всякій дѣлаетъ обходы, осѣняясь крестомъ и молитвой.

Въ стародавнее время, когда еще нжемцы не знали никакихъ властей, кромѣ старшихъ своихъ, жили разсѣянными по дремучимъ лѣсамъ своимъ, питаясь и одѣваясь тѣмъ, что добывало копье, лукъ и стрѣла, поклонялись каменнымъ и деревяннымъ болванамъ, и назывались однимъ именемъ со многими другими племенами, Чудью, тогда, около этихъ мѣстъ появился Ягса; кто и что онъ былъ и откуда взялся—неизвѣстно;

это былъ, по виду, человѣкъ, но аршиномъ выше всѣхъ другихъ, даже самыхъ рослыхъ людей; голосъ его былъ страшенъ и раздавался по лѣсамъ на большое пространство; глаза кровавые, яркіе, какъ огонь, смуглое, безобразное лицо, черный и густой, жесткій волосъ, вродѣ конскаго хвоста; щетинистая борода, лапищи огромныя, слѣды такіе, что человѣкъ могъ стать въ каждый изъ нихъ обѣими ногами; одежда изъ шкуръ медвѣдей, которыхъ онъ билъ копьемъ своимъ; все это придавало ему страшный видъ, и появленіе этого чудища взволновало мирную Чудь, которая дала ему названіе злого чародѣя *Ягсы*. Онъ никогда и ни съ кѣмъ не говорилъ; ходилъ всегда вооруженный огромнымъ копьемъ и тяжелою сѣкирой, никто не зналъ жилья его, всѣ избѣгали встрѣчи съ нимъ, но онъ по-временамъ являлся вблизи жилищъ, для грабежа и разбоя: онъ убивалъ людей безъ причины, ради одного страха или для забавы; онъ угонялъ скотъ, уносилъ дѣтей, которыя пропадали безъ вѣсти, но въ особенности преслѣдовалъ молодыхъ и пригожихъ дѣвушекъ, которыхъ высматривалъ, бродя по ночамъ вкругъ огней, выхватывалъ изъ мирной семьи и, перекинувъ черезъ плечо, какъ волкъ овечку, бѣгомъ уносилъ въ неизвѣстную никому берлогу свою. Это нагнало на жителей такой страхъ, что люди почти умирали съ голоду, не смѣя идти въ лѣсъ и къ озерамъ на промыслы, изъ опасенія встрѣчи съ Ягсой, который въ такомъ случаѣ всегда почти убивалъ промышленника; дѣвки же прятались постоянно въ самые темные углы жилья своего, не смѣя выказать лица на свѣтъ Божій, чтобы не приманить этимъ страшнаго и проклятаго Ягсу. Но и это ихъ не спасало: онъ былъ волхвъ, отъ котораго трудно было уйти или скрыться. Повороживъ, когда ему нужна была жертва, онъ угадывалъ, въ какомъ мѣстѣ или жильѣ находилась пригожая дѣвка и,

отправившись туда, нападалъ врасплохъ на бѣдныхъ жителей и уносилъ красавицу, съ послѣднимъ замираніемъ плача которой западалъ и слухъ объ ней навсегда.

Для злыхъ чаръ своихъ, Ягса разрывалъ свѣжія могилы, доставалъ оттуда трупы и употреблялъ также кровь невинныхъ дѣтей. Многіе до того боялись его, что приписывали ему всякую сверхъ-естественную власть и силу: злостнымъ могуществомъ своимъ онъ затмѣвалъ солнце, наводилъ тучи, распускалъ дождь, бурю и градъ, онъ морилъ или угонялъ въ подземные вертепы рыбу, разгонялъ звѣрей и животныхъ и насылалъ страшную засуху, такъ что народу иногда нечѣмъ было питаться.

Много разъ уже чудинцы дѣлали большія сходки, совѣщались, вызывая стариковъ и бывалыхъ людей, какимъ бы способомъ избавиться отъ этого злодѣя; наконецъ, ходили на него большими толпами, но или, проходивъ много дней даромъ, не могли отыскать его, или же дорого платились за смѣлость свою, если его отыскивали: онъ побивалъ множество людей, а самъ уходилъ невредимымъ. Разъ они вздумали вырыть на него огромную волчью яму, въ такомъ мѣстѣ, гдѣ онъ часто проходилъ и гдѣ недалекъ былъ глубокій бродъ на рѣкѣ; но Ягса и за это страшно мстилъ несчастнымъ жителямъ: онъ пошелъ бродить по окружности, ловилъ встрѣчнаго и поперечнаго, и бросалъ въ эту яму. Такимъ образомъ чудинцы, взявшись за умъ, поспѣшили скорѣе опять засыпать эту яму.

У старшины одного изъ селеній ижемскихъ была дочь, славившаяся красотою, если не по всей землѣ, то по крайней мѣрѣ по землѣ Ижемской Чуди. Родители хранили ее со всѣми возможными для нихъ предосторожностями, но не уберегли: она пропала безъ-вѣсти, среди бѣлаго дня, а люди видѣли объ эту

пору Ягсу издали съ какою-то ношей, и никто не могъ сомнѣваться въ томъ, что онъ избралъ жертвою своею несчастную старшинскую дочь. Это произвело такой всеобщій порывъ отчаянія, потому что народъ любилъ и уважалъ добраго старшину и гордился красотою его дочери, — что народъ собрался въ деревню старшины и требовалъ мести. Когда еще судили и рядили объ этомъ событіи, и о томъ, что теперь дѣлать, вдругъ прибылъ старшинскій сынъ изъ сосѣдняго околодка, съ толпою вооруженной молодежи, и громко говорилъ, подымая сѣкиру выше головы своей, что это будетъ позоръ неслыханный, если вся Чудь не подымется на Ягсу и не отомститъ за такое поруганіе, и что отнынѣ ни одна дѣвушка во всей землѣ Ижемской не взглянетъ на парня, и не позволитъ ему подойти къ себѣ на десять шаговъ, покуда Ягса не заплатитъ жизнію за свою дерзость. Старики не видя конца этому бѣдствію, поддержали старшинскаго сына и вся молодежь поднялась подъ предводительствомъ его, и двинулась войной на Ягсу, отдавъ клятву предъ истуканами своими: погибнуть до послѣдняго человѣка, или побѣдить. Старики пошли изъ селенія въ селеніе, объявляя поголовщину на этого злодѣя и назначая мѣсто для общаго схода.

Съ разныхъ сторонъ стали набираться такія толпы, вооруженныя копьями, стрѣлами, сѣкирами и дубинками, будто народъ поднялся войною на другой народъ, и, глядя на это грозное ополченіе, никто бы не повѣрилъ, что оно двинулось на одного только человѣка, который былъ аршиномъ выше прочихъ людей, но человѣкъ этотъ въ водѣ не тонулъ, въ огнѣ не горѣлъ, и его не донимали ни стрѣла, ни легкое копье, пущенное изъ руки; но ходила какая-то темная молва, что онъ не можетъ устоять противъ удара изручь, то есть рукопашной битвы, гдѣ оружіе, которое его

поражаетъ, не было брошено въ него, а оставалось бы въ рукахъ бойца. Конечно, страшно было подступиться для такой битвы къ сильному чародѣю, котораго многіе называли даже *вежемой*, то-есть оборотнемъ; но не менѣе того такой рукопашной дракѣ чудинцы основали всѣ свои надежды.

Цѣлую недѣлю чудское войско искало злодѣя, но онъ не являлся. Тогда рѣшили залечь въ засаду на томъ мѣстѣ, гдѣ была нѣкогда устроена волчья яма на Ягсу, гдѣ былъ любимый боръ его и гдѣ теперь невдалекѣ находится описанный нами курганъ. Мѣсто это въ то время было удалено отъ всѣхъ жилищъ, и берега Ижмы покрыты вѣковымъ боромъ. Три дня чудинцы сидѣли въ засадѣ, на четвертый вечеромъ Ягса показался на противномъ берегу, пощелкалъ, посвисталъ и пошелъ на свой бродъ. Сердца воиновъ чудскаго ополченія замерли отъ страха; но злоба ихъ и чувство мести воспламеняли и ободряли надеждою. Они притаились, выждали Ягсу и встрѣтили его градомъ стрѣлъ, а затѣмъ, съ неистовымъ крикомъ, чтобы заглушить робость свою и придать себѣ болѣе духу, пошли въ рукопашную. Впереди всѣхъ бросился отчаянный старшинскій сынъ и первый ударилъ Ягсу изручь копьемъ въ грудь. Не видавъ еще на себѣ крови, Ягса какъ будто оробѣлъ и хотѣлъ прорваться сквозь окружавшую его толпу, побивая изъ правой руки копьемъ, а изъ лѣвой — сѣкирой, всякаго, кто приближался; но ловкій ударъ копья старшинскаго сына ободрилъ прочихъ, задніе напирали на переднихъ, и стискивали все тѣснѣе густой кругъ, обложившій мірового злодѣя; онъ отбивался, какъ раненый медвѣдь, перебилъ нѣсколько десятковъ народу, но и самъ былъ сбитъ съ ногъ и приколотъ къ землѣ сотнею копій. «Стойте», закричалъ бѣдный старшинскій сынъ, умирающимъ голосомъ,—не убивайте его, отрубите ему

руки, чтобъ сдѣлать безопаснымъ, и заставьте показать, гдѣ у него полоненныя дѣвушки и старшинская дочь. «Это были послѣднія слова его; проколотый насквозь копьемъ волота, онъ испустилъ духъ.

Ижемцы послушались его совѣта и заставили безрукаго, искалѣченнаго Ягсу вести ихъ къ своему логву. Онъ молча повиновался и привелъ ихъ ко входу глубокой пещеры, на берегу рѣчки Кучи, протекающей въ полу-верстѣ отъ этого мѣста. Тутъ нашли нѣсколькихъ пропавшихъ дѣвушекъ, а также—и дочь старшинскую, но всѣмъ имъ похищеніе Ягсою стоило жизни: нашли одни только трупы ихъ. Народъ горевалъ и каждый вымещалъ теперь на злодѣѣ злыя дѣла его, и онъ долженъ былъ перепосить все. Разныя вещи, награбленныя имъ и также отысканныя теперь въ пещерѣ, снесли въ костеръ и сожгли; пещеру же завалили каменьями и засыпали землей; а нынѣ никто даже не можетъ указать и мѣста, гдѣ была эта пещера. Затѣмъ народъ отвелъ проклятаго Ягсу опять на то мѣсто, гдѣ онъ былъ полоненъ, отрубили ему тамъ голову, свалили въ яму, пробили между лопатками осиновымъ коломъ и засыпали землей.

Вотъ, по разсказамъ ижемцевъ, происхожденіе небольшого кургана, о которомъ мы говорили, на который, по нынѣшній день, каждый прохожій бросаетъ, что ему попадется подъ руку. Замѣчательно, что здѣсь дѣлается это въ проклятіе и поношеніе злодѣю, тогда какъ въ двухъ другихъ описанныхъ нами случаяхъ, обычаемъ этимъ почитается память богатырей добродѣтельныхъ. Можетъ быть, впрочемъ, это надо понимать и такъ, что робкіе ижемцы воздаютъ Ягсѣ почетъ отъ одного только суевѣрнаго страха.

VII

ЦЫГАНКА

ТЕБѢ

Благослови моя Милета
Съ того, гдѣ ты витаешь, свѣта
И были и мечты поэта!
Прими, согрѣй ихъ, чтобы Лета
Въ волнахъ убійственныхъ для свѣта
Одновесельный челнъ поэта
— А челнъ ему и дворъ и домъ —
Не позатерла невскимъ льдомъ,
Не опрокинула вверхъ дномъ!

Бродя по закоулкамъ свѣта,
Я вспоминалъ тебя, Милета;
И безъ отвѣта, безъ привѣта
Призывный гласъ замолкъ поэта!
Но у тебя въ ушахъ, Милета,
Родного сердца память эта,
Ужели никогда тишкомъ,
Среди раздумья, вечеркомъ,
Не отзывалась позвонкомъ?..

ГЛАВА I

ѲЕМИСТОКЛЪ

О греки, греки! кто васъ не любитъ?
Карамзинъ.

Въ хорошую лѣтнюю погоду переправился я черезъ Прутъ въ Скуляны. Ставъ ногою на твердую землю, оглядывался я кругомъ, разсматривалъ всѣ ближайшіе и дальнѣйшіе предметы, не исключая и травы, на коей стоялъ, искалъ чего-то новаго, особеннаго, отличительнаго, — но трава росла не по-турецки, а молдавскія камни и деревья, казалось, не отличались отъ русскихъ, противолежащій берегъ быстраго, межеваго потока покрывающихъ. Но зато, вступивъ въ самое мѣстечко, я невольно улыбнулся. Здѣсь нашелъ взоръ, чего такъ жадно искалъ! Широкія, плоскія кровли, съ двумя, на конькѣ, рѣзьбою украшенными тычками; крытые, подъ навѣсомъ, ходы вокругъ всѣхъ строеній; азіатская, уличная, публичная жизнь—чуждыя лица, одежда и языкъ молдаванъ и грековъ,—все это довольно яркими красками возвѣщало иноземное. Взошедъ на крыльцо трактира, я еще болѣе увидѣлъ то, чего искалъ. Досчатый лѣтній домикъ, не нашей постройки, съ навѣсомъ вокругъ и сквозными сѣнями, изъ коихъ на обѣ стороны настежъ растворены были восьмеры двери, въ отдѣльныя комнатки, въ коихъ низкія, широкія, открытыя окна и невысокіе диваны, или толстые, широкіе тюфяки, расположены на полу вокругъ всѣхъ четырехъ стѣнъ, и укрыты, равно какъ и самый полъ, пестрыми турецкими коврами; на диванахъ развалившіеся прихожане-разночинцы—молдаванки, въ шитыхъ золотомъ на мѣху казавейкахъ или скуртайкахъ, обвивши косы вкругъ

чела, довольно странно цвѣтками и кисейною повязкой убраннаго;—мужья или земляки ихъ съ трубками, съ шапками на головѣ, съ усами, съ бородами, и все это толкуетъ и разсуждаетъ громко, болѣе нежели вслухъ,—не правда ли, это не такъ, какъ у насъ?

Но скоро я опомнился и былъ разочарованъ. Въ разстояніи менѣе 20 верстъ отъ Яссъ, главнаго города Молдавіи, думалъ я было часа въ полтора быть тамъ; но лошадей нѣтъ! Эти два слова нашему брату, проѣзжему, острый ножъ въ сердце! Но здѣсь непріятность удвоилась. Безпомощное положеніе мое въ чужой землѣ — надменность поручика-коменданта, который, сидя тутъ же въ трактирѣ, не хотѣлъ удостоить меня или просьбу мою милостиваго своего вниманія и правосудія — увѣряя, что все это не его дѣло — наконецъ явное плутовство и бездѣльничество, вскорѣ обнаружившееся,—все это заставило вздохнуть отъ глубины души по родинѣ, по отчизнѣ, отъ которой отдѣлялъ меня нешырокій потокъ принадлежащаго исторіи Прута. Мнѣ казалось, что я стоялъ одинъ, среди чуждыхъ мнѣ племенъ и лицъ, одинъ, и отрѣшенный отъ всего, что только могу назвать своимъ и себѣ подобнымъ. Хозяинъ трактира, статный грекъ, предлагалъ лошадей за неумѣренную плату, за 6 рублей серебромъ; это для нашего брата не находка; наконецъ я, съ помощію жида, отыскалъ и нанялъ мужика, молдавана, который взялся поставить меня въ Яссы за одинъ рубль серебромъ. Но когда онъ явился за чемоданомъ моимъ, который лежалъ на крыльцѣ трактира, то благообразный эллинъ напустился на него съ такимъ убѣдительнымъ краснорѣчіемъ, что сей, снявъ шапку и отвѣшивая ему поклонъ за поклономъ, ушелъ и покинулъ меня недоумѣвающаго снова въ томъ же безпомощномъ положеніи. Жалоба моя на такое неслыханное своевольство грека, принесенная мною *пору-*

шку-коменданту, къ удивленію моему, и теперь не произвела никакого дѣйствія; я принужденъ былъ нанять лошадей у грека. Въ это время вошелъ въ трактиръ съ шумомъ и крикомъ, проѣзжій пѣхотный маіоръ, сѣлъ и потребовалъ ѣсть. Онъ увѣрялъ во все время обѣда всякаго, кому угодно было его слушать, что давно уже знаетъ этихъ наглыхъ бездѣльниковъ, и голосомъ, который раздавался по всѣмъ осьми келліямъ трактира, честилъ *коменданта-поручика* и весь причетъ его, приговаривая: «Ничего-съ, они греки; если ихъ не поколотить, такъ они по нашему-съ не разумѣютъ. Я не въ первый разъ здѣсь проѣзжаю, а потому запасся и нанялъ заранѣе, въ сторонѣ; а здѣсь вы никогда лошадей не найдете. Почтовая конюшня на дворѣ у этого пендоса, а если захотите полюбопытствовать и узнать, чьи это кони, то медленно услышите, что это его собственные, онъ для васъ вѣроятно также нанялъ молдавана, и конечно еще подешевле моего, а съ васъ возьметъ, что великодушію его заблагоразсудится. Они тутъ только что не разбиваютъ по дорогамъ, потому что за это сѣкутъ кнутомъ, а впрочемъ дѣлаютъ что хотятъ! Эй, мошенникъ! Что тебѣ за обѣдъ? за помои твои, да за гнилую рыбу? — Семь левовъ. — Надобно знать, что въ Яссахъ, въ городѣ, за 16 верстъ, платятъ за порцію 30 паръ (копѣекъ); и такъ, судя по этой цѣнѣ, маіоръ съѣлъ слишкомъ девять порцій. Онъ вынулъ кошелекъ, выставилъ глаза на классическаго атлета нашего въ черной съ золотомъ, разрѣзными рукавами, прошевью и снурками курткѣ, такихъ же широчайшихъ шароварахъ, богатомъ, шелковомъ кушакѣ, и красной феси, шапочкѣ, и, положивъ локоть на столъ, сказалъ: «Видно ты меня уже позабылъ; всмотрись-ка хорошенько; не вспомнишь ли, что я проѣзжалъ назадъ тому недѣли три, въ Херсонъ? У меня, братъ, теперь рука болитъ.

зашибъ кулакъ, да лѣнь вставать, а то бы я тебѣ опять почистилъ галуны! Вотъ тебѣ два лева на столъ; хочешь, бери, не хочешь—не бери; да убирайся бѣгомъ къ коменданту своему, чтобы я тебя»—онъ схватилъ въ лѣвую руку чубукъ — «не нагналъ, а то неравно послѣ не добредешь!»

Атлетъ-юноша, по имени Ѳемистоклъ, вышелъ поспѣшно, не давъ тому кончить похвальнаго слова своего, и сказалъ въ другой половинѣ, подъ защитою коменданта: «не нада мнѣ деньги за такой слова». А еслибы какой-нибудь Филъ-эллинъ или эллинофилъ взглянулъ на этого Ѳемистокла, который былъ красавецъ лицемъ и статенъ какъ образецъ, то прозакладывалъ бы душу свою за него, и не повѣрилъ бы, что эта развязная, сановитая, молодецкая походка, эти ясные, рѣзкіе, классическіе очерки лица, эти краснорѣчивые глаза, которыхъ грекъ никогда не потупляетъ, ибо стыда не знаетъ, это открытое, высокое чело,— что все это заключаетъ въ себѣ *новогреческую* душу, т. е. самаго тонкаго, безсовѣстнаго, наглаго и ненасытнаго плута, готоваго силою и дракой защитить и поддержать бездѣльничество свое, почитая его неотъемлемою принадлежностію и собственностію своею!

ГЛАВА II

РАДУКАНЪ

И деньги есть? Ну нѣтъ, хоть лишнихъ не бываетъ.
За то нѣтъ лишнихъ и затѣй!
Крыловъ.

Описанное явленіе убѣдило меня, что скромность моя была здѣсь неумѣстна — что краснорѣчивый и убѣдительный возгласъ родины моей, казацкая правда,

Платова наказъ, то есть нагайка, оказала бы здѣсь самое цѣлебное и благотворное дѣйствіе!

Я сѣлъ и поѣхалъ. Суруджу мой, ямщикъ, верхомъ на лѣвой коренной, съ ужаснымъ протяжнымъ воемъ: зуй-гагой! щелкалъ длиннымъ, тяжелымъ бичемъ на короткомъ кнутовищѣ выносныхъ, такъ что съ нихъ порою шерсть летѣла.

Повозки здѣшнія — арбы и каруцы Первыя поражаютъ неуклюжею огромностію своею и тяжелыми, дубовыми колесами на тонкихъ буковыхъ осяхъ, которыя никогда не смазываются, и потому ревутъ несносно;—вторыя, каруцы, собственно почтовый экипажъ, перекладныя бываютъ полтора аршина длины и едва ли болѣе вышины отъ земли, почему и походятъ почти на ручныя повозки. Вы садитесь, согнувъ ноги или подвернувъ ихъ подъ себя, ямщикъ верхомъ на лѣвой коренной и четверка съ выносомъ мчитъ васъ черезъ пень, черезъ колоду, едва переводя духъ на половинѣ дороги, гдѣ суруджу, съ замѣчаніемъ: «джематати друмъ» — слѣзаетъ съ голаго своего арчака. Я имѣлъ нѣсколько болѣе удобства, ибо ѣхалъ въ собственной бричкѣ. Но къ такому экипажу, особенно, если дорога дурна, прицѣпляютъ здѣсь нерѣдко до дюжины клячъ, малъ-мала меньше половины коихъ и не удостоиваютъ ни вожжей, ни недоуздковъ. Такимъ образомъ отъѣхалъ я было верстъ около десятка, какъ вдругъ—шкворень брички моей пополамъ и суруджу мой поскакалъ съ полверсты подъ гору, покуда сумѣлъ и смогъ остановить строптивыхъ клячъ, которыя, радостно покачивая головами, мчали легкій грузъ передка.

Я опять уже находился въ самомъ критическомъ положеніи. Въ чужой землѣ, среди пустыни, одинъ безъ помощи, ночь на дворѣ — а суруджу мой уже объявилъ мнѣ, что ближе Яссъ или Скулянъ, туда и сюда верстъ около десятка, кузнеца нѣтъ.—Я бранилъ

и клялъ судьбу-индѣйку—досадовалъ, думалъ—и наконецъ долженъ былъ рѣшиться ночевать одинъ у брички своей, а ямщика послать взадъ или впередъ за пособіемъ. Онъ уже собрался было ѣхать, стегалъ и собиралъ бичемъ коней своихъ, которые, какъ раки, расползлись во всѣ стороны, путалъ и распутывалъ вожжи и постромки, которыя толщиною своею между собою нисколько не отличались; какъ вдругъ — великъ Богъ русскій!— идетъ по дорогѣ цыганъ, коваль, одинъ изъ тѣхъ сотрудниковъ Вулкана, которые таскаются по Бессарабіи и Молдавіи съ мѣшкомъ за спиною и куютъ, такъ сказать, на ходу. Какая это была радостная встрѣча! я готовъ былъ обнять и душить въ объятіяхъ своихъ, какъ стараго знакомаго, этого чернаго, грязнаго, курчаваго, черноокаго коваля — явившагося на заклинаніе ямщика; дракуль! т. е чортъ, коимъ онъ почтилъ одну изъ непослушнѣйшихъ клячъ своихъ. «Можешь ли сварить шкворень?» спросилъ я. Онъ взглянулъ на изломанный,—сказалъ: «стрикатъ, бояръ»! т. е сломился, баринъ,—и, не откладывая дѣла, принялся, гдѣ стоялъ, за работу. Съ пріятнымъ изумленіемъ и любопытствомъ глядѣлъ я на работу молодаго, ловкаго, сильнаго цыгана, который уже разложилъ уголья, и между тѣмъ какъ ямщикъ, лежа на колѣняхъ, дулъ мѣхомъ, поправлялъ ихъ расклепавшимися, бренчащими клещами. На немъ была рубаха и шаровары, то и другое, какъ казалось, безсрочное, безсмѣнное, черное, изодранное. Вмѣсто пояса на немъ былъ широкій ремень, украшенный мѣдными бляхами и пуговицами; шапки на головѣ не было вовсе, а въ угольномъ мѣшкѣ лежалъ, можетъ быть нѣкогда синій, кафтанъ, весь въ лохмотьяхъ. Въ продолженіе работы цыганенокъ плясалъ, по наказу ямщика, за оловянную пуговку, до упаду!

«Гдѣ твой домъ?» — спросилъ я. Онъ засмѣялся, и

бѣлые зубы сквозились въ странной противоположности съ чернымъ тѣломъ. «Ла мине ну есть каса»— отвѣчалъ онъ: «у меня нѣтъ дома; я не бояринъ!»— Гдѣ же твоя родина? — Онъ меня не понялъ. «Твоя земля?»—спросилъ я. «Аичъ, здѣсь»,—и накрылъ ладонью мѣсто, гдѣ сидѣлъ. Потомъ разсмѣялся снова и, сдѣлавъ рукою движеніе вокругъ себя, прибавилъ: «тотъ ла мине; а все мое, вся земля!»— Гдѣ же твой отецъ, мать? — «Ба ну щіу; не знаю». — Какъ же тебя зовутъ? — спросилъ я, чтобы хотя однажды добиться на что-нибудь удовлетворительнаго отвѣта.— «Радуканъ». И Радуканъ мой, ухвативъ клещами раскалившееся желѣзо, началъ, перекидывая его проворно съ боку на бокъ, отковывать на походной наковальнѣ своей. Въ самое короткое время все было сдѣлано и слажено: бричка моя снова стала на четыре колеса свои, и коваль мой, насказавъ мнѣ скороговоркою, и если не ошибаюсь, въ стихахъ, цѣлую поздравительную рѣчь, которая заключалась пророчествомъ счастія моего, имѣющаго быть крѣпче и постояннѣе этого желѣза, — кончилъ наконецъ такъ: «Я человѣкъ бѣдный, а васъ Господь послалъ развеселить меня и порадовать!»

Въ веселомъ расположеніи сунулся я въ карманъ, и—кошелька моего нѣтъ? Потеря моя въ эту минуту менѣе меня поразила и безпокоила, какъ непріятное положеніе, не быть въ состояніи уплатить прислужливому бѣдняку долгъ. «Я потерялъ деньги»,—сказалъ я ему: «если ихъ не укралъ Ѳемистоклъ, и потому не могу заплатить тебѣ деньгами; возьми что-нибудь изъ вещей моихъ, изъ платья, изъ бѣлья!» — Потерялъ?— спросилъ онъ съ участіемъ:— мультъ? много?—«Кромѣ серебра, было червонцевъ пятнадцать». Онъ сложилъ руки на грудь, покачивая головой, потянулъ воздухъ въ себя и, пораженъ будучи такою значительною поте-

рею, повторялъ про себя: «чинчъ предзече галбанъ! пятнадцать червонцевъ! Не хочу ничего отъ васъ,— продолжалъ онъ, соболѣзнуя, и собиралъ пожитки свои. А когда я сталъ настаивать рѣшительно, чтобы онъ принялъ плату непремѣнно, то онъ, подумавъ, сказалъ: «Бояръ, не возьму я вашего платья; куда я его дѣну? Скажутъ, я укралъ! Приду я лучше когда-нибудь къ вамъ или къ вашимъ, въ городъ, тамъ вы мнѣ заплатите!» — И такъ ты мнѣ покуда повѣришь?—спросилъ я. Онъ засмѣялся и махнулъ рукою: «Когда уже я васъ не стану обманывать, такъ можно ли, чтобы вы меня обманули?» Суруджу сказалъ ему, въ какой трактиръ онъ меня везетъ,— Ханъ-Курой, и мы разстались.

ГЛАВА III

ЯССЫ

Яссы, главный городъ Молдавіи...
Всеобщ. Геогр. Арсеньева, стр. 87.

Наконецъ въѣзжаемъ въ тѣсный и грязный Яссы. Городъ великъ; узенькія, досками мощеныя улицы; неправильность и вольность постройки безпримѣрныя, смѣсь азіятскаго и европейскаго вкуса; кровли съ навѣсами — подставки, подпорки на каждомъ шагу; вонючіе тѣсные дворы; народу на улицахъ много, обыкновенно болѣе, нежели въ домахъ. Населеніе довольно пестро и разнообразно; наши солдаты, жители— молдаване, бояре въ шапкахъ съ пивной котелъ, греки, армяне, сербы, албанцы или такъ-называемые арнауты, которые одѣваются совершенно по-турецки, и всегда при полномъ вооруженіи—это почетная стража, придворный штатъ бояръ и полиція. Они же состав-

ляли небольшой отрядецъ въ Малой Валахіи, находились при войскахъ нашихъ и повязывали, въ дѣлѣ, для отличія отъ турокъ, бѣлый крестъ на груди, изъ платковъ или полотенцовъ. Кой-гдѣ появляется фракъ или сюртучишко иностранца-ремесленника, бѣлокураго нѣмца или смуглаго италіянца; жиды въ народномъ польскомъ одѣяніи своемъ, полунагіе цыганы, — все это придаетъ городу видъ пестрый и живой. По обѣ стороны тѣсной улицы ряды лавокъ, или открытыя, съ подъемными ставнями и подъ навѣсами, мастерскія ремесленниковъ. Разъѣзжаясь со встрѣтившеюся каретою, зацѣпили мы, по необходимости, и опрокинули бочку, вокругъ которой ходилъ бочаръ и наколачивалъ обручи, между тѣмъ какъ карета въ свою очередь оторвала широкій ставень или откидную дверь противолежащаго домика. По угламъ со звономъ и трезвономъ продается шербетъ [1]), коего фонтанчики бьютъ на деревянныхъ, выкрашенныхъ станкахъ и искусно повертываютъ собою поставленныя на шпилькѣ жестяныя куклы, къ ногамъ коихъ еще навѣшиваютъ пуговки и побрякушки, ударяющія въ разставленные вокругъ стаканы. Оборванные мальчишки въ красныхъ фескахъ бѣгаютъ по улицамъ, а въ развалившихся или недостроенныхъ, каменныхъ огромныхъ домахъ гнѣздятся нагіе цыгане, сидятъ какъ тѣни Орка вкругъ огненныхъ жерлъ своихъ, куютъ и приговариваютъ. Иные, одѣтые почти какъ у насъ одѣваютъ пѣвчихъ, ходятъ со скрипками, гудками и цымбалами. Факторы, на тоненькихъ ножкахъ своихъ, въ черныхъ лоснящихся халатахъ, прислуживаютъ и подслуживаютъ, а въ особенности не упускаютъ слу-

---

[1]) Простой шербетъ есть не иное что, какъ вода, настоенная на изюмѣ. Лучшій шербетъ есть родъ тягучаго, искусно приготовленнаго варенья, которое распускаютъ въ водѣ, или запиваютъ водою.

чая навязать себя и услуги свои заѣзжимъ въ трактирахъ, въ коихъ нѣтъ прислуги, кромѣ этой вольнопрактикующей. Хозяинъ Ханъ-Куроя, молдаванскій бояръ съ сѣдою бородою — преимущество и почетное отличіе, за которое уплачивалась турецкому правительству особенная подать — битый день, съ ранняго утра и до поздняго вечера, сидѣлъ, поджавъ ноги, на софѣ, съ чубукомъ [1]), съ четками, съ чашкою турецкаго кофе—такимъ образомъ онъ командовалъ и управлялъ всѣмъ домомъ и хозяйствомъ, и слылъ человѣкомъ дѣятельнымъ, расторопнымъ и порядочнымъ хозяиномъ!

Городъ раскинутъ на скатахъ, на огромныхъ отлогихъ молмахъ, и порядочныхъ, главныхъ улицъ не много. Турецкое обыкновеніе строить города не на рѣкахъ, а довольствоваться искусственными водопроводами, можетъ только объяснить причину, для чего главный городъ княжества стоитъ надъ лужею, въ 15 верстахъ отъ быстрой рѣки Прута. Пожары нѣсколько разъ опустошали городъ. Послѣдній пожаръ извѣстенъ подъ именемъ янычарскаго, ибо янычары сожгли городъ. Слѣды этого въ особенности еще видны въ каменныхъ остаткахъ господарскаго дворца, огромнаго, краснваго зданія. Взявъ однакоже въ разсужденіе тѣсноту улицъ и дворовъ, безпорядокъ, малочисленность каменнаго строенія и съ излишествомъ деревянными избушками переполненные города и городишки въ Молдавіи и въ Турціи, надобно сознаться, что пожары бываютъ у нихъ довольно рѣдко, рѣже нашего; а изъ этого опять слѣдуетъ весьма естественное заключеніе, что пожары вообще въ рѣдкихъ случаяхъ только могутъ происходить отъ трубокъ, которыя

---

1) Турки говорятъ: веръ бана чубукъ, «подай мнѣ трубку», т. е. они чубукомъ называютъ весь снарядъ.

здѣсь на длинныхъ чубукахъ и безъ покрышекъ, дымятся на каждомъ шагу, во дворахъ, на улицахъ и въ избахъ—но чаще отъ печей, которыхъ здѣсь напротивъ мало, и даже нѣтъ въ каждомъ домѣ.

По праздникамъ, воскресеньямъ, барство здѣшнее ѣздитъ кататься по тѣсной, пыльной или грязной улицѣ, и въ это время пѣшему нѣтъ прохода: забрыжжутъ, запылятъ, закидаютъ, заплещутъ концами поперекъ улицы настланныхъ досокъ. Поѣздъ этотъ тянется шагъ за шагомъ, за городъ, на такъ называемый Копо, чистое, плоское поле, степь, и закинувъ кругъ, другой, возвращается въ городъ. У насъ, въ столицахъ, объѣзжаютъ такимъ образомъ покрайней мѣрѣ качели и балаганы плясуновъ и скомороховъ; здѣсь кружатся по пустопорожнему мѣсту, и въ самыхъ дон-кихотовскихъ экипажахъ прошедшаго вѣка. Такихъ дрожекъ, полуколясокъ, крытыхъ и некрытыхъ гермафродитовъ вы нигдѣ болѣе—кромѣ еще въ Букарестѣ — не найдете. Этимъ *струментомъ*, какъ ихъ называлъ одинъ острякъ черноморскаго казачьяго войска, снабжаются княжества изъ Австріи. Шегольскіе кучера одѣты гусарами, упряжь нѣмецкая. Зимою кучера носятъ цвѣтныя шубы съ кистями, по-турецки, но право, много походятъ на оборванныхъ сапожниковъ. Извощики, въ парныхъ разнокалиберныхъ коляскахъ, ѣздятъ по часамъ, и потому всѣ извощики, какъ у насъ говорится, при часахъ. Женщины всѣхъ сословій и званій—ненмовѣрныя охотницы до нарядовъ; подарки, по турецкому обычаю, въ большомъ обыкновеніи и въ чести. Нѣтъ ничего предосудительнаго съ томъ, если вамъ вздумается, какъ вѣжливому кавалеру, подарить даму свою платкомъ, шляпкою, лентою, кружевами, шалью, — мужья охотно проглядываютъ это, потворствуютъ, и въ свою очередь выписываютъ изъ Вѣны моды и фасоны для чужихъ. Вотъ обыкновеніе,

служащее источникомъ многаго и великаго злорѣчія. Впрочемъ, нѣтъ земли, гдѣ разводы были бы легче и чаще, какъ здѣсь. Супруги расходятся, мирятся или опять сватаются на другихъ, — это ежедневныя приключенія въ быту молдаванскомъ. Надобно признаться, что здѣсь терпимость супружеская нѣсколько превосходитъ наши обыкновенія и понятія.

Я спросилъ жида, фактора, какъ здѣсь ходятъ ассигнаціи. Житъ отвѣчалъ заминаясь: «за синенькую даютъ 13 левовъ», а потомъ божился и клялся, что дѣйствительно такъ. Солдатъ нашъ, проходя мимо, проворчалъ: «Божись! въ нашего Бога не вѣруешь, а своего обманываешь; 14 левовъ, ваше благородіе!»

Суруджу мой, съѣзжая со двора и попадая съ табуномъ своимъ въ ворота, потѣшилъ меня еще на прощанье. Онъ произнесъ протяжно проклятіе одной изъ клячъ своихъ, превзошедшей мѣру долготерпѣнія его, проклятіе, которое перевели мнѣ слѣдующимъ образомъ: «Будь проклята пчела, которая понесетъ медъ на соты, изъ воску коихъ будетъ сдѣлана свѣча, которую на смертномъ одрѣ своемъ, будетъ держать въ послѣднія минуты жизни въ рукахъ своихъ — **хозяинъ этой лошади!!!**»

ГЛАВА IV

НЕУДАЧА

Съ ума сошелъ! прошу покорно!
Да невзначай, да какъ проворно!
Грибоѣдовъ.

Вотъ городъ, въ которомъ довелось мнѣ прожить нѣсколько времени, и въ которомъ имѣлъ я слѣдующее, не каждодневное приключеніе, о которомъ охотно

и почасту вспоминаю. Давно уже жизнь нашу начали сравнивать съ труднымъ, неровнымъ, тернистымъ путемъ — не всякому суждено проходить по немъ въ такое время года, когда, по крайней мѣрѣ, терновники благоухаютъ бѣлымъ цвѣтомъ своимъ — надобно умѣть останавливать взоръ свой на каждомъ утѣшительномъ предметѣ, созерцать душею всю прелесть видовъ и мѣстоположеній окружныхъ, отыскивать свѣтлыя точки среди этого мрака и сохранять въ благодарной душѣ своей память ихъ!

Итакъ, еще приключеніе! И конечно уже любовное; ибо, безъ любви—какое приключеніе! Да и нѣтъ—какъ хотите, нѣтъ повѣсти, нѣтъ разсказа, нѣтъ приключенія, ни вымышленнаго, ни истиннаго, въ которомъ бы не дѣйствовали люди; а между ними всегда были, есть и будутъ отношенія, на самомъ бытіи ихъ основанныя, — вотъ источникъ столь разнородныхъ и однообразныхъ приключеній, разсказовъ, происшествій.

Пріѣхавъ въ Яссы, я заболѣлъ здѣшнею лихорадкою и пролежалъ почти съ мѣсяцъ. Въ продолженіе этого времени добрые товарищи, меня навѣщавшіе, забавляя меня, разсказывали о томъ, что ихъ забавляло и занимало: о новыхъ знакомствахъ своихъ, успѣшныхъ и неуспѣшныхъ волокитствахъ, и я наконецъ видѣлъ всѣ плѣнительныя прелести эти въ жару и въ ознобѣ лихорадки, и бредилъ только ими. Любопытство мое въ самомъ дѣлѣ день ото дня возрастало; мнѣ хотѣлось посмотрѣть на эти вычуры красотъ молдавскихъ, отъ которыхъ не было покоя воображенію моему ни днемъ, ни ночью; и я, не будучи еще въ состояніи являться съ визитами и съ поклонами, поѣхалъ въ одно хорошее утро, съ однимъ изъ товарищей, который взялся провести меня по городу и показать сквозь тусклое стекло, а можетъ быть — rebus secundis — и въ открытое окно, знаменитѣйшихъ и

славнѣйшихъ красавицъ здѣшнихъ. Я тѣмъ болѣе на то согласился, что замѣтилъ, — и это скажу, не опасаясь навлечь на себя подозрѣніе большой проницательности, — замѣтилъ, говорю, умыселъ пріятеля моего: вы знаете, что иногда охотно проѣзжаютъ мимо извѣстнаго дома и извѣстныхъ оконъ — по-русски говорятъ: на людей посмотрѣть и себя показать! Итакъ, нанимаемъ извозчика и ѣдемъ. «Знаешь ли домъ Дмитраки Джинареско?» спросили мы его, усаживаясь. — Штіу [1]), знаю, — отвѣчалъ онъ, и погналъ свою пару въ шорахъ. Ѣдемъ, ѣдемъ, близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли — вдругъ мой молдаванъ останавливается и, привставъ съ козелъ, медленно и спокойно указываетъ длиннымъ бичемъ своимъ прямо въ открытое окно дома, къ которому подъѣхали, и гдѣ въ эту злополучную минуту стояли или подбѣжали на стукъ экипажа искомыя три граціи, — и твердымъ, внятнымъ голосомъ произноситъ: «аичъ, бояръ; здѣсь, сударь.»

Одна изъ дамъ сказала со вздохомъ: «non, ce n'est pas lui», и онѣ отошли отъ окна.

Вообразите же теперь положеніе наше,—его, взявшагося быть путеводителемъ, и мое, попавшагося, какъ ворона въ супъ! Пріятель мой, внѣ себя, приказываетъ гнать далѣе, а я — виноватъ — хохочу отъ всей души! Но онъ, вмѣсто того, чтобы извиниться передо мной въ томъ, что сдѣлалъ изъ меня шута для компаніи, онъ же меня упрекаетъ! Я узнаю, къ удивленію моему, что не онъ меня, а я его возилъ; что онъ, самъ чужой и нигдѣ и никому незнакомый, во всемъ полагался на меня! «Ты съ ума сошелъ», отвѣчалъ я ему, и все еще, припоминая себѣ живописное поло-

---

[1]) Молдаваны говорятъ: штіу, вербешти, Букурешти — а пишутъ: щіу, вербещи, Букуреши

женіе наше, хохоталъ. Но на слѣдующій день уже прибѣгаютъ ко мнѣ товарищи, изъ свѣтскихъ, съ дружескими упреками, съ сожалѣніемъ и состраданіемъ— анекдотъ, какъ они его называли, разнесся по всему городу, сто разъ былъ разсказанъ, пересказанъ, и каждый разъ на новый ладъ и образецъ—тутъ видѣли умыселъ, насмѣшку, оскорбленіе. — «Какъ ты покажешься въ люди?» восклицали соболѣзнующіе друзья мои: «тебя назовутъ или неучемъ, или шалуномъ, или сумасшедшимъ!» И — я объявилъ имъ, что послѣ подобныхъ нелѣпыхъ сплетенъ, которыми досужимъ языкамъ угодно было позабавиться на мой счетъ, я вовсе не намѣренъ и не хочу показываться въ люди; я ихъ избавлю отъ труда ломать голову и разгадывать загадку по части душесловія, злодѣй ли я, или малоумный. — Я здѣсь гость и проѣзжій: у меня нѣтъ ни времени, ни охоты забавлять или разувѣрять и разочаровывать ихъ на счетъ мнимаго чудачества и неловкости моей. Не пойду ни къ кому;—и въ тотъ же вечеръ пошелъ въ квартирную комиссію, и потребовалъ для себя спокойной квартиры, въ какомъ бы то ни было уголкѣ города.

ГЛАВА V

МОЯ КУКОНА

Языкъ безъ костей — мелетъ!

Поговорка.

Мнѣ отвели квартиру довольно отдаленную, одинокую, но порядочную и въ хорошемъ большомъ домѣ, на которую, какъ она не входила въ кварталъ большого свѣта, не было доселѣ охотниковъ. Хозяйка моя,

одна изъ первокласныхъ, но устранившихся нѣсколько отъ свѣта, женщинъ, тотчасъ послала просить новаго постояльца своего къ себѣ. Съ большимъ краснорѣчіемъ объясняла она мнѣ, что у нея «ну есть барбатъ»—нѣтъ мужа, что она вдова и боится постояльцевъ военныхъ, нашей братьи. Я успокоилъ ее, сколько могъ. Потомъ, сидя на софѣ въ однихъ чулкахъ и подогнувъ ноги подъ себя, много, хотя и безтолково, разсуждала и разспрашивала объ отечествѣ моемъ, о Россіи, о Москвѣ, о Петербургѣ, и непремѣнно хотѣла знать подробно узоры чугунной рѣшетки Лѣтняго сада и перилъ каналовъ, о которыхъ кто-то ей натолковалъ. Между тѣмъ дѣвки принесли и подали дулчецъ, сахарное варенье, которое здѣсь и въ Турціи приготовляютъ, также подъ именемъ шербета, удивительно хорошо, и употребляютъ большею частію съ водою, для питья. Чаша холодной, свѣжей, ключевой воды — потребность и роскошь для турка: въ Адріанополѣ на улицахъ и базарахъ разносятъ и продаютъ холодную ключевую воду, въ высокихъ кувшинахъ, напоминающихъ древнюю Грецію и изящныя формы ея. Послѣ первой дѣвки, вошла другая и подала стаканъ холодной воды, которою и здѣсь всегда запиваютъ сласти, при чемъ, какъ и у насъ въ простонародіи, всѣ присутствующіе кланяются и желаютъ здравія. Наконецъ еще нѣсколько слугъ и служанокъ явились и подали кофе: его всегда приносятъ въ черномъ кофейникѣ, въ которомъ варятъ его съ особенною сноровкою и искусствомъ, густой, рыжеватый и крѣпкій, а пьютъ изъ маленькихъ чашечекъ, не употребляя никогда блюдечекъ—для насъ иногда подаютъ сахару, но сливокъ никогда. У турокъ кофе въ неимовѣрномъ употребленіи, и отдѣлка его составляетъ значительный доходъ правительства; частное его приготовленіе въ домахъ запрещено: всѣ покупаютъ гото-

вый, жженый и толченый на казенномъ кофейномъ заводѣ, гдѣ цѣлыя горы его толкутся въ ручную, въ большихъ деревянныхъ ступахъ. Это при недостаткѣ дровъ и печей, при обыкновеніи покупать готовый хлѣбъ отъ пекарей, а впрочемъ довольствоваться по большей части холоднымъ столомъ, заведеніе необходимое. Стоитъ посмотрѣть, съ какою ухваткою и сноровкою каведжи-баши подаетъ вамъ чашку, обнявъ ее сверху всей лапой! Сахаръ употребляютъ турки только, какъ мы конфекты, и продаютъ его на вѣски, по драхмамъ, которыхъ идетъ 400 на око, на три фунта. Имъ же закусываютъ водки и ликеры, виноградnаго вина, какъ извѣстно, не пьютъ вовсе, развѣ тихомолкомъ, у насъ въ гостяхъ. Турки и молдаване весьма лакомы; вамъ здѣсь подаютъ кофе и дулчецъ во всякое время дня, утромъ, вечеромъ и въ полдень, — обыкновеніе, которое перешло, чрезъ Бессарабію, и въ южные предѣлы Имперіи нашей—кофе и варенья, особенно при женскихъ взаимныхъ посѣщеніяхъ, визитахъ, должны всегда быть на лицо.

Старушка моя разворковалась и насказала мнѣ съ три пропасти городскихъ сплетенъ — а въ должности толмача находился чокой, управитель или дворецкій, который бывалъ въ Бессарабіи, и потому воображалъ, что умѣетъ говорить по-русски. Она спросила также между прочимъ: «правда ли, что полковникъ вашъ женится на Пулхерицѣ Флореско?» — Правда, — отвѣчалъ я: онъ уже самъ намъ объ этомъ объявилъ. — «Да», продолжала она: «Пулхерица куконица фрумоза — она прекрасная дѣвушка, очень хорошо воспитана, говоритъ по-гречески и по-французски. И у меня есть племянница, ба ну штитъ французешти, ши гречешти — да только не знаетъ ни по-гречески, ни по-французски», прибавила она съ сожалѣніемъ и велѣла ее позвать. Полненькая, бѣлокурая, куконица Сма-

ранда [1]) вошла, поклонилась и, оставивъ туфли у дверей, сѣла на софу. И я вскорѣ раскланялся и ушелъ въ свою комнату.

Я большею частію сидѣлъ дома, читалъ, работалъ, выходилъ только по дѣламъ службы и изрѣдка для прогулки. Благодаря покойному сожителю куконы моей, масону, просолившему все имѣніе свое въ этомъ каменномъ домѣ, который былъ въ свое время назначенъ имъ для какой-то масонской ложи и потому состоялъ изъ множества отдѣльныхъ опрятныхъ комнатъ, имѣлъ я покойную квартиру — а этимъ благомъ никто не умѣетъ такъ наслаждаться, какъ люди, коимъ оно достается въ удѣлъ послѣ долговременной кочевой и бивачной жизни. Миролюбивый нравъ моей куконы предохранялъ меня отъ всякихъ стычекъ и перестрѣлокъ между постояльцами и хозяевами, и особенно хозяйками, столь часто къ обоюдному неудовольствію возникающихъ.

ГЛАВА VI

КАСАТКА

Слыву я дѣвою жестокой,
Неумолимой красотой . . .
Пушкинъ.

Между полдюжиною служанокъ и приспѣшницъ, коихъ наружность и обращеніе были не весьма очаровательны и по-крайней мѣрѣ уже вовсе недвусмысленны, числилась молодая цыганка. Она, повидимому, была въ милости у госпожи своей, ибо ходила довольно чисто и опрятно, и одѣвалась съ особенною тщатель-

---

[1]) Кубнъ — господинъ, кукона — госпожа, куконица — молодая женщина, дѣвица.

ностію. Я не обратилъ на нее сначала большого вниманія, ибо не думалъ искать въ ней чего-либо особенаго — но пріятное, выразительное дѣтское личико ея привлекало на себя взоры при каждой случайной встрѣчѣ. Цыганки здѣшнія имѣютъ вообще столько своеобразнаго и отличительнаго, что, не смотря на великое множество ихъ, всегда при первомъ взглядѣ могутъ легко быть узнаны и отличены отъ природныхъ жительницъ, молдаванокъ. Цыганки бываютъ росту средняго, иногда рослы, стройны, волосы черноты совершенной, будто подъ черной финифтью, нѣсколько курчавы или волнисты, длинны, густы и мягки. Это, а равно и особенный изжелта-смуглый цвѣтъ лица, есть неотъемлемый признакъ ихъ. Не смотря на это, встрѣчаете между ними красавицъ; черные волосы лоснятся, распущенные, или въ длинныхъ косахъ; глаза темнокаріе или черные, искрящіеся при каждой встрѣчѣ взоровъ, какъ кремень, ударяясь объ огниво; длинныя, полыя рѣсницы, природный румянецъ въ смуглыхъ щекахъ, полныя томныя губки, между коими, при всегдашней безпечной улыбкѣ, сквозятся зубки, какъ нить подобраннаго жемчуга.

Однажды мой Андрей, въ добрый часъ, разболтался и доносилъ мнѣ о томъ, что ежедневно происходило въ людской, въ дѣвичьей, коей онъ уже былъ учрежденъ непремѣннымъ, почетнымъ членомъ; о томъ, что говорили о барынѣ и хозяйкѣ нашей, о сосѣдяхъ и сосѣдкахъ ея, и прочее, и заключилъ наконецъ такъ: «этакой земли, ваше благородіе, я съ роду не видывалъ».—Не мудрено, подумалъ я, когда ты только и видѣлъ землю, которую въ Воронежской губерніи и въ Павловскомъ уѣздѣ пахалъ, да на которой сѣно косилъ!—«Какъ пріѣдемъ въ Россію, да станемъ разсказывать», продолжалъ онъ: «такъ и не повѣрятъ! А вотъ цыганка наша, сударь, такъ чудо дѣвка! одна

изо всѣхъ, своихъ, и чужихъ, тутъ же между ними бѣгаетъ, не видитъ, не слышитъ ничего — только за смѣется развѣ, а сама себѣ на умѣ! Тутъ до насъ стоялъ, сказываютъ, адъютантъ, что ли какой, такъ поди ты что проказъ было! А вечоръ, прыткая такая, стала трунить надъ дворецкимъ, тотъ погнался за нею, она въ двери, да подъ лѣстницу, и увернись отъ него; а онъ сдуру, разогнавшись, да прямо головой о столбъ, и расшибъ лобъ! а она знай сокочетъ по своему!»

— А какъ ее зовутъ?—спросилъ я.

— Чудно выговорить: Касатка, что ли!

Ввечеру пришелъ ко мнѣ за дѣломъ чокой, дворецкій, молодой, статный мужчина, съ подбитымъ лбомъ. Дѣло показалось мнѣ забавнымъ, а Касатка завлекала вниманіе и любопытство мое. Онъ жаловался на безпокойную жизнь и хлопоты свои, на непослушаніе людей, шалости дѣвокъ, за которыми никакъ не успѣвалъ присматривать. «А цыганка ваша вѣрно первая?» опросилъ я.—Нѣтъ, боярь, строгая дѣвка, — отвѣчалъ онъ:—дикая, недавно привезли.—«Отколѣ?»—Изъ Стандешти, нашей деревни.—«Изъ Стандешти?» повторилъ я съ узумленіемъ.

Надобно знать, что въ княжествахъ цыгане исключительно составляютъ сословіе рабовъ, крѣпостныхъ людей. Молдаванъ крѣпостныхъ не бываетъ. Цыгане сіи частію поселены въ деревняхъ молдаванскихъ, частію составляютъ собою особыя селенія. Къ числу сихъ послѣднихъ принадлежало и Стандешти. Проѣзжая проселочными дорогами, вы встрѣчаете эти жилища полудикихъ, и не довѣряете глазамъ своимъ. Вся деревня, старъ и малъ, ходятъ, лѣто и зиму, голые; да не сочтутъ выраженія этого преувеличеннымъ: ссылаясь на всякаго, кто проѣзжалъ, напримѣръ, изъ Бухареста въ Плойешти, за разлитіемъ

рѣкъ, проселочною дорогою. Тамъ рубахъ не знаютъ вовсе; сидятъ въ землянкахъ своихъ, бѣгаютъ по улицамъ, по́ воду, за скотиною, повторяю, старъ и малъ нагіе; изрѣдка, выходя за село, накидываютъ они на себя общій, семейный, синій или сѣрый, изъ рубищъ и лохмотьевъ состоящій, халатъ или кафтанъ, коего образецъ мы видѣли у Радукана въ угольномъ мѣшкѣ,— да и то на голое тѣло. Когда въ этой глуши раздается бичъ ямщика, то они, какъ звѣри, выставляютъ всклоченныя, черныя головы и, прикрывая наготу свою руками, выглядываютъ изъ-за угловъ землянокъ. Изумленный путникъ глядитъ—вѣритъ и не вѣритъ—ужели онъ перенесенъ въ Африку, подъ знойные тропики? И не успѣвъ опомниться, онъ уже промчался, и облака густой пыли скрываютъ лѣсныя берлоги дикихъ получеловѣковъ, разительно бытомъ своимъ доказывающихъ, до чего можетъ унизиться превозносимое человѣчество наше, упасть высокомѣрное животное—человѣкъ! Онъ духъ безплотный, полубогъ — онъ ниже всякаго самодвижущагося существа въ мірѣ! Отнимите у человѣка разумъ, умъ, и онъ стоитъ еще одною степенью ниже скота, ибо у него нѣтъ врожденнаго побужденія — инстинкта!

ГЛАВА VII

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

. . . . . Снимаетъ шляпу,
И милому сосѣдушкѣ поклонъ;
Сосѣдъ ему протягиваетъ лапу.
Крыловъ.

Итакъ, вотъ родина твоя, бѣдная Касатка, подумалъ я — и — чего, казалось бы, ожидать послѣ этого отъ дѣвственныхъ чувствъ твоихъ, отъ образа мыслей,

отъ самыхъ поступковъ? И не смотря на то, все, что вижу и слышу, увѣряетъ меня въ противномъ. Неужели такъ легко, подумалъ я, пробудить въ груди нашей это таинственное, священнодѣйствующее *я*, возносящее лучшаго человѣка такъ высоко надъ дремлющими, прозябающими, однородными его?

Дѣвка возбудила все участіе мое; я хотѣлъ научиться уважать и цѣнить человѣчество, хотѣлъ непремѣнно узнать цыганку нашу покороче — но не видѣлъ къ тому средства; въ самомъ дѣлѣ, какое могло быть между нами сношеніе, при такомъ ея обращеніи съ поклонниками своими? Итакъ, надобно было избрать иную дорогу. Не желая ходить съ разбитымъ лбомъ, не сталъ я за нею гоняться; а встрѣчаясь съ нею иногда нечаянно при входѣ и выходѣ, когда она, какъ кошка, летала вверхъ и внизъ по каменной лѣстницѣ, отъ госпожи и къ госпожѣ, — говорилъ я ей ласково: «здравствуй!» не давая однако же привѣтствію особеннаго вѣса и значенія. Послѣ этого она вскорѣ первая, встрѣчаясь и пробѣгая скоро мимо меня, говорила привѣтливо: «здравствуй», положивъ руку свою на грудь и наклоняя нѣсколько голову. Такимъ образомъ, она скоро научилась не бояться меня; увѣрилась, что безкорыстное привѣтствіе мое было только пріязненное, и вдругъ перемѣнила, со мною исключительно, общій тонъ сношеній своихъ, сдѣлалась довѣрчивою, внимательною и необыкновенно смѣлою. Движеніями души и тѣла управляла здѣсь чистая природа, которая заставляла ее съ такою же безбоязненною, неограниченною довѣренностію вполнѣ ввѣрять себя тому, кто казался ей доступнымъ, ласковымъ, ничего незамышляющимъ, съ какою непреклонною суровостію и неусыпляемою боязнью чуждалась всего, что рождало въ ней чувства противныя первымъ: подозрѣніе и недовѣріе. Она увидѣла, что я не таковъ, каковъ былъ, можетъ

быть, предшественникъ мой, адъютантъ, — и потому, когда я наконецъ шелъ однажды по узкому ходу масонскаго зданія, улыбаясь и съ распростертыми руками ей на встрѣчу, то она, подбѣжавъ скоро и смѣло, и сказавъ съ обычнымъ своимъ выразительнымъ тѣлодвиженіемъ: «здраствуй!» ловко и проворно въ тотъ же мигъ умѣла избѣгнуть распростертыхъ рукъ моихъ, проскользнувъ подъ ними. Потомъ бѣжала она скоро и, оглядываясь назадъ, говорила насмѣшливо: «здравствуй!» Я всегда съ душевнымъ умиленіемъ и какимъ-то искреннимъ уваженіемъ глядѣлъ на нее, и распростирая къ ней руки, охотно и спокойно дозволялъ ей отвести ихъ въ сторону, и никогда не былъ въ состояніи домогаться ласкъ ея какимъ-либо малѣйшимъ усиліемъ.

Въ такомъ расположеніи духа застали меня однажды товарищи мои — застали веселаго и спокойнаго духомъ, склоннаго къ созерцательной, высокой бесѣдѣ. «Ты зафилософствуешься здѣсь, наконецъ, и попадешь въ мудрецы, сирѣчь въ шуты, ибо это нынѣ, какъ и въ древности, одно и то же. Потѣшь насъ всѣхъ, не откажи повеселиться и подурачиться вмѣстѣ: поѣдемъ сегодня въ собраніе! Подумай хорошенько, братецъ, ты возвратишься въ Россію, проживъ здѣсь, въ чужой землѣ, нѣсколько мѣсяцевъ, и не увидишь свѣта, не увидишь общества! Станутъ спрашивать, любопытствовать, а ты будешь отвѣчать только по наслышкѣ?»— Они судили справедливо: какъ, въ самомъ дѣлѣ, не видавши людей, возвратиться домой? Пусть же, сказалъ я, вспомнивъ первое неудачное покушеніе мое видѣть свѣтъ, пусть показываютъ на неуча пальцами, если еще не забыли его, — мнѣ съ ними не дѣтей крестить! Я отмщу имъ неожиданнымъ присутствіемъ своимъ за то, что они меня осмѣяли, оговорили, я пойду только поглядѣть на нихъ, какъ

на рѣдкихъ звѣрей, и возвращусь домой, какъ изъ кунсткамеры!

Вечеръ насталъ; я сѣлъ и поѣхалъ.

ГЛАВА VIII

ЕЩЕ НЕУДАЧА

Ну, виноватъ, какого жъ далъ я крюку
Грибоѣдовъ.

Хоть я, какъ вскорѣ окажется, побылъ въ собраніи весьма недолгое время, но успѣлъ замѣтить, что все было прекрасно и великолѣпно, все какъ водится у насъ, европейцевъ. Но странную противоположность образовали между собою мужчины и женщины: сіи послѣднія, разодѣтыя по новѣйшимъ вѣнскимъ и парижскимъ журналамъ, могли бы въ самомъ дѣлѣ щеголять и у насъ на любомъ балѣ или собраніи; между тѣмъ какъ мужья и братья ихъ чинно выступаютъ въ мештяхъ и папушахъ, въ красныхъ шароварахъ, въ полосатыхъ, длинныхъ кафтанахъ съ кушаками, сверхъ коихъ надѣваются еще шитыя золотомъ или цвѣтнымъ гяйтономъ, курточки, а сверхъ этихъ еще широкій плащъ, бенишъ или дюбже;—присоедините къ этому наряду бороду и чалму, или, еще лучше, шапку съ пивной котелъ—и вы, забываясь непрестанно, невольно воображаете себя на какомъ-нибудь балѣ, данномъ турецкому посланнику со свитою его. Молодцы, правда, пускаются и въ пляску, въ мазурки и кадрили, и потому иные носятъ уже черные сапоги, и нѣкоторые танцуютъ весьма изрядно, но при всемъ томъ въ юпкахъ своихъ, очень неловко; дамы гораздо охотнѣе идутъ въ танецъ съ нашими. Мундиры и здѣсь въ большомъ уваженіи. Такъ одна молодая и любезная дѣвица, на

вопросъ, съ кѣмъ изъ нашихъ она танцовала, отвѣчала: «je ne sais pas; sans épaulettes!» Въ такомъ небреженіи были коммисаріатскіе и интендантскіе чиновники у дамъ сихъ—а все за мундиръ, за эполеты, за аксельбанты! О, это по нашему,—подумалъ я,—это не новость!

Въ собраніи этомъ находились одни только бояре 1-го разряда; другіе два класса ни за что въ свѣтѣ не могутъ быть допущены куда-либо вмѣстѣ съ первыми. Дворянство, боярство, раздѣляется здѣсь вообще на какіе-то на три разряда; смѣшное, глупое чванство каждаго изъ высшихъ передъ низшими превосходитъ всякое понятіе. И женщины строго соблюдаютъ это приличіе. Мнѣ случалось видѣть, что въ частныя собранія высшаго класса приглашены были кой-кто изъ второстепенныхъ; но тогда они являлись, точно какъ у насъ чернь подъ окна, поглазѣть и подивиться; они, мужья и жены ихъ, имѣли позволеніе *стоять* позади рядовъ стульевъ, за софами, у дверей; иногда, съ соблюденіемъ должнаго почтенія и приличія, слегка вмѣшиваться въ разговоры знакомыхъ имъ лицъ, но не смѣли присѣсть, а и того менѣе участвовать въ пляскахъ. Что городъ, то норовъ; что деревня, то обычай; что земля, то проказы! Вообще, чѣмъ пустѣе народъ, чѣмъ болѣе утратилъ онъ самобытность свою, силу и значеніе политическое, тѣмъ болѣе онъ льнетъ къ виду и къ наружности, обращаетъ все вниманіе свое на санъ, на платье и бороду или усы, пустословитъ, молодцуется и величается словами. Подавленный духъ ищетъ отрады, хотя въ соблюденіи и сохраненіи вида и наружности. Это общее замѣчаніе найдетъ во всей Европѣ примѣненіе свое: напомню только о Венгріи и о Польшѣ.

Въ Молдавіи и Валахіи чинъ или званіе остается при всякомъ, послѣ кратковременнаго занятія имъ

какого-либо мѣста или должности, на всю жизнь. Стольниковъ, вистіаріевъ, спотарей, встрѣчаете на каждомъ шагу. Логоѳетъ-маре, великій канцлеръ, есть первое, послѣ владѣтельнаго князя, господаря, лицо. Нѣкоторые бояре начинаютъ приближаться въ одеждѣ своей, болѣе или менѣе, къ европейскому; стригутъ голову, прочіе бреютъ ее; бреютъ бороду, — прочіе только развѣ подстригаютъ ее—и носятъ нѣмецкіе шапки и сапоги. Но все туземное образованіе состоитъ здѣсь въ поверхностномъ изученіи французскаго языка—въ Букарестѣ довольно говорятъ и по-нѣмецки; но болѣе уже не думаютъ ни о чемъ; весьма немногіе посылаютъ дѣтей своихъ въ нѣмецкія училища и университеты, откуда возвращаются нѣкоторые вполнѣ образованными. Природный языкъ крайне бѣденъ и необработанъ,—волошскій и молдавскій суть нарѣчія, коихъ корнемъ почитается латинскій: выговоръ иныхъ словъ весьма сходенъ съ итальянскимъ, а посему славянская грамота и печать весьма некстати приняты молдаванами и не соотвѣствуютъ вовсе ни произношенію, ни правописанію языка. Приличнѣе было бы въ семъ отношеніи помѣняться молдаванамъ съ поляками, которые весьма удобно могли бы писать нашими славянскими буквами.

Вошедъ въ строеніе благороднаго собранія въ Яссахъ, повернулъ я тотчасъ въ освѣщенныя двери вправо. Я не замѣтилъ, что недоумѣвающій часовой, вѣроятно рекрутъ, сдѣлалъ движеніе, будто хотѣлъ откинуть прикладъ отъ ноги, чтобы мнѣ заградить входъ; вхожу— и, пораженный, возвращаюсь вспять. Что со мно сталось, спросите вы, друзья мои? На этотъ разъ довольно вамъ знать, что это была уборная для дамъ: я попалъ не въ тѣ двери. Болѣе не докучайте, прошу васъ, и избавьте меня отъ всякихъ дальнѣйшихъ объясненій.

ГЛАВА IX

ВИРТУОЗЪ И ТРУБАДУРЪ

Ея плѣнительныя очи
Яснѣе дня, черпѣе ночи!
Пушкинъ.

Роковое: «ай!» еще отдавалось въ ушахъ моихъ, когда я, всходя по лѣстницѣ влѣво, встрѣтилъ одного изъ товарищей, и спросилъ, «отгадай, въ которомъ ухѣ звенитъ?»—«Въ лѣвомъ!»—«Въ обоихъ», отвѣчалъ я, и вступилъ, чтобы исправить, сколько можно, погрѣшность свою, съ передняго крыльца, въ ярко освѣщенную залу. Не скрылось отъ меня при самомъ вступленіи моемъ, что я сдѣлался предметомъ вниманія, болѣе или менѣе общаго. Я взглянулъ на прекрасныхъ, которыя сидѣли, — для меня все чужія; одни знаки препинанія, вопросительные, восклицательные, запятыя и двоеточія, безъ буквъ, безъ смысла,—сидѣли, разряженныя жардинрьерками и бержерками, одна подъ одной, какъ подобранныя яблочки на лоточкѣ, и перешептывались: «c'est lui! c'est lui...» Потомъ подумалъ: видно мнѣ не суждено ни очаровывать, ни быть очарованнымъ; пожалѣлъ искренно о 15-ти левахъ, заплаченныхъ за входъ, и воротился домой.

Вошелъ въ комнату свою, зажегъ я свѣчу; походилъ; въ головѣ у меня бродила нескладица и всякій вздоръ; я досадовалъ, самъ не зная на что и на кого, и взялся отъ скуки за валявшіеся на окнѣ варганы, на которыхъ не игралъ уже давно. Не знаю, слышалъ ли кто изъ читателей моихъ игру на двухъ, квартою или квинтою, взаимно настроенныхъ варганахъ:—звуки тихіе, однообразные, не согласные и довольно пріятные. Извѣстный Космели объѣздилъ весь міръ, заработ-

тывая себѣ прогоны на варганѣ; объ этомъ упоминаю не для того, чтобы состязаться съ симъ мастеромъ своего дѣла, въ сравненіи съ коимъ я то, что божья коровка, по величинѣ своей, противу холмогорскаго откормленнаго быка, а только для того, чтобы дать инструменту моему почетное мѣсто въ глазахъ тѣхъ изъ читателей моихъ, коимъ онъ, можетъ быть, извѣстенъ только, какъ вѣрный сопутникъ мальчишекъ-побродягъ, при игрѣ въ бабки или чушки.

Я наигрывалъ въ раздумьѣ тирольку, сидя у маленькаго столика и облокотившись на него въ оба локтя. Вдругъ тихо растворяется дверь моя, и заглядываетъ въ полголовы смуглое румяное личико, и два глаза, свѣтлѣе дня, темнѣе ночи. Не трудно догадаться, что это была Касатка наша. Она съ возрастающимъ изумленіемъ глядѣла на меня и инструментъ мой. Цыганы большею частію природные музыканты и охотники не только до шумной, варварской и безтолковой турецкой музыки, но и до нашей, ибо имѣютъ слухъ и музыкальное ухо, а этимъ опять существенно отличаются отъ здѣшнихъ земляковъ своихъ, молдаванъ. «Войди, не бось», сказалъ я, и продолжалъ играть. Еслибы я вскочилъ тотчасъ, обрадованный и удивленный приходомъ ея, то она бы вѣроятно тотчасъ убѣжала; но непритворное спокойствіе мое раждало и въ ней взаимное довѣріе, а дѣтское любопытство привлекало полудикую. Она вошла, тихо притворила дверь, подходила ближе, ближе, и наконецъ, захохотавъ во все горло и ухвативъ меня руками за оба локтя, воскликнула: «Кумъ се поцъ!» какъ это возможно!

Такое простодушіе въ милой и пріятной наружности дѣвушкѣ должно было сильно овладѣть чувствами даже и самаго холоднаго наблюдателя. Она умоляла меня продолжать, а между тѣмъ держала крѣпко руки мои, какъ будто боялась ихъ свободы, такъ что я не могъ

поднести варгановъ ко рту. Я разсмѣялся, высвободилъ наконецъ руки свои, поцѣловалъ ее, условившись наперед въ этой платѣ трубадуру, и продолжалъ играть. Глядя на нее, невольно сравнивалъ я съ нею прелестницъ, коихъ только-что покинулъ съ облегченнымъ сердцемъ въ *благородномъ* собраніи, и гдѣ, думалъ я, всматриваясь сквозь эти ясные глаза въ душу ея, гдѣ болѣе возвышеннаго, истиннаго благородства души? Гдѣ искать пружины, побуждающей тебя дѣйствовать такъ, а не иначе, быть таковою, какова ты теперь? Кто могъ внушить тебѣ чувство, которое такъ сильно и вѣрно объемлешь въ дѣвственной груди своей, ты, которая, до развитія духовнаго и тѣлеснаго, жила съ дикими звѣрями въ лѣсу, не знающими ни нуждъ, ни потребностей, ни чувствъ, кромѣ внушаемыхъ дикою матерью ихъ, природою, кромѣ звѣрскихъ побужденій къ утоленію голода, жажды, къ защитѣ отъ зноя и стужи,—а теперь, не видишь вокругъ себя ничего, кромѣ своевольства и разврата? Кто можетъ отказать такому существу въ благочестивомъ уваженіи? Кто можетъ не признать въ немъ этой частицы божества, этой искры безсмертія, и не смирится передъ сими знаменіями непостижимой вѣчности?

Нѣсколько дней спустя, возвращался я вечеромъ, не рано, домой. Все на улицахъ было тихо и темно. Низкія, частію бумажныя и пузырчатыя окна [1]), занимающія иногда всю переднюю стѣну низкихъ деревянныхъ лачугъ, изливали тусклый свѣтъ подъ ноги. Не доходя на нѣсколько шаговъ до квартиры моей, услышалъ я странные звуки человѣческаго голоса, сопровождаемые бряцаньемъ струннаго инструмента. Я подошелъ къ широкому, низкому окну лавочки или шинка,

---

1) Недостаточные пользуются, вмѣсто стеколъ, прозрачною крѣпкою плевою воловьяго сальника, нарочно для сего выдѣлываемаго.

и увидѣлъ арнаута, сидящаго по-турецки на широкой, деревянной, рогожею покрытой скамьѣ—онъ игралъ отрывисто, перышкомъ, на коротенькой, пузатой бандурѣ и, кривляясь и качая головою въ обѣ стороны, напѣвалъ удавкою, прищелкивая языкомъ, народную молдавскую пѣсню. Для насъ тутъ нѣтъ ничего хорошаго, но здѣсь народъ восхищается симъ дикимъ, нестройнымъ разладомъ, симъ чуждымъ и непонятнымъ образованному слуху сочетаніемъ звуковъ. Подлѣ самой двери, внутри шинка, стояла цыганка наша, вмѣстѣ съ другою дворовою дѣвкою, и внимательно слушала. Трубадуръ примѣтно силился угождать посѣтительницамъ своимъ, на коихъ по часту бросалъ взоры, и пѣлъ съ дикою выразительностію, кривляясь и переливаясь удавкою и икоткою, — лучше объяснить этого рода пѣнья не умѣю. Цыганка, положивъ руку на плечо подруги своей, глядѣла на него съ живымъ участіемъ; я хотѣлъ видѣть, чѣмъ все это кончится: будетъ ли она такъ же признательна трубадуру, нынѣ ее восхищающему, какъ нѣкогда мнѣ; а если позволено было заключить по немъ, то дѣло, казалось, едва ли безъ того обойдется!

Сдѣлавъ послѣдній нѣжный переливъ искусно дрожащимъ, подавленнымъ голосомъ и дернувъ перышкомъ своимъ отрывисто по дикому разладу струнъ, арнаутъ вскочилъ и, съ возгласомъ изступленнаго восторга, бросился обнять Касатку нашу. Вотъ рѣшительный мигъ; я вытянулъ шею и вижу въ объятіяхъ его—Зощу, подругу Касатки, между тѣмъ какъ эта ловко уклонилась за первую, подсунувъ ее; двери хлопнули, и—въ ушахъ моихъ раздались обаятельные звуки папушъ, башмаковъ Касаткиныхъ, которая бѣжала, черезъ широкій дворъ, домой.

———

ГЛАВА X

КАССАНДРА

Не дари ты меня, молодушки
Не безчести моей головушки.
Русская земля.

«Поздравлю, братецъ», сказалъ нѣкто, вступая въ мою комнату:—«поздравляю!»—«Съ чѣмъ?»—«Съ побѣдою!»—«Надъ турками?» — спросилъ я вставая, съ участіемъ.—«Надъ молдаванками! ты, по крайней мѣрѣ такъ мнѣ сказывали, ты побѣдоносный рыцарь Аглаицы Барбачанъ или сестры ея Еленки, что ли, ты, говорятъ, каждый день бываешь въ домѣ! Покажи-ка лапу, ужь нѣтъ ли колечка? поздравить что ли, такъ я буду первый; или объ этомъ еще не говорятъ?»—«Ты, братецъ, прямая баба!»—отвѣчалъ я ему—«Не я сказалъ, другіе говорятъ», возразилъ тотъ, оправдываясь словами лица одной ненапечатанной комедіи [1]).—«Чтобъ вамъ досужимъ сплетницамъ всѣмъ типунъ на языкъ!» — «Ди не прикидывайся», продолжалъ расторопный балагуръ мой: «не прикидывайся, полно скромничать!»

— Хоть бы ты иногда научился прикинуться умнымъ!—отвѣчалъ я наконецъ.—По мнѣ, право, все одно; мели, что хочешь. не въ зазоръ твоей чести сказано, не въ укоръ помянуто; я не Аглаица и не Еленка, такъ на мнѣ слово твое не повиснетъ. Но ради дѣвицъ, о которыхъ ты говоришь, скажу тебѣ, если знать хочешь, что я дѣйствительно нѣсколько дней сряду бывалъ, да еще буду въ домѣ для того, что пользую тамъ больного. Вотъ все; болѣе между нами еще сношеній небыло, да надѣюсь, и не будетъ; хо-

[1]) Она тогда еще не была напечатана.

чешь вѣрь, не хочешъ: не вѣрь; но избавь меня отъ этихъ плоскодонныхъ шутокъ или отложи ихъ на время; я какъ-то не расположенъ ихъ теперь слушать; онѣ мнѣ здѣсь, въ Яссахъ, и такъ пріѣлись!

— Ты сердишься,—продолжалъ онъ, подавая мнѣ руку:—право объ этомъ говоритъ весь городъ: я не выдумалъ и не виноватъ тому нисколько!

— Пусть говорятъ, а ты не переговаривай всего, что говорятъ. Но чтобы доказать тебѣ, что я впрочемъ не сержусь, то, быть такъ, буду сегодня сотрудникомъ твоимъ въ изданіи словеснаго ясскаго позорнаго временника. Слушай: Зоица тебѣ измѣнила, или тебѣ смѣется; она прогнала мужа, разводится съ нимъ и, не ожидая тебя, выходитъ за рыжебородаго Спотаря, который, видно, не поладилъ уже съ исправницею...

— Зоица! можно ли!—воскликнулъ онъ:—почему ты это знаешь?

— Мнѣ сказывала сегодня хозяйка моя, равно какъ и другихъ подобныхъ сплетенъ многое множество, которыхъ однакоже не упомню. Я, изъ любви къ тебѣ, старался удержать въ памяти своей хотя одну эту!

Онъ схватилъ шапку и побѣжалъ забирать свѣдѣнія о мнимой невѣстѣ своей, а я этого только и желалъ.

Среди этого Содома и Гоморры, предстала очамъ души моей Касатка. Сравненія и заключенія въ пестрыхъ картинахъ тѣснились въ воображеніи моемъ, смѣнялись, являлись, исчезали,—какъ вдругъ я услышалъ знакомую походку ея и припѣвъ, въ сѣняхъ. Я жаждалъ забыть случившееся и отдохнуть мыслями и взоромъ на предметѣ отраднѣйшемъ. Я отворилъ дверь свою. Касатка улыбалась мнѣ, какъ вешнее утро, и отступала, подпершись руками, по длинѣ корридора. Я стоялъ, сложивъ передъ собою руки, неподалеку отъ столба, о который дворецкій намедни раскроилъ себѣ лобъ, стоялъ прислонясь спиною къ двери моей, и глядѣлъ на Касатку

съ чувствомъ необыкновеннаго внутренняго спокойствія. «Поди ко мнѣ, не уходи», сказалъ я.—«Нельзя,—отвѣчала она:—я жду барыни, она уѣхала со двора.»—«Поди, душа моя, я покажу тебѣ богатое турецкое женское платье; ты надѣнешь, примѣришь его!»—«Мнѣ должно стеречь пріѣздъ барыни, быть на крыльцѣ!»—«Тѣмъ лучше: изъ оконъ моихъ и дворъ, и ворота, и крыльцо, все въ твоихъ глазахъ!» И съ сими словами, окинувъ руку вокругъ нея, почти насильно повлекъ ее за собою.

Она надѣвала турецкое платье, наряжалась, глядѣлась въ зеркало, смѣялась, рѣзвилась, шалила и радовалась, какъ дитя. «Какъ тебя зовутъ?» спросилъ я наконецъ, вспомнивъ, что не зналъ доселѣ имени ея.—«Кассандра.»—«Кассандра?» повторилъ я.—«Аша, да; а что, не хорошо?»—«Напротивъ того, очень хорошо; знаешь ли ты, что была уже нѣкогда, до тебя, Кассандра?»—«Знаю,—отвѣчала она проворно, и глядѣла мнѣ прямо въ глаза: — бабку мою звали такъ же!»—«Нѣтъ, душа моя, еще гораздо прежде бабки твоей; если не вѣришь, то спроси у молодого барина своего, который на дняхъ пріѣхалъ изъ нѣмецкихъ училищъ; онъ тебѣ разскажетъ объ этомъ».—«У него? ни за что въ свѣтѣ! Я боюсь его, и бѣгаю отъ него; онъ точно такой же, какъ адъютантъ; еще хуже! Но онъ все говоритъ, что возьметъ меня съ собою, что купитъ меня у барыни.»—«Да развѣ барыня тебя продастъ?»—«А почему же не такъ? у нея насъ много!»

Этотъ простодушный отвѣтъ напоминалъ мнѣ подобный, сказанный самою госпожею, только менѣе кстати. Я поручилъ однажды дворецкому предложить куконѣ его, чтобы она велѣла привезти изъ сосѣдней деревни своей двухъ слѣпыхъ цыгановъ, о которыхъ я слышалъ отъ Кассандры, дабы я могъ осмотрѣть ихъ и, въ случаѣ возможности, возвратить имъ зрѣ-

чрезъ операцію. Дворецкій послѣ доклада приходитъ опять ко мнѣ. «Я сказалъ куконѣ».—«Ну что же!»—«Она засмѣялась». — «Что же тутъ смѣшнаго?»—«Да она говоритъ: у меня много цыганъ; пусть, пожалуй, эти будутъ и слѣпые!»

«Но гдѣ тебѣ лучше, Кассандра», спросилъ я: «здѣсь или на родинѣ твоей?»—«Здѣсь веселѣе,—сказала она:—здѣсь я одѣта; тамъ у меня не было платья.»—«То есть, такого хорошаго не было»,—возразилъ я.—«Нѣтъ, вовсе не было. Когда меня повезли въ городъ, то накинули съ кучера халатъ, а когда привезли, то барыня приказала посадить меня въ подвалъ; тамъ я сидѣла два дня, покуда меня одѣли.»—«Но, Кассандра, ты уже не ребенокъ; это доказываютъ между прочимъ и большіе черные глаза твои, которыми ты, бывъ ребенкомъ, не умѣла такъ глядѣть, какъ теперь; и потому»—я поднялъ рукою голову ея вверхъ—«посмотри этими глазами на меня, прямо, и скажи мнѣ, да только правду, кто былъ тебѣ милѣе всѣхъ на дикой родинѣ твоей, въ деревушкѣ, можетъ быть, или въ иномъ мѣстѣ?»—«Такъ вы уже слышали объ этомъ?—отвѣчала она проворно:—его теперь нѣтъ ни дома, ни въ деревнѣ, ни здѣсь; его турки угнали съ собою, когда онъ весной былъ въ Каларашѣ, и онъ теперь въ Силистріи копаетъ крѣпость. Такъ разсказывалъ товарищъ его, Тодорашко, который успѣлъ уйти изъ Калараша.»

Кассандра отстала немного отъ исторіи новѣйшихъ военныхъ дѣйствій и политики, подумалъ я. Силистрія уже была взята нами. Я ей сказалъ это. «Ну такъ онъ вѣрно прійдетъ опять, если турки его не зарѣзали», сказала она.—«А если?»—спросилъ я.—«Тогда я буду по немъ плакать». — «Будешь?» — «Буду!» И влажное яблоко очей ея, и притупленный туманный взоръ образовали привлекательную противоположность

съ постоянной улыбкою алыхъ устъ. «Кассандра!» сказалъ я ей: «я скоро ѣду отселѣ—возьми себѣ этотъ червонецъ, береги его до дня свадьбы твоей, будь всегда такова, какъ ты теперь, и вспоминай меня иногда!»—Она съ живостью ухватила червонецъ, повертѣла его на пальчикахъ своихъ, расматривала—это былъ первый попавшійся ей въ руки—и положила его опять на столъ. «Ну треба ламине», не надобно мнѣ его,—сказала она: «спрятать мнѣ его некуда, а что скажутъ, если здѣсь въ домѣ его у меня увидятъ?»—Я молчалъ.—«Дайте мнѣ», продолжала она, положивъ съ довѣрчивостію руку свою ко мнѣ на плечо: «дайте мнѣ этотъ турецкій поясокъ!»—Голосъ, взоры, улыбка ея, все выражало довѣріе, чувство привязанности и и благодарности, и самодовольствіе въ отверженіи столь значительнаго для нея подарка. «Возьми поясокъ, Кассандра, бери, что хочешь, что тебѣ нравится!» Она взяла его, обвила вокругъ себя, и положила опять на столъ. «Не хочу и этого; что скажутъ о червонцѣ, то же скажутъ и объ этомъ!»

Въ сію минуту послышался стукъ въ сѣняхъ—мы оглянулись—карета стояла у крыльца и кукона уже изъ нея вылѣзала. Кассандра, всплеснувъ руками, бросилась къ двери, пототъ одумалась, сдѣлала мнѣ знакъ рукою и, прислушиваясь, остановилась. И я подошелъ, сталъ подлѣ нея, едва переводя духъ, и ожидая минуты, въ которую въ сѣняхъ все стихнетъ и опустѣетъ, чтобы выпустить милую плѣнницу мою, которую такъ безразсудно завлекъ я въ столь непріятное положеніе. Все стихло — она повернула ручку замка, и—я уже опоздалъ, когда наклонился лицомъ къ призраку, въ которомъ думалъ еще видѣть ее передъ собою!

ГЛАВА XI

СОПЕРНИКЪ

Минуй насъ пуще всѣхъ печалей,
И барскій гнѣвъ, и барская любовь.
Грибоѣдовъ.

Въ самое это время вдругъ прибылъ въ Яссы чиновникъ для осмотра госпиталей. Онъ канулъ, какъ снѣгъ на голову. Военновременные госпитали никогда не могутъ достигнуть исправности постоянныхъ; они созидаются всегда, сообразуясь съ обстоятельствами обыкновенно на скорую руку, и потому, даже при самой отчетливой попечительности правительства, военновременные госпитали всегда, болѣе или менѣе, будутъ терпѣть недостатки разнаго рода. Эта истина дознана уже столѣтіями; каждая новая война подтверждаетъ то же. Два дня бѣгали мы, ординаторы, въ мундирахъ и шляпахъ, суетились, спотыкались черезъ шпаги свои, хватали мимоходомъ больныхъ за руку чаще обыкновеннаго, смотрѣли на языки, и прописывали.—Иностранный докторъ медицыны З . . , вступившій въ службу нашу, по воспослѣдовавшему тогда приглашенію, по контракту, на военное только время, зная дѣло свое хорошо, но не зная, какъ у насъ говорится, *службы*, имѣлъ значительныя непріятности, за различные безпорядки, которыхъ онъ не умѣлъ досмотрѣть; почему, считая себя, по излишнему нѣмецкому честолюбію своему, оскорбленнымъ и обиженнымъ, хотѣлъ немедленно оставить службу. «Ты этимъ досадишь только себѣ,» говорилъ я ему: «святое мѣсто порожнимъ не останется, а ты, на первый случай, будешь безъ хлѣба! Порядокъ есть душа общежитія, дисциплина—душа слубы». Но возвращаюсь

къ предмету. Сей-то строптивый сынъ эскулапа сидѣлъ у меня въ одинъ вечеръ, и я писалъ ему просьбу объ увольненіи его отъ службы; толковалъ этому небожителю, чаду луны, что у насъ просьбы объ увольненіи подаются или по болѣзни, или по домашнимъ обстоятельствамъ, для пріисканія иного мѣста, или какъ въ этомъ случаѣ, по причинѣ истеченія условленнаго по контракту срока;—онъ спорилъ, кричалъ, горячился.—Вдругъ въ это время въ сѣняхъ моихъ послышался стукъ, какъ будто бы что упало, зазвенѣло разбитое окно, раздался топотъ нѣсколькихъ скоробѣгущихъ ногъ; ближе, ближе, съ силою бросился кто-то въ дверь мою, и Кассандра вбѣжала. «Я запру», — сказала она, запыхавшись и поставивъ ногу передъ дверью, ухватилась рукою за ключъ и поспѣшно повернула его. Мы оба были крайне удивлены, изумлены, я всталъ съ безпокойствомъ, а у огорченнаго товарища моего чело просвѣтилось и прояснилось. Кассандра, повидимому не замѣчая вовсе посторонняго, подошла ко мнѣ и, ломая руки, молила о спасеніи. Товарищъ мой, природный буковинецъ, заговорилъ съ нею помолдавански, она, не переводя духа лепетала сряду четверть часа, и оказалось наконецъ слѣдующее: Она дѣйствительно была уже продана племяннику хозяйки нашей, который черезъ нѣсколько дней ѣдетъ и беретъ ее съ собою. Онъ теперь позвалъ ее къ себѣ; она не пошла; онъ велѣлъ поймать ее и привести; она вырвалась, убѣжала, сшибла съ ногъ всѣхъ, кого ни встрѣтила на лѣстницѣ, въ сѣняхъ и въ корридорѣ, и бросилась въ мою комнату, какъ единственное для нея убѣжище въ цѣломъ городѣ, не только въ цѣломъ домѣ. Люди, постоявъ, пошептавъ и потопавъ около дверей, тихонько отошли; никто не осмѣлился войти или постучаться. Товарищъ мой былъ восхищенъ и очарованъ; онъ всплескивалъ руками и хохоталъ во

все горло. Разсказъ ея былъ такъ простъ, ясенъ и выразителенъ, тѣлодвиженіе ея, когда она, положивъ руку на грудь, наклонялась всѣмъ тѣломъ впередъ, было такъ сильно и убѣдительно, что онъ не могъ опомниться. — Наконецъ мы, надѣлавъ кучу плановъ для спасенія и освобожденія Кассандры, распростились съ нимъ до утра.

«Чего же ты теперь отъ меня хочешь?»—спросилъ я Кассандру:—«и что я могу теперь для тебя сдѣлать?»—«Я не пойду отъ васъ,—сказала она:—я останусь здѣсь до утра; днемъ я ихъ не боюсь; но теперь къ нимъ не пойду!»—«Куда же я тебя дѣну и гдѣ ты ляжешь, Кассандра? У меня, ты знаешь, только одна большая комната!» — «Ничъ,—здѣсь, сказала она, указывая на полъ подлѣ печи: здѣсь лягу!»

Я велѣлъ ей лечь на одинъ конецъ длинной молдаванской софы, занимавшей, какъ обыкновенно, всю ширину задней стѣны, а самъ, завернувшись въ плащъ, легъ на другой. Черезъ пять минутъ я всталъ, взялъ фуражку, накинулъ шинель, оставилъ Кассандрѣ ключъ отъ комнаты моей и пошелъ на ночлегъ къ одному изъ товарищей.

Дорогою встрѣтилъ я еще обычный похоронный церемоніалъ нѣсколькихъ отъ чумы умершихъ. По темной, никогда неосвѣщаемой, узкой улицѣ, шелъ чокла [1]) съ факеломъ и кричалъ, дабы встрѣчные могли заблаговременно посторониться: «Ла ждума! ла ждума!» Воловій возъ былъ нагруженъ тремя или четырьмя трупами, со всѣми пожитками ихъ. Другой чокла, въ смоленой рубахѣ, спокойно возсѣдалъ на нихъ и понукалъ хлыстомъ воловъ.

---

[1]) Чоклами называются здѣсь обрекшіеся, за плату, обязанности ходить за чумными и хоронить ихъ. Они обыкновенно уже перенесли сами чуму, и потому въ продолженіе одной и той же эпидеміи рѣдко вторично заболѣваютъ.

ГЛАВА XII

ЕЩЕ СОПЕРНИКЪ

Не по хорошу милъ,
А по милу хорошъ!
Русская пословица.

Было поздно, какъ мы улеглись; еще позднѣе, когда успокоилось нѣсколько изнеможенное, мечтательными предпріятіями взволнованное, воображеніе мое и погрузилось въ полусонное забытіе, то есть, говоря по-русски, когда усталость меня одолѣла и я уснулъ; а когда пробудился, то лучъ солнца, упадавшій на средину пола, возвѣщалъ мнѣ уже не раннее утро. Я былъ одинъ. Все вчера со мною сбывшееся казалось мнѣ чуднымъ и безпокойнымъ сномъ. Едва успѣлъ я одѣться, чтобы отправиться домой, какъ слышу на улицѣ страшный крикъ, необыкновенныя воззванія и голоса. Бѣгу за ворота. Здѣсь неожиданное явленіе меня поразило. По улицамъ водили и наказывали, по здѣшнимъ обычаямъ, двухъ преступниковъ жида и цыгана. Голые по поясъ и высмоленные, шли они, громогласно взывали къ народу, каялись и высказывали, что зарѣзали двухъ русскихъ маркитантовъ на большой дорогѣ. Палачъ шелъ за ними; чиновникъ, въ багровомъ плащѣ, впереди, читалъ вслухъ приговоръ, арнауты, стражи, ихъ окружали; народъ кучами валилъ и волновался вслѣдъ. Я стоялъ: куча тѣснилась и волновалась по узкой улицѣ неугомонной толпой мимо меня—вдругъ слышу за собою знакомое: «здравствуй, бояръ!» оглядываюсь и вижу—моего Радукана! «Ты здѣсь?» сказалъ я; «здравствуй, братецъ, зачѣмъ же ты доселѣ не приходилъ ко мнѣ за деньгами?»—«Когда случилось мнѣ нѣсколько времени послѣ

встрѣчи нашей, быть въ городѣ, то я васъ болѣе въ Ханъ-Куроѣ не засталъ; а по боярскимъ дворамъ искать не смѣлъ; вы знаете, что бояре, опасаясь чумы, запираютъ нынѣ ворота рѣшетками и чужого никого на дворъ не пускаютъ, а нашего брата еще, пожалуй, чокои и поколотятъ!» — «Пойдемъ же со мною», сказалъ я.—Въ воротахъ моего жилища сошелся я еще съ докторомъ З . . . , который шелъ съ любопытствомъ провѣдать меня, и удивился новому проводнику моему.

«Вотъ землякъ твой», сказалъ я Кассандрѣ, бѣжавшей съ лѣстницы второго жилья, когда я вступалъ, вмѣстѣ съ Радуканомъ, въ сѣни.

«Радуканъ, бояръ!» — закричала она. — Это былъ тотъ самый, кого она по заключеніи мира считала еще на работѣ въ турецкой, несуществующей крѣпости. Радуканъ, улыбаясь, поклонился и, медленно подходя къ ней, взглянулъ весело на меня, и сказалъ, указывая на нее: «Кассандра, бояръ!»

Они разсказывали другъ другу такъ много и проворно, что и самъ буковинецъ мой мало могъ понимать. Но тѣмъ болѣе смѣялся онъ опять мнѣ и новому сопернику моему, который былъ, казалось, поопаснѣе перваго, ибо Кассандра уже три раза поцѣловала его, и понесла, отъ каждаго поцѣлуя, по черной печати на устахъ и щекахъ. «Кто изъ васъ лучше, Радуканъ?» спросилъ я шутя. «Оба лучше», отвѣчалъ онъ махнувъ рукою. Лучше и хорошо были у него тождесловы.

Странная противоположность! Она—въ аломъ платьѣ, въ желтыхъ мештяхъ и синей скуртайкѣ: черные, длинные волосы волнами упадали на плеча, длинная и широкая, въ ладонь, коса, опускалась вдоль спины; лицо и руки смуглыя, но, по чести, опрятныя; онъ же—въ лохмотьяхъ; курчавые, сбитые войлокомъ во

лосы, отроду гребня не видавшіе и походившіе на черную, какъ смоль, всклоченную овчину; лицо и руки, голая грудь и все тѣло, покрытыя пылью, пепломъ, сажей... Кассандра! хотѣлъ я спросить: и онъ тебѣ можетъ быть милымъ?—Но вмѣсто того пошелъ тотчасъ, вмѣстѣ съ пріятелемъ моимъ З . . , къ племяннику моей куконы. Храбрость свою онъ уже показалъ, не осмѣлясь безпокоить крѣпостной цыганки своей, когда увидѣль, что она состояла подъ особымъ моимъ покровительствомъ. Молдаваны робки отъ природы, а у кого совѣсть нечиста, тотъ всегда не смѣлъ, итакъ, въ немъ, племянникѣ, было въ одной особѣ, два труса. Я рѣшительно и безъ всякихъ обиняковъ объявилъ ему, чтобы онъ или тетка его продали мнѣ Кассандру. «Иначе», сказалъ я: «вы отъ меня, ей-ей, ничѣмъ на свѣтѣ не отдѣлаетесь; я пойду просить на васъ къ генералу, заведу тяжбу и ссору, буду лично съ вами имѣть дѣло» — а я сказалъ уже, что племянникъ воспитывался въ нѣмецкихъ училищахъ и потому понималъ *не молдаванское* выраженіе это: — «въ домъ вашъ поставятъ полкового барабаннаго старосту со всею школою, а наконецъ я все-таки увезу Кассандру съ собою въ Россію. Тогда ищите ее!»

И половины сказаннаго было бы довольно, чтобы убѣдить племянника нашего въ необходимости покориться обстоятельствамъ. Онъ, свободно объясняясь на нѣсколькихъ языкахъ, обратилъ все прошедшее въ одну шутку; увѣрялъ, что душевно радуется случаю оказать мнѣ столь пустую услугу, которую я возношу гораздо выше цѣны ея, и наконецъ ласково повелъ меня къ теткѣ своей.

— Сто шестьдесятъ левовъ, — сказала она, послѣ надлежащаго обоюднаго объясненія: — «заплатите вы мнѣ за цыганку мою, на слово, безъ вѣсу! Надобно знать, что здѣсь все продается на вѣсъ и мѣру. Не-

задолго предъ симъ, ни одинъ крѣпостной или крѣпостная не продавались иначе, какъ на вѣсъ; теперь это нѣсколько вышло изъ употребленія.

— Это будетъ — отвѣчалъ я, доставая кошелекъ свой:—пять червонцевъ? Но дворецкій замѣтилъ, что галбанъ, червонецъ ходитъ теперь не 32, а $31^1/_2$ лева. — Итакъ, еще $2^1/_2$ лева, не наше деньги рубль мѣдью,—сказалъ я, и положилъ четвертакъ на столъ:— такъ-ли? — Добре, добре,—былъ отвѣтъ, за которымъ немедленно получилъ я и купчую крѣпость, на оторванномъ лоскуткѣ, на осьмушкѣ листа, на которомъ молдаваны всегда пишутъ дѣловыя бумаги свои, сдѣлки, купчія и подорожныя, кудрявымъ почеркомъ, въ которомъ едва можно узнать искаженное славянское письмо,—съ приложеніемъ черныхъ накопченныхъ печатей. Я поклонился и ушелъ

ГЛАВА XIII

КАССАНДРА И РАДУКАНЪ

Скажи, зачѣмъ явилась ты
Очамъ моимъ, младая Лила,
И вновь знакомыя мечты
Души заснувшей пробудила —
Скажи, зачѣмъ?
Өирсъ.

Прошли недѣли, мѣсяцы; прошелъ и цѣлый годъ; я забылъ уже о сплетняхъ и проказахъ столицы княжества, гдѣ все смѣшное становится жалкимъ, и жалкое — смѣшнымъ. Кассандра и все, что сбылось съ нею и со мною, мнѣ видѣлось, какъ во снѣ, носилось иногда въ неясныхъ образахъ, такъ грезы, не то минувшаго, не то будущаго—и то только изрѣдка. Ге-

нералъ ѣхалъ, по благополучномъ окончаніи многотруднаго и славнаго похода, опять изъ Букареста въ Яссы. Дорогою проѣзжали и видѣли мы знаменитый Рымникъ,—Рымникъ, въ которомъ сынъ утонулъ на томъ же мѣстѣ, гдѣ отецъ снискалъ безсмертіе — мелкій, ничего незначущій ручей, при которомъ лежитъ и мѣстечко. Видѣли и нѣсколько другихъ мѣстечекъ и городовъ на ту же стать, но менѣе славныхъ въ исторіи, менѣе извѣстныхъ. Невольный ужасъ обнималъ насъ, когда проѣздомъ находили мы въ Бузео, въ Фокшанахъ, однѣ пустыя, заглохшія улицы, покинутые дома безъ жителей, безъ оконъ, безъ дверей, и все мертво и тихо; кучи дымящагося навоза доказывали только, что кой-гдѣ теплится еще сокрытая жизнь—это слѣды чумы, которая подобнымъ образомъ опустошила цѣлыя деревни, мѣстечки и города! Между прочимъ проѣзжали мы и Бирладъ, уже наполненный стекшимися жителями. Въ немъ чума давно прекратилась. Темный, тихій, прекрасный вечеръ разливалъ осеннюю прохладу. Генерала ожидали, и потому надѣлали много шуму и тревоги. Множество экипажей, мало извѣстныхъ въ этой глуши, крикъ ямщиковъ, ѣздовыхъ, передовыхъ, конвойныхъ, проводниковъ, подняли на ноги все мѣстечко. Мы скакали во весь духъ за генеральскою коляскою, по обѣимъ сторонамъ нашимъ мчались сотскіе въ багровыхъ турецкихъ плащахъ, съ факелами на длинныхъ жердяхъ; исправники въ золотыхъ епанчахъ скакали за нами; мирные любопытные зрители и обыватели выставляли во мракѣ головы свои изъ оконъ, дверей, воротъ и переулковъ—мимолетные факелы послѣдовательно и бѣгло ихъ освѣщали; толпа народа стояла по обѣ стороны тѣсной мощеной досками улицы, и въ ней-то увидѣлъ я, при свѣтѣ летучихъ факеловъ, бородатаго молодого цыгана, съ кожанымъ мѣшкомъ за спиною, а рядомъ съ нимъ стояла цы-

ганка—не простоволосая, но въ платкѣ, который длиннымъ хвостомъ своимъ падалъ ей на спину. Она держала черномазыхъ, курчавыхъ голыхъ двойниковъ на рукахъ. Это — Радуканъ и Кассандра! Они кланялись, увидѣвъ меня, и Кассандра нѣсколько шаговъ бѣжала за коляскою — но быстро пронеслись мы по тѣснымъ улицамъ Бирлада; смоляные факелы на длинныхъ жердяхъ своихъ скоро догорѣли и гасли, разбросанные по одиночкѣ на чистомъ полѣ бирладскаго Цынута; почетная конница наша мало-по-малу начала отставать; темная ночь налегла на ослѣпленные кратковременнымъ яркимъ блескомъ глаза наши—усталый товарищъ мой храпѣлъ у меня подлѣ боку, нѣжась въ покойной генеральской колискѣ, и однозвучный стукъ колесъ, и топотъ лошадей перерываемы были только изрѣдка одинокимъ, голосистымъ воемъ перекликающихся, какъ часовые, ямщиковъ нашихъ: ау-й-га-гой!...

VIII

БОЛГАРКА

Такого-то числа и года, присѣлъ я подъ развѣсистой, тѣнистой липой, на коротко знакомой оренбургскимъ охотникамъ Золотой долинѣ, прислонилъ ружье къ одному изъ пней, которые нынѣ, благодаря расчетливости новаго хозяина рощи, занимаютъ мѣсто бывшихъ густоверхихъ деревъ; сѣлъ и собрался этакъ въ тишн и на досугѣ отдохнуть тѣломъ и душой.

Расположившись такимъ образомъ, въ прекрасный октябрьскій день, не жалѣлъ я, что липа, подъ которою я сидѣлъ, оголила уже сучья свои и не давала тѣни—мягкіе листья служили мнѣ подстилкою, а солнышко обливало пріятною теплотою. Пересчитавъ въ сумкѣ своей слукъ и разложивъ ихъ передъ собою, растянулся я на землѣ и нахлобучилъ шапку на глаза.

Собираясь помечтать въ этомъ пріятномъ положеніи и расположеніи, захохоталъ я почти вслухъ, вспомнивъ, какъ товарищъ мой, котораго выстрѣлы сыпались въ отдаленіи, краснорѣчиво увѣрялъ однажды дорогого петербургскаго гостя [1]), который заѣхалъ къ

[1]) А. С. Пушкинъ.

намъ въ Оренбургъ за пугачевщиной, увѣрялъ, что слука или вальдшнепъ, самая благородная птица на цѣломъ земномъ шарѣ, что она, будучи убита, не бьется и не трепещется въ неприличныхъ акробатическихъ тѣлодвиженіяхъ, а умираетъ какъ Брутъ, какъ Сцевола и Сусанинъ. Къ этому вспомнилъ я и отвѣтъ нашего незабвеннаго гостя, который прислалъ изъ Питера товарищу моему книжку свою о Пугачевѣ съ замѣчаніемъ: «тому офицеру который сравниваетъ вальдшнепа съ Валленштейномъ».

Это вступленіе или отступленіе помѣстилъ я для того только, чтобы показать читателямъ моимъ сцѣпленіе мыслей, которое навело меня отъ убитыхъ слукъ черезъ Валленштейна, непосредственно на воспоминаніе о двухъ послѣднихъ походахъ, турецкомъ и польскомъ. Прошлое время носилось—не то передо мною, не то за мною, въ несвязныхъ призракахъ и картинахъ; мѣстами оставались пробѣлы—я долженъ былъ напрягать память и вызывать съ нѣкоторыми усиліями прошлое, полузабытое, а иногда и память измѣняла уже вовсе: сомкнутыя очи плавали въ какомъ-то зелено-багровомъ безконечномъ морѣ мрака, въ которомъ не могли отличить ничего, доколѣ не всплывали новыя полузабытыя картины, которыя иногда, яркостію своею и жизненнымъ движеніемъ, затмѣвали и топили все остальное, а сами, то всплывая, то утопая, то двигаясь, подобно изображеніямъ волшебнаго фонаря, вдоль и вбокъ, медлили, не исчезали, и я мысленно водилъ по нимъ перстомъ, вызывалъ изъ памяти своей отрывочное толкованіе и объясненіе, — и снова улыбнулся, сравнивъ себя въ эту минуту съ фигляромъ, который, указывая на картины фонаря своего, ломанымъ и искаженнымъ языкомъ объясняетъ глубокое ихъ значеніе, не оставляя насъ, при каждомъ удобномъ случаѣ, поучительными замѣчаніями своими.

И я дѣлалъ тоже: почти каждое видѣніе подавало мнѣ поводъ и случай къ поучительному уроку, разумѣется для самого себя.

Не скрою и не утаю, что чаще всего всплывали, въ этомъ безпредѣльномъ морѣ воспоминаній, женскіе облики, въ разныхъ видахъ, положеніяхъ и отношеніяхъ, въ разнородныхъ одеждахъ, изъ высшихъ и низшихъ сословій общества, изъ разныхъ странъ и земель—большею частію близкихъ и сосѣднихъ съ русскою землею, потому что я далече не бывалъ: француженокъ, англичанокъ и италіянокъ знаю только по наслышкѣ, или знаю такими, каковы онѣ бываютъ у насъ.

Воображеніе мое перенесло меня на этотъ разъ за Балканы, въ Сливно, и указало на знакомый призракъ; потомъ перенесло въ Каменецъ-Подольскій и въ Краковъ — и опять за Балканы, и два видѣнія стояли предо мною рядомъ: одно въ полосатыхъ шерстяныхъ тканяхъ яркихъ цвѣтовъ и бѣлой фатѣ, съ ясными сокольими очами своими и греческимъ продолговатымъ обликомъ, другое — въ бѣломъ, европейскомъ платьѣ, сверхъ котораго накинута была долгополая, голубая краковянка, опушенная бѣличьимъ мѣхомъ; это другое глядѣло на меня голубыми кроткими очами, которыя, казалось, слабо освѣщали блескомъ своимъ кругловатое бѣлое личико. Въ томъ и другомъ видѣніи душа сквозилась въ прозрачныя очи, отливалась на нихъ алмазной искрой: въ первомъ, жизнь то вскипала бѣлымъ ключемъ, при каждомъ движеніи неугомонной души, то снова застывала и замирала; во второмъ, она теплилась ровно и однобразно, и, согрѣваемая теплою кровью и чувствами, процвѣтала всегдашнею улыбкой на алыхъ устахъ.

И что же, подумалъ я: эти два видѣнія, въ которыхъ олицетворяются и сосредоточиваются воспоми-

нанія трехъ лѣтъ жизни моей, были и прошли — ихъ нѣтъ, или скоро не будетъ, и все что сбылось съ ними, и самая даже память объ этомъ пройдетъ и минуетъ насъ, и концы въ воду. Вы не знали другъ друга, не сходились и не слышали ничего одна объ одной, но вы стоите рядомъ, передъ окомъ души моей, потому что участь ваша была одинакова: одно бѣдствіе, война, разсѣкла, всесокрушающимъ мечемъ своимъ, узелъ домашняго счастія вашего, поставила васъ въ незнакомыя для васъ дотолѣ отношенія; а недоумѣнія, кривотолки, обмолвки, превратныя понятія, ложное направленіе ума и сердца тѣхъ, отъ которыхъ вы ожидали счастія своего, погубили васъ, принесли и возложили на жертвенникъ блуждающаго человѣчества. Событія жизни вашей не выткали того правильнаго, искуснаго цвѣтника, который, со всѣми прихотями и раскрасками своими, образуетъ полный, по правиламъ словесности составленный романъ; но безмятежная жизнь ваша, встрѣтивъ на пути своемъ непролинскій потокъ, несущій огонь и воду, прахъ и плоть и огромные валуны, остатки и осколки живого и живущаго, жизнь ваша, изнемогая подъ непомѣрнымъ бременемъ всесокрушающаго потока, создала себѣ изъ себя самой, въ послѣднихъ усиліяхъ своихъ, скромный, но достойный памятникъ.

Вы дѣйствовали мало, вы только сносили и терпѣли; поприще ваше — въ четырехъ стѣнахъ; трогательныя молитвы, жалобы ваши безотголосно замерли среди бурь потока; слова ваши, молитва о васъ не разнеслась далѣе порога сосѣдней хижины; васъ уже нѣтъ или скоро не будетъ, и вмѣстѣ съ вами умретъ и слава, и молва о васъ — и никто на бѣломъ свѣтѣ не помянетъ васъ, если престарѣлые родители не коснутся памяти вашей въ одинокихъ молитвахъ своихъ, произносимыхъ и тутъ и тамъ на

одномъ изъ славянскихъ, близкихъ къ русскому языку нарѣчій [1]).

Дай, разскажу въ короткихъ словахъ простыя и незапутанныя похожденія ваши, не называя ихъ ни повѣстью, ни романомъ, ни драмою, а просто разсказомъ, сказаніемъ о томъ, что видѣлъ и слышалъ, — воспоминаніемъ. Съ воспоминаніемъ этимъ необходимо связываются и собственныя мои похожденія; это отрывокъ изъ дневника, и болѣе ничего.

Кончивъ, или почти кончивъ курсъ врачебныхъ наукъ въ укромномъ и завѣтномъ пріютѣ—въ Юрьевѣ-городкѣ, сѣлъ я и поскакалъ въ походъ на чуму, какъ тамъ говаривали. Въ самомъ дѣлѣ, почти всѣ товарищи мои, выѣхавшіе прежде, послѣ и вмѣстѣ со мною, сложили побѣжденныя, усталыя кости свои въ этомъ походѣ на чуму.

Больно разставаться съ людьми, съ которыми въ такое короткое время свыкся и сжился — подъ благодѣтельнымъ вліяніемъ этого всеобщаго духа, стремленія къ познанію высокихъ и полезныхъ истинъ. Нѣтъ! ничто въ мірѣ не можетъ замѣнить эти три года, протекшіе въ безмятежномъ и безкорыстномъ рвеніи усвоить себѣ науку, и съ нею взять умственный перевѣсъ надъ тѣми, кому судьба не дала потѣшаться и наслаждаться симъ достояніемъ. Это не школа; здѣсь нѣтъ розогъ, нѣтъ неволи, а каждый самъ располагаетъ собою и временемъ своимъ, какъ ему лучше, удобнѣе, наконецъ, какъ хочется. Радушно пріемлется достойными наставниками каждый алчущій познаній—и ради науки, какъ ради Христа, во всякое время подаютъ ему милостыню познаній и откровеній, за которую десятый изъ насъ не былъ въ состояніи отблагодарить, даже и установленнымъ, законнымъ образомъ, своего наставника,

---

[1]) Другой разсказъ названъ *Подолянкою*.

который всегда, подъ благовидными предлогами, отрекался отъ слѣдовавшаго ему почета (honorarium), если видѣлъ, что фризовые сюртуки наши на локтяхъ уже протерлись. А помните ли, друзья, какъ счастливы мы были въ этихъ фризовыхъ сюртукахъ? какъ мы смѣло и бодро входили во всякое общество, надѣвъ, къ тому же изношенному сюртуку, чищеные сапоги и бѣлый воротничекъ, да пропустивъ грабли рукъ своихъ раза два взадъ и впередъ по волосамъ? и помните ли, что насъ всюду въ этомъ видѣ принимали, и никогда и нигдѣ не ставили и не сажали ниже тѣхъ, которыхъ судьба и портной ссудили голубымъ фракомъ со свѣтлыми пуговками и чесаннымъ вихромъ въ полторы пяди со припядками? Не знали насъ тѣ, которые искали въ насъ буйной воли; они не понимали кипучей жизни въ трудахъ, во всегдашней борьбѣ, въ стремленіи и рвеніи къ познаніямъ, которыя тогда еще являлись пылкому воображенію чѣмъ-то цѣлымъ, стройнымъ и полнымъ, чѣмъ-то священнымъ и возвышеннымъ... Это было время восторга, золотой вѣкъ нашей жизни, мы были чисты и непорочны. Насъ, не сѣкли, не привязывали къ ножкѣ стола, даже не спрашивали уроковъ нашихъ, не спрашивали: учились ли мы или нѣтъ, а предоставляли рѣшеніе этого вопроса страшному суду, дню окончательнаго испытанія. Буйная воля наша ограничивалась тѣмъ, что, просидѣвъ рабочую седмицу за книжками да за тетрадями, съ утра до ночи, собирались мы въ воскресный или иной праздничный денекъ, въ кучу; потомъ отправлялись, при общемъ смѣхѣ, шуткахъ и весельѣ, куда-нибудь за городъ, путемъ распѣвали дружныя пѣсни, отъ души, отъ сердца, отъ избытка чувствъ и непритворнаго веселья, пѣсни, которыя по благородному содержанію своему достойны были высокаго и безкорыстнаго чувства, одушевлявшаго всѣхъ и каждаго изъ этой веселой, благодушной братіи...

Богъ видѣлъ дѣла и помышленія наши; не было въ насъ ни одной преступной, ниже грѣшной мысли; политическихъ преній чуждались мы гораздо болѣе, чѣмъ загадочныхъ жителей луны и планетъ; ложились съ молитвою и вставали съ новыми силами, съ новыми надеждами, съ крѣпкою волею посвятить всѣ силы, все душевное достояніе свое на благо ближнихъ, на службу царскую, на пользу отечества... Верхъ нашего своеволія, крайній предѣлъ молодеческаго разгула, это былъ всеобщій ночной ходъ, со свѣточами въ рукахъ, попарно, чинно, со святымъ чувствомъ въ глубинѣ благороднаго сердца къ любимому наставнику; громогласное ура! и скромная рѣчь выборныхъ, радушно привѣтствовали достойнаго наставника — и всѣ наслаждались краснорѣчивою, нѣмою слезою его... и если мы, въ шаловливомъ порывѣ своемъ, мстили непомѣрно дорогому переплетчику, зазнавшемуся сапожнику или обманувшему насъ на прикладѣ портному, тѣмъ, что обмѣнивали ночью ихъ вывѣски, или надписывали на нихъ, вмѣсто настоящихъ именъ ремесленниковъ, приданныя имъ по какому-либо случаю забавныя прозвища, если привѣшивали къ малому оконцу огромный ставень и на оборотъ, если обмѣнивали такимъ же образомъ два деревянныя крыльца, приставивъ, вмѣсто маленькаго крылечка и лѣсенки, къ полуразвалившемуся домишкѣ, огромное крыльцо со львами и рѣзными перилами, запрудивъ такимъ образомъ входъ и выходъ,— то шалость эта, безъ всякаго прекословія, вина виноватая, но не злобная, не злонамѣренная, не коварно умышленная: мы на другой же день, проспавъ хмѣль шалости и необузданной шутки — а другой хмѣли въ насъ не бывало — готовы были исправить все опять своими же руками и сдѣлать складчину, если кто-нибудь при этомъ понесетъ какой-либо убытокъ, для вознагражденія его за страхъ и за изъянъ.. О, золотое время!

Добрые товарищи выпроводили меня съ прощальною пѣснью за городскую заставу—и ямщикъ погналъ коней по прямой дорогѣ въ Силистрію... На пути видѣлъ я Верро, этотъ такъ-называемый городъ безъ судьбы, безъ приключеній; досадовалъ на лифляндскихъ постъ-коммиссаровъ, которые не довольствуются тѣмъ, что хуже ихъ почтовыхъ лошадей едва-ли можно отыскать кляченку въ цѣлой Россіи, а надѣляютъ еще ямщика ярлыкомъ, на которомъ означены часъ и минута отправленія его, чтобы этотъ, соблазнясь гривною на водку, или убоясь угрозъ сѣдока, не вздумалъ бы погнать клячъ крупной рысью; за это отвѣчаетъ у него спина. Пограничныя псковскія мѣстности—это истлѣвающій остовъ рыцарскихъ, усобищныхъ временъ. Видѣлъ Изборскъ, Нейгаузенъ — въ послѣднемъ по лѣвую руку осколки древняго замка, по правую господскій домъ нынѣшняго вкуса; тяжелый, латами покрытый рыцарь и паркетный щеголь—разительная противоположность двухъ вѣковъ. Народъ—смѣсь русскаго и чудскаго племенъ. Видѣлъ бѣлоруссовъ; и это полурусскіе, въ другомъ и жалкомъ вкусѣ, впрочемъ мастера земляной работы, на которую выгоняютъ ихъ добрые помѣщики подрядами, между тѣмъ какъ хозяйство мужика въ это время упадаетъ и гибнетъ. Подъ Шкловомъ спустились мы по Днѣпру на лодкѣ. Едва ли гдѣ въ Россіи возятъ лучше и исправнѣе, чѣмъ на Украинѣ. Могилевъ на Днѣстрѣ, пограничный, расположенъ чрезвычайно живописно, до того, что изумляетъ пріѣзжаго; но войдите, и жиды отобьютъ у васъ охоту наслаждаться природою. Факторы, какъ и въ Шкловѣ, Бердичевѣ и въ цѣломъ жидовскомъ царствѣ, не даютъ вамъ покою, лѣзутъ въ окно, если вытолкаете ихъ въ дверь, съ тѣмъ, чтобы вынудить оплеуху и выманить за нее полтинникъ. Бессарабія—такъ Бессарабія и есть, такъ объяснялся Корней Власовъ

Горюновъ, о которомъ поговорю когда-нибудь особо [1]). А вотъ и Прутъ: быстрая, грязная рѣчка, а раздѣляетъ цѣлыя царства! Что было со мною въ Скулянахъ, въ Яссахъ, объ этомъ говорилъ я уже въ другомъ мѣстѣ, когда вспоминалъ Кассандру [2]). Путемъ всюду стращали насъ чумою, въ Браиловъ въѣхали мы очищенные чрезъ огонь и воду; я съ милымъ и умнымъ товарищемъ своимъ — царство ему небесное, вѣчная память, и онъ уже тамъ, гдѣ прочіе — мы со страхомъ и нетерпѣніемъ ожидали первой встрѣчи съ чумою и видѣли ее въ первый разъ на одной станціи по сю сторону Дуная, гдѣ благополучно переночевали, убоясь грозы и бури, и на другой только день узнали, что черезъ сѣни лежитъ при послѣднемъ издыханіи унтеръ-офицеръ, завѣдывавшій тутъ должностью смотрителя. Я заглянулъ въ ту половину, къ больному — онъ лежалъ на мазанномъ полу, весь выпачкался глиной; багровое, вздутое лицо, очи на выкатѣ, дыханіе частое, тяжелое, на щекѣ большой синій вередъ. Больной всталъ, и несмотря ни на какія убѣжденія мои, вышелъ шатаясь на улицу и увѣрялъ, запинаясь какъ вполпьяна, что вередъ у него вскочилъ вчера, отъ вѣтру, но что ему теперь уже лучше и онъ скоро будетъ здоровъ. Отстранившись отъ бѣднаго страдальца, не сталъ я его разувѣрять, а кинувъ своеручно чемоданъ свой въ телѣгу, сѣлъ съ товарищемъ и поѣхалъ. Мы разсуждали и толковали дорогою много о чумѣ, и выводъ заключеній нашихъ состоялъ въ томъ, что чума — первообразъ всѣхъ горячекъ; она соединяетъ въ себѣ всѣ горячки и лихорадки и обнаруживается припадками ломотной, простудной желудочной лихорадки, нервической, гнилой и гастрической горячки,

---

[1]) См. повѣсть сочинителя: Бѣдовикъ.
[2]) См. разсказъ его же: Цыганка.

то-есть всѣхъ, какія только есть на бѣломъ свѣтѣ. А какъ у насъ собственно противогорячечнаго и противолихорадочнаго средства и снадобья нѣтъ, а всѣ они дѣйствуютъ только отдѣльно, на болѣе или менѣе значительные припадки этихъ болѣзней, то чума и неизлѣчима. Въ тоже время мнѣнія наши согласовались и въ томъ, что вообще горячки исцѣляются природою, а не людьми, что благоразумный врачъ довольствуется наблюденіемъ болѣзни и хода ея, стараясь облегчать, по возможности, обременительные для немощнаго припадки, но прервать и присѣчь болѣзни этой не можетъ; у нея свои переломы, дни и часы роста и ущерба; всѣ познанія наши должны покорствовать въ молчаніи передъ всемогущими усиліями законовъ природы. Это не новость — но иногда полезно повторить и зады, особенно коли они такъ легко забываются.

Много нужды и трудовъ перенесли мы, поколѣ наконецъ Господь не принесъ насъ въ Каларашъ, селеніе на этомъ берегу Дуная, верстахъ въ четырехъ ниже Силистріи; мы переночевали, укрывшись отъ дождя въ глухомъ, обширномъ подземельѣ—вновь выстроенной на живую нитку запасной житницѣ, гдѣ чутко отдавались одинокіе выстрѣлы подсилистрійскихъ батарей.

Чиновникъ принялъ подорожную нашу и, развернувъ ее, спросилъ: окурена ли она? Я отвѣчалъ, что нѣтъ. «Такъ подите и велите прежде окурить»,—сказалъ онъ, подавая мнѣ ее назадъ: — «такъ принимать не велѣно». Вся деревня завалена и загромождена была обозами, подводами, артиллеріею, конницею, пѣхотою; крикъ, шумъ и суета по всему берегу величаваго Дуная, на версту ниже и выше переправы; я ходилъ битый часъ и не могъ доискаться окурной. Наконецъ, вхожу въ камышевый балаганъ, въ которомъ, какъ указалъ мнѣ услужливый солдатъ, сторожъ оку-

риваетъ бумаги, и нахожу этого сторожа, который, сидя на боченкѣ, забавляясь, покачиваетъ въ рукахъ огромные клещи. «Вамъ окурить?» — спросилъ онъ.—«Окурить.» — Онъ принялъ у меня подорожную руками, всунулъ ее въ клещи, аршина въ полтора длиной, кинулъ въ окурный чанъ и ворчалъ про себя: «окурить такъ окурить — руками брать не велятъ, а чтобъ натыкано было велятъ»—потомъ искололъ подорожную немилосердно и нещадно огромнымъ набойнымъ шиломъ, накрылъ крышку чана, оглянулся и почесался: «уксусу-то видно нѣтъ?» — «Нѣтъ» — отвѣчалъ другой сторожъ, и заглянувъ въ дверцы, подъ окурнымъ чаномъ, проворчалъ онъ еще: «и марганецъ не курится, чтобъ его разорвало!» вынулъ и отдалъ мнѣ подорожную, и мы отправились подъ Силистрію.

Дѣло было на разсвѣтѣ; не прежде какъ къ вечеру прибыли мы благополучно, хотя съ большимъ трудомъ, среди крику, шуму, толкотни и безтолочи, на правый берегъ, раздѣлившагося на три гирла или рукава, Дуная, и — сѣли; кто не курьеръ, не фельдъегерь, тому здѣсь нѣтъ чести; а по казенной надобности ѣдетъ всякій. Мы едва не заночевали въ трехъ или четырехъ верстахъ отъ Силистріи, отъ главной квартиры, и на чистомъ полѣ, подъ пасмурнымъ небомъ, подъ мелкимъ дождемъ. Казаки насъ выручили и поставили за довольно значительную плату сидѣлыхъ и вьючныхъ лошадей.

И вотъ вамъ главная квартира! Цѣлый городъ красивыхъ шатровъ и палатокъ, рядами, улицами, кварталами, огромный базаръ, гостиницы, сапожники, портные, даже часовщики, большею частію изъ промышленнаго еврейскаго племени; пушечная пальба день и ночь раздается за горою, а всякій занятъ своимъ дѣломъ или бездѣльемъ, не оглянется, не прислушается,

хоть земля разступись. Всюду мирныя занятія, гостиные разговоры, какъ будто майданъ военныхъ дѣйствій въ тысячѣ верстахъ; а о войнѣ и ни слова! О, привычка!

Но я не скоро могъ приневолить себя къ этому равнодушію; я пошелъ съ товарищами, на другой же или на третій день, посмотрѣть на осаду. Главная квартира расположена была верстахъ въ трехъ отъ крѣпости; мы прошли гористое пространство это въ полчаса и Силистрія явилась передъ нами, какъ на ладони. Черепичныя кровельки, высокіе тополи; изъ числа какихъ-нибудь двухъ десятковъ минаретовъ или каланчей, стояли только двѣ; прочія были уже сбиты. Батареи наши заложены были на прибрежныхъ крутостяхъ и на противолежащемъ островѣ; рѣдкая пальба шла въ круговую и очередную, то съ нашей стороны, то съ острова, то съ канонирскихъ лодокъ, которыя выказывались, стрѣляли и снова прятались за возвышенный лѣсъ, пониже крѣпости. Каждое ядро, попадавшее въ городъ, обозначалось тучею пыли, которая въ жаркую и тихую погоду медленно и лѣниво проносилась по городу. На улицахъ и на валу, повидимому, все было пусто, не видать ни души. Мѣсто, на которомъ мы стояли, изрѣзано было подходными рвами, частію еще съ прошлаго 1828 года. Мы взобрались на покинутую, старую батарею и глядѣли во всѣ глаза. Два солдата, стоявшіе ниже, во рву, только что успѣли предостеречь насъ, сказавъ, что на дняхъ полковнику, стоявшему неподалеку нашего мѣста, оторвало ядромъ руку, какъ увидѣлъ я на обращенномъ къ намъ бастіонѣ крѣпости дымъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, прямо на насъ летящее ядро, или какъ послѣ оказалось, гранату, чиненку, которую могу сравнить, по оставшемуся во мнѣ впечатлѣнію съ черною луною.

Не долго простояли мы подъ Силистріею: главнокомандующій оставилъ на часахъ генерала К., а самъ поспѣшилъ предупредить визиря, который шелъ снять осаду. Скорое и нечаянное движеніе войскъ нашихъ увѣнчалось совершеннымъ успѣхомъ: слѣдствіе этого дѣйствія была битва подъ Кулевчами — извѣстная, думаю, всякому,

Не стану говорить о сраженіи; въ отношеніи военномъ—не мое дѣло; да и не могъ я, въ одномъ углу стоя, знать и видѣть все, что происходило; видѣлъ только то, что дѣялось по близости меня, видѣлъ наконецъ тысячу, другую раненыхъ—которыми покрылось поле и которымъ на первую ночь ложемъ служила мать-сырая земля, а кровомъ небо; турки ихъ большею частію изувѣчили, изуродовали, наругались надъ ними, а потомъ еще раздѣли и разули; нагіе, изрубленные, исколотые, стонали они и — молились; ропоту я и не слыхалъ. Помню, какъ дежурный генералъ показывалъ муромцамъ, которыхъ положили въ лоскъ, спасенное знамя ихъ, и какъ сотни полуживыхъ головъ приподнялись съ земли и крестились блѣдными дрожащими перстами; помню, какъ генералъ А., перенося пень, остатокъ ляшки своей, черезъ сѣдло, сказалъ, оборатясь къ одному изъ пріятелей своихъ: «посмотрите, что я сдѣлаю» и сдержалъ слово свое; едва успѣлъ онъ прискакать къ конно-артиллерійскими ротами своими на поле сраженія, какъ три непріятельскіе зарядные ящика полетѣли на воздухъ и рѣшили побѣду; помню благороднаго и славнаго въ тѣсномъ кругу своемъ, егерскаго капитана З. и многихъ другихъ людей, которыхъ отрадно теперь припоминать; толкался и самъ между ранеными и полутрупами, рѣзалъ, перевязывалъ, вынималъ пули съ хвостиками; мотался взадъ и впередъ, поколѣ наконецъ совершенное изнеможеніе не распростерло меня, среди темной

хоть земля разступись. Всюду мирныя занятія, гостиные разговоры, какъ будто майданъ военныхъ дѣйствій въ тысячѣ верстахъ; а о войнѣ и ни слова! О, привычка!

Но я не скоро могъ приневолить себя къ этому равнодушію; я пошелъ съ товарищами, на другой же или на третій день, посмотрѣть на осаду. Главная квартира расположена была верстахъ въ трехъ отъ крѣпости; мы прошли гористое пространство это въ полчаса и Силистрія явилась передъ нами, какъ на ладони. Черепичныя кровельки, высокіе тополи; изъ числа какихъ-нибудь двухъ десятковъ минаретовъ или каланчей, стояли только двѣ; прочія были уже сбиты. Батареи наши заложены были на прибрежныхъ крутостяхъ и на противолежащемъ островѣ; рѣдкая пальба шла въ круговую и очередную, то съ нашей стороны, то съ острова, то съ канонирскихъ лодокъ, которыя выказывались, стрѣляли и снова прятались за возвышенный лѣсъ, пониже крѣпости. Каждое ядро, попадавшее въ городъ, обозначалось тучею пыли, которая въ жаркую и тихую погоду медленно и лѣниво проносилась по городу. На улицахъ и на валу, повидимому, все было пусто, не видать ни души. Мѣсто, на которомъ мы стояли, изрѣзано было подходными рвами, частію еще съ прошлаго 1828 года. Мы взобрались на покинутую, старую батарею и глядѣли во всѣ глаза. Два солдата, стоявшіе ниже, во рву, только что успѣли предостеречь насъ, сказавъ, что на дняхъ полковнику, стоявшему неподалеку нашего мѣста, оторвало ядромъ руку, какъ увидѣлъ я на обращенномъ къ намъ бастіонѣ крѣпости дымъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, прямо на насъ летящее ядро, или какъ послѣ оказалось, гранату, чиненку, которую могу сравнить, по оставшемуся во мнѣ впечатлѣнію съ черною луною.

Не долго простояли мы подъ Силистріею: главнокомандующій оставилъ на часахъ генерала К., а самъ поспѣшилъ предупредить визиря, который шелъ снять осаду. Скорое и нечаянное движеніе войскъ нашихъ увѣнчалось совершеннымъ успѣхомъ: слѣдствіе этого дѣйствія была битва подъ Кулевчами — извѣстная, думаю, всякому,

Не стану говорить о сраженіи; въ отношеніи военномъ—не мое дѣло; да и не могъ я, въ одномъ углу стоя, знать и видѣть все, что происходило; видѣлъ только то, что дѣялось по близости меня, видѣлъ наконецъ тысячу, другую раненыхъ—которыми покрылось поле и которымъ на первую ночь ложемъ служила мать-сырая земля, а кровомъ небо; турки ихъ большею частію изувѣчили, изуродовали, наругались надъ ними, а потомъ еще раздѣли и разули; нагіе, изрубленные, исколотые, стонали они и — молились; ропоту я и не слыхалъ. Помню, какъ дежурный генералъ показывалъ муромцамъ, которыхъ положили въ лоскъ, спасенное знамя ихъ, и какъ сотни полуживыхъ головъ приподнялись съ земли и крестились блѣдными дрожащими перстами; помню, какъ генералъ А., перенося пень, остатокъ ляшки своей, черезъ сѣдло, сказалъ, оборатясь къ одному изъ пріятелей своихъ: «посмотрите, что я сдѣлаю» и сдержалъ слово свое; едва успѣлъ онъ прискакать къ конно-артиллерійскими ротами своими на поле сраженія, какъ три непріятельскіе зарядные ящика полетѣли на воздухъ и рѣшили побѣду; помню благороднаго и славнаго въ тѣсномъ кругу своемъ, егерскаго капитана З. и многихъ другихъ людей, которыхъ отрадно теперь припоминать; толкался и самъ между ранеными и полутрупами, рѣзалъ, перевязывалъ, вынималъ пули съ хвостиками; мотался взадъ и впередъ, поколѣ наконецъ совершенное изнеможеніе не распростерло меня, среди темной

передней лошади; смѣшной поѣздъ этотъ тянулся гуськомъ, казакъ подгонялъ то одну, то другую лошадь, а преважно возсѣдавшіе, на креслообразныхъ сѣдлахъ, чалмоносные воины, забавными и неловкими тѣлодвиженіями, старались удерживать равновѣсіе, когда лошади ихъ сбивались съ ходы на мелкую рысь. Казакъ этотъ обвѣшался саблями, ружьями, пистолетами и ятаганами плѣнниковъ своихъ, и графъ Иванъ Ивановичъ, потѣшаясь зрѣлищемъ этимъ, много хохоталъ и привѣсилъ казаку тутъ же георгіевскій крестъ. Я, съ товарищемъ, поскакали изъ любопытства впередъ, и настигнувъ вскорѣ передовой казачій отрядъ, вскакали, почти вмѣстѣ съ нимъ, въ непріятельскій станъ. Я выпилъ чашку еще не совсѣмъ простывшаго кофе и сунулъ посудинку на память въ карманъ.

Вокругъ насъ все летѣло вверхъ дномъ, но это была одна только минута: турки ускакали, кромѣ небольшого числа покинутыхъ здѣсь раненыхъ; казаки погнались за ними, и за этимъ шумнымъ переворотомъ настала совершенная тишина и безлюдье: мы вдвоемъ разъѣзжали нѣсколько времени по пустому, одинокому стану, гдѣ все брошено было въ случайномъ порядкѣ или безпорядкѣ, и спокойно ожидали приближающіяся на рысяхъ войска наши. Вскорѣ они подошли и стали; небольшіе отряды конницы преслѣдовали по горамъ бѣгущаго непріятеля, а въ городѣ и на мѣстѣ водворились тишина и порядокъ. Пѣхота кинулась тушить пожаръ, испуганные жители, болгары, мало-по-малу начали выглядывать изъ домовъ своихъ, встрѣтили насъ хлѣбомъ и солью, выносили продажные съѣстные припасы и напитки; городъ снова ожилъ и превратился въ шумный базаръ; необузданная радость обуяла мирныхъ жителей, которые отъ роду не видывали еще непріятеля, судили о немъ по образу турецкаго воинства, и увидѣли вмѣсто того братскій, крещеный народъ,

коего языкъ, созвучіемъ своимъ съ ихъ роднымъ языкомъ, напоминалъ о родствѣ и о братствѣ!—При взятіи Сливно господствовалъ примѣрный порядокъ; изъ имущества жителей не было тронуто ни клочка, ни волоска; они же сами, напротивъ, болгары, растаскали большую часть утвари и разнаго скарбу въ турецкомъ станѣ, словомъ,—обоюдная дружба жителей и побѣдителей утвердилась съ первой взаимной встрѣчи, и первые объявили, что если русскіе не оставятъ завоеванныхъ мѣстъ за собою, то славяне, съ женами, дѣтьми и скарбомъ своимъ послѣдуютъ за ними и сожгутъ ри выступленіи дома свои.

Наконецъ, пальба прекратилась, дымъ потянулся изъ ущелья въ низменную долину, по крутымъ ребрамъ горъ мелькали только въ отдаленіи всадники; я стоялъ верхомъ, на пологомъ скатѣ виноградника, срывалъ, перегнувшись черезъ невысокій плетень, полузрѣлые грозды и утолялъ, пріятною кислотою ихъ, жажду свою, какъ услышалъ въ виноградникѣ шелестъ, и кинувъ въ ту сторону взоръ, увидѣлъ двухъ болгарокъ, молоденькихъ дѣвокъ. Уже съ самой зимы, нѣсколько мѣсяцевъ сряду, не видали мы женскаго лица и глазъ нашъ до того отвыкъ отъ этого наслажденія, что перешедъ Балканы, перешагнувъ изъ голодной, жалкой пустыни Румелійской въ живописныя долины Болгаріи, съ огородами, виноградниками, тѣнистыми лѣсами юга, розовыми рощами, а наконецъ и съ привѣтливыми, радушными жителями, съ пригожими, красиво одѣтыми поселянками, которыя, разглядывая новыхъ и чуждыхъ имъ гостей, съ улыбкою на устахъ подавали жаждущему вершнику ключевую воду въ изящныхъ этрусскихъ кувшинахъ, въ классическихъ чашахъ Эллады; встрѣтивъ, говорю, неожиданно и внезапно все это, мы право иногда забывались и думали, что забрели въ очарованное царство Добрады

и Милолики. Конечно, мечта длилась недолго: это было только первое впечатлѣніе внезапнаго перехода, новизны—а привычка и болѣзни вскорѣ опять поставили насъ на старую колею.

Я привѣтствовалъ дѣвушекъ знаками и словами, онѣ сдѣлались смѣлѣе и подошли ближе, наконецъ, къ самому тыну. Я пытался завести съ ними разговоръ, но успѣлъ въ этомъ такъ плохо, что на повторенные мною вопросы, гдѣ здѣсь знаменитый оружейный заводъ и гдѣ дѣлается и продается въ городѣ извѣстное во всей Турціи сливенское розовое масло, — быстроглазенькая и черноволосая красавица побѣжала и вынесла мнѣ радушно пшеничную лепешку. Одна изъ дѣвушекъ пряла на ходу шерсть; я нагнулся и взялъ у нея изъ рукъ красивенькое веретено, которое также отличалось какою-то особенною изящностію и вкусомъ въ отдѣлкѣ. Она, засмѣявшись, объяснила мнѣ, съ милымъ простодушіемъ, что это оружіе ея, копье и ружье, и стала, въ свою очередь, любопытствовать, что у меня въ кожаной сумкѣ или ранцѣ, на груди. Я разстегнулъ его и показалъ ей корпію, пластырь, повязки—она поняла тотчасъ, что я лѣкарь и объяснила обстоятельство это краснорѣчиво подругѣ своей, которая была позастѣнчивѣе ея, и глядя на чужого непріятельскаго вершника, перебирала пальцами украшенныя привѣсками и монетками каштановыя косички свои. Въ это время вбѣжала въ сосѣдній виноградникъ третья дѣвка и начала разсказывать что-то своимъ подружкамъ, указывая съ участіемъ и соболѣзнованіемъ нѣсколько разъ на лѣвый локоть свой. Эти заговорили обѣ разомъ и указывали на меня. Та ловко и проворно обѣжала, сквозь калиточку, въ ихъ виноградникъ, подошла къ намъ, повторила мнѣ все, что говорила имъ, опять указывая вздыхая на локоть свой, кланялась, просила и звала меня движеніемъ рукъ. Я

понялъ или догадался, что она говоритъ о раненомъ, кивнулъ головой, слѣзъ съ лошади и вошелъ въ виноградникъ. Дѣвки просили меня оставить коня у нихъ въ виноградникѣ и идти пѣшкомъ. Я охотно повиновался. Чернобровая красавица моя, рослая, статная, ловкая, шла впереди, указывая мнѣ путь по узенькимъ, излучистымъ тропинкамъ, перебѣгала скоро изъ калиточки въ калиточку, поперекъ тѣсныхъ улицъ и переулковъ, вела меня по садамъ, дворамъ, огородамъ и виноградникамъ, оглядываясь на меня съ улыбкой и тщательно запирая вслѣдъ за нами всѣ низенькіе притворы и калиточки и вывела меня, наконецъ, на устланный плитнякомъ небольшой дворъ, на которомъ стояла изба съ широкими навѣсами, на прихотливо изузоренныхъ рѣзьбою столбикахъ, около которыхъ обвивался виноградъ, заткавшій, гибкою и волнистою лозою своею, почти все пространство между столбиками. По каменной стѣнѣ и забору также вился сѣткою виноградъ; на тучныхъ гроздахъ играло солнышко, ключъ журчалъ у ногъ нашихъ, протекая по высѣченному въ плитнякѣ желобку черезъ дворъ, — словомъ, ступивъ на уединенный, обнесенный высокою оградою дворикъ этотъ, невольно пожелалъ я жить и умереть здѣсь. Восточное домохозяйство для новичка очаровательно: всюду зелень, виноградъ, пышные цвѣты, всюду вода чистая, прозрачная, холодная; широкіе навѣсы, уютная тѣснота, уединеніе, мирное, безмятежное спокойствіе, жизнь подъ открытомъ небомъ, яркіе цвѣта шерстяныхъ тканей, истинно прелестная живописная одежда,—все это утѣшаетъ и услаждаетъ изумленнаго странника.

Лишь только мы вошли на дворикъ, какъ увидѣлъ я лежащаго на землѣ турка, или, какъ послѣ оказалось, болгара, который стоналъ и старался приподняться, когда я подошелъ Красавица моя, дотолѣ

веселая, безпечная и спокойная, въ одинъ мигъ, увидавъ раненаго, перешла въ высшую степень отчаянья. Она зарыдавъ упала на него, громко завопила и закрыла лицо руками. Старикъ, отецъ ея, не зналъ что дѣлать, кидался отъ нея ко мнѣ, отъ меня къ больному, крестился и приговаривалъ: «о, Господи помилуй!»

Я осмотрѣлъ и обмылъ раны болгара—два сабельные удара по головѣ и плечу; ударъ въ голову былъ особенно силенъ; полоса, какъ видно было, повихнулась и отколола немного черепа.

Кончивъ на-скоро перевязку, стоялъ я, смотрѣлъ на происходящее и ничего не понималъ, кромѣ извиненій, божбы и проклятій болгара, который клялся и божился, что пошелъ воевать противъ воли, по принужденію турокъ, и что не подымалъ руки на русскаго, а когда дошло дѣло до рукопашной и дѣваться ему было некуда, то онъ крестился при каждой встрѣчѣ съ русскимъ, давая тѣмъ знать, что онъ христіанинъ и проситъ пощады. Не смотря на это, какой-то наѣздникъ раскроилъ ему голову и разрубилъ плечо. Это я кой-какъ понялъ; но что значило отчаяніе и плачъ красавицы нашей, которая вела меня къ раненому съ видомъ участіи и въ полномъ спокойствіи духа, а теперь опустилась на оба колѣна, сложила руки и молилась вслухъ, рыдая; что значили восклицанія ея и тѣлодвиженія, которыя, какъ мнѣ казалось, говорили, что она нашла здѣсь нѣчто неожиданное, нечаянное,— этого я не понималъ.

Наконецъ услышалъ я голосъ и говоръ русскаго: «не покиньте и меня, ваше благородіе» — оглянулся и увидѣлъ, что подъ навѣсомъ лежалъ на соломѣ казакъ. Онъ былъ раненъ пулею въ локоть; сидя поддерживалъ онъ больную руку, и стиснувъ зубы, покачивался взадъ и впередъ. «Какъ Бога ждалъ я васъ,

ваше благородіе,» сказалъ онъ мнѣ, когда я подошелъ: «собака пропоролъ мнѣ ногу копьемъ, не могу ступить, не могу дойти до стану, такъ ужь и думалъ, что придется пропадать здѣсь. Пуще всего мнѣ лошадь: кто теперь приглянетъ за нею, кто присмотритъ?» Утѣшая его какъ и чѣмъ могъ, досталъ я вскорѣ небольшую пистольную пулю, которая прошла вскользь по локтевому отростку, повидимому не раздробивъ кости. Рана пикою была незначительна, но не давала казаку ступить на ногу.

Онъ-то, казакъ, объяснилъ мнѣ, сколько могъ, происшедшее. Онъ былъ раненъ, преслѣдуя непріятеля по улицамъ Сливно, неподалеку двора и дома, гдѣ теперь лежалъ; милосердый хозяинъ самъ привелъ его къ себѣ на дворъ, а дочь его побѣжала, чтобы дать знать русскимъ о случившемся. Она боялась идти прямо въ станъ, пробиралась садами и виноградниками и случайно нашла меня. Во время отсутствія ея, привели съ сосѣдняго двора вотъ этого раненаго турка, «чтобъ его собаки глодали», и дѣвка, воротившись, нашла двухъ раненыхъ вмѣсто одного, изъ коихъ одинъ, какъ казалось, былъ ей очень близокъ.

Въ это время отецъ и дочь повели земляка и друга своего подъ руки въ избу, причемъ надобно было имъ пройти подъ навѣсомъ, подлѣ казака. Бывшіе непріятели узнали въ ту жь минуту другъ друга—обоюдное удивленіе и негодованіе излилось, безъ всякой застѣнчивости; но между тѣмъ какъ въ одномъ кипѣла злоба и спорила съ униженною покорностію, другой, русскій, былъ спокоенъ, не многословенъ и говорилъ: «Господь съ тобою, молись за душу мою, коли ты крещенный человѣкъ, я помолюсь за твою; Богъ вѣсть, кого Господь помилуетъ.» Болгаръ увидѣлъ и клялся и божился попрежнему, что онъ не тронулъ ни одного русскаго, что крестился и отмаливался; а казакъ, не

уваживъ креста и покорности его, изрубилъ его и искалѣчилъ. Казакъ, въ свою очередь, стыдилъ непріятеля своего во лжи и неправдѣ и, указывая на перевязанный локоть свой, спрашивалъ: «а это чья пуля? одной рукой за крестъ, а другою за пестъ; когда прижали тебя въ воротахъ, такъ крестился, а какъ наѣздникъ съ тростниковымъ копьемъ, отъ котораго не успѣлъ я увернуться, ударилъ меня да пришибъ было къ сѣдлу, такъ ты выпалилъ по мнѣ, да и бѣжать! Нѣтъ, сердечный, не взыщи; лѣвую-то руку ты мнѣ перешибъ, а правою я съ тобою поправился; скажи спасибо еще, что тѣсно было на улицѣ, копьемъ негдѣ было управиться, а то бы я тебѣ прощупалъ бока не такъ. Это что, это шутка; полоса большой бѣды не дѣлаетъ, это игрушка.»

Мы развели непріятелей, оставили одного подъ навѣсомъ, другого отвели въ комнаты: оба божились и клялись, и остались при своемъ показаніи.

На другой день утромъ навѣстилъ я снова раненыхъ своихъ и нашелъ все въ желанномъ положеніи; но неугомонный болгаръ былъ уже на ногахъ, ходилъ, не смотря на строгое запрещеніе мое, и снова пришелъ къ казаку браниться и спорить, кто правъ, кто виноватъ. «Да чья пуля это, собака», сказалъ наконецъ казакъ, вышедъ изъ терпѣнья: «чья пуля, узнаешь ее, аль нѣтъ?» и поднесъ ему на ладонѣ вынутую мною изъ раны его пулю. — «Не моя, — отвѣчалъ тотъ: — никогда не было у меня такой, моя пуля больше этой, хотъ сейчасъ прикинуть, только нѣтъ у меня при себѣ подсумка.»

Дѣвка, которая слушала и давно уже знала, о чемъ идетъ рѣчь, въ одну минуту побѣжала на дворъ и принесла закинутый отставнымъ воиномъ въ виноградникъ подсумокъ съ патрономъ. Полагаясь на слова земляка своего, она думала и желала оправдать его,—

но не поправила дѣла. Болгаръ съ сердцемъ вырвалъ у нея изъ рукъ подсумокъ и оттолкнулъ ее; я вынулъ патронъ, оторвалъ отъ него пулю, и хотя та, которою былъ раненъ казакъ, нѣсколько съ одной стороны сплющилась, ударившись объ кость, я могу по крайней мѣрѣ сказать утвердительно, что она была не меньше пули, вынутой изъ патрона, а сколько было можно судить глазомѣромъ, едва ли не дружка ей. Я выпроводилъ болгара въ комнату, заперъ дверь, наказалъ старику, чтобы раненые наши отнюдь не ссорились и не сходились, обѣщалъ увезти сегодня же или завтра казака въ станъ, отдалъ, съ согласія старика, подсумокъ и пули казаку, который чрезвычайно доволенъ былъ этою добычей, увѣряя, что на немъ есть еще въ полку начетъ, за какіе-то передержанные патроны, наказалъ и ему строго, не сходиться и не ссориться съ болгаромъ, а затѣмъ, утѣшивъ и обнадеживъ грустящую, миловидную красавицу, воротился въ станъ.

Не могу виноватить здѣсь ни того, ни другого; можетъ быть болгаръ нашъ обезпамятѣлъ отъ страха, когда прижали его въ общей свалкѣ, гдѣ все летѣло черезъ голову, выпалилъ, а послѣ и самъ не помнилъ этого; можетъ быть и казакъ въ тѣснотѣ и съ попыховъ не разглядѣлъ, откуда пуля пожаловала; но калиберъ пули, во всякомъ случаѣ, былъ подозрителенъ.

Когда я на третій день снова навѣстилъ знакомую мнѣ избу, то нашелъ нѣкоторую перемѣну. Раненаго болгара не было; онъ бушевалъ и шумѣлъ и хотѣлъ безпрестанно идти ссорится съ казакомъ; старикъ, не смѣя выпроводить раненаго русскаго постояльца своего и не зная самъ, какъ быть, рѣшился наконецъ отвезти земляка своего къ родителямъ его, которые жили неподалеку, черезъ два переулка. Казака засталъ я въ веселыхъ разговорахъ съ красавицею, которая сидѣла

и пряла на крылечкѣ, подъ навѣсомъ. Въ три дня казакъ нашъ, какъ увѣрялъ самъ, выучился по-болгарски, умѣлъ спросить *млека* и *гогули* и радовался, что «сбылъ шелудиваго», который за свою вину хотѣлъ виноватить другихъ, согрѣшилъ да концы хоронитъ, и прочее.

Казака понесли на носилкахъ въ станъ, и— если я не ошибаюсь—красавица неохотно съ нимъ разсталась. Глянувъ не нее, нашелъ я, въ выразительномъ лицѣ ея, какую-то смѣсь волновавшихъ ее чувствъ, которыхъ растолковать и объяснить не могъ; но я глядѣлъ съ удовольствіемъ на нее, какъ она стояла подъ навислою лозою виноградника. прислонясь въ раздумьѣ къ столбу навѣса, перекинувъ одну ногу черезъ другую, и опираясь только пальцами ноги этой слегка въ землю, накрывъ одну щеку рукою, поддерживая другою локотокъ и опустивъ долгія, темныя рѣсницы. Мнѣ казалось, что я вижу, сквозь полупрозрачныя вѣки, огонь темнокарихъ очей ея — и жалѣлъ, что я не живописецъ Рослый, прямой станъ, опоясанный широкою, изъ разноцвѣтнаго шелка и золота вытканною тесьмою, полная юпка изъ красивой, яркими цвѣтами шерстяной ткани, шитая на плечахъ и на груди сорочка; тщательно убранные и во множествѣ косичекъ заплетенные, длинные и густые волосы, родъ бѣлой фаты или покрывала, упавшаго съ головы на плеча, выразительныя черты смуглаго, правильнаго и прекраснаго лица, словомъ,—вся наружность дѣвушки все вполнѣ соотвѣтствовало окружавшимъ ее предметамъ, располагавшимъ воображеніе къ мечтаніямъ, и я еще разъ пожалѣлъ, что я не живописецъ.

Прошло много времени съ этого дня—уже главныя военныя силы наши значительно подвинулись впередъ, по цареградской дорогѣ — уже и Адріанополь, огромный, красивый снаружи, но тѣсный и неопрятный

снутри, былъ занятъ войсками нашими — и я почти начиналъ забывать о томъ, что случилось со мною въ Сливно. И до того ли было? Каждый день новые труды и занятія или, лучше сказать, старые, однообразные, но безконечныя; борьба съ непріятностями, съ нуждою, съ болѣзнями, которыя, по волѣ судьбы, тяготѣютъ надъ этимъ благословеннымъ краемъ; помню какъ во снѣ, Айдосъ, гдѣ африканскіе, арабскіе полки держались довольно упорно, и на каждомъ перекресткѣ, дворѣ и переулкѣ лежалъ трупъ этой черной породы; Мисемврію, среди песковъ, на крутомъ отдѣльномъ полуостровѣ, къ которому ведетъ узенькій и длинный перешеекъ, омываемый родными волнами Чернаго моря; Ахіоло, Бургасъ, наконецъ и самый Адріанополь, облеченный въ глазахъ моихъ какимъ-то грустнымъ, печальнымъ покровомъ, воспоминаньемъ недуга частнаго и общаго, не пощадившаго почти ни единаго человѣка всей огромной арміи нашей; помню еще хорошо, какъ вьючный верблюдъ мой пропалъ, съ выступленіемъ нашихъ изъ Сливно, пропадалъ, покинувъ меня въ одномъ сюртукѣ, одиннадцать дней, и наконецъ нашелся снова, со всею поклажею, но деньщикъ мой, бѣдный Алешка, пропалъ безъ вѣсти и невозвратно!

Помню, какъ стройныя силы, въ глубокомъ молчаніи, смыкали вкругъ Адріанополя тѣсный частоколъ, все тѣснѣе и тѣснѣе за каждымъ шагомъ; какъ наконецъ, послѣ кратковременнаго ожиданія, извѣстіе о сдачѣ столицы пробѣжало молніей по рядамъ нашимъ, и мы въ ту же минуту окружены были тысячами любопытныхъ зрителей, въ яркихъ, цвѣтныхъ одеждахъ востока; какъ толпились тутъ услужливые греки со съѣстными припасами, а мусульмане, прохаживаясь медленно, съ чубуками всѣхъ величинъ и размѣровъ, дружески пожимали намъ руку и честили братьями;

помню одного сѣдобородаго, свѣжаго, бодраго и статнаго турка, который говорилъ довольно чисто и свободно по-русски, бывъ во время прежнихъ войнъ нѣсколько лѣтъ въ Россіи, — но всѣ эти воспоминанія носятся передо мною какъ грезы; томительная болѣзнь въ Адріанополѣ наложила на нихъ какую-то печать уныніи, и нераздѣльно со всѣми воспоминаніями 1829 года связано какое-то болѣзненное, томительное чувство.

Между тѣмъ, дни, недѣли, мѣсяцы летѣли; миръ подписанъ, празднество кончилось, увеселительные огни сожжены, грязь непроходимая затопила самый Андріанополь, всю его окрестность, и счастливъ, кто могъ убраться заживо домой и дотащить усталыя кости свои на родину!

Славяне сдержали слово: получивъ дозволеніе, сѣли они, съ семействами своими и пожитками, на огромныя арбы и отправились по тому же пути, по которому мы ихъ навѣстили.

Покидая навсегда родину, мстили они заклятымъ врагамъ своимъ, туркамъ, съ безразсудною, звѣрскою жестокостію: они рѣзали ихъ втихомолку и въ-одиночку, гдѣ только могли, поджигали дома ихъ, и блѣднѣли, стиснувъ зубы, и дрожали всѣмъ тѣломъ отъ ненависти и злобы, когда только говорили о туркахъ. Здѣсь люди родятся уже не съ такою кровію, какъ у насъ, а образъ правленія и все, что ихъ окружаетъ, пріучаетъ звѣрскую ихъ душу къ чувству мести и самоуправству; слова, коихъ они въ понятіяхъ своихъ не умѣютъ отдѣлить и отличить отъ справедливости: месть, самоуправство и справедливость,—это по ихнему однословы.

По тѣснымъ улицамъ Сливно толпились пѣшіе и конные, телѣги, лошаки, верблюды, кони и волы; все было перемѣшано въ одну возставшую, шумную толпу;

радостные клики, неистовыя проклинанія, плачъ и крикъ дѣтей, скрипъ немазанныхъ колесъ, рѣзкіе голоса старухъ, говоръ дѣвокъ, мычаніе и ржаніе скота, — все это сливалось въ одинъ гулъ: городъ подымался, былъ на ходу. Семидесятилѣтній старецъ, турокъ, какъ показывала цвѣтная изношенная чалма его, ощупью пробирался вдоль стѣнъ, самъ не зная куда; лицо его было окровавлено; кто-то на прощанье выкололъ ему, въ послѣднюю ночь, глаза и пустилъ по бѣлу свѣту. Всадники въ темнокоричневыхъ шараварахъ и курткахъ, или чапанахъ, съ черными чалмами или овчинными шапками, мчались, вполпьяна, мимо него и замахивались нагайками; но слѣпецъ не могъ видѣть угрозъ этихъ и прижимался только боязливо къ тыну, когда сыпался на него градъ проклятій и ругательства неистовой толпы, которая вскорѣ, покинувъ мирныя жилища свои, прахъ отцовъ, виноградники, сады и райское мѣстоположеніе родины, тянулась шумными, пестрыми и буйными толпами по камчицкой дорогѣ. Сливно вслѣдъ за ними задымился, и кучи праха, пепла и золы указывали путнику мѣсто, гдѣ стоялъ недавно еще цѣлый городъ.

На первомъ привалѣ, сливяне, державъ совѣтъ, положили между собою лишить жизни дряхлыхъ и безполезныхъ на дальнемъ пути стариковъ, и пришли доложить о постановленіи этомъ новому начальству своему. Тутъ всякое увѣщеваніе и убѣжденіе было тщетно, они его не понимали; они оставались при мнѣніи своемъ, что старики ихъ только обременяютъ, а между тѣмъ добровольно оставаться не хотятъ; надлежало объясниться хорошо и ясно, что убійцы будутъ разстрѣляны; противу этой логики не было уже никакого возраженія, просители поклонились низко и ушли.

— Сердечная!—ворчалъ про себя статный донецъ,

сидя сгорбившись на сухопаромъ рыжакѣ своемъ, который пилъ воду Дона, Прута, Дуная и Марицы, а овса и сѣна видалъ подчасъ не въ избыткѣ: — сердечная! Вѣчная тебѣ память. — И продолжалъ молча медленный путь свой, сбоку живописнаго въ разнообразности своей каравана; конь, повѣсивъ голову, чуть переступалъ и не бодрился уже, когда казакъ, призадумавшись, стегалъ плетью по толстымъ тебенькамъ сѣдельнымъ, покачиваясь, при каждомъ шагѣ отслужившаго рыжака, взадъ и впередъ.

— По комъ тоскуешь, Дементичъ,—спросилъ подъѣхавъ другой казакъ, такой же конвойный поѣзда, какъ и этотъ:—аль жена на умѣ?

— Чего жена, — сказалъ ему тотъ: — жена, коли Богъ милостивъ, не пропадетъ; — помянулъ я, братъ, дѣвку славную, добрую дѣвку, да была такова.

— Ну, туда и дорога, — отвѣчалъ этотъ: — коли любила да покинула тебя, полюбитъ и другого, объ этомъ не печалуйся.

— Нѣтъ, братъ, не безчести помину: не было грѣха, ей богу нѣтъ; ниже вотъ на волосъ, а сгинула и пропала ни за грошъ.

— Ну, Господь душу помилуетъ, коли такъ, — заключилъ опять этотъ и, по врожденному равнодушію своему, не счелъ за нужное полюбопытствовать о подробностяхъ намековъ Дементича, а сталъ спрашивать: не слыхалъ ли привалу, да не будетъ ли имъ смѣны? Слышно, что Бакланова, не то Катасанова полкъ отъ такого-то мѣста пойдетъ въ конвой со сливнянами, а ихъ воротятъ—и прочее.

Не могу сдѣлать опыта надъ читателяли моими, также ли они будутъ равнодушны къ разсказу моему, какъ товарищъ Дементича, или пожелаютъ узнать, о чемъ идетъ дѣло—но и не могу удержаться, чтобы не разсказать случая, который легъ мнѣ на сердце и про-

ситъ простора: душно и тѣсно, когда вспомню объ немъ.

Дементичъ былъ тотъ самый раненый казакъ, котораго перевязывалъ я, по ходатайству сострадательной болгарки, этой чистой души, въ Сливно; землякъ ея, который былъ раненъ казакомъ, лежалъ на одномъ съ нимъ дворѣ и котораго наконецъ выпроводилъ самъ отецъ ея, это былъ ея женихъ. Онъ не могъ отбиться отъ смѣшаннаго чувства ревности, досады, злобы и мести, отъ этой гидры, у которой вырастаетъ сто головъ вмѣсто одной отсѣченной, и, по мѣрѣ выздоровленія, не переставалъ спориться съ будущимъ тестемъ своимъ и съ невѣстой: зачѣмъ-де они приняли въ домъ и призрѣли, даже предпочли своему, эту собаку, которая изгрызла стальнымъ зубомъ кости его даромъ и понапрасну, несмотря на крестное знаменіе его; зачѣмъ она, дѣвка, ухаживала за нимъ, какъ за своимъ, была при немъ, по крайней мѣрѣ, подъ одною съ нимъ крышею, тогда какъ жениха ея выслали, и онъ не могъ даже видѣть того, что дѣлается, не могъ быть стражемъ неотступнымъ невѣсты своей...

Каковы бываютъ ссоры болгаръ, и чѣмъ онѣ оканчиваются, это мы уже видѣли; у тестя съ зятемъ, при первомъ взаимномъ свиданіи, едва не дошло дѣло до ножей; ни мольбы, ни просьбы, ни божбы и клятвы бѣдной дѣвки не успокоили безразсуднаго ревнивца; прислужливая сосѣдка знала и разсказывала ему вдобавокъ дѣло, какъ личная вражда или неизбѣжныя догадки и привычка злорѣчія настроили ладъ или разладъ велерѣчиваго языка ея; словомъ, неистовый застращалъ голубицу свою такими рѣчами, отъ которыхъ у пылкой, раздражительной дѣвки кровь застыла и сердце обмерло; онъ клялся ей ужасными клятвами, что женится на ней для того только, чтобы взять ее въ руки и мстить ей за себя по край гроба.

Истощивъ всѣ убѣжденія и услышавъ слова эти, голубица моя покончила и повершила дѣло, не давъ опомниться бѣснующемуся жениху, ниже упорному отцу, котораго она тщетно умоляла не отдавать ее въ руки будущаго палача своего: она покончила все, и споры и ссоры, и будущее и настоящее, водворила миръ между отцомъ и женихомъ своимъ—утопившись въ колодцѣ.

Тамъ остался прахъ ея, въ землѣ отцовъ и дѣдовъ, а здѣсь, въ Россіи, куда вышли отецъ и женихъ, процвѣтаетъ новое поколѣніе, коего смягченные нравы и подчиненныя разсудку страсти не будутъ уже смущаемы этими бурными порывами грозы; внуки не будутъ уже, можетъ быть, слушать хладнокровно разсказы отцовъ своихъ о бѣдной погибшей дѣвушкѣ, оставшейся въ родной землѣ послѣднимъ залогомъ и примирительною жертвой будущаго благоденствія одноземцевъ своихъ... Но что я говорю? они забудутъ объ этомъ, забудутъ или даже и не узнаютъ, не услышатъ вовсе, проживая дни свои въ томъ же тупомъ и глухомъ равнодушіи, какъ и казакъ нашъ, который и не спросилъ даже товарища: кто и какъ погибъ? А между тѣмъ, онъ былъ можетъ быть человѣкъ хорошій, казакъ исправный, честный. А благоденствіе, друзья, о которомъ я промолвился, гдѣ оно? въ Сливно или въ нынѣшнемъ болгарскомъ сельцѣ, гдѣ живутъ переселившіеся въ Бессарабію сливяне? Ищите его въ себѣ, говорю я—это сказано уже сто разъ, но не мѣшаетъ повторить то-же и во сто первый; если найдете, ладно; а если нѣтъ, — доброй ночи и спокойнаго сна, а и пуще того — благодатнаго утра: вы не увидите его прежде этого утра, хоть не ищите!

IX

ПОДОЛЯНКА

Чума, которую звали и чумою и нечумою, но отъ которой люди умирали сотнями и тысячами, не обращая вниманія на чинъ и званіе мора; лихорадки, съ цѣлымъ поѣздомъ убійственныхъ, мучительныхъ послѣдствій, которыя передушили не менѣе православнаго люда, какъ и самая чума-безымянка,—все это прошло мимо. Судьба обнесла меня этою чашей, поднесивъ ее, для искушенія въ смиренномудріи, цѣлый годъ сряду, ежедневно, къ изнемогшимъ, изсякшимъ устамъ. Жестокая, неумолимая лихорадка, правда, натѣшилась и надо мною до-сыта; но благодатныя силы природы наконецъ взяли верхъ, и человѣкъ забываетъ всѣ страданія такъ-же скоропостижно, какъ они его покидаютъ. Чума не полюбила меня. Волею и неволей, случайно и умышленно, прикасался я не разъ къ чумнымъ, безъ всякихъ дальнѣйшихъ предосторожностей, и остался еще на этомъ перепутьѣ—и доселѣ еще, жадный жить и готовый умереть, шагаю или бѣгу взапуски съ вами, по общему нашему поприщу, по пути юдольной жизни, по которой мы нехотя другъ друга обгоняемъ, нехотя

торопимся жить и умереть. Скоро живемъ, друзья, и скоро умираемъ!

Но я бы не желалъ, чтобы кто-нибудь выраженіе: «которую звали и чумою и нечумою», почелъ за какую-нибудь неумѣстную насмѣшку. Въ доказательство противнаго осмѣлюсь высказать въ трехъ словахъ собственное мнѣніе мое объ этой чумѣ, мнѣніе, которое, надѣюсь, простятъ мнѣ, если разсудятъ, что я былъ свидѣтелемъ того, что описываю, а слѣдовательно и мнѣ, какъ и всякому другому, мнѣніе свое дозволено; и я могу ошибаться, какъ и вы, друзья мои, но не менѣе того мыслящій человѣкъ не можетъ не мыслить.

Что нужды до названія: зовите чумой, зовите нечумой; но я убѣжденъ, что болѣзнь, которая въ Турціи, Молдавіи и Валахіи свирѣпствовала во время послѣдняго похода, подъ тавромъ и тамгою смерти, не была намъ сообщена турками, а развилась въ войскахъ нашихъ. Она образовалась, какъ злокачественныя лихорадки, какъ пожирающія повальныя горячки, безъ коихъ никогда еще не бывало значительной и продолжительной войны. Мѣстность и обстоятельства образовали здѣсь чуму, или, пожалуй, нервно-гнилую гастрическую горячку, изъ тѣхъ же началъ, изъ коихъ, при иныхъ отношеніяхъ, образуется иная болѣзнь. Доводами мнѣнія своего не подкрѣпляю; это было бы здѣсь неумѣстно, да и доводы этого разбора никого не убѣдятъ: доводы — не доказательства; а этихъ здѣсь нѣтъ и быть не можетъ. Ученые и опытные собраты мои, безъ сомнѣнія, останутся при своемъ мнѣніи, какъ я остаюсь при своемъ. Я почитаю вообще мнѣніе, будто бы чума тлится споконъ-вѣку въ Турціи подпепельною искрой, — несправедливымъ; чума почасту образуется, при извѣстныхъ данныхъ, вновь; слѣдовательно, она могла образоваться и въ рядахъ войскъ нашихъ, поставленныхъ въ тѣ же самыя мѣстныя

отношенія; и споръ — египетская ли это чума, царе-градская ли, молдавская ли — не стóитъ торговъ и переторжки, потому что это все равно, откуда бы она ни взялась Достовѣрно то, что она шла по пятамъ до самаго Адріанополя.

Итакъ, всю бѣду эту свалили мы съ плечъ долой, *спокутковали*, какъ говорятъ на Украйнѣ; пришли на родину, проглянули новою жизнью, собрались было опочить на лаврахъ своихъ, размѣстившись въ жидовскихъ мѣстечкахъ западныхъ губерній, какъ два бича человѣчества почти единовременно взвились надъ сумрачнымъ лицомъ земли, и отечество вновь вызвало дѣтей своихъ въ ряды ополченія противъ *мора и войны*. Холера и мятежъ въ Польшѣ разразились надъ злополучнымъ краемъ.

Половина губерніи, въ которой мы стояли, была не въ самомъ цвѣтущемъ положеніи. Можетъ быть паны-экономы,—рахмистры, кассиры въ этомъ не болѣе виноваты, какъ и самый образъ господскаго управленія; здѣсь откупы на все: на свѣчи, на сало, на деготь, на соль и даже на печеный хлѣбъ, и жиды единомыслiемъ своимъ и пронырствомъ понижаютъ и повышаютъ цѣну звонкой монеты по произволу Между прочими налогами на мужиковъ позабавилъ меня слѣдующій: ежегодно раздается на каждый дворъ по извѣстному числу яицъ; бабы обязаны высидѣть и представить къ сроку цыплятъ.

Едва только зимніе, короткіе дни начали расти, 12 декабря 1830 года, и мы уже выступили изъ своихъ кантониръ-квартиръ, пошли снѣгами и морозами, только-что отдохнувъ отъ знойнаго лѣта Турціи. О, если бы по крайней мѣрѣ люди, при такихъ обстоятельствахъ, всегда смыкались ближе и дружнѣе, а не пилили другъ друга причудами, упрямствомъ, упорною и безсмысленною брюзгливостію! Съ товарищами жили мы

славно, дружно, весело; мы помогали другъ другу коротать скучный и смутный часъ, и забывали горе за походными шутками и дружнымъ весельемъ.

Мы пришли въ Каменецъ-Подольскій, эту неприступную для древнихъ твердыню, которую нынѣшнее военное именословіе не честитъ даже и названіемъ крѣпости, хотя городъ стоитъ на неприступной скалѣ, на островѣ, который кругомъ обтекаетъ рѣчка Смотричъ, между тѣмъ какъ онъ соединяется съ материкомъ только самороднымъ гребнемъ и каменнымъ мостомъ съ башенками, покрытымъ путемъ, воротами и всѣми принадлежностями полуазіатскаго и полуевропейскаго зодчества тогдашней военной защиты. Возвышенные холмы по ту сторону Смотрича, обтекающаго кольцеобразно градъ Подола, повелѣваютъ, въ военномъ смыслѣ, городомъ, и потому онъ для крѣпости не годится. Здѣсь, въ Каменцѣ, св. апостолъ снова воцарился на высокомъ минаретѣ, выстроенномъ нѣкогда турками, по обращеніи костела въ мечеть.

Въ Каменцѣ сидѣли мы нѣсколько времени между холерою и мятежемъ. Въ ожиданіи того и другого, я познакомился съ презабавною еврейскою четою, которую долженъ въ нѣсколькихъ словахъ представить читателямъ моимъ. Жидокъ этотъ, съ плотною и сговорчивою половиною своею, былъ замѣчательное лицо въ царствѣ Израильскомъ. Гусляръ, скрипачъ, разбитной малый, весельчакъ, гулика, съ презрѣніемъ глядѣлъ онъ на суетныхъ, корыстныхъ, скаредныхъ собратовъ своихъ и пускалъ послѣднюю копѣйку ребромъ, каждый разъ, когда копѣйка у него заводилась. Но и онъ и супруга его не переродились отъ сѣмени своего: смошенничать и обмануть *гоя*, крещенаго — отъ этой врожденной склонности тороватыя души ихъ не могли отказаться. На Подолѣ есть семья евреевъ, которая хранитъ и сохраняетъ, въ видѣ тайны, наслѣдствен-

ное искусство снимать бѣльмо; прадѣдъ, дѣдъ, отецъ, сынъ и внукъ занимались этимъ промысломъ и зарабатывали хорошія деньги. Я зналъ лично семью операторовъ-самоучекъ; они осаживаютъ катаракту (methodus depressionis) простою и прямою иглою; не употребляютъ при этомъ ни другихъ способовъ, ни орудій, и одностороннее, безусловное слѣдованіе одному этому способу, при разныхъ обстоятельствахъ и отношеніяхъ, не всегда можетъ быть увѣнчано лучшимъ успѣхомъ. Жидокъ мой принадлежалъ, по супругѣ своей, къ этому же поколѣнію цеховыхъ бѣльмо-цѣлителей, но, какъ распутное дитя, въ которомъ не видали много проку и толку, былъ признанъ цехомъ своимъ недостойнымъ познать тайны свѣтодарнаго искусства, былъ изгнанъ своими, поселился въ Каменцѣ и гулялъ, кутилъ и мутилъ не въ свою голову. Я стоялъ у этой безшабашной головы на постоѣ. Онъ и хозяйка его стали водить и возить ко мнѣ со всѣхъ концовъ Подола слѣпыхъ, не могли нахвалиться безкорыстіемъ моимъ, готовностію помогать несчастнымъ, которымъ давали у себя, по чувству состраданія и человѣколюбія, безмездное пристанище и дневную пищу, и отпускали ихъ наконецъ зрячими, присоединяя усердныя мольбы свои къ мольбамъ вновь одаренныхъ свѣтомъ: мольбы за здравіе, долголѣтіе и благоденствіе мое, считая собственную заслугу свою, какъ сами выражались, ни во что; помощь и содѣйствіе ихъ, въ сравненіи съ моею, была, какъ увѣряли они, ничтожна. Но какъ вы думаете, что открылось? Почтенный жидокъ и достопочтенная подручница его не только обирали, именемъ вспомоществующаго, слѣпыхъ постояльцевъ своихъ, но безстыдно сами себя прославляли въ цѣломъ околодкѣ цѣлителями слѣпоты, объявивъ, что наслѣдственное искусство низошло свыше на отростокъ поколѣнія свѣтодавцевъ, и успѣвали въ этомъ,

потому что слѣпой не видитъ руки, дарующей ему свѣтъ, и что онъ, въ безпредѣльной радости своей, готовъ признать спасителемъ своимъ всякаго, кто самъ имъ вздумаетъ назваться.

Между тѣмъ моръ сталъ свирѣпствовать и въ Каменцѣ. Мѣстное главное начальство раздѣлило городъ на части, довѣрило каждому изъ насъ по одной и представило въ то же время усмотрѣнію каждаго употреблять всѣ строгости оцѣпленія или нѣтъ. Мы имѣли удовлетвореніе видѣть впослѣдствіи, изъ частныхъ вѣдомостей своихъ, что болѣзнь въ неоцѣпленныхъ частяхъ города не прекратилась ранѣе, а въ оцѣпленныхъ не распространялась сильнѣе; что, напротивъ, дни большей и меньшей смертности совпадали въ цѣломъ городѣ, и что слѣдовательно ходъ, ростъ и упадокъ болѣзни обусловленъ былъ причинами, которыя раждались, распространялись и исчезали независимо отъ заставъ, цѣпей и карауловъ.

Къ Каменцу примыкаетъ слободка, сборъ жалкихъ полугнилыхъ лачужекъ, расположенныхъ на поемномъ, низменномъ долу—это царство сырости, неопрятности, нищеты, тѣсноты; присоедините еще къ тому ужасную, всепожирающую болѣзнь, которая въ сутки лишила семейство отца или матери, жену — мужа, дѣтей — кормильца и кормилицы—и бѣдствующее человѣчество стоитъ передъ вами во всей наготѣ своей, на высшей степени безпомощнаго и отчаяннаго положенія.

Этотъ уголъ присоединился по какому-то наслѣдству [1]) къ моему участку. Суевѣріе, недовѣрчивость, недостатокъ въ пищѣ, въ средствахъ, въ присмотрѣ— все это, въ соединеніи съ тѣмъ, что я сейчасъ описалъ, ей-ей, могло бы свести съ ума того, коего попеченію довѣрено было бѣдствующее человѣчество,

[1]) По наслѣдству медицинскому; предшественникъ мой выбылъ.

поверженное ницъ въ отчаянныхъ, предсмертныхъ судорогахъ своихъ.

Въ этой-то слободкѣ Каменца стояла хижинка, или домишко, поблаговиднѣе сосѣдей своихъ, почище и получше выстроенный. Домикъ этотъ стоялъ на углу, на второмъ переулкѣ послѣ крутого спуска. Видно было по всему, что хозяинъ его нѣсколько зажиточнѣе большей части обитателей слободки, что избушка поддерживалась постоянно въ исправности; и я готовъ былъ даже спорить о чемъ угодно, что хозяинъ добрый старичокъ, и что въ домѣ есть взрослая дочь или дочери. Всѣ эти отвлеченныя соображенія промелькнули въ мысляхъ моихъ, когда я въ первый разъ увидѣлъ домишко этотъ,—и, проходя здѣсь ежедневно два-три раза, вскорѣ увѣрился, что я ни въ чемъ не ошибся. Домъ, какъ я сказалъ, былъ угольный; передъ нимъ красивенькій палисадникъ съ цвѣтами и деревьями; на большую улицу стояли ворота, а въ переулокъ, къ палисаднику, вела калиточка. Я часто впослѣдствіи любовался благообразнымъ, стройнымъ старикомъ, который съ тростью въ рукѣ, въ коричневомъ сюртукѣ, попадался мнѣ иногда навстрѣчу, выходя изъ приворотной калитки этого дома. Притворивъ бережно за собою калитку, окидывалъ онъ взоромъ цвѣты и деревья въ палисадникѣ, кланялся мнѣ учтиво и отправлялся мѣрными шагами въ городъ, между тѣмъ какъ премилая дѣвушка нерѣдко выбѣгала въ калиточку, которая вела со стороны переулка въ палисадникъ, посылая за отцемъ своимъ напутное: «до свиданья». Она, дѣвица, не обращала вниманія на проходящихъ, а скрываясь за довольно густыми кустами и деревьями, почасту тѣшилась и забавлялась грядками и цвѣточками своими.

Мирное жилище это радовало и утѣшало меня каждый день. Казалось, какое-то благословеніе почи-

вало подъ драничной кровелькой: сердцу становилось здѣсь легко и отрадно, какъ будто пришло оно, съ дальней стороны, на родину.

Но въ мирномъ жилищѣ этомъ скоро нарушилась тишина и спокойствіе; все засуетилось: мать, дѣти, прислуга. Почтенный хозяинъ, нашъ старикъ въ коричневомъ сюртукѣ, занемогъ холерою.

Съ какимъ-то тайнымъ трепетомъ и благоговѣніемъ вошелъ я въ завѣтную избушку, которая уже столько времени была для меня усладительною и назидательною картиной. Я нашелъ все въ домѣ въ томъ видѣ и порядкѣ, какъ ожидалъ.

Почтенные, трудолюбивые старики, милыя, опрятныя дѣти, всеобщее устройство, порядокъ, тишина; а Ванда, старшая дочь, разливала вокругъ себя голубыми очами своими утѣшеніе, миръ и спокойствіе... Съ какимъ внутреннимъ удовольствіемъ вспоминаю объ этихъ ежедневныхъ посѣщеніяхъ! Отъ глубины души своей посвящалъ я ихъ тому созерцательному самозабвенію, которое вручаетъ сокрушенное мелочными, мірскими заботами сердце, гораздо болѣе, нежели взглядъ на суетный памятникъ великаго человѣка, или размышленіе о необыкновенныхъ его дѣяніяхъ, давшихъ ему право гражданства въ избранномъ сонмѣ повитыхъ дубовыми и лавровыми вѣнцами! Легче, сто разъ легче быть великимъ въ великихъ обстоятельствахъ, похитить на одно мгновеніе престолъ и державу судьбы и рѣшить въ одинъ разъ, словомъ или дѣломъ, громкое мірогласное событіе—нежели быть великимъ въ маловажныхъ, пресмыкающихся, житейскихъ отношеніяхъ, которыя надоѣдаютъ намъ на каждомъ шагу, отравляютъ всякую радость семейнаго счастія, какъ несносные, докучливые комары и мошки на прогулкѣ по прелестнымъ виноградникамъ. Вотъ разность величія половъ: мужчина бываетъ доблестенъ пять, шесть, десять разъ

на вѣку своемъ; женщина добродѣтельна съ утра до ночи; она ведетъ кротко и смиренно священную войну свою со всѣми непріязненными стихіями домохозяйства, заключаетъ каждый вечеръ, на молитвѣ своей, кратковременное перемиріе, и, собравшись съ новыми силами, съ зарею уже начинаетъ снова, молча и безъ ропота, противоборствовать мелочнымъ суетамъ житейскимъ, чтобы заслужить одобрительную улыбку отца, брата или мужа; далѣе слава ея не простирается. Цѣните такихъ женщинъ, друзья, и не забывайте, что самому изящному и поэтическому созданію въ мірѣ досталась на долю самая прозаическая, существенная половина жизни: цѣните женщину, которая умѣетъ соединить въ дѣлахъ, поступкахъ и обращеніи своемъ эти видимыя противоположности.

Старикъ нашъ, который заболѣлъ холерою, несмотря на то, что былъ крайне труденъ, на мои глаза безнадеженъ, сталъ оправляться. Благодарностямъ не было конца. Домашніе, по всегдашней похвальной привычкѣ своей, приписываютъ такое исцѣленіе непосредственно чудотворнымъ мазямъ, припаркамъ и порошкамъ врача; а этому ничего не остается, какъ отклоняться на всѣ четыре стороны, потому что искреннее увѣреніе въ непричастности и невинности искусства его бываетъ принимаемо какъ обычная оговорка олицетворенной скромности, и изъявленія благодарности и признательности усугубляются, по мѣрѣ возбуждаемаго объ этомъ предметѣ противорѣчія.

По привычкѣ и по влеченію продолжалъ я навѣщать, мимоходомъ, черезъ день или два, мирныхъ обитателей драничной кровли; я ознакомился съ ними, а вскорѣ и сдружился, потому-что ничто на свѣтѣ не сближаетъ людей такъ, какъ бѣдствіе и горе. Явитесь въ спопутную минуту утѣшителемъ бѣдующаго существа, и вы можете, *если можете*, сдружиться и сой-

тись душа въ душу съ этой первой минуты встрѣчи; и вотъ, что изрѣдка услаждаетъ честнаго врача въ жалкомъ его положеніи.

Я видѣлъ, что общее горе тяготѣло надъ семьею, въ которой я сталъ почти свой, что отецъ, мать и Ванда болѣютъ и скорбятъ однимъ семейнымъ недугомъ; но они молчали, и я молчалъ. Разъ, я помню, когда Ванда забылась, и мечтательное раздумье заволокло румяную зарю пасмурнымъ облачкомъ, когда думное выраженіе чела и скорбящій взоръ очей ей измѣнили, я много прочиталъ въ лицѣ этомъ; и Ванда, опомнившись и быстро взглянувъ на меня, угадала также то, чего я не хотѣлъ вымолвить; это я видѣлъ, это написано было на челѣ и въ очахъ ея; но выговоривъ ясно на томъ же языкѣ: «не спрашивай меня, я молчу по гробъ свой» — она мигомъ оправилась, и вся осанка и лице ея приняли опять уже это спокойное, умилительное и постоянное выраженіе, которое вы найдете только въ Вандѣ и ей подобныхъ созданіяхъ. Старушка, мать Ванды, проговаривалась только въ общихъ выраженіяхъ; но видно было, что горе ея тѣсно связано было съ тогдашнимъ состояніемъ Польши. Отецъ говорилъ объ этомъ мало, отрывисто, всегда только въ двухъ-трехъ словахъ; но предметъ трогалъ его сильно; старикъ вздыхалъ и замолкалъ или заговаривалъ о другомъ. Я видѣлъ ясно, что онъ въ высшей степени негодуетъ на горестное событіе это, на возмущеніе однородцевъ своихъ, обсуживая дѣло здравымъ и прямымъ разсудкомъ своимъ; но при всемъ томъ не хочетъ говорить, какъ потому, что сердце его сжималось при однихъ только воспоминаніяхъ, такъ и потому, что передъ нимъ стоялъ русскій, который могъ бы принять сердечныя слова поляка за льстивые напѣвы, вынужденные обстоятельствами, а одна мысль объ этомъ отнимала у старика языкъ. Такъ общій духъ и отношенія

народовъ отзываются во взаимныхъ отношеніяхъ частныхъ лицъ, и, если угодно, наоборотъ. Я узналъ только, что семейство это было родомъ изъ Калиша, переселилось въ Каменецъ уже во время французской войны, по случаю тогдашнихъ смутъ въ Польшѣ, что старикъ былъ небогатый, но честный и всѣми уважаемый правословъ, который никогда не выигрывалъ несправедливаго, безчестнаго дѣла, потому что никогда за него не брался, и что сынъ старика нашего, даровитый, хорошо образованный, многообѣщающій юноша, надежда отца и кумиръ сестры и матери, ушелъ черезъ Галицію въ Замосць, надѣлъ синій полуплащикъ съ висячимъ воротникомъ и серебряной цифровкой и готовится идти съ дружиною Дверницкаго на Волынь и Подолъ.

Я почти начиналъ вѣрить, что въ этомъ одномъ обстоятельствѣ заключается горе Ванды и ея родителей, какъ нечаянный и маловажный по себѣ случай навелъ меня на догадку, что это еще не все.

Ванда всегда и во всякое время носила на шеѣ мелкую и длинную золотую цѣпочку, на которой, казалось, висѣлъ крестикъ, ладонка или что-нибудь подобное. Въ одну темную и ненастную ночь деньщикъ меня будитъ, говоритъ, что за мною пришли отъ больного; я вскакиваю — и впотьмахъ, по голосу, узнаю своего старика. «Наша Ванда занемогла», сказалъ онъ мнѣ: «и хотя увѣряетъ, что ей только сдѣлалось дурно отъ чаду, но я, извините отца, который живетъ только для дѣтей своихъ, я испугался: нынѣ время тяжелое, бѣдственное; у меня не стало духу сидѣть и ждать развязки въ ужасной неизвѣстности. Я рѣшился идти къ вамъ; Ванда моя чистою молитвою своею за васъ помолится—помогите ей!»

Меня обдало холодомъ съ головы до ногъ. Ванда, подумалъ я про себя, поспѣшно одѣваясь, Ванда...

чтожъ? и она, и Ванда, и всѣ мы, всѣ, сколько насъ ни есть, живемъ, поколѣ дышимъ!

Чисты и достойны были помышленія мои, когда я вошелъ въ почивальню Ванды, и тепла молитва моя, когда я убѣдился, что Ванда не ошибалась въ причинѣ недуга своего, сказавъ: «мнѣ право совѣстно, что батюшка васъ побезпокоилъ; это пустое: братишки мои шалили, топили воскъ на какія-то новыя проказы и начадили такъ, что у меня разболѣлась голова!»

Но во время этого разговора, когда заботливый отецъ поднесъ свѣчу къ самому изголовью своей Ванды, взоръ мой случайно упалъ на молодого поляка въ синей венгеркѣ и въ бѣлой валяной плосковерхой шапочкѣ съ загнутыми вплоть къ тульѣ полями; лицо молодецкое и мужественное — казалось даже слишкомъ удалое. Молодецъ этотъ обнялъ золотою цѣпочкою шею Ванды, и въ эту минуту лежалъ, скатившись на изголовье недужной, рядомъ съ головкою ея. Я успокоилъ старика, раскланялся, ушелъ домой, но полякъ въ бѣлой валяной шапочкѣ набекрень, съ темнорусыми усами, стоялъ передо мною, какъ стоитъ и теперь; я его вижу каждый разъ, когда вспоминаю о Каменцѣ, о Вандѣ, о Польшѣ, и мнѣ бываетъ тяжело и скучно.

Дверницкій кинулся изъ Замостья на Волынь, вопреки извѣстій о переходѣ его обратно за Вислу, и корпусъ нашъ двинулся ему навстрѣчу. Теперь уже болѣе никто не увѣрялъ насъ, какъ было это во время похода черезъ Ольшану, Браиловъ (украинскій) и Умань, что конно-егерская дивизія двигается для поимки какого-то разбойника Кара-Мелюка. Дверницкій безъ хлопотъ обезоружилъ на границѣ слабый гарнизонный батальонъ и занялъ Устилугъ. Слухи наразладъ достигали и встрѣчали корпусъ нашъ на походѣ; войска не были еще на военномъ положеніи; маркитантовъ ни одного, и потому терпѣли мы много отъ недостатка и лишеній

всякаго рода — не слѣзая съ лошадей по пяти ночей сряду. По пути видѣли мы Вишневецъ, колыбель Мнишковъ; поличіе Маріи и Лжедимитрія, съ надписью подъ послѣднимъ: Demetrius verus; видѣли Кременецъ, гдѣ нечаянное появленіе наше, и тяжелый стукъ артиллеріи, и дымящіеся пальники странно противорѣчили мертвой, ночной тишинѣ и наружному спокойствію боязно выглядывавшихъ изъ воротъ и калитокъ жителей; осматривали съ большимъ любопытствомъ кременецкій лицей и познакомились съ остроумнымъ ученымъ мечтателемъ, ректоромъ или префектомъ Зыковичемъ, и помнимъ краснорѣчивые разговоры его. «Тридцать лѣтъ», говорилъ онъ, «учу я, опредѣляю и поясняю разныя науки, но самъ не понимаю ни одной — и кажется, многіе собраты мои находятся въ тѣхъ же отношеніяхъ. Физики, напримѣръ—я предпочтительно занимался естественными науками—физики, наперекоръ здравому смыслу, разлагаютъ и составляютъ лучъ свѣта изъ семи цвѣтныхъ лучей и передали теплотворъ и электричество, полюбовной сдѣлкой, во владѣніе другой, отдѣльной главѣ замысловатаго романа своего, съ тѣмъ, чтобы глава эта уже не мѣшала имъ тѣшиться досыта, отдѣльно, отвлеченно конькомъ своимъ, семицвѣтною радугой. Имъ и въ голову не придетъ, что свѣтъ, тепло и самое электричество, и вся жизнь, всѣ силы природы сосредоточены и соединены нераздѣльно въ лучѣ этомъ; что въ лучѣ заключается нѣсколько силъ: свѣтъ, тепло, электричество, силы растительныя и животныя.»

Мы взбирались и на другую не-метафизическую крутизну, на крутую гору, у самаго Кременца, гдѣ какая-то литовская королева Бона выстроила когда-то укрѣпленный замокъ. Остались только стѣны, подземная тюрьма и колодезь безконечной глубины. Мы видѣли также и Почаевскій монастырь, на границѣ

Галиціи, составляющій уже самъ по себѣ цѣлый городъ. Монахи припасли для насъ гостиный обѣдъ, но и простая, братская трапеза ихъ очень хороша, чему не мало способствуютъ огромные, богатые подвалы, наполненные старыми, вкусными медами. Мы видѣли богатства монастырскія

Все это мы видѣли и перезабыли, потому что намъ тогда было не до того, а помнимъ только, какъ Дверницкій былъ разбитъ подъ Боромелемъ, гдѣ алые гусары наши, стоявшіе на правомъ крылѣ въ третьей линіи, потянулись во́-время ниткою впередъ, выстроились, отрѣзали и изрубили отчаянныхъ хмѣльныхъ конниковъ, которые на-веселѣ и очертя голову затесались было туда, гдѣ имъ совсѣмъ было не мѣсто [1]); помнимъ также, хотя и неохотно вспоминаемъ, Порѣцкъ, и помнимъ конецъ всѣхъ возстающихъ на могучее отечество наше, уничтоженіе Дверницкаго на самомъ рубежѣ Галиціи, противъ Збараша. Долго войска наши за нимъ гонялись; хитро и осторожно металъ Дверницкій крюки и петли, стараясь обойти противника и проникнуть на Волынь или Подолъ; но, выбившись изъ силъ, прислонился онъ къ полубратскимъ рубежамъ и, убѣдившись уже подъ Боромелемъ, что не выдержитъ предстоящаго ему удара, распустилъ на всѣ четыре стороны шумливую команду свою и сдалъ оружіе австрійцамъ.

16 мая, на разсвѣтѣ мы двинулись на непріятеля. Командующій объѣхалъ всѣ полки и объявилъ имъ,

---

[1]) Въ дѣлѣ этомъ два обстоятельства были для меня очень любопытны: первое, что изъ числа нѣсколькихъ сотъ польскихъ уланскихъ сабель, которыя пересмотрѣлъ я впослѣдствіи самъ, едва-ли десятая часть были отпущены; плѣнные, на вопросъ мой объ этомъ, увѣряли, что они *не успѣли* заняться этимъ, хотя готовились къ походу цѣлую зиму, въ Замосцѣ; и второе, что копье, на которое надѣялись поляки взамѣнъ сабель своихъ, самое пустое оружіе, если не прихватывается локтемъ, подъ мышкой, а держится на-отмашь, въ одной рукѣ.

что непріятель прижатъ къ границѣ, что ему уйти уже нельзя, и что поэтому онъ будетъ разбитъ и уничтоженъ. Всегдашній отвѣтъ русскаго солдата *рады стараться* встрѣчалъ слово начальника, и всѣ горѣли нетерпѣніемъ выместить на полякахъ утомительные, скучные, девятидневные переходы. Корпусъ потянулся вдоль лѣса; егеря полковника Г. прошли опушкой, перекликаясь зычными рогами, которые объясняли тѣмъ, кому былъ знакомъ языкъ этотъ, что дѣлается въ лѣсу. Егеря разсыпались и окликались, какъ гончія по красному звѣрю. Съ лѣваго крыла алые гусары и застрѣльщики усыпали поле; но когда поднялись мы на бугорокъ, гдѣ за четверть часа стоялъ непріятельскій постъ, то его уже не было. Фланкеры и казаки понеслись въ погоню; оранцы, ахтырцы, витгенштейнцы за ними, и настигали и рубили бѣгущихъ. Польская пѣхота была въ фуражкахъ, а это противъ конницы очень невыгодно; все полетѣло; непріятель спасался кто и куда могъ. Тутъ повозка, тамъ конь, здѣсь ружье, тамъ ранецъ, тесакъ, сума; тутъ раненый, опершись на локоть, стонетъ въ крови; здѣсь верховой ведетъ пару плѣнныхъ, которые проклинаютъ судьбу свою и попрекаютъ другъ друга въ большей степени вины или участія; здѣсь какой-то отчаянный наѣздникъ во фракѣ и круглой шляпѣ отстрѣливается и отмахивается отъ двухъ гусаровъ, которые, нахлобучивъ кивера, налетѣли, и съ него, какъ говорится, только полки посыпались. Одинъ гусаръ взялъ, въ глазахъ моихъ, офицера и снялъ-было съ него тонкую шинель; но товарищъ гусара вырвалъ у него ее изъ рукъ, отдалъ плѣннику и сказалъ: «а какъ тебя, дурака, возьмутъ завтра, да сымутъ съ тебя рубаху?»

Я подошелъ поочереди и къ черному фраку, и, на жалобы его о звѣрскомъ безчеловѣчіи гусаровъ, изру-

бившихъ отдавшагося уже въ плѣнъ поборника отчизны, я отвѣчалъ положительно, что самъ видѣлъ два пистолетные выстрѣла его, и что по нашему этакъ въ плѣнъ не отдаются. Слово за словомъ, и оказалось, что фракъ мой зналъ коротко въ отрядѣ Дверницкаго Яна, брата Ванды. Онъ перешелъ съ отрядомъ за границу, чтобы никогда болѣе не возвращаться на родину, потому что былъ замѣшанъ въ возмущеніи на Волыни, коимъ предводительствовалъ одинъ изъ тамошнихъ помѣщиковъ.

Корпусъ нашъ двинулся опять впередъ, и встрѣтилъ радостное извѣстіе, что генералъ К. разбилъ на голову и утопилъ въ Вислѣ отрядъ Серавскаго, шедшаго на выручку Дверницкаго; 18 мая перешли мы Бугъ пограничный, въ Устилугѣ, и этимъ начали вторую главу похода, коего третьей главѣ предстояло поприще за Вислой.

На одномъ изъ переходовъ по сю сторону Люблина, былъ пойманъ и изобличенъ высланный изъ Замосьця лазутчикъ, человѣкъ уже въ лѣтахъ и семейный. Военный судъ приговорилъ его разстрѣлять. Итакъ, выкопали яму, надѣли на преступника китель, привязали бѣдняка къ столбу и дали по немъ холостой залпъ изъ двѣнадцати ружей. Генералъ велѣлъ ему дать 50 рублей за острастку и сказалъ въ крѣпости: «чтобы такихъ дураковъ не присылали». Но милосердное превращеніе заслуженнаго смертнаго приговора въ шутку никому не было извѣстно, до самаго исполненія его; народъ сбѣжался со всѣхъ сторонъ; жиды, ненавидя поляковъ, ликовали, бранили ихъ въ глаза и выражали неистовую радость свою чрезвычайно забавными ухватками. Когда же, послѣ минутнаго невольнаго молчанія, гдѣ всѣ притаили духъ, испуганнаго на смерть поляка отвязали, и дѣло объяснилось, то общій шумъ, хохотъ, говоръ и разнообразныя чув-

ства вслухъ и голосистыя сужденія зрителей сливались въ одинъ невнятный, шумный гулъ. Я оглянулся на жида, который, обширно размахивая палкой и широкополой шляпой, задѣвалъ сосѣдей своихъ справа и слѣва, спереди и сзади, но ничего не видѣлъ, не слышалъ: такъ жарко разсуждалъ и спорилъ онъ со стоявшею подлѣ него дѣвкою. Онъ глаголилъ по-польски; рѣчь его лилась рѣкой: глаза горѣли, бородка тряслась, выразительныя черты молніею пробѣгали по лицу, и несмотря на трагическое положеніе его, онъ былъ смѣшонъ до крайности. Дѣвка, спорившая съ нимъ, также невольно обратила на себя мое вниманіе. Рѣзкія въ ней противоположности ярко бросались въ глаза съ перваго взгляда: прекрасное лицо и тупой, безсмысленный взоръ; стройный, повидимому, станъ и какая-то нескладность, которую трудно было съ нимъ согласовать; изысканная тщательность въ полу-украинской, народной уборкѣ волосъ, и странная небрежность въ одеждѣ; да и самая болтовня ея, при видимой безсвязности своей, какими-то яркими проблесками остроумія, такъ вѣрно попадала въ мѣту, такъ прямо, просто и ясно доказывала истину, не останавливаясь, впрочемъ, на ней ни на мигъ, а продолжая бѣглый огонь свой и какъ бы затаптывая опять въ грязь драгоцѣнную находку, что жиду наконецъ ничего не оставалось, какъ плюнуть, закричать десять разъ въ одинъ духъ, что она дура, дура, дура, что съ нею нельзя говорить, и прогнать ее домой за работу, потому что Юзя была его батрачка. Юзя хохотала, говорила, что умный дурака не гоняетъ отъ себя, а самъ отъ него отходитъ; что умный не кричитъ по улицамъ на весь народъ, какъ панъ арендарь, жидъ, который перекричалъ и ее дуру, и прочее. Узнавъ отъ постороннихъ людей, что Юзя была родомъ изъ хорошаго дворянскаго дома, извѣстнаго даже и въ бытописаніи Польши,

но, какъ дурочка, забракована въ высшемъ кругу, и наконецъ попала нынѣ въ судомойки къ жиду, я отыскалъ, изъ любопытства, постоялый дворъ его, или корчму, остановился тамъ до выступленія полка — и Юзя сама разсказала мнѣ вотъ что:

Она помнитъ себя еще въ родительскомъ домѣ. Отецъ ея былъ потомокъ весьма извѣстнаго магната В. Осиротѣвъ очень рано, была она призрѣна графинею Л. и воспитывалась вмѣстѣ съ дочерьми ея. «Я была,» говорила Юзя, «черезъ-чуръ жива, остра, чувствительна и раздражительна, и слышала часто, какъ говорили, что я склонна къ помѣшательству.» Юзя выучилась языкамъ, музыкѣ, образовала себя хорошо, но вѣчно бѣсилась, шалила и проказила. Она отказала двумъ хорошимъ женихамъ, которыхъ назвала поименно и описывала подробно—отказала для того только, что съ издѣтства объявила намѣреніе свое натѣшиться свѣтскою жизнію, перебѣситься и идти двадцати лѣтъ въ монастырь. Но нечаянная смерть благодѣтельницы Юзи произвела ужасный переворотъ въ жизни сиротки. Были люди, которые ожидали смерти графини съ нетерпѣніемъ. Суета, безпорядокъ, грабежъ и дѣлежъ оборотили все въ домѣ вверхъ дномъ. Юзя, неутѣшно рыдавшая надъ свѣжею могилой второй матери своей, была покинута на произволъ судьбы, наконецъ даже изгнана изъ семьи, а преслѣдованіе и насиліе безнравственнаго человѣка, давшаго бѣдной скиталицѣ лукавый пріютъ и хлѣбъ насущный, ввергли ее въ совершенное сумасшествіе. Каплица, часовня, выстроенная ею за 10,000 злотыхъ, полученныхъ въ наслѣдство отъ ея благодѣтельницы, возвратила Юзѣ, по словамъ ея, разумъ. «Но» говорила она: «я все-таки осталась дурочкой, и помню только прошлое, какъ во снѣ; иной день у меня память свѣжѣе, и я даже могу читать на трехъ языкахъ; иной день не помню буквъ, мелю,

едва сама понимаю что, какъ напримѣръ, сегодня, и едва могу пересчитать сряду свои *тринадцать*. И тогда мнѣ бываетъ легче.» — Почему же именно считаешь ты до тринадцати? — спросилъ я. «А потому, что я привыкла каждый день, утромъ и вечеромъ, прежде и послѣ молитвы, считать до тринадцати: я родилась 13 числа, оба жениха сватались за меня 13 числа; матери мои обѣ умерли 13 числа; 13 числа я выбѣжала изъ дома мнимаго второго благодѣтеля моего и кинулась въ рѣку, откуда вытащили меня уже безпамятною и безумною, и наконецъ 13 числа я своеручно положила первый камень каплицы.» Такъ она молола и лепетала, безъ умолку, прибирая комнату постоялаго двора; мыла, чистила, скребла и работала за семерыхъ, чтобы къ шабашу, къ вечеру все привести въ порядокъ и угодить своему пану арендатору, и между тѣмъ все продолжала молоть и бормотать. Пословица лилась у ней за пословицей, притча за притчей, поговорка за поговоркой, и вездѣ сквозилъ смыслъ, толкъ, остатокъ разума; и вся наружность ея и самыя рѣчи чрезвычайно странно и въ какомъ-то непонятномъ разладѣ составлены были изъ ума и безумія. «У меня была пріятельница, подруга,» продолжала Юзефа: «по которой я и теперь, когда бываю въ своемъ умѣ, горько плачу, и она по мнѣ плачетъ, это я знаю, и зоветъ меня къ себѣ, да я нейду. Здѣсь, въ батрачкахъ, я на своемъ мѣстѣ. Я была прежде слаба и нѣжна; но съ тѣхъ поръ, какъ я одурѣла, захилѣла душой, я тѣломъ стала свѣжа, бодра и здорова. Видите, какія у меня здоровыя руки, и я могу работать, и работы не боюсь Поэтому я здѣсь на своемъ мѣстѣ, никому не мѣшаю, никто обо мнѣ не заботится, никто обо мнѣ не сожалѣетъ, и я довольна и спокойна. А тамъ? что они тамъ со мною будутъ дѣлать? Они люди недостаточные, но порядочные; на кухнѣ держать меня не захотятъ, это

я знаю; а куда же имъ дѣваться въ гостиной съ дурою, которая ину пору не умѣетъ пересчитать своихъ тринадцати, и которая хоть и говоритъ всегда правду всякому, а все-таки дура? И Ванда стала бы тосковать по мнѣ день за день. Дура убивала бы ее нехотя дурью своею. Сердцу ея было бы нестерпимо больно на нее смотрѣть. Зачѣмъ я туда пойду? чего я тамъ не видала?».

— А гдѣ твоя Ванда?—спросилъ я. «Была когда-то моя,» отвѣчала Юзя: «какъ была у меня и своя душа; теперь она Ванда, людская, чужая, подолянка; а душу свою найду я когда-нибудь 13 числа, когда скину съ плечъ безумную голову свою, да Богъ милосердый меня призритъ.» Можете вообразить, друзья, какъ все это меня поразило, когда еще вдобавокъ оказалось, что Юзефа была подруга дѣтства Ванды! Весь пятничный вечеръ, до поздней ночи, покуда не догорѣли на другой половинѣ шабашныя свѣчи корчмаря [1]), разговаривалъ я съ Юзей, сидя одинъ за длиннымъ сосновымъ столомъ на бѣлой лавкѣ, между тѣмъ какъ разсказчица маятникомъ ходила взадъ и впередъ, отъ печи къ столу, отъ стола къ полкамъ, отъ полокъ опять къ печи и *поралась*, хозяйничала, прибирала и наконецъ усѣлась прясть. Я не могъ надивиться этому существу, составленному изъ однѣхъ противоположностей: не могъ довольно углубиться въ духовный бытъ, въ жизнь этой загадочной, необъяснимой души, которая, казалось, не столько лишилась божественности своей, сколько пострадала отъ какого-то непонятнаго превращенія, оставившаго неизгладимые слѣды разстройства и безпорядка. Самый даже языкъ ея состоялъ изъ какого-то пестраго смѣшенія польскаго,

---

1) Жиды не гасятъ свѣчъ въ пятницу, когда справляютъ шабашъ свой, а даютъ имъ догорѣть и погаснуть.

украинскаго, нарѣчія мазуровъ, съ примѣсью и вставкою множества иностранныхъ словъ, употребительныхъ только въ образованномъ обществѣ. Юзефа, разговорившись о бывшей подругѣ своей Вандѣ, плакала и смѣялась въ одно и то же время, и похвалилась, что хранитъ еще у себя письма Ванды, хотя уже и не читаетъ ихъ, а иногда, 13 числа каждаго мѣсяца, развертываетъ ихъ и разсматриваетъ. Признаюсь, что мнѣ хотѣлось заглянуть въ эти письма, но я робѣлъ просить объ этотъ Юзефу. Мнѣ какъ-то совѣстно было воспользоваться нынѣшнимъ ея положеніемъ, чтобы выѣдать душевныя тайны Ванды. Я только взглянулъ во всѣ глаза на Юзефу при словахъ «письма Ванды», глядѣлъ и молчалъ. Но Юзефа сочла этотъ взоръ сомнѣніемъ, а откровенность и прямодушіе ея этимъ оскорбились. Она въ ту же минуту бросилась къ простому бѣлому сундуку, стоявшему, даже безъ замка, подъ лавкой, вынула завернутый въ истаскаинную бѣлую косынку пучекъ писемъ и положила ихъ передо мною на столъ. «Вотъ они,» говорила она, «*тыхъ панъ власне чита;* прочитайте сами.»

Винюсь передъ тобою, милая и прекрасная Ванда, винюсь и передъ читателями. Мнѣ не должно было читать писемъ этихъ, потому что мнѣ говорила это совѣсть моя; но я ихъ прочелъ... прочелъ съ такимъ наслажденіемъ и умиленіемъ, которое благодатно возвышаетъ душу нашу, насылаетъ миръ и спокойствіе и заставляетъ произнести въ сердцѣ обѣтъ стремиться всѣми силами къ доблести и добродѣтели, сродниться духомъ съ дѣвственною, непорочною душою. Я прочелъ письма эти; но я не употреблю во зло дѣтской и взбалмошной довѣренности Вандиной подруги; не скажу объ нихъ болѣе ни слова.

Когда я на другой день сидѣлъ уже на конѣ и тянулся съ полкомъ по люблинской дорогѣ, я не сер-

дился на пасмурную погоду и мелкій дождь; погода эта какъ-то была болѣе въ ладу съ думою моею, и я, нахохлившись, завернулся въ бурку и молчалъ до самаго привала. Не мудрено, думалъ я, что въ душу бѣдной Ванды, испытавшей все это, запала кручина, обложившая мыслящее чело ея облакомъ томной грусти! Ванда потеряла подругу необыкновеннымъ, ужаснымъ образомъ; и подруга эта, несмотря на убѣдительную, отчаянную мольбу и неутѣшную печаль, выраженныя въ послѣднихъ письмахъ Ванды, не могла уже болѣе быть, чѣмъ была, и погибла для нея заживо, невозвратно! Ванда, вѣроятно, утратила также, едва-ли не навсегда, любимаго брата, къ которому она приросла душой; и опять таки утратила чрезвычайнымъ, выходящимъ изъ ряду случаемъ; братъ сдѣлался, по волѣ своей, преступникомъ: это было написано на лицѣ отца и сестры. А Кракусъ, подумалъ я, въ цифрованной епанчѣ и бѣломъ колпачкѣ? Онъ обнялъ Ванду и повисъ на ней золотою цѣпью? кто онъ?

Но вотъ насталъ Троицынъ день, а съ нимъ и день сраженія при Сѣрокомлѣ и Будзыско — день, рѣшившій въ извѣстномъ отношеніи знаменитый вопросъ Гамлета

Вслѣдъ затѣмъ генералъ нашъ перешелъ Вислу и я, находясь при постройкѣ судовъ и моста, провелъ нѣсколько полезно трудовыхъ недѣль, въ веселомъ братствѣ и пріятныхъ дѣльныхъ занятіяхъ. Время это невольно напоминало мнѣ морскую службу, тѣмъ болѣе, что я сошелся здѣсь съ двумя сослуживцами и однокашниками, также покинувшими флотъ. Но, друзья, морской кадетскій корпусъ оставилъ во мнѣ не тѣ впечатлѣнія, не тотъ поминъ, какъ дерптскій университетъ. Оставлю это, и упомяну только, что 25 и 26 августа сидѣлъ я, крѣпко задумавшись, въ землянкѣ своей, въ мостовомъ укрѣпленіи подъ Казиміромъ,

прислушиваясь къ глухому гулу варшавскихъ батарей и какъ бы стараясь распознать выстрѣлы *моего* артиллериста—и вѣщее, скорбящее сердце меня не обмануло; былъ тутъ и такой выстрѣлъ, который обдалъ его картечью и положилъ на мѣстѣ. Благородный сослуживецъ почтилъ могилу его памятникомъ.

Когда Варшава была взята, генералъ разбилъ и разогналъ всѣ скопища въ Сендомірскомъ и Краковскомъ воеводствахъ, и чтобы очистить всю страну эту положительно отъ буйныхъ головъ, занялъ вольный городъ Краковъ, который самъ по себѣ не хотѣлъ или не могъ выдать или прогнать скопившихся въ немъ *повстанцевъ*. Краковскому сенату была предложена объ этомъ нота отъ трехъ державъ и до времени назначенъ отъ нихъ же троякій гарнизонъ.

Вольный городъ никакъ не ожидалъ такой мѣры. Поляки были сначала грубы, дерзки, кричали и козыряли; но когда стали собирать по домамъ разбѣжавшіеся остатки отрядовъ Каминскаго и Ружицкаго, то офицеры сотнями переходили черезъ мостъ у подгорья въ Галицію, высиживали тамъ холерный карантинъ и толпами расхаживали по правому прибережью Вислы. Собираясь покинуть отчизну свою навсегда, они прощались съ нею взорами, съ любопытствомъ поглядывая на то, что дѣлалось въ Краковѣ.

Древній Краковъ и окрестности его занимательны. Всюду бытописательныя, сказочныя и баснословныя воспоминанія; каждый предметъ говоритъ о старинѣ незапамятной. Флоріянская башня, при въѣздѣ въ городъ изъ Вильчковицъ, выстроенная по возвращеніи Собіевскаго изъ-подъ Вѣны и изображающая въ трехъ башенкахъ своихъ и воротахъ гербъ вольнаго Кракова; Маріинскій косцелъ, на площади, при которомъ постоянно содержится трубачъ, обязанный выходить на колокольню и играть каждый разъ, когда бьютъ часы;

это, говорятъ, осталось въ память татарскихъ набѣговъ, когда такой же трубачъ возвѣщалъ жителямъ съ башни св. Маріи о предстоящей опасности. Ежегодно, на другой день Троицы, выѣзжаетъ изъ такъ называемаго звѣринца, за песками, черный рыцарь на деревянномъ конѣ — и народъ толпится около него и ликуетъ. Это также дѣлается въ память освобожденія въ этотъ день Кракова отъ татаръ какимъ-то неизвѣстнымъ явленнымъ рыцаремъ. Гора Вавель, гдѣ сидѣлъ *смокъ*, змій-людоѣдъ, котораго убилъ Кракусъ, за что и признанъ былъ королемъ. Замокъ Кракуса, на Вавелѣ, изъ камня, выстроенъ вновь Болеславомъ-Кривоустымъ; Владиславъ-Локетекъ передѣлалъ его посвоему, съ подземными ходами; Казиміръ-Великій обновилъ, Сигизмундъ-Августъ выстроилъ при немъ башню на крутомъ свѣсѣ, получившую названіе *куриной стопы*. Австрійцы, въ 1744 году, передѣлали замокъ въ казарму; а послѣ 1809 превратился онъ въ богадѣльню; впослѣдствіи поддерживали замокъ Кракуса собираемою съ городскихъ жителей пооконччиною; въ *Суконицѣ*, что нынѣ гостиный дворъ, Казиміръ Великій давалъ пиръ тремъ королямъ, выдавая дочь за Владислава Чешскаго; наконецъ, даже самое жидовское предмѣстье Кракова— все это завлекаетъ и занимаетъ. Не менѣе любопытны окружности: могила Кракуса по ту сторону Вислы, гдѣ на Святой недѣлѣ бываетъ гулянье; это огромный холмъ, называемый ренковка, т. е. *ручнымъ*: преданіе увѣряетъ, что подданные Кракуса, изъ любви къ нему, насыпали могилу эту горстями; могила Ванды, полубаснословной красавицы, наслѣдовавшей Кракусу; нѣмецкій князь Рудигеръ и Владиславъ Чешскій искали руки ея; она полюбила Рудигера, а народъ требовалъ Владислава. Ванда отказала обоимъ. Рудигеръ собралъ войско и пришелъ подъ Краковъ — и Ванда, чтобы избавить краковянъ отъ страшной войны, утопилась

въ Вислѣ. Рудигеръ отошелъ съ грустію. Висла покинула на этомъ мѣстѣ старое русло свое и отошла на полмили, а краковяне соорудили при деревнѣ Могилѣ памятникъ прекрасной и великодушной Вандѣ. Холмъ Костюшки лежитъ на горѣ св. Браниславы, на полмили отъ Кракова къ западу; самъ же Костюшка погребенъ на Вавелѣ, подлѣ Іоанна Собіескаго и Іосифа Понятовскаго. На горѣ св. Брониславы стоитъ каплица, часовня во имя той же святой, и подъ горой поселены семейства воиновъ, служившихъ подъ начальствомъ Костюшки и освобожденныхъ навсегда, съ потомками, отъ всякой подати. Могила знаменитой Эстерки — небольшой холмъ въ Лобзовѣ, въ полмилѣ отъ Кракова, гдѣ и понынѣ садъ и замокъ Казиміра Великаго. Всѣ четыре могилы эти, столь богатыя воспоминаніями событій, были, какъ говорятъ, разрыты побѣдоносными австрійцами. Судя по боковымъ ямамъ, это и вѣроятно. Говорятъ, что въ могилѣ Эстерки найдены были древнія и богатыя вещи.

Но знаменитѣйшая вещь по близости Кракова—есть соляноломня въ Величкѣ, въ Галиціи. Мы съѣздили туда и видѣли подземныя палаты, церковь, озёра, площади, улицы и переулки, простирающіеся въ три яруса на 140 саженей въ глубину, въ непрерывной толщѣ каменной соли. Ломня существуетъ съ 1043 года. Пластъ соли покрытъ пластомъ известковой ракуши въ 86 саженей толщины. Каплица украшена соляными изваяніями во весь ростъ, островерхими памятниками, изсѣченными изъ полупрозрачной породы со стоялами. Зала Суворова, вымощенная по приказанію побѣдоносца досками, великолѣпно убрана граненными подвѣсками и соляными люстрами—и при свѣтѣ огня блещетъ радугами; озёра въ семь саженей глубины, по коимъ прогуливались мы на лодкахъ. Словомъ, этому дивному богатству природы нѣтъ подобнаго

въ Европѣ, только нашъ Илецкій соляной пластъ, въ 60 верстахъ отъ Оренбурга, въ степи Зауральской, гдѣ необъятная и доселѣ неизмѣренная толща чистой каменной соли лежитъ непосредственно подъ тонкимъ слоемъ земли, можетъ сравниться съ соляным прiискомъ Велички.

И здѣсь, въ Величкѣ, разсказу моему досталась въ удѣлъ вотъ какая развязка.

Я упомянулъ уже, что Подгорье, лежащее по ту сторону моста, ведущаго черезъ Вислу, то есть на самомъ рубежѣ Галиціи, набито было польскими военнослужащими всѣхъ полковъ, *ездъ* и *легій*. На мосту стояли попарно русскіе и австрійскіе часовые. Съ утра до вечера пестрая толпа въ чекменькахъ, венгеркахъ, епанчахъ и мундирахъ стояла по одну сторону рокового моста, между тѣмъ какъ множество колясокъ безпрестанно подъѣзжали къ мосту, по эту сторону—и шляпки и платочки, кивая и размахиваясь, привѣтствовали родныхъ.

Однажды стоялъ я, прошедши предмѣстье Казиміра, неподалеку отъ моста и разговаривалъ съ венгерскими гусарами, которые просили меня убѣдительно сводить ихъ въ станъ нашъ и показать казаковъ, когда, кинувъ случайно взоръ черезъ Вислу, наткнулся я на рослаго, статнаго молодца, въ синей цифрованной серебромъ епанчѣ, въ бѣлой, валяной шапочкѣ. Глаза мои дрогнули, снова отыскали стараго знакомца—передо мной лежала, казалось, милая Ванда, съ золотою цѣпочкою на бѣлой шеѣ, со скатившимся на мягкое изголовье продолговатымъ кружечкомъ... Измѣнникъ, этотъ полякъ въ бѣлой шапочкѣ — злой измѣнникъ: онъ покинулъ милую свою и, скатившись съ персей на изголовье, выдалъ чужому, постороннему человѣку сердечныя тайны Ванды! Но въ ту же минуту спросилъ я у себя: кто же таковъ этотъ возмутитель мирной жизни, до-

машняго блаженства нашей Ванды? Братъ ли это ея, котораго она такъ нѣжно любитъ, или кто? Мнѣ хотѣлось перемигнуться съ нимъ, вздохнуть и подать и ему вѣсточку о Вандѣ; но, признаюсь, не зная, какъ приметъ онъ привѣтствіе мое, я не хотѣлъ испытать недружественную встрѣчу.

Чрезъ нѣсколько дней мнѣ случилось быть въ самомъ Подгорьѣ, вмѣстѣ съ однимъ офицеромъ, посланнымъ туда за дѣломъ. Со мною былъ мальчишка лѣтъ шести, сиротка, котораго взялъ я къ себѣ еще въ Любельскомъ воеводствѣ по особому случаю. Отецъ его, вдовецъ, таскалъ его съ собою по всѣмъ походамъ—и, будучи убитъ подъ Любартовымъ, предоставилъ сыночка попеченію нашихъ сестеръ милосердія—казаковъ Ничто не можетъ быть забавнѣе и жалобнѣе этихъ маленькихъ звѣрковъ, проживающихъ на форпостахъ и пикетахъ или пристающихъ къ полку на походѣ, какъ голодная собаченка, которой солдаты кинутъ косточку или корку хлѣба, и которая, изъ благодарности, остается при полку на все время похода и по всей справедливости носитъ имя полковой шавки. Полунагіе зарываются ребятишки эти на ночь въ солому, ползутъ подъ плащъ солдата, переходятъ при смѣнѣ поста изъ рукъ въ руки, пекутъ преискусно на бивачномъ огнѣ вырытый ими по сосѣдству картофель или пшеничные колосья и довольствуются крохами сострадательнаго казака или солдата. Шестилѣтній Францышекъ, не болѣе полугода тому, былъ съ отцомъ своимъ въ Каменцѣ. Взявъ его подъ свою опеку, узналъ я, что онъ даже часто бывалъ въ домѣ у старика нашего въ коричневомъ сюртукѣ. Какъ бойкій мальчишка, извѣдавшій на короткомъ вѣку своемъ болѣе, нежели иной восьмивершковый сидень; одаренный острою памятью и наметавшись ко всему и для всего, Францышекъ исполнялъ отлично-хорошо всякое порученіе, не

хуже любого деньщика или жида-фактора. Я глядѣлъ, задумавшись, на шестидесятилѣтняго польскаго магната, который сидѣлъ въ Подгорьѣ съ женою и всѣмъ семействомъ. Статный, высокій ростъ его, лѣта, сѣдина и выразительное худащавое лицо, привлекли на себя вниманіе, и я въ раздумьѣ сравнивалъ участь его, минувшую и настоящую. Долгополый, плотно застегнутый сюртукъ и нахлобученная на глаза круглая шляпа, казалось, хотѣли скрыть отъ взоровъ любопытныхъ проживающаго здѣсь подъ чужимъ именемъ князя. Въ это время мимоходомъ вѣжливо поклонился ему нашъ знакомый незнакомецъ въ бѣлой шапочкѣ, сложивъ руки, сталъ на пригоркѣ и глядѣлъ задумчиво и грустно черезъ Вислу. Я хотѣлъ подойти къ нему— и опять раздумалъ, а подозвалъ Францышка и велѣлъ ему заговорить съ нимъ и разсказать, что онъ бывалъ въ Каменцѣ и знаетъ отца и семейство Ванды. Самъ же я сталъ поодаль и прислушивался къ разговору. Изумленный, обрадованный и сильно тронутый, молодой офицеръ забросалъ Францышка вопросами—и не могъ опомниться отъ этой нечаянной встрѣчи; онъ оглядывался кругомъ, какъ будто искалъ, откуда явился благодатный вѣстникъ. Мы сошлись, и я увидѣлъ, что недовѣрчивость и опасенія мои были въ этомъ случаѣ излишни — и я радовался за Ванду. Я узналъ въ ея избранномъ человѣка образованнаго. Это былъ ея женихъ. «Бѣдная Ванда!» сказалъ онъ, когда мы прощались съ нимъ, поговоривши болѣе часу, «бѣдная Ванда! судьба (позвольте мнѣ, продолжалъ онъ съ горькими слезами на глазахъ, назвать это судьбою), судьба лишила тебя подруги, жениха и брата и надѣлила сердцемъ, которое не перенесетъ этой утраты!»

Знакомый незнакомецъ нашъ неотступными просьбами выпросилъ у меня Францышка, съ которымъ не хотѣлъ разстаться.

Въ 1833 году встрѣтился я съ офицеромъ, товарищемъ по службѣ, хотя и не по званію — потому что павлоградскій гусаръ не докторъ—встрѣтился съ землякомъ и товарищемъ, съ которымъ, два года тому назадъ, были вмѣстѣ въ Каменцѣ и часто разговаривали о Вандѣ и старикѣ въ коричневомъ сюртукѣ. Разговорившись о быломъ времени, я спросилъ: «не знаешь ли, что съ нимъ сталось?»

— Полгода тому назадъ,—отвѣчалъ павлоградецъ, покачавъ головой: — былъ я въ Каменцѣ и, спустившись съ каменнаго моста, прошелъ направо въ слободку мимо знакомой привѣтливой избушки: палисадникъ запущенъ, цвѣты заросли бурьяномъ и крапивой— никто объ нихъ не заботится; калиточка заколочена шелевкой наглухо; старикъ въ коричневомъ сюртукѣ выходитъ по утрамъ одинъ-одинехонекъ и запираетъ за собою приворотную калитку на замокъ. Ребятишекъ отдалъ онъ въ какое-то заведеніе, кажется, въ Кременецъ; больше, видно, никого не осталось.

X

ЕВРОПА И АЗІЯ

Да гдѣ жъ, скажите, начинается Азія, то-есть гдѣ, собственно, оканчивается Европа? Неужели это такая вещь, которая, какъ бы сказать, покрыта мракомъ неизвѣстности, или это, наконецъ, тайна природы, до которой люди еще не дошли, несмотря на ученость свою, или даже—вѣдь и это сбыточно—сомнительный предѣлъ двухъ частей свѣта измѣняется повременамъ года отъ причинъ стихійныхъ, или тамъ какъ-нибудь отъ наклонности оси земной, отъ эклиптики, или, словомъ, отъ причинъ важныхъ, независящихъ отъ воли человѣка?

Вотъ, посмотрите, въ одной нѣмецкой географіи Волга принимается за настоящую границу, и Казань полюбовной сдѣлкой передана Азіи; въ другой, граница эта: Уральскій Кряжъ, Общій-Сыртъ и низовье Волги; въ третьей—Уральскій хребетъ и рѣка Уралъ; другіе толкуютъ, что вся Оренбургская и Пермская губерніи принадлежатъ Европейской Россіи, а слѣдовательно и Европѣ, потому-то Европейская Россія не можетъ быть въ Азіи; стало-быть, Азія и начинается у насъ настоящею Сибирью, Тобольскою губерніею.. Да нѣтъ, и это не ловко: вѣдь челябинцы, екатерин-

бургцы, даже жители Троицка называются и сами себя называютъ сибиряками, дали русскимъ, то-есть европейскимъ бабамъ, прозваніе «чернолапотницъ» и русскаго человѣка признаютъ только полуземлякомъ, если онъ не сибирякъ... Какъ же тутъ быть? Сомнительно, право сомнительно!

— Да то ли еще на этомъ свѣтѣ бываетъ сомнительно или по политическимъ и другимъ видамъ неизвѣстно? Вотъ, напримѣръ, ваша задача рѣшить, гдѣ конецъ Европы и начало Азіи на востокѣ—это задача, и простительно ею затрудняться: какъ бы то ни было, тутъ материкъ, шнуромъ не ударишь, мѣлкомъ не перечертишь—ну, оно и сбивчиво. А я предлагаю вамъ другой вопросъ, попроще да позаористѣй: гдѣ сходится Европа съ Азіей—на юго-западѣ, подъ Туречиной то-есть что ли, либо и въ самой Туречинѣ или тамошнихъ бусурманскихъ земляхъ? Что, небось, призадумались? Чего жъ вы глядите на меня, выпучивъ глаза? Я вамъ говорю дѣло— да; гдѣ сходится Европа съ Азіей: на юго-западѣ Россіи или сопредѣльныхъ ей земель?

— Помилуйте, батюшка, да вы говорите что-то такое непонятное; воля ваша, а кто-нибудь изъ насъ, съ позволенія сказать, безтолковъ; или вы рѣчь ведете о Кавказѣ?

— Нѣтъ, совсѣмъ не о Кавказѣ: оставьте Кавказъ въ сторонѣ, его размежуютъ, или не размежуютъ безъ насъ; не дѣлайте отвода, а отвѣчайте прямо, по силѣ моего вопроса!

— Не понимаю васъ, Аркадій Иванычъ; а, кажется, мы оба съ вами сегодня далеко еще не дошли даже до чаю, не только до чего иного...

— Ну, такъ вотъ, послушайте-жъ меня, тогда поймете. Вотъ оно и выходитъ на то, что вѣкъ живи, вѣкъ учись, а помри дуракомъ.

«Лѣтъ тому, конечно, ужь не мало будетъ—я тогда еще служилъ повытчикомъ въ палатѣ,—въ Казани случилось казусное дѣло, которое давно покончено и забыто, и можетъ статься, уже и поѣдено мышами, а между тѣмъ жаль, право жаль будетъ, если о немъ умретъ и самое преданіе; вотъ это-то дѣло и вертѣлось на щекотливомъ вопросѣ, который я вамъ предложилъ не спроста: онъ тогда былъ разрѣшенъ; не знаю, было ли сообщено объ этомъ кому слѣдуетъ, то-есть господамъ географамъ, къ свѣдѣнію и въ потребномъ случаѣ къ соображенію, но дѣло рѣшено судебнымъ порядкомъ, и рѣшено именно у насъ въ Казани. Помните только, что этому ужъ очень давно; вы знаете, когда я служилъ повытчикомъ, тогда еще Лукерья Петровна была вотъ этакенькая—вотъ, а теперь, сами знаете, она ужъ не то, что была.

«Ну вотъ, изволите видѣть, жилъ былъ у насъ порядочный помѣщикъ; душъ было у него ста четыре, помѣстье въ Чебоксарскомъ уѣздѣ. Хозяинъ былъ онъ хорошій, жилъ себѣ таки ничего, взялъ да и померъ. Какъ у человѣка одинокаго, дѣтей у него не случилось, а явились наслѣдники боковые, законные, однакожъ, родные племянники, два брата; ну, извѣстно, безъ хлопотъ не обошлось, призаняли они тутъ и тамъ, колотились, бывали наѣздомъ, то тотъ, то другой; наконецъ, рѣшилось дѣло, ввели ихъ во владѣніе. Только-что успѣли перекреститься молодцы мои да задумать о томъ, какъ они теперь заживутъ—анъ шасть, бѣда въ подворотню: является третій наслѣдникъ Хлопоты и заботы по наслѣдству этому и такъ уже надоѣли бѣднякамъ моимъ, что хоть, бывало, ину пору въ стѣну лбомъ, а тутъ опять новая гроза! Принесла же его нелёгкая, и откуда онъ взялся? Да такой же, изволите видѣть, племянникъ покойника, боковой, законный наслѣдникъ; съ равными правами: племянникъ

отъ другого брата; сидѣлъ онъ забившись гдѣ-то на службѣ въ Херсонѣ, что-то въ малыхъ чинахъ, да дошли-таки до глухого вѣсти—онъ и явился. Мировой нѣтъ; первые наслѣдники и слышать не хотятъ и со двора его согнали. Тотъ за тяжбу, подалъ просьбу по порядку; онъ человѣкъ неимущій, жить ему на чужбинѣ безъ помощи трудно; срокъ отпуска вышелъ, боится потерять мѣсто... Подавъ просьбу да похлопатавъ, сколько могъ, и воротился туда, откуда пріѣхалъ. Требуютъ доказательствъ, сякихъ-такихъ; онъ заботится, хлопочетъ, высылаетъ; сперва-таки былъ человѣкъ въ Казани, который, надѣясь на благодарность за услугу, увѣдомлялъ херсонца о ходѣ дѣла, списывался съ нимъ; а тамъ, какъ увидѣлъ, что проку мало, что тому благодарить-то нечѣмъ, то и тотъ махнулъ рукой, замолкъ, а второй наслѣдникъ, вовсе потерявъ изъ виду дѣло, не могъ слѣдить за нимъ какъ слѣдуетъ, не могъ смазывать за глаза, гдѣ скрипитъ, а пріѣхать въ другой разъ было не съ чѣмъ: видно, деньжонками не могъ сколотиться. Такъ и проходитъ мѣсяцъ за мѣсяцемъ, годъ за годомъ — ни слуху, ни духу нѣтъ ему, что тамъ дѣлается.

«Между тѣмъ, нашлось какое-то мѣстечко повыгоднѣе для херсонца, въ Молдавіи, гдѣ въ то время, знаете, было наше управленіе; жалованьишко повыше, да никакъ еще и по заграничному расчету: онъ туда; живетъ тамъ годъ, и забираетъ его заботишка по тяжебному дѣлу, да способовъ нѣтъ никакихъ; одна надежда, что добудетъ да сбережетъ что-нибудь отъ нынѣшняго содержанія; на то и бьетъ и расчитываетъ. Ну и точно: сколотился опять кой-какъ; поѣхать бы можно, нешто, такъ дѣло-то думчиво: не протрястись бы по пустякамъ, есть ли зачѣмъ ѣхать? Надо бы хоть что-нибудь узнать напередъ. Вотъ онъ, не долго думавъ, три червонца въ старую перчатку закуталъ,

зашилъ, запечаталъ, да съ письмомъ къ тому человѣку, съ которымъ, бывало, прежде переписывался, на почту; пишетъ ему, что-де, вотъ такъ и такъ, не взыщите, мы люди бѣдные, а вотъ, что могли отъ крохъ своихъ, долгомъ поставляемъ по справедливости удѣлить, да просимъ и молимъ, увѣдомьте, что и какъ и не надо ли мнѣ пріѣхать опять самому. «Коли нѣтъ того чиновника въ Казани, либо коли померъ, такъ вѣдь деньги не пропадутъ», подумалъ херсонецъ, «а воротятся: что будетъ, то будетъ.»

«Вотъ, сударикъ ты мой, послалъ, а самъ ѣдетъ Три червонца не воротились, а пришло по первой казенной почтѣ письмо, въ которомъ увѣдомляютъ бѣднаго херсонца моего, что казанцы давно уже безъ него покончили дѣло это, и, стало-быть, онъ тяжбу проигралъ. Заглазно выиграть тяжбу мудрено, особенно когда сильные противники на-лицо; какъ ужъ они тамъ свертѣли да скомкали ее—не вѣдаю, а только рѣшеніе послѣдовало въ ихъ пользу; херсонца вызывали по вѣдомостямъ къ рукоприкладству, онъ не явился, ни слуху, ни духу о себѣ не подалъ; такъ, прождавъ законный срокъ, и повершили безъ него.

«Взяла бѣда поперекъ живота бѣдняка нашего, отступиться не хочется; сто тридцать исправныхъ душъ въ Казани—хлѣбъ по вѣкъ, и жить можно безъ большого горя. «Была—не была», подумалъ онъ: «вѣдь службишка нашего брата-мальги подъ старость тебя безъ подметокъ оставитъ, хоть какъ ни колотись; а помѣстье кладъ!» Подалъ опять въ отпускъ, собралъ червончики свои и покатилъ самъ на мѣсто: «Авось теперь не добьюсь ли чего! Быть не можетъ, чтобъ мнѣ наотрѣзъ отказали; я такой же племянникъ покойнаго, какъ и они, все-равно, дѣти родныхъ братьевъ: по какому жъ закону меня устранить!»

«Пріѣхалъ, освѣдомился, и видитъ, что дѣло больно-

плохо: не то важно еще, что отказали: мало ли въ чемъ до времени отказываютъ! да коли неправо, незаконно, такъ можно и повершить; а тутъ вотъ что плохо, что рѣшеніе вошло въ законную силу по пропускѣ установленныхъ сроковъ: не только уплылъ срокъ на рукоприкладство—это само-по-себѣ, а срокъ апелляціонный пропущенъ; для переноса жалобы изъ низшей во вторую степень и просьбы не принимаютъ Бѣдный херсонецъ мой разбѣгался, разохался, кидается по всѣмъ властямъ и представляетъ на судъ всякаго, что онъ не виноватъ ни въ чемъ, состоялъ на службѣ въ отдаленныхъ мѣстахъ: ни узнать о ходѣ дѣла, не только прибыть къ сроку не могъ, а теперь за это лишается наслѣдства! Нашлись добрые люди, которые вошли въ дѣло его, или, можетъ-быть, лобанчики да арабчики склонили кого-нибудь къ мягкосердію, все-равно; да только, потолковавъ о срокахъ, нашли, что одинъ срокъ назначенъ для пребывающихъ въ Россіи, другой же для заграничныхъ участниковъ, а третій для такого случая, когда тяжущійся находится въ другой части свѣта. Первые два срока были пропущены невозвратимо, но третій еще не ушелъ, а потому и можно было подать просьбу и завязать дѣло, если только доказано будетъ, что херсонецъ находился во время вызова въ Европѣ, то-есть въ Молдавіи, а казанецъ въ Казани, то-есть въ Азіи. Написали просьбу—терять было нечего—и подкрѣпили доводы свои ссылками на всѣ старинные учебники географіи, какіе могли добыть въ Казани, подали и стали всѣми силами поддерживать. Судъ затруднился: случай небывалый, дѣло запутанное; вертѣли туда, сюда; отказать бы прямо, такъ надо же на чемъ-нибудь основать рѣшеніе, надо опровергнуть доводы просителя. Сколько ни бился секретарь, не могъ подвести ни одного закона, ни указа, ни манифеста, все это къ дѣлу не подходитъ. Приза-

думались мои судьи, а что-то дѣла въ толкъ не возьмутъ. Коли тяжущіеся находились въ различныхъ частяхъ свѣта, то, вѣроятно-де, это надо понять такъ, что херсонецъ, выбывъ за границу, въ Молдавію то-есть, попалъ черезъ это самое въ другую часть свѣта, потому что жители Казани, а тѣмъ паче тамошнія присутственныя мѣста, не привыкли считать себя въ Азіи, и мысль эта была для нихъ слишкомъ нова и дика. Притомъ, если бъ проситель въ это время находился въ Россіи, то ему бы полагался срокъ внутренній, хотя бы онъ и дѣйствительно вѣдался въ сибирскомъ присутственномъ мѣстѣ, которое, какъ было приведено въ извѣстность при этомъ хлопотливомъ случаѣ, числится въ Азіи. Подумавъ туда и сюда, рѣшились пустить дѣло на справку; но куда и какого содержанія сдѣлать запросъ? Въ учебное вѣдомство, разумѣется, которое нѣкоторымъ образомъ есть одно и то же, что ученое, и потому должно знать силу въ этомъ дѣлѣ. Итакъ, рѣшили отнестись, по приказному выраженію, къ тогдашнему директеру училищъ, съ тѣмъ, что, основавшись на его свидѣтельствѣ, въ отвѣтѣ не будемъ: отзывъ его выведемъ на справку.

Директоръ училищъ, человѣкъ почтенный, хотя и съ запутанными до нѣкоторой степени понятіями, снималъ и надѣвалъ нѣсколько разъ очки свои, перечитывая бумагу, и долго не могъ взять въ толкъ, чего отъ него хотятъ. И это было не мудрено. Мы уже видѣли, до какой степени вопросъ постепенно становился сложнѣе и запутаннѣе отъ довольно необычайныхъ случайностей и отъ различія взгляда: херсонецъ хотѣлъ воспользоваться тѣмъ, что находился внѣ Россіи и что, сверхъ того, та часть Россіи, съ которою имѣлъ онъ дѣло, числится въ другой части свѣта, въ Азіи. Тотъ, кто писалъ отношеніе къ директору училищъ, безъ всякаго умысла нѣсколько переиначилъ во-

просъ, предположивъ, что земля Молдавія должна находиться, по мнѣнію просителя, въ другой части свѣта, чѣмъ Россія; все это притомъ было высказано не совсѣмъ ясно, изъ предосторожности, чтобъ не проговориться, такъ какъ вообще вся связь этого дѣла, по многосложности и запутанности его, представлялась нѣсколько въ туманѣ.

«Сообразивъ, однакожъ, дѣло, сколько это было возможно по содержанію бумаги и сбыточно по состоянію умственныхъ способностей и познаній своихъ, добрякъ мой отозвался такимъ образомъ, что хотя-де Молдавія, страна, подвѣдомая Турціи, и состояла поэтому при той части свѣта, которая именуется Азіей, но что она въ новѣйшее время, а именно по тильзитскому миру, отошла къ Европѣ.

«Такой отзывъ былъ неоспоримымъ опроверженіемъ доводовъ моего херсонца; просьба возвращена ему съ надписью, какъ неподлежащая къ пріему, и тяжба окончательно проиграна.»

— Однако,—замѣтилъ другой собесѣдникъ, приподнявъ значительно брови и уставивъ глаза въ глубокой думѣ впередъ себя:—однако, сударь мой, времена мудренѣютъ. Стало-быть, мнѣ, засѣдателю гражданской палаты, ради подобной и вздорной просьбы приходится изучать географію, да сверхъ того еще какое-то положеніе о тильзитскомъ мирѣ?

— Совсѣмъ не нужно,—перебилъ другой:—и никто васъ объ этомъ не проситъ; вы видите, что и тутъ дѣло безъ того обошлось; на то ученые: они вотъ и разобрали дѣло безъ васъ, а вамъ остается только подвести справку—оно и въ шляпѣ.

XI

УРАЛЬСКІЙ КАЗАКЪ

Прошло жаркое, знойное лѣто, которое длится въ полуденныхъ степяхъ нашихъ ровно четыре мѣсяца: май, іюнь, іюль и августъ, — пришло и налегло душнымъ маревомъ на уральскую степь, чтобы повер статься за суровую пятимѣсячную зиму. Уральское войско, вытянутое станицами своими лентой по тече нію рѣки Урала, верстъ на 800, ожило послѣ кратковременнаго отдыха; по городкамъ, форпостамъ и крѣпостямъ стали бѣгать и суетиться, словно земля подъ народомъ накалилась и не даетъ никому ни стать, ни сѣсть. Вскорѣ все войско стянулось повыше Бударинскаго; тысячи три служилаго народа—а тысячъ шесть было уже на службѣ, три по линіи, да три на внѣшней—тысячи три, не считая работниковъ, столпились на голой, безплодной степи, на сухомъ морѣ, привезли на подводахъ каждый бударку [1]) свою, ярыги или сѣти, привезли по работнику киргизскому въ мохнатомъ лисьемъ малахаѣ—видно пугать лѣто,—стали на

---

1) Долбленый челнокъ, тонко и красиво обдѣланный, легкій и ходкій. Онъ употребляется на всѣхъ лѣтнихъ рѣчныхъ рыболовствахъ.

первомъ плавенномъ рубежѣ и ждутъ пушки [1]). А гдѣ же Проклятовъ, лысый гурьевскій казакъ, который вѣкъ на службѣ, а отъ уряду бѣгаетъ, потому что бѣденъ, а семья у него большая? Тутъ онъ, глядите, стоитъ, въ толпѣ подъ яромъ, безъ шапки; лысина отъ бровей до затылка, прикусилъ губу, уставилъ зоркіе глаза на рыболовнаго атамана, который одинъ-однимъ разъѣзжаетъ, ровно князь какой по рѣкѣ; на него уставилъ глаза Проклятовъ, какъ легавый на кустъ, подъ которымъ сидитъ куропатка; въ правой рукѣ держитъ коротенькое весло, лѣвою ухватился за тонко выстроганный и окованный носъ бударки, ждетъ по знаку атаманскому пушки, чтобы секунды одной не прозѣвать, столкнуть челнокъ на воду, выкинуть ярыгу и вытащить осетра. Съ Проклятова потъ льетъ градомъ только въ ожиданіи будущихъ благъ; а что же будетъ, какъ пойдетъ работа?

Вѣкъ на службѣ Проклятовъ, рѣдкій годъ дома, а отъ урядничьяго чина три раза отмаливался; хочетъ быть рядовымъ казакомъ. Урядникъ идетъ, куда пошлютъ, по очереди, наемки не беретъ ни гроша, а казакъ возьметъ съ міру по чемъ придется, да и самъ сытъ и обутъ и домашніе тожь: потому-то онъ отъ уряду бѣгаетъ, а отъ *звѣря*, какъ онъ называетъ рыбу, не бѣгаетъ, лишь бы она отъ него не ушла. Не любитъ онъ только этихъ водяныхъ сверчковъ, что у насъ раками зовутся: онъ ихъ, поганыхъ, и въ руки не возьметъ ни за что.

Проклятовъ—гурьевскій казакъ стариннаго закалу: ростомъ не великъ, плотенъ, широкъ въ плечахъ, навертываетъ и въ 30 град. морозу на ноги, для

---

[1]) До пушки, которая палитъ по условному знаку рыболовнаго атамана, никто не смѣетъ ступить на ледъ или спустить бударку на воду; всѣ кидаются вдругъ и взапуски по вѣстовой пушкѣ.

легкости, по одной портянкѣ, надѣваетъ въ зимніе степные походы кожаные либо холщевые шаровары на гашникѣ и если буранъ очень рѣзокъ, то, сидя верхомъ, прикрываетъ ляшку съ навѣтренной стороны полою полушубка. Морозу онъ не боится, потому что морозъ крѣпитъ; да и оводъ и муха и комаръ не обижаютъ у него коня; жару не боится потому, что паръ костей не ломитъ; воды, сырости, дождя небоится, потому, какъ говоритъ, что съ-измала къ мокрой работѣ, по рыбному промыслу пріобыкъ, что Уралъ—золотое дно, серебряна покрышка, кормитъ и одѣваетъ его, стало быть, на воду сердиться грѣхъ,—это даръ Божій, тотъ же хлѣбъ. Проклятовъ до того любилъ воду—коли нѣтъ вина — что на морскомъ рыболовствѣ и на морской службѣ по Каспійскому морю пьетъ безъ всякихъ околичностей воду морскую и отвѣчаетъ вамъ на вопросъ,—хороша-ли: «горонитъ маленько!» Борода ему дороже головы; въ этомъ отношеніи Проклятовъ сущій турокъ; но, отправляя сына на внѣшнюю службу, въ Москву, онъ выбрилъ ему бороду, приказавъ отпустить ее, когда воротится домой, и утѣшивъ и себя и сына въ этомъ несчастіи тѣмъ, что-де родительницы замолятъ грѣхъ. Дома Проклятовъ не пѣвалъ отъ роду пѣсни, не сказывалъ сказки, не пѣлъ, не плясалъ, не скоморошничалъ никогда; о трубкѣ и говорить нечего, онъ дома ненавидѣлъ ее пуще водяного сверчка, да и не бывало ея таки въ заводѣ ни у кого въ цѣломъ войскѣ. Сказывали, что есть чиновники войсковые, которые, въ похвальбу передъ стороннимъ начальствомъ, носили тайкомъ отъ своихъ въ рукѣ табакерочку; да это, можетъ статься, и напраслина, какъ ее много бываетъ на свѣтѣ. На походѣ— Проклятовъ первый пѣсенникъ, хоть и гнуситъ немного, на старинный церковный ладъ, — первый плясунъ, и балалайка явится на третьемъ переходѣ,

словно изъ земли вырастетъ, — и явится трубка и табакъ; а родительницы дома, на досугѣ, отмаливаютъ и замаливаютъ. Родительницами называетъ онъ не только старуху мать свою, но и тетку, и сестру, и хозяйку, и дочь: весь женскій полъ. Онѣ всѣ знаютъ церковной грамотѣ, служатъ сами по старопечатнымъ книгамъ, хозяйничаютъ изъ покупного добра — потому что своего, кромѣ рыбы и скота, нѣтъ ничего, ниже хлѣба — ткутъ шелковые пояски, шьютъ сарафаны на себя, съ отборной девятой пуговицей, а рубахи съ шелковыми рукавами; вяжутъ понемногу чулки—другой работы у нихъ нѣтъ. Главное занятіе ихъ: воспитывать ребятъ въ постоянныхъ правилахъ и обычаяхъ домашняго изувѣрства, которое, какъ мы видѣли, соблюдаясь съ неприкосновенною святостію на дому, нарушается безъ всякаго стѣсненія на службѣ и вообще внѣ войсковыхъ предѣловъ. Описывая, какую погоду любитъ и не любитъ старикъ Проклятовъ, мы забыли упомянуть собственно о буранѣ, о зимней метели, отъ которой ежегодно гибнетъ множество людей и скота. Ее Проклятовъ не жалуетъ; это крутитъ сатана, бунтуетъ противъ святой власти, и отъ этого буранъ—погода изъ ряду вонъ и негодится никуда. «Тутъ и скотина одурѣетъ, говоритъ Проклятовъ, не токма что человѣкъ».

Пришла осень—старикъ опять идетъ съ цѣлымъ войскомъ, ровно на войну, на рыболовство. На тѣсной и быстрой рѣкѣ столпятся отъ рубежа до рубежа тысячи бударокъ — тутъ булавкѣ упасть негдѣ, не только сѣти выкинуть; а Проклятовъ, какъ и всѣ другіе, плаваетъ связками, попарно, вытаскиваетъ рыбу, чекушитъ ее и сваливаетъ въ бударку; саратовскіе и московскіе промышленники слѣдятъ берегомъ пловучую толпу рыбаковъ и держатъ деньги на-готовѣ; къ вечеру раздѣлка. Тутъ, кажется, всѣ другъ друга

передушатъ, передавятъ и вечера не доживутъ: крикъ, шумъ, брань, стукъ, толкотня на водѣ, какъ въ самой жаркой рукопашной свалкѣ: давятъ и душатъ другъ друга, бударки трещатъ, казаки, стоя въ нихъ и управляя ими, раскачиваются въ обѣ стороны, чуть носомъ воды не достаютъ — вотъ всѣ потонутъ, всѣ другъ друга замнутъ и затопятъ,— ничего не бывало; всѣ разойдутся, живы-здоровы, чтобы завтрашній день начать со слѣдующаго рубежа, опять по пушкѣ, ту же продѣлку: и такъ вплоть до Гурьева, до взморья, или по крайней мѣрѣ до низовыхъ станицъ. Проклятовъ гребетъ, рвется, изъ шкуры лѣзетъ, летитъ взапуски, гребетъ сильно коротенькимъ весельцемъ своимъ, имъ же правитъ, имъ же расчищаетъ себѣ дорогу въ этомъ непроходимомъ лѣсу бударокъ, расталкиваетъ ихъ вправо и влѣво, не заботясь о томъ, куда которая летитъ,—и ярыгу вытаскиваетъ и рыбу чекушитъ,— и его толкаютъ взадъ, и вбокъ и впередъ, — нужды нѣтъ, онъ только кричитъ и бранится и, зная уже, что никто его не слышитъ и не слушаетъ, потому что всякій занятъ своимъ, онъ и самъ продолжаетъ свое, облегчая только стѣсненное положеніе бранью, на-вѣй-вѣтеръ. Впрочемъ, никогда не употребляетъ онъ коренныхъ русскихъ ругательствъ: и это также можно дѣлать только въ командировкахъ и въ походахъ: дома грѣшно.

Пришла зима — Уралъ замерзъ, снѣжное море покрыло необозримую степь; голодные и холодные киргизы сидятъ смирно и спокойно на зимовкахъ: не до того имъ, чтобы прорываться по ночамъ тутъ или тамъ и угонять стада и табуны — все замерзло; а Проклятовъ опять снаряжается на рыболовство, на багренье. Опять онъ тутъ, подъ самымъ Уральскомъ, гдѣ въ сборѣ цѣлое войско, опять мечется по пушкѣ какъ угорѣлый, зря, очертя голову, съ яру на ледъ,

на людей, топчетъ, давитъ, не щадя ни себя, ни другихъ—просѣкаетъ наваренною сталью пешней въ три маха двѣнадцати-вершковый ледъ, опускаетъ шестисаженный багоръ, коего другой конецъ, перегибаясь черезъ плечо, волочится по льду, — поддѣваетъ рыбу, подхватываетъ ее подбагренникомъ, — кричитъ, какъ будто кто его рѣжетъ: «ой, братцы, помогите,»—коли сила не беретъ управиться одному съ бѣлугой; кричитъ неумолчно, хоть и знаетъ, что ему никто не пособитъ, какъ и самъ онъ никому не подастъ помощи за недосугомъ,—а кричитъ; вытаскиваетъ ее наконецъ кой-какъ самъ на ледъ, упарившись зимой въ одной рубахѣ до мокраго поту,— и окунувшись раза три по шею въ воду, выбирается съ добычей своей на сухой берегъ. Окунулся онъ потому, что тысячи рыболововъ, кинувшихся на ледъ, на одну зазнамо хорошую ятовь [1]), искрошили въ четверть часа весь ледъ подъ собою, вытаскивая на всѣхъ точкахъ рыбу, и вскрыли всю рѣку. Проклятовъ выгородилъ себѣ кой-какъ небольшой комокъ льду, отстоялъ его, удержался на немъ, сложивъ тутъ же три-четыре рыбки, рублей на сто или побольше, и, упираясь багромъ, который гнется какъ веревка и захвативъ пешню свою ногами, а подбагренникъ въ зубы, переправился на этомъ паромѣ благополучно, сдалъ тутъ же товаръ и взялъ деньги. Льдина переворачивалась подъ нимъ раза три, да Проклятовъ на нее и не гдядѣлъ; онъ только берегъ рыбу свою, привязавъ ее къ ногѣ обрывкомъ или поясомъ, да снарядъ.

Пришла весна—ледъ тронулся, рѣка вздулась, разлилась; утки, гуси, казарки потянулись огромными ве-

---

1) Ятовь — омуть, въ который ложится красная рыба на зимовку. Она ложится тѣсно, въ нѣсколько ярусовъ, и спитъ: шумъ и стукъ ее въ то время не пугаетъ и ее просто ощупываютъ баграми и вытаскиваютъ.

реницами вслѣдъ за журавлями на сѣверъ,—и Проклятовъ опять уже ладитъ бударку, снаряжаетъ плавенныя сѣти и тянется безъ малаго 400 верстъ сухимъ путемъ вверхъ по рѣкѣ, чтобы послѣ воротиться внизъ, домой, водою. Спросите у него, когда онъ, прищуривъ лѣвый глазъ, ровно прицѣливается, слѣдитъ низкую стаю лебедей: неужто-де-птица летитъ своимъ разумомъ въ указанный ею перелетъ? И онъ вамъ не призадумавшись отвѣтитъ: «У звѣря не разумъ, а *побудка*; и птица въ перелетъ идетъ побудкой.» Итакъ, побужденіе природы, которое мы, не зная по русски, взяли изъ словаря иностраннаго и назвали инстинктомъ, слово, впрочемъ, очень пріятное,—Маркіанъ Проклятокъ, не зная ни по французски, ни по нѣмецки, называетъ *побудкой*. Ему это простительно.

Проѣздомъ Проклятовъ у каждаго форпоста разспрашиваетъ обстоятельно стариковъ, т. е. смотрителей за водами и лѣсами, о томъ, «благополучно ли рыба съ осени ложилась, гдѣ и какъ вскатывалась и какова надеженъ заловъ?» Гдѣ дорога подходитъ къ береговому яру, тамъ Проклятовъ оборачивается туда, куда его тянетъ носомъ на воду; жадно глядитъ на Уралъ и по временамъ какъ будто прислушивается и облизывается. Если вамъ случалось видѣть неистовыхъ голубятниковъ, псовыхъ и ружейныхъ охотниковъ, которые выходятъ изъ себя, если при нихъ только помянутъ слово объ охотѣ, то можете вообразить себѣ и Проклятова. Сѣрые глаза его загораются каждый разъ, когда дѣло коснется рыбы и рыболовства; брови двигаются, играютъ, высокій лобъ сіяетъ, губы подбираются. У Проклятова не дрогнула бы рука приколоть всякаго, не говоря о киргизахъ на лѣвомъ берегу, приколоть на мѣстѣ, во время хода рыбы, всякаго, кто осмѣлился бы напоить скотъ изъ Урала. «Рыба тотъ же звѣрь», говоритъ старикъ съ ожесточеніемъ: «щуму

и людей боится; уйдетъ, а тамъ ищи ее». Впрочемъ, казакъ нашъ сражался на своемъ вѣку не съ однимъ этимъ звѣремъ, съ красной рыбой; онъ, не говоря о походахъ туда-сюда и о всегдашней войнѣ съ кайсаками, уходилъ не малое число кабановъ, когда молодъ былъ, въ гурьевскихъ камышахъ, а когда ихъ тамъ уже не стало, то на Прорвѣ и на устьѣ Эмбы. Кабанъ подсѣкъ даже подъ нимъ однажды коня. Одно изъ замѣчательнѣйшихъ происшествій въ жизни Проклятова было съ нимъ по поводу охоты за кабанами, а именно: встрѣча глазъ-на-глазъ съ шутовкою, или русалкою. Маркіанъ, вопреки закону, отправился однажды наканунѣ какого-то праздника, въ свѣтлую лунную ночь, на ночевье и, отъѣхавъ къ устью, черезъ Золотницкій проранъ, на бударкѣ своей, верстъ 15 отъ Гурьева, залегъ въ мертвой глуши и тиши близъ проломанной кабаномъ тропы. Вскорѣ послышался отдаленный шелестъ, потомъ камышъ затрещалъ; «ломится звѣрь», подумалъ Проклятовъ и взвелъ курокъ винтовки. Но звѣрь не показывается, а трескъ камыша, приближаясь постепенно со всѣхъ сторонъ, вдругъ до того усилился, что у Маркіана на головѣ волосъ поднялся дыбомъ: не видать ничего, а камышъ трещитъ, валится и ломится кругомъ, будто огромный табунъ мчится по немъ напролетъ. Проклятовъ привсталъ, отступилъ нѣсколько шаговъ къ убѣжищу своему, къ бударкѣ, а на возвышенномъ бугрѣ стоитъ передъ нимъ шутовка—нагая, съ распущенными волосами: «сколько припомню», говоритъ старикъ: «она была моложава и одной рукой какъ будто манила къ себѣ.» Сотворивъ крестъ и молитву, Маркіанъ сталъ отступать отъ нея задомъ, добрался до бударки, присѣлъ на колѣна и, ухвативъ весло, ударился, сколько силъ было, домой.

Проклятова знали всѣ, какъ человѣка добродушнаго, который, несмотря на бѣдность свою, помогалъ мно-

гимъ, кто бывалъ въ нуждѣ или еще бѣднѣе его. Онъ жалѣлъ убить стараго пса, который жилъ у него годовъ десять и подъ старость сдѣлался калѣкой, «пусть живетъ нахлѣбникомъ», говаривалъ старикъ: «не обидитъ насъ, не объѣстъ». Но когда ему случилось сходить въ зимній степной поискъ, на Бузачи, то онъ, отбивши тамъ пару навьюченныхъ верблюдовъ и замѣтивъ, что во вьюкахъ что-то жалобно пищало, не призадумавшись выкинулъ двухъ голыхъ ребятишекъ на снѣгъ и спокойно, безъ оглядки, отправился своимъ путемъ. «Ничего, ваше блогородіе», отвѣчалъ онъ послѣ офицеру, который хотѣлъ было, для порядку, побранить его: «ничего, *уснули*. Мамокъ что-ли съ собой возить для этихъ щенятъ», про себя сказалъ онъ разсмѣявшись; «еще у меня и свои-то, можетъ статься, сидятъ дома не ѣвши; нынѣ хлѣбъ рубль семь гривенъ за пудъ.»

Въ походѣ не брали Проклятова ни зной, ни стужа, ни холодъ, ни голодъ. «Обтерпѣлся», говаривалъ онъ: «да съизмаленьку привыкъ; только лошади жаль, коли безъ корму стоитъ, а человѣку ничего не станется». Изъ всего оружія казачьяго Проклятовъ менѣе всего жаловалъ саблю, называя ее *темлякомъ*, который-де болтается безъ пользы. Винтовка на рожкахъ, изъ которой стрѣлялъ онъ лежа, растянувшись ничкомъ на землѣ, и пика, которою работалъ, прихватывая повременамъ, гдѣ можно, гривки—вотъ вся его надежда. Въ открытую конную атаку онъ не хаживалъ; «не случилось», говоритъ: «да нашему брату ломовая атака и не сподручна»; крикомъ и гикомъ бралъ, врасплохъ бралъ, и съ тылу, и въ засадѣ; а подмѣтивъ, гдѣ жидко, гдѣ проскочить и прорваться можно, не жалѣя коня, гналъ и билъ непріятеля до-нельзя и не шадилъ никого. «Коли бѣжитъ непріятель», говаривалъ Проклятовъ: «такъ развѣ въ землю отъ тебя уйдетъ, а то покидать

его нельзя; гони со свѣту долой, покуда бѣжитъ да не оглянется и не увидитъ, что ты за нимъ одинъ. И бей тоже, покуда бѣжитъ: опомнится да станетъ, такъ, того гляди, упрется—и вся работа твоя пропала.» Старикъ любилъ винтовку свою на рожкахъ и привыкъ къ ней; стрѣлялъ смолоду гусей, лебедей, утокъ, сайгаковъ, корсуковъ, кабановъ—все пулькой, но форменнымъ карабиномъ онъ очень обижался, на это у него были свои понятія и разсужденія. Лошадь выѣзжалъ онъ всякую въ двѣ, три недѣли, не заботясь о томъ, бьетъ-ли она только задомъ, или съ козла; подпругъ и катаура никогда туго не подтягивалъ, а считалъ плеть—нагайку лучшимъ самоучителемъ, безъ которой наука ни одному неучу не дается. Подпрукаетъ, подойдетъ, погладитъ, ухватитъ за уши, дастъ подержать сыну либо племяннику, накинетъ сѣдло, сядетъ—а тамъ дѣло уже поневолѣ пойдетъ своимъ чередомъ; сколько бы ни носила лошадь, сколько бы ни била, когда-нибудь да уходится и присмирѣетъ. Въ упряжку выѣздить иную, особенно киргизскую, помудренѣе, да и то ничего. Сперва бокомъ, за одинъ гужъ, вертись и вези, какъ знаешь; а тамъ, какъ обойдется маленько, съ постромки да въ оглобли. Плеть—первая наука.

Не только на конѣ и на прѣсной водѣ, но и на морѣ Проклятовъ былъ какъ у себя дома. Съизмаленьку привыкъ, дѣло домашнее. Онъ хаживалъ и на косныхъ и на посудахъ, кусовыхъ и расшивахъ, не только изъ Гурьева въ Астрахань, но и къ Колпинскому кряжу и дальше. По близости къ своимъ водамъ, бывалъ Проклятовъ на морскомъ Курхайскомъ рыболовствѣ, въ одной артели съ другими, потому что одному собраться тяжело, а на Тюкъ-караганъ, Мангишлакъ и въ Кайдакъ хаживалъ по службѣ. Въ старые годы пускался онъ, бывало, и въ открытое море на бударкѣ своей, на крошечномъ долбленомъ челнокѣ, за лебедями, промы-

шлялъ перьями и шкурками и пухомъ; нынѣ промыселъ этотъ, какъ слишкомъ опасный, давно уже запрещенъ. Проклятовъ зналъ не хуже штурмана на зюйдъ-вестъ и нордъ-остъ, фокъ, гротъ-брамъ, топъ, какъ тамъ у нихъ называютъ топсель, зналъ шкотъ и галсъ и фалъ, хоть и называлъ обыкновенно послѣдній *подъемною снастью*. Проклятовъ былъ, самъ того не подозрѣвая, отчаянный морякъ; лавировалъ и боролся мастерски съ бурей и волнами, какъ съ своимъ братомъ; и это дѣлалъ онъ также отъ того, какъ объяснялся, что «привыкъ такъ съ молодыхъ лѣтъ, что море у нихъ дѣло сосѣднее, подъ рукой.» Бывалъ онъ и въ относѣ на аханномъ рыболовствѣ [1]) и таскало его на льдинѣ по морю недѣли по двѣ; а между тѣмъ льдина все крошилась да крошилась отъ волнъ и бури, и Проклятовъ видѣлъ день за днемъ и часъ за часомъ мокрую и холодную смерть подъ собою. Но Господь миловалъ, казака приносило опять моряной къ берегу. Тогда казакъ нашъ, бывало, тужитъ только о томъ, что снасти пропали и собраться бѣдняку опять не съ чѣмъ. Впрочемъ, если бы и не вынесло его на льдинѣ, такъ казаку и на саняхъ ину пору изъ моря выѣхать удается, да не по льду, котораго уже нѣтъ, потому что его взломало бурей, разбило и разнесло, а таки просто на саняхъ по водѣ, по волнамъ: такъ по крайней мѣрѣ поправился недавно, на нашей памяти, товарищъ Проклятова, казакъ Дервяновъ, котораго таскало нѣсколько недѣль въ относѣ. Когда лошадь, въ крайнемъ положеніи этомъ, была уже съѣдена, то Дервяновъ, какъ человѣкъ догадливый и запасливый, снявши съ нея

---

[1]) На аханномъ рыболовствѣ выѣзжаютъ на саняхъ, по льду морскому. При морянѣ ледъ взламываетъ и спираетъ; казаки говорятъ тогда: *ханы ставитъ*. Если сдѣлается послѣ этого верховой вѣтеръ, то рыбаковъ уноситъ на огромныхъ плавучихъ льдинахъ въ открытое море. Это называется *быть въ относъ*.

шкуру, бурдюкомъ или дудкой, т. е. цѣпкомъ, завязалъ ее на взрѣзахъ, подвелъ подъ сани, надулъ, привязалъ, изъ оглобель сдѣлалъ весла, изъ кафтана парусъ, не знаю, гротъ-ли, фокъ-ли или брамъ-топъ, и добился на кораблѣ этомъ благополучно до встрѣчной рыбопромышленной посуды, вышедшей изъ Астрахани.

Наловилъ Проклятовъ много красной рыбы на вѣку своемъ; много икры надѣлалъ и много отправилъ этого товару, продавъ на мѣстѣ торговцамъ, въ Москву и въ Питеръ; была рыба его и за царской трапезой, когда случалось ему попадать на царское багренье, съ котораго отправляютъ, по древнему обычаю, ежегодно на почтовыхъ тройкахъ *царскій кусъ*, или такъ называемый *презентъ*; но самъ Проклятовъ по цѣлымъ годамъ и не отвѣдывалъ ни осетра, ни бѣлуги, ни шипа, ни севрюги; товаръ этотъ дорогъ, «не по рылу», какъ выражался старикъ. Онъ объѣдался красной рыбой только въ лѣто, послѣ бузачинскаго похода, когда былъ въ гурьевской морской сотнѣ за приказнаго и ходилъ съ есауломъ стеречь войсковыя воды, чтобы Астраханцы не олбжали; тогда было у нихъ рыбы вдоволь, и хоть продавать ее не продавали, потому что за это строго взыскивается, а сами ѣли вволю. Дома варила хозяйка Проклятова повременамъ, когда ловъ разрѣшался, черную рыбу, а не то барановъ рѣзали, ѣли каймакъ [1]), а какъ посты всѣ соблюдались во всей строгости, такъ и приходилось въ году мѣсяцевъ шесть хлебать постную кашицу да пустыя щи. На походъ снабжала хозяйка своего казака кокурками [2]), сколько можно было подвязать ихъ въ торока.

---

1) Каймакъ,—упаренное до густоты молоко, со сливками и густыми пѣнками.

2) Кокурка — пшеничный хлѣбецъ, въ которомъ запечено яйцо. Онъ держится такимъ образомъ очень долго.

Проклятовъ, какъ человѣкъ бывалый и обтертый, хоть и не рѣшился бы ѣсть изъ одной посудины съ киргизомъ или калмыкомъ, «съ собачьей вѣрой», но нашего брата не совсѣмъ чуждался, а признавалъ человѣкомъ, таки развѣ мало чѣмъ хуже себя. Поэтому онъ готовъ былъ ѣсть съ нами изъ одной чашки, пить изъ одного ковша и не брезгалъ бы этимъ не только на походѣ, гдѣ все разрѣшается, но даже и дома; но хозяйка его была на этотъ счетъ другихъ мыслей и старинныхъ правилъ: за хлѣбъ-соль она ни съ кого и ни за что не взяла бы платы, потому что это смертный грѣхъ; но посуды своей она «скобленому рылу» не подала бы также ни за что, а полагала, что собаку, собачью вѣру, татарина и нашего брата-бритоусца можно кормить изъ одной общей посуды. Старикъ въ этомъ не смѣлъ больно съ нею спорить, а то бы она ему самому, какъ поганому, поставила щецъ на особицу, въ черепкѣ, какъ дѣлывала каждый разъ, какъ мужъ приходилъ изъ похода, покуда не принялъ еще отъ своихъ очистительную молитву. Разъ какъ-то Проклятовъ поставилъ для дорогого гостя, котораго никакъ не хотѣлъ обидѣть, самоваръ и подалъ чайникъ и чашки; хозяйки въ ту пору не случилось дома, зато послѣ онъ насилу кой-какъ успокоилъ старуху, и ухаживалъ за нею, и упрашивалъ долго ее. Но и тутъ она, не бравши, какъ сказалъ я, ни за что на свѣтѣ платы за хлѣбъ-соль, вытребовала съ проѣзжаго безъ всякихъ обиняковъ гривенникъ на очистительную для посуды молитву; не взяла его однакоже сама, чтобы не сочли этого платой, а просила отправить чашки и гривенникъ съ постороннимъ человѣкомъ къ старой дѣвкѣ, которая завѣдывала этимъ дѣломъ и очистила опоганенную посуду! Хлопотъ за этимъ было много: этого нельзя было сдѣлать дома, а носили посуду на рѣку, сполоснули ее и прочли молитву.

Сыновья Проклятова были ребята нынѣшняго склада: высокіе, стройные и крѣпкіе какъ отецъ. Молодой народъ на Уралѣ чуть ли не рослѣе стараго, и, что Богъ дастъ впередъ, не изводится, а крѣпокъ и дюжъ. Какъ растутъ они, такъ росъ въ свое росли въ свое время дѣды и время и отецъ, такъ прадѣды ихъ; отмѣны нѣтъ никакой. Проклятовъ съ десяти годовъ пасъ табуны, ѣздилъ съ отцомъ на рыболовство и, выставивъ на саняхъ или телѣгѣ значокъ, какую-нибудь тряпицу, шапку, либо сапогъ, ѣхалъ берегомъ въ тысячной толпѣ саней и лошадей, провожалъ управлявшагося на водѣ отца и *зъвалъ*, т. е. кричалъ къ продолженіе цѣлыхъ сутокъ во всю глотку. Безъ этого рыбакъ въ суматохѣ толпы не нашелъ бы вечеромъ, приставъ къ стану, повозки своей, а потому каждый съ воды и съ берегу даютъ другъ другу голосъ, *зъваютъ* и ровняются. Тутъ наостришь поневолѣ и глаза и ухо. Поэтому Проклятовъ и видѣлъ сѣрыми глазами своими ясно и чисто тамъ, гдѣ нашъ братъ не видалъ ничего, кромѣ неба и земли; а гдѣ Проклятовъ, поглядѣвши, скажетъ бывало: «чуть мелтешитъ что-то», тамъ безъ хорошей подзорной трубы и не думай разгадать задачу. Онъ привыкъ и на морѣ вѣрно мѣрить разстояніе *закроями* [1]), и, *завѣсивъ черни*, т. е скрывшись отъ берега, не видалъ его потому только, что берегъ былъ уже подъ кругозоромъ, и его нельзя было увидѣть ни въ какую трубу и стекла.

Грамотѣ Проклятовъ не выучился за недосугомъ: вѣкъ на службѣ и въ работѣ. Ему грамота и не нужна; это дѣло родительницъ, которыя должны замаливать вольные и невольные грѣхи мужей, отцовъ, сыновей и братьевъ. Родительницы сидятъ себѣ дома, имъ дѣ-

---

1) Закроя — разстояніе, на которомъ судно на морѣ скрывается подъ кругозоромъ. Это верстъ 12

лать нечего, какъ сохранять и соблюдать всѣ обычаи исконные и заботиться, по своимъ понятіямъ, о благѣ духовномъ. Пусть же отмаливаютъ за казаковъ, на которыхъ лежатъ заботы о благѣ насущномъ, промыслы и служба.

Скотъ ходитъ у казаковъ уральскихъ на подножномъ корму зиму и лѣто, круглый годъ; пастухи и табунщики ходятъ за нимъ въ ведро и ненастье, въ мятель, дождь, зной и стужу. Пастухъ и табунщикъ выгоняютъ скотъ свой на Уралѣ не съ рожкомъ и со свирѣлкой, какъ въ другихъ мѣстахъ, а съ винтовкой за плечомъ, съ копьемъ въ рукахъ и всегда верхомъ. Тамъ изъ станицы въ станицу рѣдко кто поѣдетъ безъ оружія, и казакъ-ямщикъ садится къ вамъ на козлы съ ружьемъ и въ подсумкѣ съ боевыми патронами. Итакъ, не мудрено, что Проклятовъ привыкъ къ винтовкѣ съизмала, съ двѣнадцати годовъ; въ опасномъ мѣстѣ всегда, не говоря ни слова и не дожидаясь приказанія, вынетъ бывало тряпицу изъ-подъ курка, осмотритъ полку, прикроетъ ее огнивомъ и поставитъ курокъ на первый взводъ. Подъѣзжая къ станицѣ, онъ бережно опять закладываетъ полку мячикомъ или клочкомъ овчинки, спускаетъ на нее курокъ въ упоръ, а потомъ еще попробуетъ, не сыплется-ль порохъ съ полки, подбирая съ руки бережно каждое зернышко.

Случалось Проклятову и голодать по цѣлымъ суткамъ, и къ этому привыкъ онъ смолоду. Лѣтомъ сносилъ онъ голодъ молча, зимой покрякивалъ и повертывался; лѣтомъ жевалъ отъ жажды свинцовую пульку или жеребеекъ, это холодитъ: зимой закусывалъ снѣжкомъ. Солодковый корень, челимъ [1]), лебеда, яйца

[1]) Водяные орѣхи, которые вытаскиваются со дна озеръ рогожами.

мартышекъ, даже земляной хлѣбъ [2]) и разныя другія съѣдобныя снадобья пропитывали его въ бѣдѣ по нѣскольку сутокъ сряду. Тамъ приходила опять пора, и Проклятовъ отъѣдался за прошедшее и за будущее. И добро и худо, и нужда и довольство живутъ *голмянами*, какъ выражался казакъ нашъ, т. е. порою, временемъ, полосою. Но конины и верблюжины Проклятовъ не сталъ бы ѣсть ни за что; скорѣе, говоритъ, издохну, а такого грѣха на душу не возьму.

Проклятовъ ходилъ подъ гладкой круглой стрижкой, какъ всѣ старовѣры наши, то есть не подъ русской, не въ скобку, а стригся просто, довольно гладко и ровно, кругомъ. Отправляясь съ полками на внѣшнюю службу, стригся онъ по-казачьи, или *подъ-айдаръ*. На Уралѣ ходилъ онъ постоянно въ хивинскомъ стеганомъ полосатомъ халатѣ и подпоясывался киргизской *калтой*, кожанымъ ремнемъ съ карманомъ и съ ножемъ; по праздникамъ щеголялъ въ черной бархатной курткѣ, или *куртки*, какъ онъ ее называлъ, можетъ быть, правильнѣе нашего. Зимой на немъ была высокая черная смушковая шапка, лѣтомъ синяя фуражка съ голубымъ околышемъ и съ козырькомъ. Сверхъ рубахи онъ всегда опоясывался плетенымъ узенькимъ поясомъ—обстоятельство въ глазахъ его большой важности, потому что въ рубахѣ безъ опояски ходятъ одни татары. И ребятишекъ маленькихъ хозяйка Проклятова тщательно всегда подпоясывала и била ихъ больно, если который изъ нихъ распоясывался или терялъ поясокъ: по опоякѣ этой и на томъ свѣтѣ отличаютъ ребятъ отъ некрещеныхъ татарчатъ, и когда,

---

[2]) Замѣчательный лишай Усть-Урта. Онъ растетъ, катаясь свободно по землѣ, по камню, безъ всякой связи съ почвой. Въ немъ есть нѣкоторое сходство, судя по питательнымъ качествамъ, съ исландскимъ мохомъ, и въ голодные годы его ѣдятъ. Вкусъ дурной, иловатый

въ прогулкѣ по вертоградамъ небеснымъ, разрѣшается имъ собирать виноградныя грозди, то у нихъ есть, куда ихъ складывать: за пазуху; татарчатамъ же, напротивъ, винограда собирать некуда.

Проклятовъ дома, на Уралѣ, никогда не божился, а говорилъ «ей-ей» и «ни-ни»; никогда не говорилъ: спасибо, а «спаси тя Христосъ»; входя въ избу, останавливался на порогѣ и говорилъ: «Господи Іисусе Христе Сыне Божій, помилуй насъ!» и выжидалъ отвѣтнаго: аминь. Въ часовню ходилъ онъ не иначе, какъ въ халатѣ нараспашку и съ пояскомъ поверхъ рубахи. Но, принимая кровное участіе въ родномъ и общемъ дѣлѣ, онъ далъ обѣтъ — помолиться усердно въ православной церкви, если утвердятъ наконецъ окончательно за войскомъ сѣнокосы на лѣвомъ берегу Урала, Камышъ-самару съ узенями и обезпечатъ угрожаемыя нашествіемъ астраханцевъ войсковыя морскія воды.

Такъ выросъ, такъ жилъ и такъ состарился Проклятовъ, по крайней мѣрѣ сталъ сѣдѣть, хотя ему было не съ большимъ 50 лѣтъ, потому что, будучи записанъ изъ малолѣтнихъ въ казаки по 18-му году, дослуживалъ нынѣ 34-й годъ службы и, надѣясь на милость начальства, собирался въ отставные

Онъ былъ много лѣтъ *линейнымъ*, вышелъ потомъ и въ *градскіе* казаки, тамъ опять попалъ въ линейные въ морскую сотню. Въ *гражданскіе* или *городовые* [1]) онъ

---

[1]) *Градскими* казаками называются всѣ служилые казаки, выставляющіе отъ себя требуемые полки и команды на службу; *линейными*— тѣ, которые по наемкѣ или по мірскимъ подножнымъ деньгамъ, получаемымъ съ градскихъ, ежегодно охраняютъ линіи; *гражданскими* казаки называютъ особое отдѣленіе малоспособныхъ и дряхлыхъ служилыхъ казаковъ, выставляющихъ людей только въ городовыя команды и вообще *на службу* внутреннюю.

и самъ не хотѣлъ, покуда силы есть и деньги
кны; но теперь уже говариваль: «пора уважить
рика, послужилъ Государю своему довольно» и по-
вилъ за себя двухъ казаковъ, Вакха и Евпла. Сы-
ья его получили малоизвѣстныя имена эти по заве-
ному на Уралѣ порядку, родившись за седмицу до
празднованія церковью памяти сихъ святыхъ. Отъ
го обычая тамъ не отступаютъ, и Уральское войско
доставляетъ въ этомъ отношеніи полные церковные,
никоновскіе святцы. Спросите любого уральскаго
ка, какъ его зовутъ, и вы рѣдко услышите упо-
бительное между нами имя. Но если хотите знать
званіе казака и хотите, чтобы онъ понялъ вопросъ
ъ, то спросите его· *чей ты*, или *чьи вы?* или
е пожалуй: чей ты прозываешься? На вопросъ:
?—казакъ отвѣтитъ: Карповъ, Донсковъ, Харчовъ,
риловъ, Мальгинъ, Казаргинъ, и вы изъ окончанія
ите, что это прямой отвѣтъ на вашъ вопросъ. Вы
ашиваете: чей, т. е. изъ какой, изъ чьей семьи?
отвѣчаетъ: Донскова или сокращенно Донсковъ,
льгина или Мальгинъ и проч. Въ Сибири спраши-
тъ вмѣсто этого: *чьихъ вы?* и отъ этого вопроса
изошли прозванія: *Кривыхъ*, *Нашихъ*, *Ильиныхъ* и
ч.

Надобно вамъе ще сказать, что Маркіана Проклятова,
ъ и всѣхъ земляковъ его, можно узнать по говору;
только слово вымолвитъ, и можно сказать ему поло-
гельно: ты уральскій казакъ. Такъ-же легко узнать
говору хозяйку его Харитину и дочерей Минодору и
керію, хотя въ говорѣ, въ произношеніи казаковъ
одительницъ ихъ нѣтъ ничего общаго. Казакъ го-
итъ рѣзко, бойко, отрывисто; отвѣчаетъ языкомъ
ідую согласную букву, налегаетъ на *р*, на *с*, на *т*;
ныя буквы, напротивъ, складываетъ: вы не услы-
е у него ни чистаго *а*, ни *о*, ни *у*. Родительницы,

напротивъ, живучи особнякомъ въ тѣсномъ кругу своемъ, вѣчно дома, всѣ безъ изъятія перенимаютъ другъ у друга шепелявить и произносить букву л мягче обыкновеннаго. Онѣ ходятъ гулять и веселиться на *синчикъ*, въ *сѣльковой субенкѣ*, а синчикъ называется у нихъ первоосенній ледъ, до пороши, по которому можно скользить въ нарядныхъ башмачкахъ и выставлять впередъ ножку, кричать, шумѣть и хохотать. Послѣднее, по строгому чину домашняго воспитанія, имъ рѣдко удается. Упомянемъ здѣсь еще, возвращаясь къ семейству Маркіана, что старшую дочь свою, Ксенію, старикъ отдалъ уже замужъ, а приданаго не далъ, по тамошнему обычаю, ни гроша; объ этомъ и рѣчи не бываетъ: женихъ, напротивъ, долженъ по уговору справить невѣстѣ *сороку*, головной женскій уборъ, замѣняющій со времени замужества, въ праздничные дни, дѣвичью *подизь*. Есть сороки на Уралѣ въ 10 и 15 тысячъ. Тамъ дѣвки всѣ безприданницы, и обычай этотъ, конечно, ведется съ тѣхъ поръ, какъ ихъ было еще мало, а холостежи казачьей набиралось много.

Итакъ, Маркіанъ Проклятовъ дослуживалъ 34-й годъ службы и глядѣлъ, хоть еще и крѣпокъ былъ, въ отставные, да не выпускали, велѣли послужить еще съ годъ, а тамъ обѣщали начать забирать справки. Между тѣмъ потребовали съ Урала полкъ въ турецкую войну. Вышелъ на базарную площадь въ Уральскѣ экзекуторъ войсковой канцеляріи, прежде дѣлывалъ это войсковой есаулъ, прочиталъ вслухъ казакамъ, которые собрались въ кружокъ и слушали, снявъ шапки, что: «велѣно-де поставить полкъ къ такому-то числу, приходится пяти служивымъ казакамъ поставить одного; сборное мѣсто городъ Уральскъ.» Прочелъ и пошелъ домой, только и заботъ войсковому начальству, а полкъ къ сроку будетъ.

Заложилась наемка, какъ говорятъ казаки, или установилась цѣна, подможныхъ мірскихъ денегъ, по 800 рублей. Проклятову негдѣ взять двухъсотъ рублей на свою долю, надо идти служить самому. Дай пойду, говоритъ, возьму еще разъ деньжонки, авось, въ послѣдній самъ соберусь и своихъ надѣлю и послужу на послѣдяхъ Великому Государю.

Пошелъ, запѣлъ опять пѣсни, обзавелся трубкой, добылъ на походъ чубараго коня, оба уха и ноздри пороты и рѣдкой прыти. Полкъ пробылъ два года въ Турціи, тутъ еще позадержали въ Польшѣ слишкомъ годъ, наконецъ отпустили; пошли домой, на Уралъ. Выбыло изъ полка однакоже человѣкъ полтораста.

Большой былъ праздникъ въ Уральскѣ, когда вступилъ туда съ пѣснями 4-й полкъ. Родительницы выѣхали навстрѣчу изъ всѣхъ низовыхъ станицъ, усѣяли всю дорогу отъ города верстъ на десять; вынесли узелки, узелочки, мѣшечки, стклянницы, штофчики, сулейки, все, вишь, жалѣючи своихъ: думаютъ, голодные придутъ, такъ напоить и покормить. Стоитъ старуха въ синемъ кумачномъ сарафанѣ, повязанная чернымъ китайчатымъ платкомъ, держитъ въ рукахъ узелокъ и бутылочку, кланяется низехонько, спрашиваетъ: «Проклятовъ, родные мои, гдѣ, Маркіанъ?» не слыхать голосу ея изъ-за пѣсенниковъ, подходитъ она ближе, достаетъ рукой казака: «гдѣ Проклятовъ?» — «Сзади, матушка, сзади.» Идетъ вторая сотня, спрашиваетъ старуха: «гдѣ-же Маркіанъ Елисѣевичъ Проклятовъ, спаси васъ Христосъ и помилуй, гдѣ Проклятовъ?»—«Сзади», говорятъ Идетъ третья сотня — тотъ же привѣтъ, тотъ же отвѣтъ. Идетъ и послѣдняя сотня, прошелъ и послѣдній взводъ послѣдней сотни, а всѣ казаки говорятъ ей, кивнувъ головою на-

задъ: «сзади, матушка, сзади.» Когда прошелъ и обозъ, и всѣ отвѣчали *сзади*, то Харитина догадалась и поняла, въ чемъ дѣло — ударилась объ-земь и завопила страшнымъ голосомъ. Казаки увели ее домой, а Маркіана своего она уже болѣе не видала.

XII

РАЗСКАЗЪ

вышедшихъ изъ Хивы русскихъ плѣнниковъ объ осадѣ, въ 1837 и 1838 годахъ, персіянами крѣпости Герата.

Человѣка три, четыре изъ хивинскихъ плѣнниковъ были въ войскахъ шаха во все время второй осады Герата, въ 1837 и 1838 годахъ, захвачены впослѣдствіи въ плѣнъ туркменами, проданы въ Хиву и въ 1840 году возвратились благополучно въ свое отечество. Необыкновенная смышленость ихъ, особенно одного, и близкія сношенія во все время осады съ убитымъ впослѣдствіи Боровскимъ, персидскимъ генераломъ, равно и самая гласность, по азіатскому обычаю, всего происходившаго въ лагерѣ, дали имъ возможность сообщить намъ въ разсказахъ собранныя тутъ вмѣстѣ любопытныя подробности.

Черный народъ въ Персіи говоритъ, что былъ когда-то пророкъ, который сказалъ, что послѣ колѣна Надиръ-Шаха на престолъ сядутъ Каджары, изъ коихъ, однакоже, выйдетъ только три государя: первый царствовать будетъ 15 лѣтъ, другой 40, третій 7, послѣ этого будетъ безначаліе, и Персія погибнетъ;

ею завладѣютъ невѣрные, рыжій народъ. Персіяне говорятъ, что доселѣ все это сбылось, и нынѣшнему шаху остается всего сроку до 1842 года [1]). Говорятъ, что шахъ поэтому и хотѣлъ завоевать кого-нибудь, чтобъ нажить больше славы и силы и не дать исполниться предсказанію. Кромѣ Герата, воевать ему было не съ кѣмъ. Гератцы были прежде подъ властію персіянъ, а въ послѣднее время много разбойничали, уводили съ персидской границы людей и продавали ихъ въ Хиву, такъ что они тамъ стали ни почемъ, меньше половины цѣны противъ русскихъ. Нынѣ, когда нашего брата, по милости Царя, въ Хивѣ не стало, персіяне опять немного вздорожали. Въ Гератѣ сидитъ Ша-Заде-Камранъ, изъ дому кабульскихъ шаховъ, изгнанныхъ Достъ-Мохаммедомъ, лѣтъ тому тридцать: нынѣ англичане выгнали Доста и снова посадили въ Калубѣ стараго шаха. Нынѣшній шахъ стоялъ недѣль шесть подъ Гератомъ уже съ 33-го на 34-й годъ, когда еще правилъ въ Персіи отецъ его, и ушелъ тогда по случаю смерти отцовской, почему теперь снова принялся за это дѣло. Въ 1836 году, шахъ было выступилъ, захотѣвъ напередъ покорить туркменъ на р. Гюргени; тутъ вся армія разбрелась по кочевьямъ на грабежъ; туркмены собрались толпами и перебили персіянъ. Насъ тутъ не было, а знаемъ только, что будь это не туркмены, не орда, такъ персіяне не унесли бы домой ногъ своихъ. Ровно черезъ годъ, лѣтомъ 1837 г., шахъ собралъ новое войско и пошелъ. Шли вразбродъ; тянулась армія сподрядъ верстахъ на пятидесяти; въ головѣ шли алые уланы, потомъ артиллерія, въ которой русскія пушки, подарокъ нашего Государя, были впереди; потомъ бывшій тогда русскій батальонъ, тамъ хассе, гвардія, тамъ всѣ фауджи, батальоны и

[1]) Писано въ 1840.

конница. На сарбазѣ, или солдатѣ, только сума да ружье; ранцевъ нѣтъ; шинели и прочая поклажа вся на ишакахъ (на ослахъ), около которыхъ въ погонщикахъ чуть ли не больше четвертой части строевыхъ. Когда шахъ выступалъ, давали залпъ изъ зембурековъ, также и на половинѣ пути, гдѣ подавали ему закуску, и на ночлегѣ. Зембуреки—фальконеты на верблюдахъ. Вся армія становилась въ лагерѣ въ одинъ большой каре, а посреднѣ бывалъ базаръ.

Войскомъ командовалъ, подъ шахомъ, Хаджи-Мирза-Агасы, самый сильный вельможа въ Персіи. Онъ сутуловатъ собою, высокую шапку заваливаетъ на затылокъ, носъ большой, дугою, глаза на выкатѣ и глубокія морщины отъ глазъ по косицамъ, лицо веселое и смѣшное. Хаджи-Мирза-Агасы, крикунъ, хвастунъ, только тѣмъ и правъ, что никто не смѣетъ ему перечить, и когда хвастаетъ, такъ пристаетъ къ тому, съ кѣмъ говоритъ: не такъ ли, не правда ли? А тотъ, разумѣется, поклонъ въ поясъ и «*бели*», точно такъ; и Хаджи доволенъ, хохочетъ. Онъ изъ простого званія, но былъ учителемъ нынѣшняго шаха и, какъ увѣряютъ всѣ персіяне, большой мастеръ читать и гадать по звѣздамъ. Безъ этого онъ ничего не начинаетъ, не дѣлаетъ; говоритъ часто сказки о томъ, куда летаетъ по ночамъ душа его: толкуетъ, почему какая война или другое предпріятіе у разныхъ народовъ кончились благополучно или нѣтъ, по состоянію звѣздъ, и чуть ли самъ всему этому не вѣритъ. Онъ ни на волосъ не смыслитъ военнаго дѣла, а управляетъ и войскомъ и арсеналомъ, и велъ осаду Герата.

Войска пришло съ шахомъ 30,000 и болѣе 60-ти пушекъ. Корпусными начальниками были поставленные шахомъ пять либо шесть хановъ, которые надѣялись только всякъ самъ на себя, другихъ знать не хотѣли,

и всякій дѣлалъ по себѣ, что хотѣлъ. Отъ этого больше и выходила вся безтолочь. Дай имъ въ команду хоть какую угодно армію, такъ изведутъ ее въ одинъ походъ ни на что, а дѣла не сдѣлаютъ ни на грошъ. Ханы эти, коли бъ довелось другъ друга изъ воды вытащить, такъ одинъ одному бы руки не подалъ; бей непріятель одного, другіе пять, скорѣе до грѣха, отступятся съ своими корпусами: чуръ меня, а ужъ помощи не дастъ ни одинъ.

Подошли къ Гуряну, крѣпостцѣ, верстахъ въ 60-ти отъ Герата, и стали стрѣлять изо всѣхъ орудій на вѣтеръ, чтобы испугать гарнизомъ. За нѣсколько дней до этого одного канонира ранилъ кто-то изъ большихъ начальниковъ пулей, когда гнался на походѣ за джейраномъ [1]) и хотѣлъ его убить. Пуля дура, угодила въ кость да въ живое мѣсто человѣка, въ колонну. Это у нихъ ни почемъ. Канониръ этотъ, персіянинъ, былъ мнѣ хорошій пріятель, и я пошелъ его навѣстить. Мирза-Хаджи стоялъ верхомъ съ вожатыми и за пушками, заткнувъ четыре пистолета за поясъ, страхъ радовался пальбѣ, и что громко стрѣляютъ: «Вотъ, говоритъ, сейчасъ, за разъ, гурянцы и сдадутся, черезъ недѣлю возьмемъ и Гератъ, а захотимъ, такъ и дальше пойдемъ,—воля шаха, и завоюемъ все до самаго моря. Тогда весь народъ Гинду будетъ крестьянами нашими и рабами.» Пождали, гурянцы не сдаются. Выступили и обложили крѣпость. Она четыреугольная, саженъ по сту слишкомъ въ каждой стѣнѣ; стѣны глиняныя; по угламъ башни, и два рва обведены вокругъ: передній сажени двѣ глубины, и на сажень въ немъ будетъ воды. Въ крѣпости сидѣлъ братъ Яръ-Мохаммеда, хана гератскаго, Ширъ-Мохаммедъ, который всегда грабилъ Персію и таскалъ людей на про-

---

1) Сайга.

дажу въ Хиву. Народу у него было съ полторы тысячи и двѣ маленькія пушки. Французъ Семино распоряжался осадой, но ханы его нисколько не слушались, обступили со всѣхъ сторонъ смѣло, потому что изъ крѣпости пальбы не было, и палили зря, такъ что ядра то и дѣло летали черезъ крѣпость и падали промежду своихъ. Горячились они только на первый и другой день, а тамъ стали палить рѣже, кто когда вздумаетъ. Семино хотѣлъ приняться за траншеи,—во всей арміи нѣтъ лопатъ; принялись ковать ихъ кое-какъ въ станѣ, да топоры передѣлывать на кирки. Въ недѣлю подвели траншею вплоть, и гарнизонъ сдался. Взяли двѣ пушки, по тысячѣ ружей и сабель, сотни три шамхаловъ, или крѣпостныхъ ружей, пудовъ никакъ пятьдесятъ пороху, да всего ста два пудовъ хлѣба. У персіянъ было убитыхъ и раненыхъ поменьше сотни. Шахъ не велѣлъ грабить крѣпости, послалъ туда только свой гарнизонъ, авганцевъ отправилъ въ Персію на поселеніе, а Ширъ-Мохаммеда взялъ съ собой.

Это было въ началѣ ноября; дней пять шли до Герата и на пути разъ, другой пощипались съ конницей авганской. Туркмены также увивались и подхватывали отсталыхъ и шатающихся. Однако, тутъ еще все шло хорошо. Крѣпость Гератъ четыреугольная, въ длину будетъ 400 саж., въ ширину 250. Валъ глиняный, сажени въ четыре, насыпанъ розсыпью въ обѣ стороны; наверху зубчатая стѣна, по промежуткамъ башни, по четыремъ угламъ также глиняныя высокія и толстыя башни, кверху все уже; ровъ сажени двѣ глубиной, и вода есть, а по валу обведены кругомъ двѣ западныя канавы, одна повыше другой, со стѣнками, за которыми можно залегать и отстрѣливаться. Пушекъ поставить негдѣ. Нынѣшняя крѣпость гератская была, сказываютъ, когда-то кремлемъ

большого города Герата, слѣды котораго видны еще далече кругомъ во всѣ стороны. И нынѣ еще вокругъ крѣпости было много слободокъ и садовъ, пока армія не извела всѣ это на дрова. Жители, персіяне, всѣ ушли въ городъ, сказывали, тысячъ 50. Въ крѣпости сидѣлъ Ша-Заде-Камранъ или Камранъ-Мирза, а съ нимъ начальникъ войскъ его, Яръ-Мохаммедъ-Ханъ, съ тремя тысячами авганцевъ, и отымалъ у жителей послѣдній кусокъ хлѣба, нетолько богатство ихъ. Мѣста кругомъ богатыя, все сады; хлѣба, видно, сѣялось много, а послѣ всѣ остались нищими. Вокругъ Герата, верстахъ въ семи, десяти, пятнадцати, все горы и лѣсъ; а тутъ равнина потная, кормная; только съ одной персидской стороны горъ нѣтъ.

По-нашему, обложилъ бы городъ кругомъ, войска въ волю; повелъ бы за разъ траншеи, поставилъ бы въ упоръ десятка два пушекъ, свалилъ бы зубчатую стѣну, сбилъ бы всѣхъ съ валу, не давая никому приступиться, завалилъ бы вручную ровъ, либо засыпалъ его подрывами отъ валу, да и полѣзъ бы прямо, что къ сосѣду черезъ тынъ. Пушекъ у нихъ все равно что нѣтъ, слободки подошли вплоть къ крѣпости, такъ вотъ дай волю только нашему брату, и то бы взялъ, больше двухъ недѣль не простоялъ бы. А не забираетъ охота драться, такъ сѣлъ кругомъ, да и выморилъ его; запасу нѣтъ у него, не давай подвозу, сдастся, хочетъ — не хочетъ: голодъ дойметъ. Такъ Мирза-Хаджи-Агасы спроста ни за одно дѣло не берется; онъ по своимъ примѣтамъ расчиталъ, въ 1826 году, что ему слѣдовало бѣжать безъ оглядки съ елисаветпольскаго сраженія, гдѣ русскіе разбили персіянъ, и бѣжалъ и хвалился этимъ понынѣ, говоря: «А что, видѣли ли, что я правъ? Я тотчасъ смекнулъ, что бѣда будетъ, и ушелъ; кто изъ дураковъ, изъ несвѣдущихъ людей остался, всѣхъ побили да въ полонъ взяли,

кто уйти успѣлъ, такъ ушелъ по той же дорогѣ,
съ и я. Что жъ, скажете, не разумѣю ли дѣла?»
Мирза-Хаджи распорядился такъ: въ городѣ жи-
гъ-де все персіяне, хорасанцы; они выйдутъ, коли
ть имъ дорогу, и уйдутъ въ горы. И приказалъ
енемъ шаха обложить только двое воротъ, а трое
авить на пропускъ горожанамъ. Горожане не вышли,
куда не погналъ ихъ съ голоду самъ Яръ-Мохам-
дъ, а подвозъ въ свободныя ворота ходилъ три
сяца безъ помѣхи, въ виду цѣлой арміи, и Яръ-
хаммедъ добылъ припасовъ и усилилъ еще гарни-
ъ свой. Ему служилъ не только братъ его, взятый
Гурянѣ, лазутчикомъ, посылая сказывать обо
емъ, что дѣлалось, но и того пуще англичане: въ
ратѣ сидѣлъ англійскій офицеръ Потинджеръ; у
ха былъ въ лагерѣ военный учитель, полковникъ
оддартъ, а послѣ пріѣхали и другіе изъ Тегерана,
всегда пересылались съ Потинджеромъ, даже пере-
ли Яръ-Мохаммеду много золота и наказывали ему
ржаться, обѣщая скорую помощь отъ англичанъ.
ахъ казнилъ секретаря своего смертію за тайную
реписку съ англичанами, которые его подкупили.
Персіяне стояли сперва передъ воротами Канда-
рскими и Иранскими, съ полудни и съ запада; по-
мъ уже, спустя три мѣсяца, обложили крѣпость
угомъ и хотѣли взять городъ съ угла или башни
дяжъ-Хакистеръ. Стрѣляли безъ толку въ этотъ
олъ, не мѣтко и, куда попало; только радовались и
ичали въ голосъ, когда пыль подымалась столбомъ
ъ стѣнъ: били не сряду весь день, чтобы скорѣе
алить башню и кончить, а день за день, понемногу,
утѣху, и выѣзжали смотрѣть, когда велѣно было
рѣлять, назначая счетомъ, сколько ядеръ. Башню
у, впрочемъ, едва ли и можно было свалить ядрами;
крайности, трудно было подбить ее, такъ толсты

были стѣны. Мирза-Хаджи игралъ и тѣшился, и хвасталъ, и каждый день божился, что крѣпость сегодня сдастся, и поздравлялъ ближнихъ своихъ съ побѣдой. Артиллерія вся была разбросана порознь; каждый изъ хановъ кричалъ и просилъ дать ему столько же пушекъ, какъ другому, или даже, за отличіе, болѣе. Мирза догадался, однакоже, въ чемъ дѣло; у него были пушки двѣнадцати, восемнадцати и даже четыре двадцати-четырехъ фунтовыя; но этого показалось мало: не беретъ; и долюжилъ шаху, что надобно-де отлить орудія бо́льшаго калибра. Собралъ что только было мѣди, даже бубенчики со всѣхъословъ, лошаковъ, верблюдовъ, отнялъ у офицеровъ мѣдные котлы и посуду и завелъ литейную среди военнаго стана. Глину формировали на деревянные болваны, и не сверлили пушекъ, а отливали прямо на деревянный же стержень; отъ сырого дерева мѣдь драло и пучило пузырями. Отливали семидесятныя пушки, семи-десяти-фунтовыя, сущіе выродки. Двѣ разорвало, и при томъ перебило людей, двѣ выдержали, и такъ разутѣшили Хаджу гуломъ своимъ, что онъ не зналъ, куда отъ радости дѣваться, и разсказывалъ всѣмъ, что ядра эти пойдутъ на-вылетъ въ обѣ стѣны, толщиною въ подошвѣ саженъ восемь или больше, и наряжалъ уже конную команду собирать по ту сторону крѣпости, въ чистомъ полѣ, ядра. Они были огромныя, мраморныя, вытесанныя изъ камней ближняго кладбища. Отъ литейной до батареи тащили нѣсколько сотъ сарбазовъ чудовищныя пушки эти, и едва перетащили ихъ, всего съ версту, въ нѣсколько дней. Пути отъ нихъ было столько же, какъ и отъ прочихъ.

Армія персидская не затрогивала авганцевъ, когда они даже хотѣли на фуражировку; авганцы же, наоборотъ, выходили часто на вылазки и разгоняли въ окружности персидскихъ фуражировъ. Про такое чудо

дотолѣ и не слыхивали, чтобы гарнизонъ мѣшалъ фуражировкѣ осаждающихъ и угонялъ съ пастьбы ихъ лошадей: а тутъ такъ было. Вскорѣ опустошили все кругомъ: продовольствія было недостаточно, жалованье уплачивалось худо, сарбазы всѣ ободрались, простоявъ цѣлую зиму; работы въ траншеяхъ передъ башней Хакистеръ шли плохо, какъ попало, не подвигались впередъ; весь станъ заваленъ былъ всякою нечистотою; загаженъ такъ, что проходу не было; но болѣзней почти никакихъ не было, и Мирза-Хаджи говорилъ: это оттого, что у насъ нѣтъ ни лекарей, ни аптекъ. Ни холода, ни дождей большихъ не было; снѣгъ выпалъ было разъ, и тотчасъ сошелъ. Тогда, въ половинѣ февраля, обложили весь городъ кругомъ. Въ это время уже всѣ жители въ окружныхъ деревняхъ, до коихъ только доставали руки персіянъ, разбѣжались въ горы, къ гязярямъ; подвозы изъ Персіи шли плохо, тамъ и не слушались и боялись туркменъ, а одинъ караванъ съ хлѣбомъ воротили съ пути англичане, выѣхавшіе изъ лагеря въ Тегеранъ, увѣривъ начальника, что персидская армія давно разбита и скоро будетъ назадъ, а хлѣба ей не нужно. Шахъ рѣдко показывался, сидѣлъ въ своемъ шатрѣ и приказывалъ все по докладу Хаджи. Мирзѣ-Хаджи показалось теперь, когда городъ и отъ большихъ пушекъ не думалъ сдаваться, что у него мало войска; велѣно было прислать изъ Персіи еще сколько-то баталіоновъ, и кромѣ того Аллаяръ-Хану, дядѣ шаха, воевавшему съ другою арміею въ горахъ съ гязярцами, изъ Хорасана придти подъ Гератъ. Аллаяръ-Ханъ тамъ, какъ хвалились персіяне, побѣдилъ всѣхъ, и малость не дошелъ до Бальху, да его отозвали, чтобъ скорѣе взять Гератъ. Мирза-Хаджи не хотѣлъ того разсудить, что стоять подъ Гератомъ, какъ онъ стоялъ, можно и милліону войскъ, и все будетъ одно. Однако, видно, себѣ въ острастку, при-

казалъ онъ дѣлать лѣстницы и говорилъ, что скоро пойдетъ на приступъ.

Надоѣли авганцы персіянамъ, и за это, когда и гдѣ только случалось имъ взять плѣнника, они тѣшились и мучили его звѣрски, хуже, чѣмъ волкъ скотину рветъ: этотъ хоть и собака, а все напередъ, коли управится, глотку перерѣжетъ; тутъ же напоказъ передъ шаха выводили казнить плѣнниковъ, либо на мѣстѣ разбирали по кускамъ, потыкали на штыки и шли парадомъ къ шахской ставкѣ. То же бывало и туркменамъ: если который заносчивый попадется, шахскіе палачи принимались за работу. Станъ персидскій по рѣчкѣ Геркрудѣ и ручью поставленъ былъ безъ всякаго порядка; ни рядовъ, ни улицъ, ни линій; кто гдѣ вздумалъ, тамъ и поставилъ палатку, а постоявши, стали строить глиняныя избушки, землянки и стѣны; вокругъ всего лагеря шахскаго стѣна, вокругъ палатки его другая, вокругъ палатокъ Мирзы-Хаджи и другихъ начальниковъ также стѣны, съ зубцами по гребню, башенками, бойницами. Нечисть кругомъ такая, что проходу нѣтъ, смрадъ и вонь. Обрывковъ, обносковъ, падали, навоза и сора всякаго рода не убиралъ никто. Сарбазы въ лохмотьяхъ, обносились, оборвались; ведетовъ не выставляли; была только цѣпь вокругъ самаго стана и тьма часовыхъ внутри. Съ вечера, какъ смеркнется, кричатъ бойко и окликаютъ, а до полуночи всѣ уснутъ, тѣмъ болѣе, что у нихъ часовой сидитъ, понуривъ голову. Тутъ бы въ одну ночь нашими двумя батальонами и казачьимъ полкомъ можно разбить весь лагерь въ пухъ и затоптать въ рѣчку.

Такъ простояли пять мѣсяцевъ; наконецъ послушались совѣта Семино и нашихъ офицеровъ, которые, глядя на распоряженія персіянъ, только смѣялись и положили: поставить двѣ порядочныя батареи съ обѣихъ сторонъ угла башни Бурджъ-Абзуллай-Мюзря, бить

брешь и подвести подкопы. Англичане сейчасъ увѣдомили объ этомъ Потинджера, и гарнизонъ сталъ тутъ укрѣпляться, насыпалъ въ обоихъ прикрытыхъ путяхъ, по обѣ стороны башни, множество траверсовъ, такъ что ядра не могли бить съ угла вдоль этихъ путей и очищать ихъ; авганцы также успѣли выкопать канавки эти, или прикрытые пути, глубже и поставить на углу во рву нѣсколько маленькихъ башенъ съ бойницами. Меньшого брата шахскаго, Хализу-Мирзу, послали начальникомъ въ траншею; молодой человѣкъ, почти мальчикъ, которому Хаджи грозилъ еще напередъ, что «шахъ-де только изъ молодости тебѣ доселѣ глазъ не выжегъ — поди и заслужи это», — сидѣлъ во все время безъ силы, безъ вѣсу и безъ ума и прятался, какъ могъ, отъ авганскихъ пуль въ глубокой землянкѣ своей, въ траншеяхъ. Мирза-Хаджи теперь хвалился, что Гератъ уже взятъ, а хотѣлъ только еще помучить гарнизонъ. Рабочихъ приходило въ траншеи и на батареи противу наряду четвертая доля, да и тѣ сидѣли, отошедши изъ-подъ выстрѣла, сложа руки, по недостатку лопатъ и кирокъ, которыхъ едва ли набралось съ сотню. Ночью никто не хотѣлъ работать, а нерѣдко съ вечера всѣ расходились, и поутру еще не было другихъ. Мирза-Хаджи все только разсказывалъ, какъ онъ управится съ авганцами, будто это и не онъ стоялъ уже полгода подъ крѣпостью, сложа руки, съ однѣми сказками и прибасенками. Семино и наши офицеры выходили изъ себя, глядя на все это, да не было имъ воли. Шахъ выдавалъ рабочимъ деньги, но они до нихъ не доходили. Въ траншеяхъ, кого залучатъ, морили голодомъ; кто ушелъ, тотъ и правъ. Ханы, или корпусные командиры, не давали рабочихъ своихъ, потому что не съ ихъ стороны готовились брать городъ; каждый стоялъ на своемъ мѣстѣ и хотѣлъ работать по себѣ, и самъ взять городъ. За это англичане

хвалили ихъ, подстрекали, задаривали и всячески старались мѣшать осадѣ, и пишкешемъ можно сдѣлать изъ персіянина все, что угодно. Авганцы дѣлали вылазки и нерѣдко били людей въ подкопахъ. Изъ города стали выгонять жителей, вымучивъ и отнявъ у нихъ напередъ все, особенно хлѣбъ, и Мирза-Хаджи радовался этимъ голоднымъ, оборваннымъ толпамъ, которыхъ прогоняли дальше въ горы, и считалъ все это побѣдою. Между тѣмъ, авганцы, увидавъ, что выходцевъ принимаютъ и пропускаютъ безъ всякой осторожности, сдѣлали ночью вылазку, сказавшись выходцами изъ города. Авганцы наткнулись на нашъ батальонъ. Самсонъ-Ханъ[1]) не дался въ обманъ, пустилъ по нимъ ружейный огонь и велѣлъ приходить, коли они выходцы, днемъ, а не ночью. Авганцы отправились къ траншеямъ Хаджи-Хана, имъ повѣрили, пропустили ихъ, а они вырѣзали траншеи, положивъ на мѣстѣ болѣе ста человѣкъ, и взяли три пушки, изъ коихъ одну благополучно увезли въ городъ. Самъ Хаджи-Ханъ чуть не померъ, со страху, отъ удара. Авганцы, на другую ночь, пошли съ тѣмъ же на Искендеръ-Хана, но были разбиты, и самъ начальникъ взятъ въ плѣнъ. И его и прочихъ плѣнниковъ, какъ непріятелей и разновѣрцевъ, персіяне жестоко казнили передъ шахскими шатрами — рѣзали живыхъ по кускамъ. Наконецъ, подъ исходъ мая, прибылъ персидскій генералъ Боровскій съ большимъ съѣстнымъ караваномъ; дорогою авганцы и на него напали, но персіяне отбились. Пушка, взятая у персіянъ, стояла снаружи вала, въ канавкѣ, или прикрытомъ пути, и шахъ велѣлъ отнять ее. На это дѣло было назначено немного людей, и это, конечно, умно со стороны персіянъ, потому что, чѣмъ больше бы ихъ безъ толку

---

1) Русскій.

полѣзло, тѣмъ бы ихъ болѣе побиля. Это было въ началѣ іюня; Мирза-Хаджи-Агасы опять вычиталъ въ звѣздахъ или повѣрилъ англичанамъ, что Яръ-Мохаммедъ съ гарнизономъ хочетъ пробраться сквозь осаждающихъ и бѣжать въ горы. Чтобы не проливать крови, Мирза-Хаджи приказалъ Искендеръ Хану отойти отъ воротъ Хошъ, очистить всю сторону эту и дать гарнизону свободный путь. Авганцы бѣжать не думали, а вышли и собрали только въ станѣ Искендера туры, фашины, хворостъ и дрова, которыхъ давно уже не было въ городѣ, а потомъ даже свободно выгоняли каждый день лошадей своихъ на пастьу и сообщались съ горами. Персіяне, хотя все это дѣлалось днемъ и въ глазахъ ихъ, нисколько о томъ не безпокоились, не трогали ни разу авганцевъ и до конца осады болѣе не осаждали этой стороны. Въ то же время наконецъ поспѣли брешь-батареи; сбили земляную вышку подъ угловою огромною башнею, откуда стрѣлки отбивали людей отъ орудій; весь лагерь кричалъ и ликовалъ, когда она рухнула. Семино и русскіе офицеры говорили персіянамъ, что теперь слѣдуетъ стрѣлять на брешь-батареѣ сутки безъ умолку, сбить покрытые пути, зубчатую стѣну на гребнѣ вала, по которому тогда легко было бы перевалиться въ городъ, потому что валъ, хоть широкъ и огроменъ, но очень пологъ. Мирза-Хаджи, вмѣсто этого, для пущей острастки, стрѣлялъ день за день понемножку и радовался, какъ ребенокъ, что ядра въ тридцати саженяхъ попадаютъ въ валъ, и пыль поднимается столбомъ, между тѣмъ какъ авганцамъ нельзя было въ это время и приступиться къ валу. Въ первый разъ увидѣли персіяне, какъ стрѣляютъ съ толкомъ въ стѣну, потому что она обрушилась скоро, подорвали подкопы на углу, которые персіяне сдѣлали также не своимъ умомъ, завалили отъ валу ровъ и стоявшія во рву башенки съ

народомъ, засыпали ровъ вручную, и дорога была проложена. Не только шахъ, но даже и Мирза никогда не бывалъ близко отъ этихъ работъ, и самъ не видалъ, что дѣлается. Около половины іюня назначили приступъ; долго Мирза-Хаджи гадалъ напередъ по звѣздамъ и сказалъ, что этотъ день хорошъ. По совѣту не персіянъ, а людей, знающихъ дѣло, велѣно было идти тысячамъ двумъ съ половиной на приступъ, за ними резервамъ, а въ траншеи посадить всюду стрѣлковъ, чтобы не давать авганцамъ показываться. Между тѣмъ, и противъ другихъ стѣнъ изо всѣхъ траншей велѣно сдѣлать, для страха и отвлеченія силъ гарнизона, приступы съ лѣстницами. Приказаніе это было объявлено всѣмъ, велѣно вглядываться и слушать атаку на бреши, и тогда идти на стѣну всѣмъ прочимъ.

Полякъ Боровскій, персидскій генералъ, повелъ сарбазовъ на приступъ въ самый полдень. Резерва не было. Сарбазы его разсыпались, чтобы издалека смотрѣть на приступъ. Вмѣсто двухъ или трехъ тысячъ, на приступъ пошло сотъ пять, коли не меньше: иные сами не пошли, другихъ оставили у себя командующіе, потому что имъ не было никакой нужды до чужого дѣла; главный приступъ дѣлался не съ ихъ стороны, а они думали занять городъ, каждый отъ себя, съ своей стороны. Сарбазы шли на приступъ вразбродъ, поднялись однакоже на валъ, кинулись по обѣ стороны башни въ канавки, перекололи тамъ авганцевъ и стали обирать и раздѣвать ихъ; авганцы успѣли собраться на валу, сильно отстрѣливались и били заготовленными за стѣнками кирпичами, кидая ихъ внизъ. Боровскаго убили пулей, Семино ранили, равно и большую часть персидскихъ начальниковъ, потому что сарбазы стояли на одномъ мѣстѣ, вмѣсто того, чтобы тотчасъ перевалиться черезъ валъ. Бреши были по обѣ стороны угловой башни; но персіяне на нихъ не

пошли, а, воткнувъ уже знамя батальона Гамаденъ въ развалины этой башни, стояли, притаившись за него, всѣ въ одной кучѣ и не трогались съ мѣста. Такъ они простояли, покуда уже солнце стало гораздо пониже; они стояли, вѣрно, часа три, коли не четыре, а подмоги не было имъ никакой; начальниковъ новыхъ, вмѣсто раненыхъ и убитыхъ, не присылали, такъ ихъ авганцы и выбили наконецъ каменьями изъ засады, и они воротились на свои батареи. Стрѣлки въ траншеяхъ просидѣли между тѣмъ также зрителями: имъ позабыли раздать патроны, и стрѣлять было нечѣмъ. Мохаммедъ-Ханъ, которому велѣно было идти въ резервъ къ Боровскому, пошелъ вмѣсто того самъ собой на приступъ, на Кандагарскія ворота, думалъ также взять городъ, но ничего не сдѣлалъ. Всѣ другіе фальшивые приступы легко были отбиты авганцами. Нашъ русскій батальонъ шелъ на Иранскія ворота, вмѣстѣ съ персидскимъ войскомъ Вели-Хана; его убили при самомъ началѣ, и персіяне, подхвативъ трупъ его, всѣ бросились бѣжать назадъ. Русскій батальонъ полѣзъ было одинъ, но когда не только авганцы засыпали его пулями и камнями, а свои же, персіяне, начали жестоко бить по немъ изъ пушекъ, не успѣвая навести куда слѣдуетъ орудія и пуская заряды на-авось, то и мы отступили. У насъ убито четыре офицера, пятьдесятъ рядовыхъ и ранено сотни двѣ. Безъ похвальбы сказать можно, что вся армія персидская не стоила нашего батальона, и кабы насъ пустили на приступъ въ брешь, такъ не устоять бы Герату ни подъ какимъ видомъ. Неужто мы, взявши валъ, сталибы жаться гуртомъ подъ башней? Впрочемъ, если бы не дали послѣ никакой подмоги, можетъ быть, три тысячи авганцевъ и справились бы съ однимъ нашимъ батальономъ. Всего персіянъ убито не съ большимъ триста, ранено изъ ружья и каменьями слишкомъ тысячу. И

авганцы потеряли нѣсколько сотъ человѣкъ; слышно было, что только англичанинъ Потинджеръ удержалъ Яръ-Мохаммеда, который уже хотѣлъ было бѣжать. Шахъ очень разсердился и приказалъ обнести городъ кругомъ высокою глиняною стѣною съ башнями и выморить гарнизонъ. Разумѣется, что это была одна только острастка.

Незадолго передъ тѣмъ прибылъ въ лагерь сынъ Когендиль-Хана, Мохаммедъ-Омеръ. Отецъ его сидѣлъ въ Кандагарѣ, и персіяне условились съ нимъ, чтобы ему завоевать себѣ землю Гератскую, а персіянамъ взять крѣпость и отдать ее послѣ, за годичную подать, ему же, Когендилю. Онъ-то исполнилъ свое, а персіяне остались у него въ долгу, потому что Герата по сегодняшній день не взяли, а взяли его послѣ англичане. Мирза-Хаджи кричалъ и хвасталъ, и бодрился, и говорилъ, что это былъ не приступъ, а одна только проба, что онъ приступа дѣлать не хотѣлъ, прочитавъ въ звѣздахъ, что дѣло надобно именно такъ вести, какъ оно идетъ, и что шаху предстоитъ еще много, много славы, но не подъ стѣнами такой дрянной крѣпосцы, какъ Гератъ, которая не стоитъ того, чтобы и священная тѣнь вниманія шахскаго ложилась по направленію этого города, а дальше, на самыхъ предѣлахъ индійскихъ.

Авганцы стали чинить укрѣпленія свои, персіяне имъ не мѣшали, а стояли спокойно и уже больше не стрѣляли. Между тѣмъ, однакоже, крѣпость отъ долговременной осады пришла, несмотря на всю оплошность и безпечность персіянъ, въ плохое положеніе; тамъ были нужда и голодъ; у жителей, подъ страшными истязаніями, вымучили все, а потомъ выгоняли ихъ, какъ барановъ, тысячами, въ поле; узнали также, что Когендиль-Ханъ завоевалъ кругомъ землю, разорилъ селенія; Камранъ-Мирза одурѣлъ давно уже отъ

запоя и отъ куренія бѣшеной травы, или пьянаго конопля; гератцы поссорились между собою, хотѣли бѣжать или сдать городъ; Потинджеръ успѣлъ, однакоже, удержать Яръ-Мохаммеда и часть гарнизона, а другая часть разбѣжалась и передалась въ персидскій лагерь. Персіяне принялись карнать уши всѣмъ жителямъ, которыхъ ловили на пути въ городъ съ съѣстными припасами. Забавлялись и другими игрушками: полковника батальона Семнапъ посадили за трусость на осла, лицомъ къ хвосту, вымазали бороду простоквашей и съ музыкой водили по всему стану, но отъ команды не отрѣшили. Послали изъ числа вновь прибывшихъ войскъ одинъ батальонъ на примѣрный приступъ; остальное войско любовалось этимъ только издали; батальонъ дошелъ до валу съ большимъ крикомъ и шумомъ и воротившись заслужилъ много похвалы. Нѣсколькихъ человѣкъ при этомъ перебили и перераниили, въ томъ числѣ и командира батальона. У персіянъ нужда была немного менѣе, чѣмъ въ крѣпости; давно уже не давали солдатамъ провіанта, и армія бродила по окрестнымъ садамъ и селеніямъ и, наѣвшись кое-чего, брела опять розсыпью въ станъ. Среди лагеря былъ, впрочемъ, большой базаръ, гдѣ за деньги можно было получать съѣстное. Многіе солдаты заводили и въ своихъ землянкахъ, шалашахъ и палаткахъ лавочки, грабили въ окружности или перекупали и барышничали. Въ станѣ выросъ понемногу цѣлый городокъ, изъ земли и грязи, и слѣды его вѣрно долго еще будутъ видны въ развалинахъ. Зубчатая земляная стѣна съ башнями окружала весь станъ, а Мирза-Хаджи построилъ себѣ неприступную крѣпость съ глубокимъ рвомъ. Такихъ маленькихъ крѣпостей внутри стана было много. При всемъ томъ, болѣзни были только въ Гератѣ, а не у персіянъ. Въ городѣ безпорядки увеличивались, нужда росла, гарнизона не

осталось и половины; нѣкоторые авганскіе начальники соглашались передать персіянамъ крѣпость по частямъ, впустить ихъ въ ворота и отступить отъ валу, но персіяне, видно, не надѣялись отстоять себя тамъ противу несогласныхъ на это, и хотѣли, чтобы выступили изъ крѣпости всѣ до одного человѣка. Наконецъ и самъ Камранъ-Мирза, или правая рука его, Яръ-Мохаммедъ, сталъ сдаваться; въ лагерѣ говорили, что дѣло уже кончено, и городъ сдался. Это длилось съ недѣлю, и все шли какіе-то переговоры, въ продолженіе коихъ Яръ-Мохаммедъ съ англичаниномъ своимъ умѣли славно обмануть персіянъ, требуя прежде всего перемирія и свободнаго сообщенія. Подъ стѣнами крѣпости и въ траншеяхъ открылся базаръ, куда обнищавшіе безъ жалованья сарбазы таскали все, что могли награбить въ окрестности, и распродали на дрова даже всѣ заготовленныя фашины, туры и хворостъ; гератцамъ въ особенности дорога была соль, и они ею запаслись. Время подошло подъ самый нашъ августъ мѣсяцъ; пріѣхалъ англичанинъ изъ Тегерана, тотъ же учитель, полковникъ Стоддартъ, и объявилъ шаху, что англичане заступаются за гератцевъ, что корабли англійскіе пошли уже занимать приморскіе персидскіе города, и что если шахъ не уйдетъ съ арміей домой, то придется ему воевать съ англичанами. Шахъ подумалъ и отступилъ, да и воротился домой; слышали мы только, что персіяне ходили послѣ по пути разорять гератскія селенія, и что очень боялись войны съ англичанами, и думали: видно, предсказаніе *Зуфи* о томъ, что Персія будетъ подъ рукой рыжихъ кяфыровъ, сбудется прежде сроку. Шахъ объявилъ фирманъ, въ которомъ не могъ нарадоваться храбрости войскъ своихъ, силѣ и могуществу своему и горько жаловался на англичанъ. Мирза-Хаджи продолжалъ хвастать и разсказывать, что Гератъ былъ уже взятъ давно, и

Хива, и Кандагаръ, и Кабулъ собирались покориться Персіи, и старался увѣрить всѣхъ, что онъ все это зналъ и предвидѣлъ, и для того не допускалъ безполезнаго кровопролитія. Армія шаха, говорилъ онъ, жива и здорова, а гератцы будутъ помнить насъ долго — да и англичанамъ нагнали мы страха на ихъ пай и показали себя цѣлому свѣту.

Семидесятныя пушки свои, въ которыхъ было вѣсу въ каждой пудовъ безъ малаго 300, Мирза-Хаджи-Агасы распилилъ и увезъ съ собою.

XIII

РАЗСКАЗЪ

плѣнника Ѳедора Ѳедорова Грушина [1])

Взятъ я въ плѣнъ въ 1819 году, весною, на третьей недѣлѣ послѣ Пасхи, въ четвертокъ. Отъ роду мнѣ нынѣ (1829) 36 лѣтъ; по званію я коренной сызранскій мѣщанинъ. Занимаясь рыболовнымъ промысломъ, вышелъ я изъ Астрахани на страстной недѣлѣ, въ среду, на собственной своей лодкѣ, съ товарищемъ, удѣльнымъ крестьяниномъ Дмитріемъ Аѳанасьевымъ, да съ нанятымъ работникомъ Дмитріемъ—по прозванію

---

[1]) Живучи въ Оренбургѣ, я имѣлъ случай собрать разныя свѣдѣнія о Средней Азіи. Это доселѣ, для Европы, страна неприступная, темная. Варварство хивинцевъ, бухарцевъ, коканцевъ и проч. служитъ неодолимою преградою для нашихъ путешественниковъ, и единственное средство для полученія свѣдѣній о странахъ этихъ, это—разспросы и словесныя показанія плѣнниковъ нашихъ и азіатскихъ купцовъ. Предлагаю читателямъ нѣсколько отрывковъ въ этомъ родѣ. Я обязанъ большею частію за любопытныя свѣдѣнія эти доброжелательству и просвѣщенному стремленію предсѣдателя пограничной въ Оренбургѣ комиссіи, г-на генералъ-маіора Гелеса. Замѣчу еще, что во всѣхъ разсказахъ этихъ говорю я языкомъ разсказчика.

какъ, — не знаю. На третій день по выходѣ прибыли мы къ Мангишлаку, стали на десяти саженяхъ [1]), верстахъ въ десяти отъ черней [2]), и начали ловить рыбу. Тутъ прошла мимо насъ посуда проживающаго въ астраханскомъ Царевомъ предмѣстьѣ татарина Мустаева. На суднѣ этомъ сидѣлъ самъ хозяинъ Мустаевъ, и везъ онъ хивинцевъ изъ Астрахани въ Мангишлакъ. Когда посуда Мустаева поровнялась съ нами, захватилъ ее штиль [3]); у меня почитай вышла прѣсная вода; и я подъѣхалъ на бударкѣ [4]) къ Мустаеву и налилъ у него боченокъ. Вѣтерокъ скоро задулъ, и посуда его подошла подъ берегъ, а мы остались для залова на мѣстѣ.

Дня три спустя, во время безвѣтрія, въ полдень, подошла къ посудинѣ моей лодка, на которой было 12 человѣкъ трухменцевъ, съ самопалами [5]), пристала къ борту, и трухменцы взяли меня съ двумя товарищами, связали и повели на берегъ. Разбойники эти были изъ числа тѣхъ самыхъ трухменцевъ, которые въ 10 или 11-мъ году, разбитые и ограбленные въ пухъ киргизами, были привезены, въ числѣ 700 человѣкъ, въ Астрахань и жили въ Царевѣ, гдѣ половина ихъ живетъ и понынѣ. Они говорили довольно чисто по-русски и признавались мнѣ въ ту пору, что Мустаевъ научилъ ихъ, какъ насъ забрать. Одного изъ трухменцевъ этихъ звали, помнится, Ата-Ніязъ [6]).

Опять дня черезъ три пріѣхали съ посуды Мустаева, стоявшей верстахъ въ семи отъ береговъ, хи-

---

[1]) Глубины.
[2]) Отъ береговъ.
[3]) Безвѣтріе, затишь.
[4]) Лолбушка — маленькая лодченка.
[5]) Ружья съ фитилями.
[6]) Ата-Ніязъ не миновалъ достойной участи: онъ пойманъ впослѣдствіи

винцы: Худайберганъ, Алла-Шукуровъ, Пачаевъ и Клычъ-бай-Зергянъ съ товарищами; они купили насъ, плѣнныхъ, у разбойниковъ и повели на свое судно. Здѣсь я, во время недѣльной стоянки и выгрузки судна, часто видалъ астраханца Мустаева и просилъ его, чтобы онъ выкупилъ меня да выручилъ, но онъ смѣялся и ругался мнѣ въ глаза. По выгрузкѣ судна, Мустаевъ снялся и пошелъ съ разбойниками своими — а было ихъ человѣкъ съ восемь—въ Астрахань, а насъ погнали съ караваномъ въ Хиву

Тутъ прожилъ я только дня три у Худайбергана, а тамъ купилъ меня и съ товарищами ханъ хивинскій Мохаммедъ-Рахимъ [1]) и заплатилъ за всѣхъ троихъ 150 голландскихъ червонцевъ; да забылъ сказать, что и трухменцы, продавъ насъ Худаю, взяли съ него столько же — 150 червонцевъ: съ хана своего ни барышей, ни могарычей взять они не смѣютъ.

Меня нарядили въ работу при загородномъ домѣ ханскомъ. Такъ прошелъ годъ, какъ вздумалъ я, съ товарищемъ Дмитріемъ, да съ другимъ плѣннымъ, Платономъ Кирѣевымъ, который называлъ себя крестьяниномъ казанскаго помѣщика Киселева, бѣжать; ханъ былъ о-ту-пору на охотѣ, въ Кунгратѣ. Мы благополучно ушли и хотѣли пробраться песками въ Куня-Ургянгу [2]), а тамъ, черезъ Кара-Умбетъ [3]), въ Россію, да на 4-й день побѣга захватили насъ въ пескахъ трухменцы и представили снова въ Хиву. Кушъ-беги велѣлъ дать каждому изъ насъ по 200 нагаекъ, и на этомъ дѣло кончилось.

---

[1]) Отецъ нынѣшняго хана Алла-Кула.

[2]) Бывшая столица ханства, разоренная и покинутая. Нынѣ, по случаю большихъ разливовъ Аму-Дарьи, Куня-Ургянгъ опять сталъ населяться.

[3]) Холмъ, бугоръ подлѣ окраинъ Чилека на Усть-Уртѣ.

Опять жилъ я тамъ же, въ черной работѣ два года и сбѣжалъ съ плѣннымъ же Осипомъ—по прозванію, не знаю. Мы пошли было, на счастье, прямо къ Персіи; десять дней прошли по ночамъ благополучно, какъ опять поймали насъ трухменцы да снова представили хивинскому хану. Ханъ, не долго думавъ, приказалъ намъ окорнать носы и уши; надъ бѣднымъ Осипомъ учинили по приговору, а за меня просилъ ханскій сынъ Рахманъ-Кулъ. Ханъ приказалъ пригвоздить меня ухомъ подъ висѣлицу, да опять, по просьбѣ сына, смиловался и велѣлъ дать 300 нагаекъ. Ханъ бы и не спустилъ мнѣ на этотъ разъ, да онъ и самъ немного жаловалъ меня по особому случаю: мѣсяца съ два послѣ прибытія моего въ Хиву, поднялъ я, какъ заставили меня во дворѣ ханскомъ таскать пшеницу, мѣшокъ въ полтора слишкомъ батмана (въ 13 пудовъ) и свалилъ его, гдѣ слѣдовало, на чердакъ. Хану за разъ объ этомъ доложили; онъ прозвалъ меня неглюваномъ, полваномъ [1]), и съ той поры пошелъ я по Хивѣ ходить полванъ-куломъ [2]), и другого прозванія мнѣ не было. Ханъ искалъ и любилъ силачей, и хотѣлъ привязать меня къ себѣ; итакъ, простивъ меня, опричь того, что опять побилъ, призвалъ къ себѣ, заставилъ клясться, что уже болѣе не уйду, и опредѣлилъ въ войско свое, давъ мнѣ копье и ружье.

Вскорѣ потомъ столкнулись мы съ другимъ полваномъ, природнымъ хивинцемъ, который за силу свою былъ въ большой чести у хана, и котораго боялись во всей Хивѣ какъ сатаны. «Погоди», подумалъ я: «нешто я не собью съ тебя спѣси, а то будешь ты у меня тише воды, ниже травы!» Ханъ заставилъ и его поднять мѣшокъ пшеницы, и онъ его приподнялъ.

---

[1]) Силачемъ.
[2]) Кулъ — рабъ.

«Ступайте же, мѣряйтесь», сказалъ ханъ: «пытайте силы; хочу знать, кому изъ васъ быть полваномъ». Мой хивинецъ пошелъ, подползъ подъ арбу [1]) съ дынями, надулся, понатужился и приподнялъ ее на хребтѣ. Полѣзъ и я въ свой чередъ; тяжело, правда, было, а таки приподнялъ и я арбу, тряхнулъ и опустилъ опять на мѣсто. «Теперь что?» спросили люди.— «А теперь», сказалъ я: «спину ломать да надсаживаться попустому нечего: пусть-ка ханъ вашъ прикажетъ выйти намъ по-нашему, по-русски, вдвоемъ накулачки; такъ вотъ тутъ уже фальши не будетъ никакой; окажется, кто полванъ, кто болванъ». Какъ услышалъ ханъ это, приказалъ подраться намъ за разъ. Тутъ полванъ мой отказался, струсилъ, самъ себя не узналъ. Хану доложили; призываютъ насъ обоихъ: «деритесь накулачки по-русски при мнѣ, сейчасъ» Полванъ ему въ ноги: «хоть рѣжь, хоть сѣки», говоритъ, «а драться не стану; не равно искалѣчитъ меня урусъ [2]), такъ и честь быть при тебѣ полваномъ не стоитъ того». Ханъ приказалъ мнѣ побить его, чтобъ подзадорить; я ударилъ было разъ, другой, легонько, да онъ выскочилъ въ двери и въ ворота и забился промежъ народа, на базарѣ. «Поди же», говоритъ ханъ мнѣ: «найди его и на базарѣ, задери его, какъ знаешь; а коли-де драться и тамъ не станетъ, такъ избей его, чтобы не трусилъ». Пошелъ я, поймалъ его за воротъ; онъ отъ меня, согнувшись, задомъ и вбокъ, давай рваться; я, не долго думавъ, отвѣсилъ ему, собакѣ, пары съ двѣ заушинъ добрыхъ, избилъ всего въ кровь, и зубовъ дочелся ли, нѣтъ ли, не знаю; такъ я его и кинулъ. Народу на базарѣ было— вся Хива; опозорился полванъ мой, хоть въ люди не

---

[1]) Телѣга.
[2]) Русскій.

жись, а я ужъ сталъ съ той поры первымъ, не ало мнѣ ни ровни, ни сопротивника, и никто по лому ханству не смѣлъ поперечить мнѣ, ниже сло-мъ однимъ. Ханъ сдѣлалъ меня придверникомъ и пер-мъ докладчикомъ своимъ; изъ этой должности былъ разжалованъ и снова пожалованъ въ нее по нѣс-льку разъ — признаться просто и по правдѣ — за ѣльное: бывало то съ горя хватишь, то опохмѣ-шься, а ужъ за это я виноватъ, нечего грѣха таить, ть за воротъ попало—такъ и самъ чортъ мнѣ не братъ; буянилъ я тамъ не мало: не осталось, чай, у хи-нскаго хана придворнаго человѣка, которому бы не училось мнѣ почистить галуны. Зато, какъ встуи-лъ новый ханъ, пересталъ я пить и буянить и былъ ова пожалованъ и оставался въ званіи своемъ до са-го побѣга.

Нынѣшній ханъ Алла-Кулъ, въ началѣ декабря нувшаго 28 года, поѣхалъ на охоту къ городу Кун-рту и взялъ, какъ и всегда водилось, меня съ собою родъ этотъ разоренъ; но ханскій загородный домъ е живъ: тамъ онъ остановился. Тутъ дошла до хана сть о томъ, что астраханскій мѣщанинъ Степанъ храмѣевъ и пензенскій однодворецъ Ѳедоръ Мерзля-въ, бывшіе у него въ неволѣ и бѣжавшіе, учинили при моей помощи; оно таки не безъ того и было; ъ вывезъ изъ Хивы тайно киргизъ Садыкъ-Таубаевъ, и разсказали обо всемъ въ Астрахани, а оттолѣ сть дошла и до Хивы. Ханъ и положилъ: коли-де Са-къ-Таубаевъ, котораго надѣялся поймать, покажетъ ъ пыткою на меня, такъ зарѣзать меня, какъ ба-на, ножемъ. «Дѣло плохо», подумалъ я: «надо до ры убираться». И сговорился я съ надежными ре-гами, съ астраханскимъ мѣщаниномъ Тихономъ Ря-новымъ, съ пасынкомъ астраханскаго купца Захара дикарпова, Ильею Ѳедоровымъ, и съ уральскимъ ка-

закомъ Максимомъ Парѳеновымъ, да съ Богомъ уговорились уйти 24 декабря, на самый сочельникъ рождественскій.

У меня была своя палатка; я велѣлъ поставить ее на чистомъ мѣстѣ, за дворомъ ханскимъ, а самъ легъ, какъ всегда, поперекъ порога ханской почивальни: тутъ, рядомъ со мной, спали и всѣ сановники, вельможи ханскіе. Когда всѣ заснули, то я вышелъ тихонько и велѣлъ осѣдлать четырехъ аргамаковъ, бывшихъ у меня при палаткѣ, и шелъ еще во дворъ ханскій за другими, собственными его, хана, аргамаками, потому что они были для насъ понадежнѣе. Три чембура перерѣзалъ я благополучно: за четвертый ухватился — тутъ проснулся сторожъ, также русскій плѣнникъ, да окликнулъ меня. На дворѣ было о-ту-пору человѣкъ до тысячи; я одного-то аргамака покинулъ, выскочилъ со двора съ тремя, кинулся съ Рязановымъ на лошадей у ставки моей, вскочили, да по одному ханскому аргамаку взяли въ заводъ—и поскакали. Товарищи наши оплошали какъ-то: при нихъ остались три коня да весь запасъ дорожный, а съ нами не было ничего. При насъ были одни самопалы да копья, а хлѣба ни крохи.

Гнали мы и въ хвостъ и въ голову; ночь была темная, и доскакали мы до разсвѣта въ камыши озеръ кунградскихъ, на Аральскомъ морѣ, гдѣ и пролежали въ камышахъ весь день Рождества Христова. На ночь поѣхали далѣе и видали путемъ не малое число народа; всѣ они, спѣшившись, отдыхали, лежали на землѣ; это была погоня, какъ узнали мы послѣ; ханъ посылалъ за нами 70 человѣкъ; либо они спали, либо боялись приступиться ко мнѣ, можетъ, трафилось не одному изъ нихъ отъ меня ходить—шея коломъ, щека волдыремъ; а я, признаться, не спускалъ имъ, коли который ловко подвертывался. На третій день выбились изъ силъ и мы, и лошади. Что у нихъ, что у насъ, трои сутки, безъ

малаго, ни крохи во рту не бывало, а морозы ужъ стали показываться порядочные. Дѣлать было нечего: чѣмъ пропадать вовсе голодомъ, искать пришлось ауловъ киргизскихъ; а тамъ что Богъ дастъ. 31 декабря наѣхали мы на аулъ каракисяковъ [1]), по берегу Каспійскаго моря, верстъ 30 отъ устья р. Эмбы. Мы подъѣхали сперва къ табуну, верстъ 20 отъ аула, и сказались бѣглыми изъ Россіи въ Хиву татарами, ѣдущими нынѣ опять въ Россію, чтобъ узнать, можно ли намъ съ товарищами воротиться домой, по всемилостивѣйшему манифесту, о которомъ будто слышно было. Табунщики накормили насъ: побывъ тутъ еще дня съ два, поѣхали мы въ аулъ, взявъ у пастуха одну лошадь, потому что одинъ аргамакъ нашъ отказался вовсе и едва дошелъ въ поводу. Въ аулѣ, старшина Тугунузъ-Бай принялъ насъ хорошо, повѣрилъ во всемъ и обѣщалъ отправить насъ вмѣстѣ съ сыномъ своимъ въ Гурьевъ, за что просилъ съ насъ пару аргамаковъ нашихъ, оружіе, да кой-что изъ платья. Мы охотно на все было и согласились безъ торгу; да наканунѣ отъѣзда нашего, чортъ принесъ изъ Хивы киргизовъ, между которыми былъ и Кулатай, тотъ самый, который былъ вожакомъ при хивинскомъ послѣ Вунсъ-Ниязѣ, приводившемъ, въ 1826 году, слоновъ въ Сарайчиновскую крѣпость. Кулатай часто бывалъ въ Хивѣ и узналъ меня, что глянулъ. Тугунузъ-Бай однакоже либо не вѣрилъ обѣщаніямъ хивинскаго хана, который, по словамъ Кулатая, сулилъ за меня золота, сколько потяну вѣсу, либо, кочуя близъ линіи, боялся нашего начальства; онъ таки, попрежнему, обѣщался выслать насъ въ Гурьевъ. Кулатай говорилъ еще, что ханъ посылалъ за нами 70 человѣкъ погони, что товарищи наши, Ѳедоровъ и Парфеновъ, также ушли, а другіе киргизы

[1]) Одно изъ кайсацкихъ племенъ.

сказывали тутъ же, что видали на Эмбѣ двухъ русскихъ, гнались за ними, да одинъ изъ нихъ подбилъ подъ киргизомъ лошадь, и погоня кончилась [1]). Теперь завязалась ссора; Кулатай шумѣлъ, стращалъ и отнялъ наконецъ, обще съ товарищами своими, насъ съ Рязановымъ отъ Тугунузъ-Бая и стали промежъ собою спорить, что съ нами дѣлать. Они толковали вотъ что: коли де отвеземъ ихъ въ Хиву, такъ, того гляди, султанъ Чингали Урмановъ разоритъ насъ; а коли отвеземъ въ Россію, то киргизы же станутъ править съ насъ пеню за одежду, оружіе и коней; да и сверхъ того, это было бы противно вѣрѣ ихъ, а потому и порѣшили: убить насъ тайкомъ, чтобы никто объ этомъ не вѣдалъ, и сказать, что мы ушли. Тугунузъ-Бай и другіе киргизы совѣтовали везти насъ въ Россію, а четыре только: Кулатай, Дусанъ - Батырь, Нуръ - Джигитъ и Тума были непреклонными злодѣями нашими. Они, будто согласились, сказали, что повезутъ насъ въ Россію, и поѣхали по пути на Гурьевъ. Отъѣхавъ верстъ 20, стали и начали раздѣвать насъ обоихъ до-нага; долго опять спорили и кричали, да опять велѣли одѣваться и поѣхали далѣе. Такъ какъ я болѣе съ ними шумѣлъ и ругался, да они же и знали меня какъ полванъ-кула, такъ за мною болѣе присматривали; мнѣ трудно было отлучиться, и я велѣлъ Рязанову бѣжать въ ближайшій аулъ, по пути, и сказать все до-чиста. Разбойники схватились его, когда онъ уже дошелъ до аула, а потому и поѣхали за нимъ со мною. Тутъ спросили они насъ, гдѣ хотимъ умереть: на мѣстѣ или въ Хивѣ? Отъ смерти что дальше, то и лучше: оба мы сказали, чтобы везли, коли такъ, въ Хиву. И повезли насъ назадъ, въ аулъ Дусанъ-Батыря, верстъ 15 отъ аула Тугунузъ-Бая. Здѣсь продержали насъ

[1]) Они, по позднѣйшимъ свѣдѣніямъ, найдены убитыми.

четыре дня, а послышавъ, что султанъ Иркенъ-Гали Каратаевъ узналъ объ насъ и хотѣлъ насъ выручить, рѣшились уже лучше сами везти насъ въ Гурьевъ, чтобы не отдать даромъ султану и не лишиться награды отъ начальства нашего, за доставленіе наше. Они подлинно поѣхали и пустились съ нами, окольными дорогами, на Гурьевъ; но посланцы султанскіе нашли ихъ и заворотили, вмѣстѣ съ нами, въ аулъ султанскій Тутъ они оправдались тѣмъ, что везли-де насъ въ Россію. Султанъ подарилъ имъ по лошади, а насъ взялъ и содержалъ дня два хорошо; а тамъ отправилъ подъ Гурьевъ, отколѣ прибыли мы къ правителю западной части Арды, къ султану Чингалію Урманову, который и отправилъ насъ тотчасъ въ Оренбургъ.

Послѣ Мохаммедъ-Рахимъ-Хана остались дѣти: 1) нынѣшній ханъ Алла-Кулъ, 2) Рахманъ-Кулъ-Тюря, 3) Хаджджай-Кулъ-Тюря, 4) Сеидъ-Махмудъ-Тюря, 5) Сеидъ-Ахмедъ-Тюря, 6) Сеидъ-Мохаммедъ-Тюря, 7) Тянгри-Кулъ-Тюря.

У хана Алла-Кула дѣти: 1) Рахимъ-Кулъ-Тюря, 2) Бабаджанъ-Тюря; первый 15, другой 10 лѣтъ (1829).

Разстояніе и положеніе всѣхъ хивинскихъ городовъ знаю я какъ по пальцамъ. Вотъ они:

Гунлянъ отъ рѣки верстахъ въ семи. Садовъ около него много, Азарысъ отъ рѣки также; Кармазы также: ни городъ, ниже окрестности водою не понимаются. Ургянгъ отъ рѣки верстъ 5, на высокомъ мѣстѣ. Худжили стоитъ на половинѣ пути между Пятняка и Кунграта, по дорогѣ на Хиву: и эта дорога прямѣе. Юмру отъ рѣки верстахъ въ 5; отъ Юмру идетъ гора, на западъ; по ту сторону рѣки Аму-Дарьи такая же гора, и потому здѣсь рѣка течетъ въ узкихъ берегахъ, не шире полуверсты. Самое высокое мѣсто во всемъ хивинскомъ ханствѣ—Китай, или Бишъ-Арыкъ. На половинѣ пути отъ него до Хивы, стоитъ дворъ ханскій

Янарыкъ. Озеро Кара-Куль въ окружности версты три. Узеки, по нашему, прораны, рукава, начинаются ниже Худжили, въ 30 верстахъ; а близъ помянутаго города Аму-Дарья течетъ въ одно русло. Стѣна худжилійская разваливается. Кунгратъ стоитъ на низменномъ мѣстѣ, однако далеко не поднимается. Стѣна также обваливается. Городъ нынѣ опустѣлъ вовсе. Ниже по рѣкѣ, въ верстѣ, стоитъ ханскій дворъ съ садомъ и пашнями, на которыхъ работаютъ не рабы, а каракалпаки, которыхъ тутъ по близости кибитокъ тысячи три. Послѣ разоренія Кунграта, году никакъ въ 1815, узбеки, жители города, выселены всѣ на хивинскую землю.

Тутъ, около Кунграта, есть травы и сѣнокосы порядочные. Новый караванъ-сарай хивинскій не великъ, саженъ 50 во всѣ четыре стороны; выстроенъ онъ въ два яруса; лавокъ въ немъ съ 50.

Улицы во всѣхъ городахъ цѣлаго ханства узки, нечисты, завалены костьми, дохлыми кошками и собаками, даже и крупной скотиною; да сверхъ того жители обоего пола всегда и все исправляютъ на улидахъ, гдѣ ни попало. Скотину и лошадей кормятъ плохо, по бѣдности въ кормахъ. Даже и ханскіе аргамаки стоятъ по суткамъ безъ корма. И чего аргамаки, коли и женамъ своимъ ханъ отпускаетъ хлѣбъ на вѣсъ: на весь дворъ ханскій, тутъ на женъ и на самого его, выходитъ въ день 3 пуда пшеничной муки, 2 пуда сорочинскаго пшена, 1 пудъ мяса, да полтора кунжутнаго масла. Многія изъ ханскихъ женъ посылаютъ остатки отъ плова своего на базаръ и покупаютъ на вырученную копѣйку шелкъ и другія мелочи. У каждой жены свой покойчикъ. На малой ханской кухнѣ стряпаетъ плѣнная персіянка, и едва только сама бываетъ сыта поскребышами, а наша землячка, Анна Васильевна Костина, служитъ у него за стряпуху на

большой кухнѣ, т. е. у большого котла. Два раза въ день приходятъ къ ней посланцы и служанки со всего двора отъ женъ и дѣтей ханскихъ съ глиняными чашками—а каждому и каждой, по мѣсту и званію, положена и чашка, кому маленькая, кому побольше, — и Анна Васильевна отбивается уполовникомъ, огрызается во всѣ стороны, шумъ подниметъ на кухнѣ во весь базаръ, — и, отпустивъ имъ, каждому что слѣдуетъ, кой-какъ и сама сыта бываетъ, и, глядишь, узелочекъ и домой тащитъ. Хану идетъ самая большая доля, большое блюдо горой, такъ что онъ никогда его не поѣдаетъ, а остатки ѣдятъ: куш-беги, мяхтяръ, всѣ первые министры и сановники двора, которые и ждутъ каждый обѣдъ, чтобъ вынесли имъ остатки. При этомъ дѣлежѣ, и мнѣ, какъ близкому человѣку, слѣдовала доля; да какъ-то совѣстно было кидаться, по-собачьи, на поскребыши посуды ханской; зато ужъ—не разъ и не два разнималъ я господъ сановитыхъ, какъ бывало подерутся за чашку плова, что собаки за кость — разнималъ я ихъ по-своему; чай, помнитъ меня не одинъ и теперь [1]).

Во дворѣ ханскомъ есть большой лѣтній пріемный покой; онъ выбѣленъ и разукрашенъ сусальною позолотою. Покой этотъ отдѣланъ въ 1828 году и съ тѣхъ поръ освѣщается по ночамъ одною сальною свѣчею, и полагается на ночь двѣ маленькія свѣчи. Во всѣхъ другихъ покояхъ, и въ зимнемъ пріемномъ, то есть въ кошемной кибиткѣ ханской, горитъ масло, которое выбиваютъ изъ сѣмянъ хлопчатой бумаги.

Чай пьетъ въ цѣломъ дворцѣ одинъ только ханъ, да и то калмыцкій, кирпичный, а изрѣдка только другой;

---

[1]) Всѣ подробности эти, для незнающихъ Средней Азіи, могутъ показаться странными и даже вовсе невѣроятными. Надѣюсь со временемъ представить доказательства и поясненія на простодушные разсказы плѣнниковъ нашихъ.

раза два въ недѣлю пьетъ онъ чай съ сахаромъ. Онъ пьетъ изъ китайской чашки и подаетъ иногда остатки набольшимъ своимъ, которые пьютъ, прихлебывая каждый понемногу и подавая чашку, словно братину съ медомъ, въ круговую; однако при этомъ дѣлежѣ драки не случалось. Ханскимъ женамъ и дѣтямъ чаю не даютъ никогда. Одѣваютъ ихъ, женъ и дѣтей, порядочно. Караула при дворѣ ханскомъ нѣтъ; придверниковъ бываетъ человѣка два, три, да и тѣ постоятъ да и отойдутъ, а оружія при себѣ не носятъ. Женъ было у хана съ десять; старшая ему, хану, приходится двоюродная сестра; она дочь Ильта-Зеръ-Хана. Въ Хивѣ, кого на чемъ поймаютъ, либо кто на кого докажетъ, такъ за всякое беззаконіе чуть только не казнять; а самъ ханъ, не приведи Богъ, что дѣлаетъ; нѣтъ ни стыда, ни совѣсти; — про вѣру и говорить нечего;—что не разбираетъ онъ, жена ли, не жена ли, ну, ужъ зналъ бы женскій полъ, зналъ бы хоть уже по крайности человѣка...

Аргамаковъ стоитъ на конюшнѣ ханской съ 40; съ пятокъ собственныхъ его. Сбруя конская, верховая у него хороша,—этимъ щеголяютъ,—вся въ серебрѣ, въ камняхъ, въ бирюзѣ; весь приборъ стоитъ 100 тилла [1]). Ханъ всегда носитъ при себѣ ханджаръ, тотъ самый, что былъ пожалованъ государемъ нашимъ хану Ширгазыю; да такой же, доставшійся послѣ Мендіара, носитъ и Рахманъ-Кулъ-Тюря.

Старшую ханшу отпускаетъ ханъ разъ въ годъ къ брату, и выѣзжаетъ она тогда изъ Хивы ночью. Брата этого зовутъ Рамъ-Берды-Тюря. Сестра гоститъ у него дня три; возятъ ее на простой арбѣ въ одну лошадь, на телѣгѣ, въ которой,—вѣрьте слову, не шучу,—въ которой возятъ ину пору и навозъ. Только покрываютъ

[1]) Тилла — около четырехъ цѣлковыхъ.

арбу на этотъ разъ бѣлою кошмою. Лошаденку ведетъ въ поводу одинъ изъ плѣнныхъ, а съ ханшей сидятъ двѣ, либо одна служанка.

Хлѣбъ поспѣваетъ въ Хивѣ въ концѣ мая; народъ больше перебивается кой-какъ да кой-чѣмъ; хлѣба ѣстъ не много; осенью, когда поспѣваютъ дыни, почитай ими только и живетъ, и болѣзней отъ этого не слыхать. Въ городѣ зернового хлѣба больше не вывозятъ на базаръ, какъ пудовъ по 500; стало быть, въ недѣлю, въ два базарные дня, больше закупить нельзя, какъ пудовъ тысячу

Каракалпаки, около Кунграта, сѣютъ много хлѣба, больше сорочинскаго пшена да проса. Въ Кунгратѣ батманъ, по нашему 45 фунтовъ, сорочинскаго пшена стоитъ двѣ таньки, то есть одинъ рубль; батманъ проса стоитъ одну таньку. Пшеница въ одной цѣнѣ съ сорочинскимъ пшеномъ. Джугары [1]) сѣютъ мало; ему цѣна та же. У каракалпаковъ этихъ весь хлѣбъ разбираютъ киргизы; а кочующіе по Сыръ-Дарьѣ ходятъ на мѣну въ Хузеили, Урлянгъ, Гургянъ, а рѣдко и въ Хиву. Тамъ батманъ сорочинскаго пшена или пшеницы обходится по рублю; ячмень по полтинѣ. Просо ѣдятъ только каракалпаки. Ячмень берутъ больше для лошадей. Въ Хивѣ батманъ сорочинскаго пшена 2 рубля, пшеница по рублю; ячмень гривенъ по шести.

Когда, въ 1826 году, послышали въ Хивѣ, что идетъ отрядъ русскій на Аральское море [2]), то ханъ собралъ совѣтъ, и порѣшили встрѣтить русскихъ съ хлѣбомъ и солью; для этого уже и отлиты были золотые ключи и блюдо, и готовились выдать всѣхъ русскихъ невольниковъ. Ханъ Ширгазы Айчуваковъ глазъ-

---

[1]) Особый родъ зернового растенія: зерна похожи на кукурузныя, но сидятъ на поддонѣ, почти какъ у подсолнечника.

[2]) Походъ генерала Ѳ. Ѳ. Берха.

на-глазъ сказалъ хану хивинскому Алла-Кулу, что противъ русскаго войска устоять никто не можетъ.

Ханъ Алла-Кулъ плохъ; онъ слушается старшей жены своей во всемъ; а она сердита, строга съ рабынями своими; а служанки у нея всѣ плѣнныя—и часто бьетъ ихъ плетью изъ рукъ своихъ; она скупа до крайности.

Сѣна въ Хивѣ крайне мало; соломы довольно. Коней кормятъ только пшеничной соломою. Воламъ даютъ и солому отъ сорочинскаго пшена. За возъ пшеничной соломы, въ которомъ не будетъ четвертой доли русскаго воза, платятъ въ Хузеили и въ Кунгратѣ полтину, а въ Хивѣ рубля полтора и больше. Въ Кунгратѣ есть множество мелкаго камышу, который лошади ѣдятъ хорошо. Имъ кормятъ и аргамаковъ ханскихъ. Мѣстами, въ Хузеили, Ташъ-Хоузѣ, сѣно, т. е. дятловина, юнчга, дешево: рублей за 15 даютъ тысячу сноповъ, а въ снопѣ вѣсу фунта два и до четырехъ. Въ Хивѣ за таньку даютъ сноповъ 15. Аргамаку идетъ, въ сутки, 3 снопа юнчга, вдвое противъ этого соломы, да четверть батмана, $11^1/_4$ фун. ячменю. Есть аргамаки непомѣрно высокіе, до 2 аршинъ и 7 вершковъ; средній ростъ ихъ 2 аршина. Они, вообще, быстры и сносливы, коли есть хлѣбный кормъ; отъ Кунграта можно выѣхать на аргамакѣ въ Сарайчикъ [1]) дней въ 6, въ недѣлю. Стойлъ въ конюшняхъ хивинцы не ставятъ; аргамаки не дерутся промежъ собой; а свыкаются. Они худы и поджары; жирную лошадь вымариваютъ передъ походомъ, и въ хорошемъ тѣлѣ долго лошадей не держатъ; ихъ проѣзжаютъ по два раза въ день, до поту. Поятъ аргамаковъ по два раза въ сутки. Жеребятъ отнимаютъ отъ матерей не прежде осени. Коли хотятъ, чтобъ конь поправился, то поятъ, кромѣ

---

1) На Нижне-Уральской линіи, отъ Хивы верстъ до 700.

ячменнаго корму, болтушкою, мукою на водѣ. У перваго сановника, Ходжешь-Мяхряма, аргамаковъ съ десятокъ, да столько же простыхъ лошадей. Аргамаковъ въ Хивѣ всѣхъ цѣнятъ по бойкости въ скачкѣ; за припускъ платятъ по полутилла. Скачка обыкновенно бываетъ отъ Колодцевъ до Хивы: это будетъ верстъ 50. Подготавливаютъ коней на скачку такъ: сначала проѣзжаютъ ихъ по два раза въ день, шагомъ, по верстѣ, тамъ версты по двѣ, по три, тамъ уже и рысью, а наконецъ и скачутъ, однако не во весь духъ. Подготовка эта идетъ мѣсяцъ, два и три. Такъ же подготавливаютъ коней къ походу, а потому ханъ всегда объявляетъ мѣсяца за три, коли куда думаетъ выступать. Походомъ кормитъ лошадей мало. Карабаировъ въ Хивѣ мало [1]); идутъ они больше изъ Бухаріи; платятъ за нихъ до 30 тилла. Кобылъ держатъ мало; аргамаковъ приводятъ больше отъ трухменцевъ, родовъ юмудъ и тэке.

Высвободившихся русскихъ плѣнныхъ во всемъ ханствѣ Хивинскомъ не болѣе сотни человѣкъ. Трухменцы и каракалпаки были бы скоро на нашей сторонѣ. И жители хивинскіе противиться не будутъ, не посмѣютъ.

Ханъ посылалъ меня нерѣдко смотрѣть за работами, особенно когда прочищались канавы. Хивинцы боялись меня крѣпко и платили всегда по три таньки въ день, вмѣсто положенной одной, чтобы только я ихъ на работѣ не билъ; хану доказывали на меня за это, да онъ, спасибо, не вѣрилъ. А когда бывали такіе доносы на другихъ, такъ отбиралъ деньги и еще билъ больно. При валовыхъ работахъ этихъ нѣтъ пощады никому; сами хивинцы бьютъ другъ друга не хуже невольниковъ своихъ, и еслибы самъ бекъ какой-нибудь вышелъ на

[1]) Помѣсь отъ киргизской кобылы и туркменскаго аргамака.

работу, за неимѣніемъ плѣннаго, то и ему досталось бы тоже, безъ всякаго различія.

Ханъ Алла-Кулъ начеканилъ новыя таньки, мало чѣмъ побольше старыхъ, да зато велѣлъ класть на тиллу по 24, а старыхъ идетъ 28. Танька эта ходитъ— что базаръ, то иначе. На каждомъ базарѣ устанавливается ей цѣна, отъ 26 до 60 пулъ. Денежный счетъ всегда идетъ абазами, и считаютъ по двѣ таньки на абазъ. Ханъ, который не ходилъ еще воевать, не смѣетъ чеканить своихъ денегъ, да и не молятся за него въ мечетяхъ. Ханъ Алла-Кулъ, на другой годъ послѣ того, что сѣлъ ханствовать, ходилъ воевать на персидскую границу, да съ той поры и правъ и святъ.

Женскій головной уборъ въ Хивѣ походитъ немного на костромскіе кокошники или на прежнія мѣдныя гренадерскія шапки. Уборъ этотъ называется «кабавы», и у богатыхъ женъ бываетъ съ жемчугомъ и каменьями. Трухменки носятъ вовсе русскіе кокошники: поколѣ не приглядишься, такъ инно чудно. Овцы у нихъ, у трухменцевъ, киргизскія, съ курдюками: а хивинскія черныя шапки дѣлаются изъ бухарскихъ мерлушекъ, которыя называются арабскими.

Въ Аму-Дарьѣ осетровъ нѣтъ, а шиповъ много; севрюгъ и бѣлугъ также не видно [1]). За шипа фунтовъ въ 30 платятъ двѣ таньки. Рыба въ Хивѣ нехороша. Каракалпаки больше ѣдятъ рыбу; иные ею, по читай, только и кормятся, и болѣзней отъ этого не слыхать. Вода въ Хивѣ хороша и здорова; она, правда, мутна немного, но скоро отстаивается.

Въ 1827 году, осенью, пріѣзжалъ въ Хиву, никакъ изъ Дербента, человѣкъ лѣтъ 45, въ персидскомъ платьѣ, съ двумя товарищами; онъ сказывался чечен-

---

[1]) Свѣдѣніе это не совсѣмъ согласно съ прежними; но Грушинъ самъ хорошій рыбакъ.

цемъ, былъ у хана Алла-Кула и просилъ помощи противъ враговъ. Ханъ не далъ ему отвѣта и отпустилъ его такъ, ни съ чѣмъ. Посланецъ говорилъ по-татарски, былъ росту высокаго, одѣвался чисто и пріѣзжалъ черезъ Астрабадъ. Изъ Хивы уѣхалъ онъ въ Азарысъ, тамъ въ Бухарію; приближенные хана Рахманъ-Кула хотѣли-было догнать его и убить — да какъ-то не посмѣли.

Каракалпаки не любятъ хивинскаго хана, да и онъ ихъ не жалуетъ. Въ случаѣ войны берутъ ихъ человѣкъ по тысячѣ и болѣе, а плата очень мала. Они бы рады перекочевать въ наши степи, да боятся хана и бѣдны крѣпко: нечѣмъ подняться. Трухменцы также драться путемъ противъ русскихъ не станутъ. Они всегда боялись насъ, а послѣ попытки на Бишь-Тюбе узнали, какъ слѣдуетъ.

Ханъ отпускалъ прежде невольникамъ своимъ на мѣсяцъ по три пуда зерновой пшеницы (а иногда и мукой), полпуда сорочинскаго пшена, до 10 ф. чечевицы, 10 ф. мяса и 5 ф. кунжутнаго масла, но въ 1816 году пріѣзжалъ изъ Бухаріи какой-то мулла, который сказалъ хану Мохаммедъ-Рахиму, что грѣшно содержать русскихъ плѣнныхъ, кяфыровъ такъ хорошо, что надо ихъ морить голодомъ. Съ тѣхъ поръ ханъ отпускаетъ только по 3 пуда пшеницы, въ которой бываетъ съ полпуда земли,—и болѣе не даетъ ничего. Прочіе, частные жители ханства содержали плѣнныхъ своихъ худо и голодно. Мулла этотъ и теперь еще въ Хивѣ: его больно уважаютъ и возятъ на телѣжкѣ или носятъ, а ноги у него отнялись вовсе.

Русскаго плѣнника, который ходилъ съ войскомъ хивинскимъ на вооруженный караванъ въ 1824 году, зовутъ въ Хивѣ Василіемъ, а настоящее его имя Петръ Гавриловъ Жолобовъ. Онъ сызранскій мѣщанинъ и въ плѣну уже лѣтъ 25; живетъ на волѣ въ городѣ Зеѣ,

гдѣ у него домъ и земля, женатъ на каракалпачкѣ, и прижиты у него съ нею дѣти.

Главная мечеть въ Хивѣ, Полванъ-Ата, выстроена изъ кирпича, со сводомъ. Она не велика, однако человѣкъ 500 въ нее ходятъ. Тѣло Полванъ-Аты лежитъ въ выходѣ, въ подвалѣ, подъ мечетью; но его не показываютъ. Рядомъ съ этою стоитъ и Джума-мечеть, соборная. Она выстроена изъ глины, низка, но просторна; подъ потолкомъ множество стоекъ. Оконъ нѣтъ, а въ потолкѣ оставлено много дыръ. Въ 828 году складенъ въ Хивѣ кирпичный столбъ, въ 5 саженъ вышины; онъ стоитъ около мечети вмѣсто минарета. Въ Куня-Ургянчѣ стоитъ такой же, да только съ незапамятныхъ временъ; онъ вышиною саженъ въ 20. Внутри него крутая лѣстница и всходъ до верху; но верхъ уже разсыпается. На развалинахъ Куня-Ургянча растетъ нынѣ осиновый лѣсъ, годный уже на топливо. Около него кочуютъ юмуды, туркменское племя. Они берутъ воду изъ колодцевъ городскихъ, которые хороши и доселѣ. Во всемъ ханствѣ вода въ колодцахъ хорошая и не глубже одной сажени.

Двери во дворцѣ ханскомъ недавно отдѣланы, на желѣзныхъ петляхъ, съ задвижками и щеколдами. Стоитъ у него, у хана, въ одномъ покоѣ и кирпичная печь, но ея не топятъ никогда.

Ханъ, случалось, говаривалъ со мною о всякой всячинѣ; о войнѣ съ Турціею и Персіею слышно было тамъ, да только всегда разсказывали неправду: все говорили, будто турки да персіяне посиловали да побили русскихъ, когда дѣло было наоборотъ. Хивинцы персіянамъ враги непримиримые, а все-таки желали, чтобы они одолѣли насъ. Жителей, полагаю я, по примѣрному, по наслышкѣ, обоего полу во всемъ ханствѣ ста два тысячъ; въ томъ числѣ и каракалпаки и трухменцы. Большая часть народа узбеки и

сарты [1]); каракалпаковъ не много, а трухменцевъ не будетъ болѣе 1,000 душъ мужескаго пола. Трухменцы лучшіе воины тамошніе. Узбеки считаютъ себя выше всѣхъ; однако съ сартами иногда роднятся.

Лѣтомъ въ Хивѣ дождей почти не бываетъ; осенью по улицамъ и по дорогамъ стоитъ грязь непомѣрная. Жары лѣтнія гораздо побольше астраханскихъ; ночи всегда холодныя; не слышалъ я никогда, чтобы тамъ, какъ у насъ, молніей убивало людей, либо занимался пожаръ. Морозы начинаются въ концѣ октября; весною послѣдніе морозы еще бываютъ въ началѣ марта. Рѣка становится около Рождества, а черезъ мѣсяцъ опять вскрывается; въ иную зиму ледъ бываетъ безъ малаго въ аршинъ толщины, а въ иную и рѣка вовсе не становится. Такъ напримѣръ, зима съ 27 на 28 годъ была жестокая; рѣка стояла недѣль 6, снѣгъ лежалъ по колѣно. Весною разливъ мѣстами бываетъ, однако луговъ нѣтъ, на поемныхъ мѣстахъ растетъ только ржанникъ, т. е. мелкій камышъ; послѣ Петрова дня бываетъ другой разливъ, отъ тающаго въ горахъ снѣга, да только поменьше весенняго. Бродовъ по Аму-Дарьѣ нѣтъ нигдѣ, даже выше Чарджуя [2]) на 100 верстъ, гдѣ случалось мнѣ бывать. И ширина рѣки тамъ такая же, какъ противъ Хивы.

Изъ множества плѣнныхъ нашихъ случилось мнѣ, опричь тѣхъ, которымъ пособилъ уйти, выкупить на свои деньги двоихъ: Анисію Иванову, оренбургскую казачку, взятую вмѣстѣ съ мужемъ, въ 1821 году, въ Изобиленскомъ отрядѣ; она была у Алла-Шукура Пачаева, въ самой Хивѣ, въ тяжелой работѣ; лѣтъ ей

---

[1]) Сарты — коренные жители Мавраннегра, страны между рѣкъ Аму и Сыръ. Сарты персидскаго происхожденія. Узбеки, завоеватели страны этой, по сложенію и языку турки.

[2]) Пограничная крѣпостца, на хивинскомъ рубежѣ.

отъ роду 50. Я заплатилъ за нее 25 тилла. Нынѣ она осталась у мужа, казака Тимоѳея Киселева, который въ неволѣ въ Хивѣ у Хаджешь-Мяхряма; да еще Аѳанасія Тарасова Давыдова, сызранскаго пахатнаго солдата, взятаго въ плѣнъ лѣтомъ 1814 съ Бакланьяго острова, на Каспійскомъ морѣ. Давыдовъ сначала проданъ былъ хивинцу, а тамъ купилъ его ханскій главный конюшій Дементій Ивановъ; у этого жилъ Давыдовъ 12 лѣтъ, а въ 1826 году сжалился я надъ старикомъ, а ему было лѣтъ за 80, и выкупилъ его у Ивана за 15 тилла. У Давыдова въ Астраханц, надобыть, есть два сына: старичекъ нынѣ и на волѣ, да ужъ оттолѣ его не выпускаютъ, а уйти потихоньку онъ боится. И нельзя не бояться: поймаютъ, такъ врядъ ли ему глаголя миновать; у вольнаго господина нѣтъ, пожалѣть да покорыститься на него некому.

Примѣчаніе. Грушинъ—атлетъ тѣломъ и человѣкъ расторопнаго русскаго ума—нынѣ живетъ въ Астрахани и торгуетъ пряниками.

XIV

БИКЕЙ И МАУЛЯНА

ГЛАВА I

КАРАВАНЪ

«Идетъ, идетъ:» раздалось въ пестрой толпѣ, стоявшей отдѣльными кучками, смотря по званію или сословію, знакомству и связямъ, зрителей: — «караванъ идетъ!» И толпа, многоязычная, многоглавая и разнообразная, какъ самая молва, зашевелилась. Ребятишки, оборванные татарчата, полунагіе, но въ огромныхъ мохнатыхъ шапкахъ, обгоняли съ крикомъ другъ друга и давали почтительные круги около зрителей высшаго сословія, чинно выступавшихъ въ головѣ отряда; разнородная челядь тѣснилась вслѣдъ — хотя тѣсниться было не для чего, и простора на всѣ четыре стороны на необозримой степи довольно. Тутъ шло нѣсколько чиновныхъ и должностныхъ, съ фамиліею и съ семействомъ; тутъ были торгаши, мыльные и сальные, въ долгополыхъ сюртукахъ и въ пестрыхъ шейныхъ платочкахъ; были и приписные и бѣглые мѣщане, отбивающіе у первыхъ мѣновой торгъ съ кайсаками, коимъ

отсыпаютъ нерѣдко щедрою рукой за барана нѣсколько помадныхъ банокъ нюхательнаго табаку, да мѣрочку муки, пополамъ съ золою, съ известью и пескомъ; были и татары, промышляющіе шубами, тулупами, яргаками и шкурами, такіе же пройдохи, какъ и тѣ; было и нѣсколько человѣкъ, такъ называемыхъ конфетчиковъ, т. е. просто лавочниковъ, содержащихъ въ городѣ, въ частныхъ домахъ, плохія лавки, подъ названіемъ магазиновъ. Въ Оренбургѣ есть и гостиный дворъ, но это огромное зданіе болѣе походитъ на арестантскій дворъ или на монастырь; лавки всѣ обращены внутрь, а снаружи видны однѣ только стѣны; все глухо, пусто, мертво, и покупщики неохотно туда заходятъ. Въ толпѣ нашей были и казаки, конхъ, впрочемъ, можно было признать казаками только по навыку, по остаткамъ малиновыхъ лампасовъ, сквозящихся въ дыры подпоясаннаго полотенцемъ стеганаго халата; и тутъ же расхаживало и нѣсколько темно-зеленыхъ сюртуковъ не солдатскаго сукна, съ празеленными выпушками, съ мѣдными бляхами на груди... Это сердцевѣцы наши, отгадчики тайныхъ думъ и затѣй всякаго, кто взадъ или впередъ переходитъ рубежъ — они отгадываютъ по шапкѣ, — что въ головѣ, по головѣ, — что за пазухой! Впрочемъ, здѣсь нѣтъ утонченной образованности: мнѣ случилось однажды увидѣть опытъ киргиза пронести овчинный тулупъ безъ пошлины: онъ просто накинулъ его, среди знойнаго лѣта, на плеча, поверхъ двухъ халатовъ, заложенныхъ полами въ кожаные шаровары, и увѣрялъ, что онъ всегда такъ ходитъ.

Въ толпѣ, о которой говоримъ, поражаетъ новаго зрителя странность одежды и нарядовъ, а слушателя — общее употребленіе татарскаго языка. Тутъ видите вы многополосные халаты, желтые и красные кожаны, сшитые шерстью вверхъ конинные дохи и

ргаки, тутъ шапки невиданнаго покроя и неслыхан-
наго цвѣта; кожаные шаровары и армяки; и все это
ношено, изодрано—что и придаетъ цѣлому какой-то
пестрый, махровый видъ. Но верхъ безобразія пред-
тавляютъ здѣсь собою жалкіе человѣко-твари — бай-
уши, киргизскіе нищіе: степные дикари эти нищаютъ
цѣлыми аулами и поколѣніями и гибнутъ голодомъ и
тужей безъ всякой надежды на помощь. Земляки
хъ, въ этомъ отношеніи, безжалостны, неумолимы.
Полинейные кайсаки вообще такъ бѣдны, что на 20
тысячъ кибитокъ, зимующихъ отъ Гурьева до Звѣри-
оголовска, на протяженіи 1850 верстъ, считаютъ
ругомъ по пути душъ обоего пола на кибитку и
притомъ только по семи головъ рогатаго скота, по
яти лошадей, по одному верблюду, по сту барановъ;
но въ этомъ числѣ есть богачи, у которыхъ десятки
тысячъ овецъ и коней, и голыши, у которыхъ на
цѣлое семейство одна дойная коза и болѣе доходовъ
рѣшительно никакихъ; на козу эту вьючитъ цѣлое
семейство все имущество свое и питается молокомъ
ея—черезъ день и два, поочередно; это не сказка, а
быль.

Толпа народа, которую я описалъ, стояла на лѣ-
вомъ, азіатскомъ берегу Урала, неподалеку отъ орен-
бургскаго мѣнового двора; она подалась, при восклицаніи:
«караванъ идетъ!» нѣсколько шаговъ впередъ и обра-
тила вниманіе свое на стелющееся по степи облако
пыли. Въ тылу у зрителей былъ огромный каменный
мѣновой дворъ, коего стѣны безконечнаго протяженія,
казалось бы, готовы заключить въ себѣ всѣхъ верблю-
довъ Средней Азіи...

Позади мѣнового двора, верстахъ въ двухъ, на
томъ же лѣвомъ, пологомъ берегу Урала, зеленѣлась
роща, одна-одинехонька въ обширной степи; на
противоположномъ, крутомъ, европейскомъ берегу

рѣки, высилось нѣсколько каменныхъ зданій разрушающійся губернаторскій домъ, соборъ — а повыше, въ форштадтѣ, церковь Георгіевская, знаменитая тѣмъ, что Пугачевъ, во время приступа къ Оренбургу, употребилъ колокольню Георгіевскую вмѣсто барбета: онъ втащилъ на нее пушку, изъ которой стрѣлялъ, за неимѣніемъ снарядовъ, пятаками. Это обстоятельство, сказываютъ, хорошо помнитъ одинъ почтенный старецъ, котораго строгій, тогдашняго вѣка, отецъ, больно высѣкъ, чтобы восьмилѣтній ребенокъ, бѣгавшій безъ спросу собирать пятаки, помнилъ Пугачева. Такъ встарину сѣкли у насъ ребятишекъ на межѣ, чтобы они помнили грани.

Итакъ, вотъ, что было въ тылу зрителей; но что же было передъ ними, тамъ, куда обращены ихъ мысли, взоры и шаги? Я недавно услалъ къ своимъ видъ, снятый неискусною, но услужливою рукою, съ зауральской природы, сидя на вышкѣ оренбургскаго мѣнового двора, или, пожалуй, на крыльцѣ бывшаго губернаторскаго дома [1]), все равно; видомъ этимъ я служить не могу, потому что я его услалъ; но если вамъ угодно сдѣлать снимокъ, не имѣя подлинника, то возьмите въ руки перо или карандашъ, положите передъ собою большой листъ бумаги или склейте ихъ нѣсколько десятковъ вмѣстѣ; начните карандашемъ съ одного конца и ведите прямо, до другого края бумаги, а потомъ подпишите выше черты: *небо*, а ниже: *земля*; и я, не видавъ художественнаго произведенія вашего, скрѣплю: съ подлиннымъ вѣрно, приложу и руку и печать, или, пожалуй, тамгу, которая здѣсь, у насъ, занимаетъ мѣсто креста нашего безграмотнаго мужика, и къ коей мусульмане здѣшніе оказываютъ большое уваженіе, увѣряя, что самъ Чингизъ-ханъ роздалъ во

---

[1]) Выстроеннаго нынѣ вновь, на томъ же мѣстѣ.

всѣ роды и племена рукоприкладные знаки. Итакъ, мы познакомились съ видомъ въ зауральскую степь; справедливость требуетъ однакоже сказать, что такой печальный видъ степь представляетъ только, начиная отъ Оренбурга до взморья; Оренбургъ, по увѣренію нижниковъ, стоитъ мало выше океана; здѣсь-то и степь наша сама принимаетъ видъ сухого моря. Выше—мѣста разнообразнѣе, частію гористы и лѣсисты; но бѣдный Оренбургъ, перенесенный съ мѣста на мѣсто до трехъ разъ [1]), судьбы своей не миновалъ: онъ наконецъ таки расположился въ безлѣсной и голой пустынѣ.

Отдаленная пыль, ложащаяся клубомъ подъ вѣтеръ, постепенно приближалась къ зрителямъ; изъ ровной необозримой степи возникали движущіяся громады и, обманывая зрѣніе, казались не верблюдами, а огромными слонами. Марево, это обыкновенное въ степяхъ состояніе нижнихъ слоевъ воздуха въ жаркіе лѣтніе дни, показывающее все отдаленное въ превратномъ, безобразномъ видѣ и такъ часто обманывающее насъ призракомъ воды, — марево это и теперь превращало лошадей въ верблюдовъ, а верблюдовъ въ слоновъ. Это, какъ я упомянулъ, обыкновенное явленіе въ знойные, ясные лѣтніе дни; въ темную, весеннюю или осеннюю ночь, обширный кругъ зрѣнія, сливающійся съ отдаленнымъ небосклономъ, представляетъ здѣсь новое зрѣлище: васъ окружаетъ далекое, великолѣпное зарево, огненная полоса замыкаетъ предѣлы зрѣнія и ослѣпляетъ очи. Не мудрено, зазѣвавшись, остудиться въ это время и полетѣть съ оренбургскаго вала, съ котораго романтическое общество наше не-

---

[1]) Оренбургъ былъ первоначально заложенъ на мѣстѣ Орской крѣпости, потомъ перенесенъ туда, гдѣ нынѣ Красногорская, а наконецъ уже основанъ тамъ, гдѣ стоитъ и понынѣ.

рѣдко наслаждается этимъ зрѣлищемъ. Причиною зарева этого степные палы, пожары; весною и осенью зажигаютъ старую траву, пускаютъ палъ; земля удобряется золою, а зеленая трава пробивается скорѣе и гуще; старая трава, въ особенности ковыль, образуетъ толстую, непроницаемую кошму, и молодая травка не можетъ пробить ее свѣжими ростками. Гдѣ есть возможность выкашивать старую траву, палы вовсе не нужны; но и вообще, они дѣлаютъ столько же или еще болѣе зла, какъ добра: истребляютъ звѣря и птицу, которые водятся весною, и, что еще хуже, уничтожаютъ лѣса, скошенное сѣно, иногда хлѣбъ и даже стада и цѣлые аулы. Палы—главнѣйшая причина тому, что одни только жалкіе остатки лѣсовъ въ степи доказываютъ ихъ прежнее существованіе.

Но я опять уже покинулъ свой разсказъ и замололъ другое. Воротимся къ каравану. Нѣсколько вершниковъ, ѣздившихъ встрѣчать караванъ, по дѣлу или отъ бездѣлья, мчались по гладкой дорогѣ, на которой бы и лучшій уровень остался безъ дѣла, и наѣздничали вкругъ спѣшившихъ ихъ каретъ и колясокъ зрителей... Кареты и коляски, восклицаете вы, въ киргизской степи! Да, господа, такъ дѣло было; я этому не виноватъ; но, повторяю, такъ было и такъ бываетъ нынѣ и будетъ впередъ. Оренбургъ, въ которомъ съ каждаго перекрестка во всѣ четыре стороны виденъ крѣпостной валъ, вмѣщаетъ въ себѣ почти столько же рыбановъ и колымагъ, сколько числится въ городѣ малыхъ и большихъ домовъ. Куда на нихъ ѣздятъ? спросите вы; да мало ли куда: то за уголъ, то за другой—визитъ, дамскій визитъ, сами вы знаете, дѣло великое; а съ визитомъ не ходить же пѣшкомъ, да и не ѣздить же, упаси Богъ, и на дрожкахъ! Ей-ей, иногда бѣдному вершнику — фалетору, по-вашему — не куда дѣваться, такъ колымага напираетъ, такъ крутъ ново-

отъ отъ воротъ до воротъ — нужды нѣтъ: пошелъ
створкой! но зато, браниться бранись, а на миръ слово
окидай — зато оренбургскій карандасъ, или по-сим-
ирски тарантасъ, а также разлюли-долгуша—повозка
а долгихъ, зыбкихъ дрогахъ, самый удобный и вы-
одный снарядъ для ѣзды въ полѣ и въ дорогѣ; ломки
ало и опрокинуть его почти нельзя вовсе. На баш-
ирскихъ и казачьихъ лошадяхъ, съ лыковою упряжью,
о небитымъ дорогамъ, съ неуками лошадьми и куче-
ами, ѣздить въ колясках или даже въ бричкахъ —
ѣшительно невозможно. Но—караванъ нашъ уже тя-
ется канителью мимо зрителей: верблюды рычатъ,
едленно поворачиваютъ долговязыя шеи свои въ сто-
оны и разглядываютъ чуждаго для нихъ покроя лю-
ей: продѣтый въ носовой хрящъ шерстяной или во-
осяной арканъ, привязанный за хвостъ предшествую-
аго верблюда, напоминаетъ однакоже мечтателю, что
ри такомъ снарядѣ задумываться невыгодно; прикло-
ивъ и протянувъ журавлиную шею свою, дѣлаетъ онъ
ва, три перемета рысью и потомъ опять продолжаетъ
лавный, шаткій и валкій шагъ свой, и огромные тюки,
исящіе въ высокихъ, туго набитыхъ мѣшкахъ, по обѣ
ороны вьючнаго сѣдла, постоянно раскачиваются
ольшими разводами взадъ и впередъ. Такъ тянется
ерблюдъ за верблюдомъ, нѣсколько верстъ; легко рас-
есть, что походнымъ строемъ этимъ, гуськомъ, пой-
етъ ихъ на версту не съ большимъ сотни двѣ. Вер-
люды каждаго возчика-киргиза составляютъ неболь-
ое особое отдѣленіе; хозяинъ разъѣзжаетъ сбоку,
а конѣ, а иногда и сидитъ, какъ и работники его,
ополамъ съ кладью, на верблюдахъ, назначенныхъ
одъ собственный скарбъ, дрова и продовольствіе.
аждый шагъ этого подвижного амбара, который на-
ружается двумя батманами, 16-ю пудами, раскачиваетъ
кидаетъ сѣдока своего отъ горба: до гроба незавидная

ѣзда! килевую качку эту можетъ переносить равнодушно только привычный морякъ; иначе, не только укачаетъ любого, но, чего добраго, выломитъ изъ крестца поясницу! Чалмоносные хозяева товаровъ возсѣдаютъ обыкновенно, подобравъ ноги, въ люлькахъ, койкахъ или клѣткахъ, подвѣшенныхъ по обѣ стороны верблюда: мохнатый возчикъ, въ яргакѣ, въ мѣховой огромной шапкѣ, сидя на верблюдѣ между странно-образной клади своей, походитъ на какого-то лѣшаго или домового съ того свѣта. Проходя мимо васъ, кажется, отвѣшиваетъ онъ, на каждомъ шагу верблюда, по нижайшему поклону: не безпокойтесь, не откланивайтесь; онъ это дѣлаетъ нехотя, поневолѣ. По обѣ стороны поѣзда тянется рѣденькое карантинное прикрытіе, отрядецъ казаковъ, встрѣтившихъ караванъ въ нѣкоторомъ разстояніи отъ линіи: но въ головѣ каравана, на первомъ верблюдѣ, виситъ въ люлькѣ своей караванъ-баши, караванный голова. Это важнѣйшее и главное лицо цѣлаго явленія; онъ одинъ отвѣчаетъ за успѣхъ и неудачу избраннаго степного пути, который пролагаетъ вновь при каждомъ новомъ походѣ; онъ дѣлаетъ привалъ, роздыхъ, дневку, назначаетъ подъемъ, принимаетъ мѣры противу грабежа — которыя, впрочемъ, при неизъяснимой безпечности народовъ этихъ, состоятъ большею частію только въ томъ, что стараются избирать менѣе извѣстные пути, не проходить чрезъ враждебный родъ, а въ крайности откупаются отъ хищниковъ и никогда почти не защищаются, хотя всѣ, съ ногъ до головы, вооружены. Голова беретъ и перемѣняетъ, гдѣ нужно, вожаковъ, юлъ-баши, словомъ, онъ хозяинъ на походѣ, и весь караванъ у него въ безусловномъ повиновеніи. Дошедши до воротъ мѣнового двора, верблюдъ его припадаетъ на колѣни. Караванъ-баши слѣзаетъ и, подошедъ къ стоящимъ здѣсь таможеннымъ чиновникамъ, здоровается съ каж-

дымъ по-братски, принимая руку его въ обѣ ладони свои и кланяясь. Съ близкими, старыми знакомцами здороваются азіатцы наши, взявшись за обѣ руки и прижимая, взаимно и поочередно, руку друга къ сердцу своему.

Наконецъ, караванъ вступаетъ въ мѣновой дворъ. Верблюды идутъ въ проходной, складочный сарай, по-русски: пакгаузъ, по слову: чокъ! припадаютъ, ложатся, арканы развязываются, и огромные тюки и мѣшки сваливаются въ кучу. Глядя на эти груды или цѣлую гору товаровъ, которые доставлены изъ отдаленнаго края, изъ Хивы или Бухары, изъ Китайскаго Туркестана, доставлены съ трудомъ и усиліемъ, даже съ опасностію жизни, захотите вы узнать, какая это кладь? что за товары?—кашемирскія шали, которымъ нѣтъ цѣны? — восточные ковры, издѣліе, въ коемъ шелкъ поддѣланъ шерстью?—драгоцѣнные каменья? — алмазы, яхонты, бирюза? — по крайней мѣрѣ жемчугъ?... — однимъ словомъ, хотя что-нибудь подобное тому, что мы привыкли называть восточными товарами, что вывозятъ другіе народы изъ Азіи?—Ничего не бывало; это — стыдъ сказать, а грѣхъ утаить—но загляните на оренбургскій мѣновой дворъ, и вы увидите сами—это хламъ и дрязгъ, почти такой же, какъ вы сейчасъ видѣли на возчикахъ, на конвойныхъ, на байгушахъ; это стеганые бумажные халаты, гдѣ подбой и покрышка состоятъ изъ бязи, толстой и самой простой выбойки; халаты эти составляютъ не прихоть, не щегольство жителей здѣшнихъ, но вся линія, всѣ народы и сословія линейныхъ жителей носятъ каждодневно халаты эти, какъ русскій мужикъ свою сермягу. Далѣе: это войлоки, по здѣшнему, кошмы, — это толстыя бязи, выбойки, бумажныя одѣяла, самыя грубыя ткани и издѣлія, которыя, кажется, не стоятъ перевозки на сто верстъ, не только черезъ все про-

отсыпаютъ нерѣдко щедрою рукой за барана нѣсколько помадныхъ банокъ нюхательнаго табаку, да мѣрочку муки, пополамъ съ золою, съ известью и пескомъ; были и татары, промышляющіе шубами, тулупами, яргаками и шкурами, такіе же пройдохи, какъ и тѣ; было и нѣсколько человѣкъ, такъ называемыхъ конфетчиковъ, т. е. просто лавочниковъ, содержащихъ въ городѣ, въ частныхъ домахъ, плохія лавки, подъ названіемъ магазиновъ. Въ Оренбургѣ есть и гостиный дворъ, но это огромное зданіе болѣе походитъ на арестантскій дворъ или на монастырь; лавки всѣ обращены внутрь, а снаружи видны однѣ только стѣны; все глухо, пусто, мертво, и покупщики неохотно туда заходятъ. Въ толпѣ нашей были и казаки, коихъ, впрочемъ, можно было признать казаками только по навыку, по остаткамъ малиновыхъ лампасовъ, сквозящихся въ дыры подпоясаннаго полотенцемъ стеганаго халата; и тутъ же расхаживало и нѣсколько темно-зеленыхъ сюртуковъ не солдатскаго сукна, съ празелеными выпушками, съ мѣдными бляхами на груди... Это сердцевѣцы наши, отгадчики тайныхъ думъ и затѣй всякаго, кто взадъ или впередъ переходитъ рубежъ — они отгадываютъ по шапкѣ, — что въ головѣ, по головѣ, — что за пазухой! Впрочемъ, здѣсь нѣтъ утонченной образованности: мнѣ случилось однажды увидѣть опытъ киргиза пронести овчинный тулупъ безъ пошлины: онъ просто накинулъ его, среди знойнаго лѣта, на плеча, поверхъ двухъ халатовъ, заложенныхъ полами въ кожаные шаровары, и увѣрялъ, что онъ всегда такъ ходитъ.

Въ толпѣ, о которой говоримъ, поражаетъ новаго зрителя странность одежды и нарядовъ, а слушателя — общее употребленіе татарскаго языка. Тутъ видите вы многополосные халаты, желтые и красные кожаны, сшитые шерстью вверхъ кониные дахи и

ргаки, тутъ шапки невиданнаго покроя и неслыхан-
аго цвѣта; кожаные шаровары и армяки; и все это
ношено, изодрано—что и придаетъ цѣлому какой-то
естрый, махровый видъ. Но верхъ безобразія пред-
тавляютъ здѣсь собою жалкіе человѣко-твари — бай-
уши, киргизскіе нищіе: степные дикари эти нищаютъ
ѣлыми аулами и поколѣніями и гибнутъ голодомъ и
тужей безъ всякой надежды на помощь. Земляки
хъ, въ этомъ отношеніи, безжалостны, неумолимы.
олинейные кайсаки вообще такъ бѣдны, что на 20
ысячъ кибитокъ, зимующихъ отъ Гурьева до Звѣри-
оголовска, на протяженіи 1850 верстъ, считаютъ
ругомъ по пути душъ обоего пола на кибитку и
ритомъ только по семи головъ рогатаго скота, по
яти лошадей, по одному верблюду, по сту барановъ;
о въ этомъ числѣ есть богачи, у которыхъ десятки
ысячъ овецъ и коней, и голыши, у которыхъ на
ѣлое семейство одна дойная коза и болѣе доходовъ
ѣшительно никакихъ; на козу эту вьючитъ цѣлое
емейство все имущество свое и питается молокомъ
я—черезъ день и два, поочередно; это не сказка, а
ыль.

Толпа народа, которую я описалъ, стояла на лѣ-
омъ, азіатскомъ берегу Урала, неподалеку отъ орен-
ургскаго мѣнового двора; она подалась, при восклицаніи:
караванъ идетъ!» нѣсколько шаговъ впередъ и обра-
тила вниманіе свое на стелющееся по степи облако
ыли. Въ тылу у зрителей былъ огромный каменный
ѣновой дворъ, коего стѣны безконечнаго протяженія,
азалось бы, готовы заключить въ себѣ всѣхъ верблю-
овъ Средней Азіи...

Позади мѣнового двора, верстахъ въ двухъ, на
омъ же лѣвомъ, пологомъ берегу Урала, зеленѣлась
оница, одна-одинехонька въ обширной степи; на
ротивоположномъ, крутомъ, европейскомъ берегу

рѣки, высилось нѣсколько каменныхъ зданій разрушающійся губернаторскій домъ, соборъ — а повыше, въ форштадтѣ, церковь Георгіевская, знаменитая тѣмъ, что Пугачевъ, во время приступа къ Оренбургу, употребилъ колокольню Георгіевскую вмѣсто барбета: онъ втащилъ на нее пушку, изъ которой стрѣлялъ, за неимѣніемъ снарядовъ, пятаками. Это обстоятельство, сказываютъ, хорошо помнитъ одинъ почтенный старецъ, котораго строгій, тогдашняго вѣка, отецъ, больно высѣкъ, чтобы восьмилѣтній ребенокъ, бѣгавшій безъ спросу собирать пятаки, помнилъ Пугачева. Такъ встарину сѣкли у насъ ребятишекъ на межѣ, чтобы они помнили грани.

Итакъ, вотъ, что было въ тылу зрителей; но что же было передъ ними, тамъ, куда обращены ихъ мысли, взоры и шаги? Я недавно услалъ къ своимъ видъ, снятый неискусною, но услужливою рукою, съ зауральской природы, сидя на вышкѣ оренбургскаго мѣнового двора, или, пожалуй, на крыльцѣ бывшаго губернаторскаго дома [1]), все равно; видомъ этимъ я служить не могу, потому что я его услалъ; но если вамъ угодно сдѣлать снимокъ, не имѣя подлинника, то возьмите въ руки перо или карандашъ, положите передъ собою большой листъ бумаги или склейте ихъ нѣсколько десятковъ вмѣстѣ; начните карандашемъ съ одного конца и ведите прямо, до другого края бумаги, а потомъ подпишите выше черты: *небо*, а ниже: *земля*; и я, не видавъ художественнаго произведенія вашего, скрѣплю: съ подлиннымъ вѣрно, приложу и руку и печать, или, пожалуй, тамгу, которая здѣсь, у насъ, занимаетъ мѣсто креста нашего безграмотнаго мужика, и къ коей мусульмане здѣшніе оказываютъ большое уваженіе, увѣряя, что самъ Чингизъ-ханъ роздалъ во

---

1) Выстроеннаго нынѣ вновь, на томъ же мѣстѣ.

всѣ роды и племена рукоприкладные знаки. Итакъ, вы познакомились съ видомъ въ зауральскую степь; справедливость требуетъ однакоже сказать, что такой печальный видъ степь представляетъ только, начиная отъ Оренбурга до взморья; Оренбургъ, по увѣренію книжниковъ, стоитъ мало выше океана; здѣсь-то и степь наша сама принимаетъ видъ сухого моря. Выше—мѣста разнообразнѣе, частію гористы и лѣсисты; но бѣдный Оренбургъ, перенесенный съ мѣста на мѣсто до трехъ разъ [1]), судьбы своей не миновалъ: онъ наконецъ таки расположился въ безлѣсной и голой пустынѣ.

Отдаленная пыль, ложащаяся клубомъ подъ вѣтеръ, постепенно приближалась къ зрителямъ; изъ ровной необозримой степи возникали движущіяся громады и, обманывая зрѣніе, казались не верблюдами, а огромными слонами. Марево, это обыкновенное въ степяхъ состояніе нижнихъ слоевъ воздуха въ жаркіе лѣтніе дни, показывающее все отдаленное въ превратномъ, безобразномъ видѣ и такъ часто обманывающее насъ призракомъ воды, — марево это и теперь превращало лошадей въ верблюдовъ, а верблюдовъ въ слоновъ Это, какъ я упомянулъ, обыкновенное явленіе въ знойные, ясные лѣтніе дни; въ темную, весеннюю или осеннюю ночь, обширный кругъ зрѣнія, сливающійся съ отдаленнымъ небосклономъ, представляетъ здѣсь новое зрѣлище: васъ окружаетъ далекое, великолѣпное зарево, огненная полоса замыкаетъ предѣлы зрѣнія и ослѣпляетъ очи. Не мудрено, зазѣвавшись, оступиться въ это время и полетѣть съ оренбургскаго вала, съ котораго романтическое общество наше не-

---

1) Оренбургъ былъ первоначально заложенъ на мѣстѣ Орской крѣпости, потомъ перенесенъ туда, гдѣ нынѣ Красногорская, а наконецъ уже основанъ тамъ, гдѣ стоитъ и понынѣ.

рѣдко наслаждается этимъ зрѣлищемъ. Причиною зарева этого степные палы, пожары; весною и осенью зажигаютъ старую траву, пускаютъ палъ; земля удобряется золою, а зеленая трава пробивается скорѣе и гуще; старая трава, въ особенности ковыль, образуетъ толстую, непроницаемую кошму, и молодая травка не можетъ пробить ее свѣжими ростками. Гдѣ есть возможность выкашивать старую траву, палы вовсе не нужны; но и вообще, они дѣлаютъ столько же или еще болѣе зла, какъ добра: истребляютъ звѣря и птицу, которые водятся весною, и, что еще хуже, уничтожаютъ лѣса, скошенное сѣно, иногда хлѣбъ и даже стада и цѣлые аулы. Палы—главнѣйшая причина тому, что одни только жалкіе остатки лѣсовъ въ степи доказываютъ ихъ прежнее существованіе.

Но я опять уже покинулъ свой разсказъ и замололъ другое. Воротимся къ каравану. Нѣсколько вершниковъ, ѣздившихъ встрѣчать караванъ, по дѣлу или отъ бездѣлья, мчались по гладкой дорогѣ, на которой бы и лучшій уровень остался безъ дѣла, и наѣздничали вкругъ спѣшившихъ ихъ каретъ и колясокъ зрителей... Кареты и коляски, восклицаете вы, въ киргизской степи! Да, господа, такъ дѣло было; я этому не виноватъ; но, повторяю, такъ было и такъ бываетъ нынѣ и будетъ впередъ. Оренбургъ, въ которомъ съ каждаго перекрестка во всѣ четыре стороны виденъ крѣпостной валъ, вмѣщаетъ въ себѣ почти столько же рыдвановъ и колымагъ, сколько числится въ городѣ малыхъ и большихъ домовъ. Куда на нихъ ѣздятъ? спросите вы; да мало ли куда: то за уголъ, то за другой—визитъ, дамскій визитъ, сами вы знаете, дѣло великое; а съ визитомъ не ходить же пѣшкомъ, да и не ѣздить же, упаси Богъ, и на дрожкахъ! Ей-ей, иногда бѣдному вершнику — фалетору, по-вашему — не куда дѣваться, такъ колымага напираетъ, такъ крутъ ново-

тъ отъ воротъ до воротъ — нужды нѣтъ: пошелъ
тверкой! но зато, браниться бранись, а на миръ слово
кидай — зато оренбургскій карандасъ, или по-сим-
рски тарантасъ, а также разлюли-долгуша—повозка
долгихъ, зыбкихъ дрогахъ, самый удобный и вы-
дный снарядъ для ѣзды въ полѣ и въ дорогѣ; ломки
ло и опрокинуть его почти нельзя вовсе. На баш-
рскихъ и казачьихъ лошадяхъ, съ лыковою упряжью,
небитымъ дорогамъ, съ неуками лошадьми и куче-
ми, ѣздить въ коляскахъ или даже въ бричкахъ —
бшительно невозможно. Но—караванъ нашъ уже тя-
тся канителью мимо зрителей: верблюды рычатъ,
дленно поворачиваютъ долговязыя шеи свои въ сто-
оны и разглядываютъ чуждаго для нихъ покроя лю-
ей: продѣтый въ носовой хрящъ шерстяной или во-
сяной арканъ, привязанный за хвостъ предшествую-
аго верблюда, напоминаетъ однакоже мечтателю, что
ри такомъ снарядѣ задумываться невыгодно; прикло-
ивъ и протянувъ журавлиную шею свою, дѣлаетъ онъ
а, три перемета рысью и потомъ опять продолжаетъ
авный, шаткій и валкій шагъ свой, и огромные тюки,
сящіе въ высокихъ, туго набитыхъ мѣшкахъ, по обѣ
стороны вьючнаго сѣдла, постоянно раскачиваются
ольшими разводами взадъ и впередъ. Такъ тянется
рблюдъ за верблюдомъ, нѣсколько верстъ; легко рас-
есть, что походнымъ строемъ этимъ, гуськомъ, пой-
тъ ихъ на версту не съ большимъ сотни двѣ. Вер-
люды каждаго возчика-киргиза составляютъ неболь-
ое особое отдѣленіе; хозяинъ разъѣзжаетъ сбоку,
конѣ, а иногда и сидитъ, какъ и работники его,
поломъ съ кладью, на верблюдахъ, назначенныхъ
одъ собственный скарбъ, дрова и продовольствіе.
аждый шагъ этого подвижного амбара, который на-
ружается двумя батманами, 16-ю пудами, раскачиваетъ
кидаетъ сѣдока своего отъ горба: до гроба незавидная

ѣзда! килевую качку эту можетъ переносить равнодушно только привычный морякъ; иначе, не только укачаетъ любого, но, чего добраго, выломитъ изъ крестца поясницу! Чалмоносные хозяева товаровъ воссѣдаютъ обыкновенно, подобравъ ноги, въ люлькахъ, койкахъ или клѣткахъ, подвѣшенныхъ по обѣ стороны верблюда: мохнатый возчикъ, въ яргакѣ, въ мѣховой огромной шапкѣ, сидя на верблюдѣ между странно-образной клади своей, походитъ на какого-то лѣшаго или домового съ того свѣта. Проходя мимо васъ, кажется, отвѣшиваетъ онъ, на каждомъ шагу верблюда, по нижайшему поклону: не безпокойтесь, не откланивайтесь; онъ это дѣлаетъ нехотя, поневолѣ. По обѣ стороны поѣзда тянется рѣденькое карантинное прикрытіе, отрядецъ казаковъ, встрѣтившихъ караванъ въ нѣкоторомъ разстояніи отъ линіи: но въ головѣ каравана, на первомъ верблюдѣ, виситъ въ люлькѣ своей караванъ-баши, караванный голова. Это важнѣйшее и главное лицо цѣлаго явленія; онъ одинъ отвѣчаетъ за успѣхъ и неудачу избраннаго степного пути, который пролагаетъ вновь при каждомъ новомъ походѣ; онъ дѣлаетъ привалъ, роздыхъ, дневку, назначаетъ подъемъ, принимаетъ мѣры противу грабежа — которыя, впрочемъ, при неизъяснимой безпечности народовъ этихъ, состоятъ большею частію только въ томъ, что стараются избирать менѣе извѣстные пути, не проходить чрезъ враждебный родъ, а въ крайности откупаются отъ хищниковъ и никогда почти не защищаются, хотя всѣ, съ ногъ до головы, вооружены. Голова беретъ и перемѣняетъ, гдѣ нужно, вожаковъ, юлъ-баши, словомъ, онъ хозяинъ на походѣ, и весь караванъ у него въ безусловномъ повиновеніи. Дошедши до воротъ мѣнового двора, верблюдъ его припадаетъ на колѣни. Караванъ-баши слѣзаетъ и, подошедъ къ стоящимъ здѣсь таможеннымъ чиновникамъ, здоровается съ каж-

ымъ по-братски, принимая руку его въ обѣ ладони свои и кланяясь. Съ близкими, старыми знакомцами здороваются азіатцы наши, взявшись за обѣ руки и прижимая, взаимно и поочередно, руку друга къ сердцу своему.

Наконецъ, караванъ вступаетъ въ мѣновой дворъ. Верблюды идутъ въ проходной, складочный сарай, по-русски: пакгаузъ, по слову: чокъ! припадаютъ, ложатся, арканы развязываются, и огромные тюки и мѣшки сваливаются въ кучу. Глядя на эти груды или цѣлую гору товаровъ, которые доставлены изъ отдаленнаго края, изъ Хивы или Бухары, изъ Китайскаго Туркестана, доставлены съ трудомъ и усиліемъ, даже съ опасностію жизни, захотите вы узнать, какая это кладь? что за товары?—кашемирскія шали, которымъ нѣтъ цѣны? — восточные ковры, издѣліе, въ коемъ шелкъ поддѣланъ шерстью?—драгоцѣнные каменья? — алмазы, яхонты, бирюза? — по крайней мѣрѣ жемчугъ?... — однимъ словомъ, хотя что-нибудь подобное тому, что мы привыкли называть восточными товарами, что вывозятъ другіе народы изъ Азіи?—Ничего не бывало; это — стыдъ сказать, а грѣхъ утаить—но загляните на оренбургскій мѣновой дворъ, и вы увидите сами—это хламъ и дрязгъ, почти такой же, какъ вы сейчасъ видѣли на возчикахъ, на конвойныхъ, на байгушахъ; это стеганые бумажные халаты, гдѣ подбой и покрышка состоятъ изъ бязи, толстой и самой простой выбойки; халаты эти составляютъ не прихоть, не щегольство жителей здѣшнихъ, но вся линія, всѣ народы и сословія линейныхъ жителей носятъ каждодневно халаты эти, какъ русскій мужикъ свою сермягу. Далѣе: это войлоки, по здѣшнему, кошмы, — это толстыя бязи, выбойки, бумажныя одѣяла, самыя грубыя ткани и издѣлія, которыя, кажется, не стоятъ перевозки на сто верстъ, не только черезъ все про-

странство степей Турана. Нѣсколько мѣшковъ урюку, али бохары, фисташекъ, манны, вяленыхъ полосокъ дынь въ плетешкахъ, что все извѣстно вообще подъ именемъ кунакъ-ашъ, гостинца для пріятелей, и все это перегажено шерстью, пылью и всякою нечистью; наконецъ видите вы и нѣсколько хлопчатой и прядеиой бумаги,—и вотъ все. И по всей оренбургской линіи то же, и вотъ, въ чемъ состоитъ весь торгъ нашъ съ сосѣднею Азіей!

Замѣтимъ еще и то, что русскіе вовсе не ходятъ съ караванами въ Среднюю Азію: торговля эта принадлежитъ исключительно безтолковымъ, безрасчетливымъ и безмѣрно корыстолюбивымъ мусульманамъ. Русскій изворотливъ, смѣтливъ, предпріимчивъ и переимчивъ у себя, дома; но караванная и морская торговля— не его рука. На Каспійскомъ морѣ нѣтъ ни одного русскаго торговаго судна; всѣ суда, за исключеніемъ рыбопромышленныхъ, принадлежатъ персіянамъ, армянамъ, татарамъ, но только не русскимъ. По всей оренбургской линіи нѣтъ ни одного почетнаго торговаго дома; есть такъ называемые богатые купцы, но они дѣйствуютъ какъ прасолы базарные, какъ торговки [1]). Такъ называемые купцы здѣшніе берутся за мѣну и торговлю почти тогда только, если увѣрены получить по пяти рублей на полтину или около того: они даютъ киргизу зимою хлѣба или товаровъ на 50 рублей, засчитываютъ ему это за сто, обязуютъ поставить весною за это сотню ягнятъ, поручаютъ ихъ для прокормленія, для паствы, ему же, принимаютъ осенью, въ условленномъ мѣстѣ линіи, сотню жирныхъ бара-

---

1) Можетъ быть, ихъ и нельзя слишкомъ обвинять въ этомъ: обстоятельства и отношенія таковы. Покуда торговля будетъ въ рукахъ азіатцевъ и не будетъ здѣсь значительнаго торговаго общества, всѣ старанія и благія мѣры правительства тщетны.

новъ, отдаютъ ихъ въ стрижку даромъ, изъ шерсти, гонятъ на Волгу, бьютъ на сало и выручаютъ 12—16 рублей за барана, а мясо и шкура опять не входятъ въ счетъ. Это образчикъ мѣнового торга съ кайсаками, и не лучше этого живетъ и торговля караванная. Но возвратимся къ своему предмету.

Караванъ пришелъ. Нѣкоторые бухарцы отправились въ городъ, къ общему пріятелю и земляку своему, титулярному совѣтнику Хаджи Назарбаю; большая ихъ часть осталась на мѣновомъ дворѣ. Въ это время у воротъ мѣнового двора, на степной сторонѣ, произошелъ шумъ: два конные киргиза довольно жарко спорили между собой; одинъ изъ нихъ былъ одѣтъ чище и лучше всѣхъ, доселѣ нами виданныхъ: вмѣсто рубахи былъ на немъ, какъ водится, легкій бумажный халатъ; шаровары малиноваго бархата, съ золотымъ шитьемъ; зеленые сапоги, изъ ослиной чешуйчатой кожи—chagrin—съ окованными серебромъ закаблучьями, со вздернутыми носками и даже со вставленными въ концѣ ихъ кожаными хвостиками или косичками; сверхъ халата синій бархатный чекмень халатнаго покроя, съ косымъ воротомъ, обшитымъ узенькими галунами, кожаный тисненый поясъ, съ привѣшеннымъ той же работы карманомъ и съ ножемъ; огнива, этой необходимой принадлежности калмыцкаго пояса, кайсаки обыкновенно не носятъ, потому что трубокъ не курятъ: въ этомъ отношеніи мусульмане здѣшніе вообще составляютъ родъ раскола; курить, какъ увѣряютъ они, запрещается у нихъ закономъ, который порицаетъ всякую роскошь и излишества. Вотъ почему послѣднее посольство наше въ Бухарію не совсѣмъ удачно избрало подарки свои для хана: хрустальные кальяны не могли быть имъ приняты, потому что онъ, какъ богомольный человѣкъ, не хотѣлъ подать такого соблазна народу. Впрочемъ, въ цѣломъ Туранѣ

и даже въ самой Бухарѣ курятъ, украдкою и утайкой, много; но бьютъ за это на базарѣ жестоко, если поймаютъ съ поличнымъ.

На бритой головѣ помянутаго мною молодца была небольшая остроконечная, какъ воронка, тюбетея, опушенная выдрой, а сверхъ тюбетеи бархатная алая высокая шапка, колпакъ, съ позументами по швамъ, съ распоротыми съ двухъ концовъ и загнутыми въ четыре хвостика кверху полями; кромѣ этого, кайсакъ этотъ былъ въ полномъ вооруженіи: копье трехгранное, съ насѣчкою, на украшенномъ цвѣтной рѣзьбою длинномъ копеищѣ; за плечами ружье, коего оправленные въ сайгачьи рога ражки выказывались изъ-за лѣваго плеча; за поясомъ пистолетъ въ оправѣ, на поясѣ чеканъ, айбалта, родъ топора на длинномъ топорищѣ. Такое полное вооруженіе на кайсакѣ весьма замѣчательно, тѣмъ болѣе, что пріѣзжающіе къ мѣновому двору должны миновать Новоилецкую или Бердяно-куралинскую линію, гдѣ оружіе отбирается. Но какъ Бикей находился собственно при караванѣ, гдѣ и возчики и купцы всегда бываютъ болѣе или менѣе вооружены, то при немъ и были оставлены доспѣхи. Не менѣе достойно замѣчанія полное и исправное вооруженіе нашего пріятеля; обыкновенно на сотню вооруженныхъ киргизовъ едва придется по нѣскольку самопаловъ, ружей безъ замковъ, съ фитилями; прочіе всѣ вооружены плохими копьями да чеканами. Порядочное ружье или пистолетъ доставляетъ хозяину своему уваженіе цѣлаго аула. Луковъ и стрѣлъ сами киргизы не дѣлаютъ, а достаютъ ихъ иногда у башкировъ или изъ Индіи, Персіи, Кабула, черезъ Бухарію. Сабли носятъ только почетные. Со временъ незапамятныхъ хранится кой у кого кольчуга и шлемъ; и доспѣхи эти даютъ уже хозяину полное право называться богатыремъ.

Обращаясь къ разсказу, я прошу читателей замѣтить стоящаго передъ нами всадника: мы съ нимъ еще не разъ и не два столкнемся: это Бикей, сынъ Исяньгильдія, глава киргизскаго прикрытія, которое, состоя изъ таинцевъ, охраняло караванъ отъ грабежей родовъ: Чумекей и Джагалбай. По дружбѣ съ караванъ-башемъ, который былъ, какъ обыкновенно, чиклинецъ, Бикей проводилъ его вплоть до мѣнового двора, хотя дружина и разбрелась уже за переходъ или два въ степи.

Бикей Исяньгильдіевъ былъ одинъ изъ старшинъ отдѣленія Гасанъ рода Тана. Отецъ его, Исяньгильди Янмурзинъ, съ почетнымъ прозваніемъ Аксакалъ, Бѣлая борода, былъ богатѣйшій изъ оренбургскихъ киргизовъ и управлялъ уже слишкомъ 10 лѣтъ таинцами, и именно, отдѣленіемъ Гасанъ, которое было извѣстно спокойствіемъ и благосостояніемъ своимъ съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ, отдѣлившись отъ земляковъ своихъ, составляющихъ большую часть внутренней, Букеевской орды, снова перекочевало за Уралъ, постоянно занимая часть лѣваго берега его, противу станицъ нижнеуральской линіи. Миролюбивый Исяньгильди умѣлъ избѣгать гибельной баранты, которая не обогатила еще ни одного рода киргизскаго, хотя и обратила цѣлые аулы въ байгушей, въ нищихъ; старикъ всегда старался держаться кочевьемъ своимъ по близости линіи, не сообщался съ неблагонамѣренными, отдаленными родами и нерѣдко прекращалъ благоразуміемъ случайныя ссоры однородцевъ своихъ съ сосѣдями, задабривая ихъ обоюдно небольшими подарками изъ собственныхъ стадъ и табуновъ. Впрочемъ, Исяньгильдію не мудрено было быть и тароватымъ; у него, какъ вѣдомо тѣмъ, которые были знакомы въ то время со степью, у него было болѣе десяти тысячъ однѣхъ лошадей, не считая овецъ, верблюдовъ и рогатаго

скота. Нѣкоторые увѣряютъ, что это преувеличено, что у Исяньгильди не было болѣе восьми тысячъ коней; другіе, что было до двѣнадцати. Помиримся на половинѣ, и этого, кажется, будетъ довольно. Исяньгильди былъ первый или одинъ изъ первыхъ богачей въ степи,—это безспорно.

Но отецъ не ладилъ съ сыномъ; благоразумный и почтенный, чужими и своими уважаемый Исяньгильди-Аксакалъ — не ладилъ съ младшимъ сыномъ своимъ,— умнымъ, бойкимъ, славнымъ молодечествомъ и добротою души Бикеемъ! И отчего бы это? Такъ нерѣдко бываетъ на свѣтѣ, други; подите и разберите ихъ, кто правъ, кто виноватъ,—или дайте мнѣ досказать и судите сами. Скажу теперь только еще, что Бикея уже нѣтъ, а девяносто-лѣтній Исянгильди нерѣдко и понынѣ [1]) качаетъ головой и нашептываетъ *ля иллях иляллах*,—поминая сына, который нѣкогда, въ юности своей, былъ его любимцемъ.

Султанъ Кусябъ Гали, старшина одной изъ дистанцій понизовыхъ кайсаковъ, принадлежащихъ къ западной части орды султана-правителя Бай-Мохаммеда Айчувакова, Кусябъ Гали сидитъ теперь у меня; и между тѣмъ какъ онъ, протягивая руку за разставленною передъ нимъ на тарелочкахъ закускою, спрашиваетъ за каждымъ кусочкомъ у общаго нашего пріятеля, у муллы: *халялъ* или *харамъ* (тоже что у евреевъ коширъ и трефъ), и мулла мой не позволяетъ ему ѣсть ни копченаго медвѣдя, ни заячьихъ полотковъ, не позволяетъ также носить щелковой рубахи, увѣряя, что это прямо и ясно запрещено кораномъ,— между тѣмъ, говорю, хочу пересказать вамъ то, что султанъ Кусябъ мнѣ говорилъ о причинѣ глубокой вражды отца и сына; а султанъ Кусябъ женатъ на

[1]) Писано въ 1853 году.

родной сестрѣ Бикея, на дочери Исянгильдія, слѣдовательно, дѣло ему извѣстно.

У старика Исянгильдія было три жены, а отъ каждой жены по нѣскольку дѣтей. Онъ просваталъ одну изъ дочерей отъ перваго брака за кайсака Байбактынскаго рода, отдѣленія Игусагатъ, но она умерла еще невѣстой, и женихъ потребовалъ возврата калыма. Обычай велитъ возвращать жениху калымъ по смерти невѣсты въ томъ только случаѣ, если женихъ ее не навѣщалъ еще въ аулѣ отцовскомъ; въ противномъ случаѣ, женихъ лишается калыма или той части его, которую уже выплатилъ. Надобно полагать, что нареченный зять Исянгильдія имѣлъ право требовать возврата калыма, ибо мать умершей, не имѣя другой родной дочери въ наличности и не желая выдавать благопріобрѣтеннаго, уломала старика Исянгильдія отдать Байбактынцу, въ зачетъ умершей, одну изъ дочерей второго брака, такъ сказать, падчерицу свою, ибо второй жены Исянгильдія въ то время уже не было въ живыхъ. Несправедливое дѣло это состоялось, изъ этого мы видимъ, что, какъ говорится, и правда живетъ часомъ кривдою, и что жены вездѣ и всегда—не въ примѣръ будь сказано—изъ мужей своихъ подъ старость веревки вьютъ. Старикъ Исянгильди, слывшій мудрымъ и справедливымъ, когда судилъ и рядилъ чужую расправу, въ собственномъ своемъ дѣлѣ погрѣшилъ и покривилъ, а потомъ уже сознаться и исправить бѣды не хотѣлъ. Итакъ, отдали птенца изъ второго гнѣзда, а калымъ за него остался въ первомъ; вотъ начальная причина всѣхъ бѣдъ. Бикей выросъ, возмужалъ и, считая себя заступникомъ и опекуномъ одногнѣздовъ своихъ, лишившихся матери, сталъ требовать ихъ достояніе. «Вы продали сестру мою», говорилъ онъ, «не какъ невѣсту, но какъ *кулъ-кез* или *джясырь*, какъ рабыню; вы не взяли почетнаго калыма,

для пріобщенія его къ достоянію ея семейства, то есть къ семьѣ второго гнѣзда или брака, но вы отдали ее, какъ отдаютъ *кяфыра*, невѣрнаго, за сотню барановъ, а верблюда за полтора десятка, и раздѣлили добычу утайкою между собою, какъ тати; или подайте намъ весь калымъ сестры моей, или отдайте одну изъ двухъ дѣвокъ, дочерей перваго брака, которыя теперь подросли, и мы найдемъ ей жениха, отдадимъ ее за калымъ и будемъ квиты». Отецъ отвѣчалъ на это угрозами: старикъ привыкъ къ покорности и повиновенію. Мачиха натравливала его на Бикея, а двое старшихъ сыновей ея, взрослыхъ, возмужалыхъ, ожидавшихъ со дня на день выдѣлки, приняли, какъ само собой разумѣется, сторону отца.

Если знать коротко бытъ степныхъ кайсаковъ, если войти въ обычаи и понятія ихъ, то можно и должно оправдать Бикеи. Тамъ, гдѣ многоженство бываетъ причиною всегдашнихъ семейныхъ раздоровъ, гдѣ временная владычица надъ волею, умомъ и сердцемъ господина своего пользуется властію своею всегда къ накладу прочихъ,—тамъ птенцы одного гнѣздышка прижимаются ближе другъ къ другу и заключаютъ противу прочихъ оборонительный и наступательный союзъ; съ-издѣтства уже привыкаютъ они видѣть въ матери родной заступницу, а въ другихъ женахъ отцовскихъ клеветницъ и безжалостныхъ притѣснительницъ; въ отцѣ—неумолимаго, безразсуднаго карателя, отъ грозной руки коего уклониться можно только обманомъ, новою клеветою и доносомъ или, возмужавъ, открытою силой. Никогда мусульманинъ не чтитъ мать свою, не считаетъ обязанностію ей повиноваться: онъ видитъ въ ней ту же рабыню, то же жалкое существо, созданное для нуждъ и прихотей отца, которое видитъ и во всѣхъ другихъ женщинахъ; какими же глазами долженъ онъ смотрѣть на прочихъ женъ от-

ковскихъ, на сожительницъ его, которыя живутъ и промышляютъ однѣми только кознями, сплетнями, къ накладу цѣлаго семейства?—Здѣсь наше мѣрило нравственности не прилагаемо, не примѣняемо: закоснѣлое невѣжество и тупое изувѣрство требуютъ иного изученія и приложенія. А отдать дѣвку замужъ безъ калыма, кромѣ утраты черезъ это законнаго достоянія, почитается сверхъ того величайшимъ безчестіемъ. Вотъ какъ надобно смотрѣть на дѣйстія Бикея и вообще на цѣлое происшествіе. Многоженство мусульманъ всегда бываетъ поводомъ къ раздорамъ семейнымъ, которые можетъ переносить равнодушно только закоснѣлая въ исламизмѣ душа. Въ оренбургскомъ краѣ есть много семей татаръ, башкировъ и тептерей, въ которыхъ благоразумные дѣды и прадѣды, испытавъ горе это на себѣ, священнымъ заклятіемъ на смертномъ одрѣ своемъ постановили, чтобы потомки ихъ всегда довольствовались одною только супругою, и завѣщаніе это обыкновенно соблюдается строго. Всѣ почти мусульмане соглашаются въ томъ, что это лучше; но соблазнъ великъ, и люди, какъ всегда и вездѣ, говорятъ одно, а дѣлаютъ другое.

Бикей, котораго мы покинули, когда онъ перебранивался съ двумя всадниками, неподалеку отъ мѣнового двора, повернулъ круто коня отъ двухъ братьевъ своихъ, которые, узнавъ, что онъ провожалъ изъ глубины степи караванъ хивинскій, пріѣхали тунеядцами требовать отъ него дѣлежа честно пріобрѣтеной имъ платы, — повернулъ, и отвѣчалъ на угрозы ихъ: донести отцу о причинѣ самовольной отлучки его въ степь, что онъ, еще въ зыбкѣ лежа, потянулся и разломалъ ее, а нынѣ уже и самъ собирается строить колыбель будущему сыну своему! Надобно знать, что у киргизовъ всякій мужъ долженъ припасать дѣтскую зыбку вновь, для каждаго новорожденнаго своего,

языкомъ изложенныя, трогаютъ и сокрушаютъ въ холѣ и довольствѣ проживающаго читателя и заставляютъ призадуматься надъ тѣмъ, что мы называемъ обыкновенно судьбою человѣка. Письмо было писано на вылощенной русской бумагѣ приготовленною на клею сажею, вмѣсто чернилъ; свернуто трубкою, измято во множествѣ переломовъ; зашито въ ветошку и во многихъ мѣстахъ протерто, такъ что иныхъ словъ даже нельзя было и разобрать.

Писатели извинялись невѣдѣніемъ приказнаго порядка, какъ писать просьбы большимъ сановникамъ; говорили, что не только не могли довѣдаться объ имени и отчествѣ военнаго губернатора, или вообще о томъ, кто нынѣ представитель главнаго пограничнаго начальства, но недавно только узнали, отъ новыхъ плѣнниковъ русскихъ, на рыбномъ промыслѣ Эмбенскаго участка Каспійскаго моря захваченныхъ, что въ землѣ русской воцарился новый Государь; приносили благодарность за доставленіе имъ, съ прошлогоднимъ караваномъ, двухсотъ серебряныхъ крестовъ и пяти евангелій и молили о присылкѣ еще до тысячи, хотя бы то и мѣдныхъ, крестовъ и нѣсколькихъ священныхъ книгъ: Евангелія, Четьи-минеи и Требника; горько оплакивали рабство свое, въ которомъ, нагіе и босые, холодные и голодные, маялись они на тяжкой земляной работѣ, подвергаемые непрестаннымъ побоямъ, единственно, дабы помнили о рабствѣ своемъ и не имѣли бы ни силъ, ни досуга помышлять о чемъ-либо иномъ; сказывали, что въ хивинскомъ юртѣ (ханствѣ, владѣніи) бываетъ по одному разу въ годъ, послѣ рамазана, праздникъ, называемый кулъ-байрамъ,—пиръ рабовъ, на который всѣ безъ исключенія невольники имѣютъ право приходить и гулять на свои собственныя деньги и на пожертвованные жителями припасы: при каковомъ случаѣ и сочтено, что однихъ русскихъ

плѣнниковъ, не считая персіянъ и другихъ иновѣрцевъ, находится въ Хивѣ до 2000 человѣкъ; въ заключеніе, просили помощи, сами не зная какой, сказывали, что неурожай послѣднихъ годовъ вогналъ пудъ муки въ тилла, то есть до 16 рублей; что они гибнутъ голодомъ, особенно старики, которые, пробывъ въ плѣну и тяжкой работѣ лѣтъ 40 и болѣе, нынѣ, при дряхлости своей, брошены хозяевами, по случаю дороговизны, безъ всякаго призрѣнія, на произволъ судьбы; называли себя напрасно и невинно страждущими вѣрноподданными Бѣлаго Царя, христіанами, погибающими въ рукахъ невѣрныхъ масурманъ: слово, составленное писцомъ вѣроятно изъ басурманъ и мусульманъ; поручали себя и души свои молитвамъ единовѣрцевъ своихъ и пребывали, по отпускѣ письма сего, во ожиданіи великихъ милостей, богомольцами; за симъ слѣдовало десятка два различныхъ подписей, и при каждой прежнее званіе и родина плѣнника, напримѣръ, казаки Островной станицы: Павелъ Зайцевъ съ сыномъ, астраханскій мѣщанинъ Егоръ Щукинъ, служащій казакъ Иванъ Печоркинъ, отставной солдатъ Андрей Ереминъ и другіе.

Изъ списка, составленнаго по всѣмъ свѣдѣніямъ, которыя только могло собрать оренбургское пограничное начальство, видно, что съ 1758 по 1832 годъ увлечено въ плѣнъ киргизъ-кайсаками съ оренбургской линіи 3797 человѣкъ; а слѣдовательно, среднимъ числомъ около 52 человѣкъ на годъ. Изъ этого числа возвращено, отбито, выкуплено и бѣжало, въ теченіе 73 лѣтъ, всего 1154 человѣка. Самый счастливый для насъ годъ былъ 1830, въ теченіе коего не похищено ни одного человѣка; самый бѣдственный 1774, гдѣ увлечено 1380 человѣкъ; читатели замѣтятъ, что это было смутное время, послѣдовавшее бѣгству калмыковъ съ приволжскихъ степей и разбоямъ Емельки Пуга-

языкомъ изложенныя, трогаютъ и сокрушаютъ въ холѣ и довольствѣ проживающаго читателя и заставляютъ призадуматься надъ тѣмъ, что мы называемъ обыкновенно судьбою человѣка. Письмо было писано на вылощенной русской бумагѣ приготовленною на клею сажею, вмѣсто чернилъ; свернуто трубкою, измято во множествѣ переломовъ; зашито въ ветошку и во многихъ мѣстахъ протерто, такъ что иныхъ словъ даже нельзя было и разобрать.

Писатели извинялись невѣдѣніемъ приказнаго порядка, какъ писать просьбы большимъ сановникамъ; говорили, что не только не могли довѣдаться объ имени и отчествѣ военнаго губернатора, или вообще о томъ, кто нынѣ представитель главнаго пограничнаго начальства, но недавно только узнали, отъ новыхъ плѣнниковъ русскихъ, на рыбномъ промыслѣ Эмбенскаго участка Каспійскаго моря захваченныхъ, что въ землѣ русской воцарился новый Государь; приносили благодарность за доставленіе имъ, съ прошлогоднимъ караваномъ, двухсотъ серебряныхъ крестовъ и пяти евангелій и молили о присылкѣ еще до тысячи, хотя бы то и мѣдныхъ, крестовъ и нѣсколькихъ священныхъ книгъ: Евангелія, Четьи-минеи и Требника; горько оплакивали рабство свое, въ которомъ, нагіе и босые, холодные и голодные, маялись они на тяжкой земляной работѣ, подвергаемые непрестаннымъ побоямъ, единственно, дабы помнили о рабствѣ своемъ и не имѣли бы ни силъ, ни досуга помышлять о чемъ-либо иномъ; сказывали, что въ хивинскомъ юртѣ (ханствѣ, владѣніи) бываетъ по одному разу въ годъ, послѣ рамазана, праздникъ, называемый кулъ-байрамъ,—пиръ рабовъ, на который всѣ безъ исключенія невольники имѣютъ право приходить и гулять на свои собственныя деньги и на пожертвованные жителями припасы: при каковомъ случаѣ и сочтено, что однихъ русскихъ

плѣнниковъ, не считая персіянъ и другихъ иновѣрцевъ, находится въ Хивѣ до 2000 человѣкъ; въ заключеніе, просили помощи, сами не зная какой, сказывали, что неурожай послѣднихъ годовъ вогналъ пудъ муки въ тилла, то есть до 16 рублей; что они гибнутъ голодомъ, особенно старики, которые, пробывъ въ плѣну и тяжкой работѣ лѣтъ 40 и болѣе, нынѣ, при дряхлости своей, брошены хозяевами, по случаю дороговизны, безъ всякаго призрѣнія, на произволъ судьбы; называли себя напрасно и невинно страждущими вѣрноподданными Бѣлаго Царя, христіанами, погибающими въ рукахъ невѣрныхъ масурманъ: слово, составленное писцомъ вѣроятно изъ басурманъ и мусульманъ; поручали себя и душй свои молитвамъ единовѣрцевъ своихъ и пребывали, по отпускѣ письма сего, во ожиданіи великихъ милостей, богомольцами; за симъ слѣдовало десятка два различныхъ подписей, и при каждой прежнее званіе и родина плѣнника, напримѣръ, казаки Островно́й станицы: Павелъ Зайцевъ съ сыномъ, астраханскій мѣщанинъ Егоръ Щукинъ, служащій казакъ Иванъ Печоркинъ, отставной солдатъ Андрей Еремінъ и другіе.

Изъ списка, составленнаго по всѣмъ свѣдѣніямъ, которыя только могло собрать оренбургское пограничное начальство, видно, что съ 1758 по 1832 годъ увлечено въ плѣнъ киргизъ-кайсаками съ оренбургской линіи 3797 человѣкъ; а слѣдовательно, среднимъ числомъ около 52 человѣкъ на годъ. Изъ этого числа возвращено, отбито, выкуплено и бѣжало, въ теченіе 73 лѣтъ, всего 1154 человѣка. Самый счастливый для насъ годъ былъ 1830, въ теченіе коего не похищено ни одного человѣка; самый бѣдственный 1774, гдѣ увлечено 1380 человѣкъ; читатели замѣтятъ, что это было смутное время, послѣдовавшее бѣгству калмыковъ съ приволжскихъ степей и разбоямъ Емельки Пуга-

чева. Въ новѣйшее время, 1823 годъ былъ одинъ изъ самыхъ безпокойныхъ, и съ линіи похищено 113 человѣкъ. Поводомъ этому служило занятіе Илецкаго участка, лоскута земли, лежащаго противу Оренбурга, между рѣками Илекомъ, Бердянкою, Куралою и Ураломъ, и извѣстнаго безконечно огромнымъ пластомъ каменной соли, который, по выкладкамъ досужихъ книжниковъ, можетъ снабжать насъ 14 тысячъ лѣтъ сряду милліономъ пудовъ соли въ годъ. Нынѣ, въ послѣдніе годы, кайсаки вовсе перестали таскать людей съ линіи, ибо нѣкоторое устройство въ степи весьма затрудняетъ имъ сбыть и даже самую утайку невольниковъ, а страхъ поплатиться головою отбилъ батырей отъ этого опаснаго промысла. Учрежденіе трехъ султановъ-правителей, вмѣсто одного хана, много способствовало введенію нѣкотораго порядка и повиновенія; а послѣдніе походы въ степь, малыми и большими отрядами, показали кочевымъ и хищнымъ обитателямъ ея, что степь для насъ проходима [1]). Но независимо отъ приложеннаго расчета, адайскіе киргизы и туркмены, залегающіе на сѣверо-восточныхъ берегахъ Каспійскаго моря, таскаютъ, съ помощію астраханскихъ татаръ, ежегодно отъ ста до двухсотъ рыбаковъ съ каспійскаго рыбнаго промысла. Подробнаго расчета имъ нѣтъ. Плѣнниковъ своихъ продаютъ кайсаки хивинцамъ, изрѣдка и бухарцамъ, но несравненно большая часть ихъ идетъ въ Хиву. Въ отдаленіи отъ линіи, есть и въ самой степи, у кайсаковъ, русскіе невольники, но весьма немного, и, кажется, обыкновенно только по согласію съ бродягой— иначе всегда легко уйти или дать знать о себѣ на линію.

---

[1]) Со времени хивинскаго похода 1837—1840 г. не было уже ни *одного* примѣра похищенія съ линіи или съ моря русскихъ хивинцами.

Отъ одного изъ такихъ-то бѣдующихъ земляковъ нашихъ привезъ Бикей, по связямъ и знакомствамъ своимъ въ степи, письмо и сдѣлалъ это менѣе изъ видовъ корысти, изъ расчетливости или даже приверженности къ правительству, а просто по личнымъ связямъ и по пріязни съ линейцами, съ уральскими казаками, съ которыми жилъ въ дружбѣ и сношеніяхъ личныхъ, водилъ хлѣбъ-соль. Они-то наказывали ему почасту: «раздобыть вѣсточки отъ родимыхъ», по которымъ заживо панихиды отслужили, поминая ихъ наряду съ преставившимися. За всякое покушеніе высвободить или увезти плѣнника, равно за перевозку писемъ ихъ, хивинцы жгутъ, рѣжутъ и вѣшаютъ: несмотря на это, мы каждогодно получаемъ оттолѣ письма и каждогодно уходятъ плѣнники. Приключенія и похожденія этихъ отверженныхъ, лишенныхъ всѣхъ правъ человѣчества—кромѣ смысла, котораго, на бѣду, лишить существо это невозможно — приключенія ихъ дивны, непостижимы: часто превосходятъ они всякое вѣроятіе, но не менѣе того не вымышлены. Одинъ былъ захваченъ, мчался 8 дней на конѣ, связанный по рукамъ, по ногамъ, ночи проводилъ, связанный же, подъ душною кошмою, на четырехъ концахъ которой лежали звѣрскіе стражи его, и не видалъ въ 8 сутокъ ни зерна насущнаго; другой не помнитъ, что съ нимъ было: его били обухомъ по головѣ каждый разъ, когда онъ приходилъ въ себя, чтобы онъ одурѣлъ, оглупѣлъ и не имѣлъ ни средства, ни охоты къ побѣгу; третій родился уже въ Хивѣ отъ русскихъ плѣнныхъ родителей, выросъ тамъ и нашелъ средства бѣжать, сквозь тысячи сторожей, сквозь степи безводныя и безкормныя и пришелъ на Русь святую христіаниномъ, проносивъ при себѣ 19 лѣтъ записку, данную ему отцомъ о родинѣ и о родичахъ его; еще иной вышелъ чудными похожденіями изъ плѣна, въ которомъ находился

болѣе полувѣка—56 лѣтъ; и годы эти протекли однообразно, неизмѣнно, какъ одинъ день; — опять иной, наконецъ, за исполинскую силу свою, произведенъ, съ проименованіемъ Пелюанъ-Кулъ—силача-раба, въ первые сановники ханства, или, по крайней мѣрѣ, двора, подчинилъ себѣ богатырскимъ кулакомъ своимъ и дворъ и ханство, ходилъ въ шелку, ѣлъ сытно, а улучивъ время, ушелъ, покинувъ честь и мѣсто, увелъ четырехъ аргамаковъ ханскихъ, видѣлъ за собою погоню, слышалъ въ ночи, какъ на него ножи точили, клалъ уже голову на плаху, — а прибылъ, миновавъ всѣ бѣды, по-добру, по-здорову на родину свою, и нынѣ—мужикъ $12^1/_2$ вершковъ — торгуетъ въ Астрахани пряниками!

Итакъ, братья Бикея, которыхъ видѣли мы вскорѣ по прибытіи каравана на мѣновой дворъ, не получивъ отъ него желаемаго побора, возвратились въ свои аулы и донесли отцу Исянгильдію, что сынъ ему не повинуется, что онъ не идетъ на зовъ отцовскій. Новый раздоръ, новые поджоги ненависти и мести; сводные братья, не желая выдать калыма сестры Бикея, то и дѣло подстрекали обѣ стороны, раздражали старика день-за-день новыми доводами непокорности и строптивости сына; въ отсутствіе жъ этого, поселяли они въ отцѣ подозрѣніе, что тотъ хочетъ лишить его власти и довѣренности народной; что, получивъ уже старшинское званіе, въ видѣ почетномъ, нынѣ добивается у правительства отцовскаго мѣста, и потому подыскивается, прислуживается у русскихъ и якшается съ линейцами. И слабый старикъ, черствый, упрямый, виноватое дѣло свое хотѣлъ поставить правымъ, не давалъ отчета въ незаконныхъ дѣлахъ своихъ, а требовалъ на судъ сына. Такъ прошли мѣсяцы, годы, и отецъ питалъ уже безотчетную ненависть къ лучшему сыну своему; не могъ видѣть его, не загораясь багро-

вою кровью; а сынъ, въ гордости правоты своей и чистотѣ дѣла, за которое стояли всѣ однодворцы и земляки его, говорилъ и дѣйствовалъ смѣло и самостоятельно. Онъ никогда не забывался противу отца, никогда не грѣшилъ противу патріархальныхъ обычаевъ дикарей степныхъ, у коихъ бѣлая борода уважается безусловно цѣлымъ семействомъ, родомъ и племенемъ; но братьямъ всегда говорилъ онъ правду въ глаза,—правду, которая тѣмъ болѣе колола, что Бикей дѣлалъ это съ какою-то особою ухваткой: онъ никогда не бранился съ ними, какъ это водится нерѣдко у земляковъ его, на весь аулъ; никогда не выходилъ, какъ они, изъ себя, а отражалъ всѣ нападенія ихъ какою-нибудь сильною, смѣлою и язвительною насмѣшкой, а самъ оставался при своемъ и дѣлалъ свое. Это, правда, самый горькій, унизительный и непримиримый способъ состязаться съ противниками, въ особенности со слабѣйшими и съ тѣми, у коихъ не чиста совѣсть.

Братья Бикея, о которыхъ мы говорили, были Джанъ-Кучюкъ и Кунакъ-бай. У кайсаковъ есть монгольскій или калмыцкій обычай, который встрѣчаемъ также у полукочевыхъ башкировъ, но котораго не знаютъ другіе мусульманскіе народы, давать имя новорожденному, по произволу, съ перваго встрѣчнаго предмета или понятія. Такъ напримѣръ, замѣчательное имя Куте-баръ, принадлежащее довольно замѣчательному лицу, показываетъ, до чего простирается вольность кайсаковъ въ избраніи именъ, и какъ мало стѣсняются они при этомъ какими-либо условіями. Имя Исянгильди — въ переводѣ: добро пожаловать, здорово пришелъ; Кунай-бай значитъ: богатый другъ, но Джанъ-Кучюкъ, душа-собака, собачья душа, есть кличка, достойная негодяя, которому принадлежала или принадлежитъ, ибо онъ живъ и донынѣ, Джанъ-Кучюкъ былъ одинъ изъ тѣхъ дикарей, котораго можно и должно

называть просто звѣремъ, не распространяясь въ картинномъ изображеніи безсмысленно-звѣрскаго нрава его, не исчерпая на него весь запасъ поносныхъ и ругательныхъ словъ богатаго русскаго языка. Кайсакъ свыкся и сжился со всѣми ужасами разбойничьей междоусобной жизни и тѣшится огнемъ и ножемъ всюду, гдѣ только судьба и случай предаетъ ему на истязаніе живое существо; онъ никогда не удовольствуется убіеніемъ врага или противника, обыкновенно даже избѣгаетъ этого, если боится заплатить послѣ за это кунъ; но онъ изобрѣтаетъ муки и истязанія, передъ которыми вся нынѣшняя школа юной Франціи должна почтительно поникнуть главою и подать ему, Джанъ-Кучюку съ сотоварищами, вѣнецъ первенства и совершенства.

Судъ и расправа кайсаковъ при-линейныхъ нынѣ въ рукахъ у султановъ-правителей, кои, числомъ трое, управляютъ оренбургскими кайсаками съ 1824 года, со времени уничтоженія ханской власти въ степи. Полезное преобразованіе это послѣдовало по случаю самовольнаго удаленія бывшаго хана Ширгазы Каипова въ Хиву. Онъ возвратился съ раскаяніемъ, когда ханъ хивинскій обобралъ у него, мало-по-малу, всѣ подарки царскіе: алмазы, пожалованные женѣ его, ханшѣ, ханджаръ и прочее, и живетъ теперь милостію правительства нашего, но вѣса и значенія не имѣетъ вовсе. Султаны-правители состоятъ подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ пограничной комиссіи, подчиненной военному губернатору; уголовныя дѣла рѣшаются по нашимъ, русскимъ постановленіямъ; но судъ и рядъ удаленныхъ отъ линіи родовъ киргизскихъ находится въ рукахъ сильнаго; а сильный—это богатый или прославившійся разбоями наѣздникъ. Султаны, потомки Чингисъ-хана, коимъ даютъ прозваніе акъ-сюякъ или акъ-сюнгякъ — бѣлая, благородная кость, отличаются чисто-монгольскими

очерками лица; они завоевали степь, вѣроятно, гораздо позже заселенія ея кайсаками. Султаны, кажется, были вытѣснены на югъ изъ Сибири, при завоеваніи ея русскими; народъ кайсацкій принялъ ихъ, какъ бѣлую кость Чингиса, съ благоговѣніемъ, и они живутъ доселѣ больше или меньше на счетъ этого народа. Впрочемъ, не должно думать, чтобы султаны имѣли какую-либо власть надъ чернью киргизской: эта совсѣмъ въ другомъ къ нимъ отношеніи, чѣмъ *хара*, черные, простые калмыки къ *цаганъ-ясанъ*, къ бѣлой кости своихъ нойоновъ и зайсанговъ; простые калмыки болѣе нежели крѣпостные: они рабы безотвѣтные; а кайсакъ воленъ и свободенъ и очень-очень мало повинуется своимъ султанамъ. Несмотря на это, султаны иногда преимущественно достигаютъ власти и вліянія на одноземцевъ своихъ; извѣстный султанъ Арунгазы, умершій въ ссылкѣ, въ Калугѣ, былъ человѣкъ необыкновенный: онъ пріобрѣлъ неслыханную дотолѣ власть надъ народомъ, который трепеталъ отъ голоса его, питалъ къ нему раболѣпную и безусловную покорность. Это у кайсаковъ явленіе довольно рѣдкое; обыкновенно не ставятъ они султановъ и старшинъ своихъ ни во что, и повинуются имъ развѣ только тамъ, гдѣ требованія ихъ подкрѣпляются русскими отрядами. Но Арунгазы умѣлъ ладить съ народомъ; при немъ, между прочимъ, баранта—этотъ истый бичъ кайсаковъ, почти вовсе вывелась, никто не дерзалъ прибѣгать къ этому гибельному самоуправству, а шелъ съ жалобою и просьбою къ Арунгазы: и ярлыкъ, съ грушевидною печатью султана, былъ свято чтимъ получателемъ, который, вмѣсто отвѣта, мирился и раздѣлывался немедленно съ обиженнымъ. Султанъ Арунгазы казнилъ неоднократно смертію; онъ просто рѣзалъ ихъ, связанныхъ, ножемъ, какъ барановъ! На вопросъ мой у кайсаковъ, кто при этомъ служилъ ему за палача? — отвѣчали

мнѣ, что каждый, у кого только на ту пору случался на поясѣ ножъ, кидался, наперерывъ, исполнить повелѣніе хана—какъ они обыкновенно называли султана Арунгазы. Мнѣ указали, между прочимъ, и на Джанъ-Кучюка, который лежалъ на грязной кошмѣ, подставивъ черный бритый затылокъ солнечнымъ лучамъ, подъ коими тепломѣръ Реомюровъ показывалъ за 40 градусовъ, — указали на него, и сказали: «и этотъ ловко рѣжетъ и служилъ бывало ножемъ своимъ хану!»

Несмотря на такіе и иные ужасы двухъ крайностей: безначалія и самовластія, азіатца трудно вразумить, что дѣла могли и должны бы идти иначе и лучше. Сосѣди наши стали и стоятъ уже нѣсколько столѣтій на одномъ мѣстѣ, на одной и той же степени невѣжества и изувѣрства: не оглядываются назадъ, не смотрятъ впередъ и коснѣютъ въ тупой, животной жизни. Кочевые народы, сверхъ этого, дорожатъ своею дикою, безтолковою независимостію, по-крайней мѣрѣ столько же, какъ неукротимые ихъ тарпаны и куланы. Кайсаки до того ненавидятъ правосудіе наше, наши обряды судопроизводства, что предпочитаютъ имъ всякую домашнюю расправу, лишь бы дѣло было кончено на словахъ, въ одинъ пріемъ, лишь бы обвиняемому и прикосновенному не тягаться мѣсяцы и годы, не сидѣть, ожидая медленной, томительной переписки, въ какомъ-нибудь гниломъ острогѣ, гдѣ онъ весьма нерѣдко, не дождавшись конца расправы, гибнетъ. Кому мало простора между Яикомъ и Сыръ-Дарьею, тому тѣсно и душно за-живо въ подземномъ склепѣ.

Коренной судъ кайсаковъ таковъ: ханъ или султанъ, съ почетными аксакалами, біями, старшинами и муллами, садятся въ глубинѣ кибитки; истецъ со свидѣтелями по правую, отвѣтчикъ со свидѣтелями по лѣвую рукою; первый начинаетъ говорить и разсказы-

ваетъ дѣло, со всѣми подробностями; свидѣтели поддерживаютъ его, дополняютъ, поясняютъ и подтверждаютъ; потомъ другая половина разсказываетъ дѣло съ начала и до конца по-своему; во все это время одна половина другую перебивать не смѣетъ, и всѣми присутствующими сохраняется глубокое молчаніе. Наконецъ, всѣ выходятъ: султанъ или ханъ совѣтуется съ біями и муллами, произноситъ приговоръ, и обѣ половины призываются для выслушанія его; тѣмъ дѣло кончено, нѣтъ ни споровъ, ни апелляцій; рѣшеніе выслушивается въ молчаніи, съ уваженіемъ, и исполненіе слѣдуетъ за нимъ. Не скажу, впрочемъ, чтобы приговоръ этотъ былъ всегда справедливъ и безкорыстенъ; пишкешъ, то есть почетные подарки и гостинцы, у азіатцевъ во всеобщемъ употребленіи, и дѣло рѣдко безъ этого обойдется. Но кайсаки на это жалуются тогда только, если уже корысть судьи превосходитъ силы и достояніе просителя; умѣренныя взятки считаются дѣломъ позволительнымъ, даже необходимымъ,—это обычный пишкешъ или буйлякъ. У осѣдлыхъ азіатцевъ, гдѣ нѣтъ ничего патріархальнаго, бываетъ гораздо болѣе зла и безотчетнаго самовластія: что дѣлается въ Хивѣ, въ Бухарѣ, это разсказать можно, но повѣрить трудно. Раджа кашемирскій забираетъ особымъ фирманомъ, которымъ подъ смертною казнью воспрещается продажа или утайка хлѣба, забираетъ весь годичный запасъ его въ свои житницы и платитъ хозяевамъ по произволу. Тутъ всякій спасаетъ, хоронитъ, зарываетъ въ землю, что можетъ; рѣдкій отдаетъ хлѣбъ свой, не подставивъ напередъ разъ, другой подошвъ своихъ; а иной приплачивается, за неудачную попытку утаить его, головою. Наконецъ, дѣло слажено: житницы раджи полны, а народъ безъ хлѣба. Тогда докладываютъ ему, что народъ ѣсть хочетъ; голодъ свирѣпствуетъ, народъ умо-

ляетъ открыть продажу, не погубить, не выморить всей земли своей... Раджа еще медлитъ, голодныя толпы облегаютъ сераль его, съ утра до поздней ночи просятъ, безъ умолку, хлѣба. Тогда, наконецъ, объявляется необычайная милость раджи: продажа закупленнаго хлѣба разрѣшена; особые чиновники, диванбеги и ясаулы, отпускаютъ просо, пшеничку, сорочинское пшено, на вѣсъ, по десятерпчной, противу закупа, цѣнѣ. Это не вымыселъ, а истинное происшествіе, которое, сверхъ того, повторялось уже нѣсколько разъ въ странѣ, благословенной природою и угнетенной звѣрскими завоевателями. Но кашмирецъ не видитъ тутъ ничего чрезвычайнаго; онъ плачетъ, кряхтитъ и терпитъ; умираетъ съ голоду и терпитъ; у него и думы нѣтъ, чтобы ханъ, раджа, аталыкъ, могъ когда-либо поступить иначе: — онъ слышалъ съ-издѣтства, что предшественники раджи дѣлали такъ; онъ разсказываетъ дѣтямъ и внучатамъ, что потомки раджи будутъ поступать такъ же; и дѣло, по его мнѣнію, основано на непостижимомъ промыслѣ Аллаха и на книгѣ пророка его. Бухарецъ или хивинецъ спокойно глядитъ на самовольные, безотвѣтные, ужасающіе насъ поступки хана: глядитъ и не смигнетъ глазомъ, когда, перерѣзавъ, по тому же неизмѣнному обычаю, глотку несчастнаго опальнаго, чтобы кровь его сперва обагрила землю, вѣшаютъ его, уже зарѣзаннаго, среди Регистана, дворцовой площади,—глядитъ на это и даже никогда не спроситъ: за что зарѣзанъ и повѣшенъ такой-то? Онъ знаетъ одну только причину: ханъ велѣлъ, инакъ, аталыкъ, бушбеги приказали, — и дѣлу тому конецъ. Но приведите того же азіатца въ наши тюремные замки—и всегда равнодушное къ бѣдствіямъ ближняго лицо его впервые въ жизни изобразитъ страхъ и ужасъ. Ему, азіатцу, по крайней мѣрѣ невозможно будетъ объяснить, что это не что иное, какъ мѣра

благоустроенной предосторожности. Этого онъ не поймётъ.

Бикей, о которомъ начинаю говорить въ десятый разъ и все опять сбиваюсь на иные, посторонніе предметы, но на предметы, состоящіе въ близкой и тѣсной связи съ разсказомъ моимъ, на предметы вѣроятно немногимъ читателямъ близко знакомые,—Бикей кочевалъ съ гассановскимъ отдѣленіемъ рода Тана, противу нижнеуральской линіи, водился и знался съ чиновниками казачьими, былъ любимъ русскимъ начальствомъ за прямоту, бойкій умъ и какой-то видъ образованности; Бикей дарилъ и угощалъ кунаковъ своихъ съ линіи всѣмъ, что было у него любаго и дорогого; а у кайсака, для гостя, завѣтнаго нѣтъ; зато уже и самъ онъ, будучи вашимъ гостемъ, беретъ, за-словомъ, что ему приглянется. Бикей жилъ не по нутру, не по духу отца, а и пуще братьевъ. Дружба и связи съ линейцами давали ему нерѣдко средства и способы къ высвобожденію задержаннаго однодворца, къ прекращенію полинейныхъ раздоровъ за потраву стожка, выставленнаго, кажется, съ намѣреніемъ, въ степь, чтобы тебенюющіе, тощіе кони растеребили его, и хозяинъ имѣлъ бы случай и поводъ взыскать съ кайсака пару барановъ, или за украденную овцу, за съѣденную кобылу; и Бикей, который такъ ли, иначе ли, но умѣлъ ладить съ тогдашнимъ атаманомъ и, по какой бы то ни было нуждѣ, даромъ въ Уральскъ не ѣзжалъ, а каждый разъ привозилъ какую-нибудь добрую вѣсточку,—пріобрѣлъ любовь и довѣренность своего народа. 88-лѣтній Исянгильди и самъ уже видѣлъ, что ему не подсилу тягаться и управляться наравнѣ съ молодецкимъ сыномъ; но сознаться въ этомъ и уступить народному гласу не хотѣлъ. Вмѣсто того, чтобы видѣть въ сынѣ этомъ подпору и вѣрнаго сподвижника, искалъ онъ въ немъ, натравливаемый братьями

Бикея, врага-соперника и самозванца. Чѣмъ менѣе онъ находилъ все это въ Бикеѣ, тѣмъ болѣе коварные клеветники старались усиливать темные доносы свои на дѣйствія Бикея и выставлять открытаго, бойкаго, нѣсколько легкомысленнаго сына скрытнымъ, буйнымъ, самовольнымъ и умышляющимъ. Когда же, бывало, Бикей, одѣтый гораздо щеголеватѣе всѣхъ однородцевъ своихъ, въ синемъ чекменѣ съ позументомъ по косому вороту, съ остроконечною тюбетеей набекрень, вскочивъ на коня, котораго берегъ и любилъ пуще глаза праваго, стрѣлой пускался по аулу, и сотни голосовъ провожали его кликомъ: *джигитъ! батырь! батырь!*—а дѣвки, сидя на землѣ и снуя по колышкамъ основу изъ верблюжьяго гаруса на самоцвѣтную армячину, оглядывались на Бикея, поправляли бархатную, стеклярусомъ и перьями украшенную шапчонку,—а старухи, выминая въ одервенѣлыхъ рукахъ своихъ жесткую, черствую сыромять, вымоченную въ молокѣ, прокопченую на дымѣ, перебранивались съ шаловливыми ткачками,—тогда братья Бикея обыкновенно отворачивались отъ него, насунувъ валеные колпаки на бровистыя очи, и вступая въ кибитки свои, ворчали вполголоса или перебранивались съ отцомъ за то, что онъ даетъ Бикею много воли.

Приступая теперь къ новой главѣ разсказа, который, по многимъ отношеніямъ, заслуживаетъ, какъ происшествіе, быть памятнымъ, не знаю, какъ быть: предоставить ли читателямъ моимъ отгадывать, къ которому изъ двухъ разрядовъ *былей* или *небылицъ* [1]) принадлежитъ Мауляна моя, или уже сказать, что говорю не сказку, а голую бывальщину? Знаю, что многіе бытописательныхъ разсказовъ не любятъ; мно-

---

[1]) Подъ этимъ заглавіемъ вышло въ свѣтъ первое изданіе нѣкоторыхъ повѣстей и разсказовъ сочинителя.

гіе въ нихъ и не вѣрятъ; а иные, знатоки и браковщики, говорятъ и пишутъ, что повѣстей чисто-историческихъ нѣтъ или быть не должно; что голь не заманчива, а правда гола, какъ крючекъ безъ наживки; что на нее ни рыбы, ни рака не поймаешь! Какъ хотите, господа; мнѣ васъ не переучить, а и того менѣе разувѣрить; можетъ быть, и тутъ, какъ всюду, правое дѣло середина. Скажу однако о разсказѣ моемъ, на всякій случай, вотъ что: не только всѣ главныя черты его взяты съ подлиннаго, бывалаго дѣла, но мнѣ не было даже никакой нужды придумывать ни одного побочнаго обстоятельства, вплетать какую-либо выдумку; все происшествіе разсказано такъ, какъ было, и было въ точности такъ, какъ разсказано. Не хочу пускаться здѣсь ни въ какія логическія, реторическія и піитическія разсужденія; замѣчу только, что излишне, кажется, было бы переиначивать дѣло и мудровать надъ нимъ, если оно, само по себѣ, будучи изложено просто и въ такомъ точно видѣ, какъ было, представляетъ цѣпь дѣйствій и послѣдствій, составляющихъ одно стройное цѣлое, основанное на чудномъ сплетеніи умственныхъ способностей и нравственныхъ качествъ человѣка, на обычаяхъ народныхъ, мѣстныхъ; словомъ, если простой разсказъ происшествія живописуетъ намъ человѣка, въ смыслѣ общемъ, и человѣка въ значеніи частномъ: раба страстей, привычекъ и обычаевъ родины своей, того клочка земли, къ которому не приросъ онъ корнями вещественными, подобно чилигѣ, таволгѣ и ковылу, приросъ однакоже корнями духовными, незримыми и не менѣе глубокими. Такъ, нѣтъ на свѣтѣ человѣка, который бы не былъ рабомъ въ этомъ двоякомъ смыслѣ: рабомъ въ себѣ и отъ себя, отъ природы, какъ существо конечное, земное,—рабомъ раба, какъ существо, подчинившее себя какимъ-то произвольнымъ, часто смѣшнымъ и нелѣпымъ условіямъ, при-

вычкамъ, приличіямъ, обычаямъ... Очень мало людей гибнетъ отъ прямого зла, отъ сатанинской жажды губить людей и тѣшиться ихъ томленіями; а гибнутъ сотни и тысячи отъ недоумѣній, отъ недомолвокъ, отъ обычая и обыкновенія, отъ какихъ-то условныхъ правилъ и особыхъ ухватокъ и ужимокъ житейскихъ и условныхъ и законовъ приличія.—Переберите у себя въ памяти нѣсколько вамъ извѣстныхъ случаевъ, гдѣ люди жертвовали людьми, и эти гибли для жизни общественной,—и вы со мною согласитесь. И здѣсь, въ повѣсти моей, увидите вы то же: это былъ, гдѣ люди выказываются въ двоякомъ отношеніи своемъ къ себѣ самимъ и къ мѣстности

ГЛАВА III.

БАТЫРЬ.

Отношенія Бикея къ братьямъ своимъ и къ отцу были бы уже достаточны сами по себѣ, въ быту чернаго, дикаго народа, чтобы поселить непримиримую вражду между той и другой стороною; но ко всему этому присоединилось еще одно обстоятельство, важнѣйшее по существу и по послѣдствіямъ своимъ.

У кайсаковъ есть обычай — просватывать дочерей еще въ малолѣтствѣ; стараются получить за нее *калымъ* или выкупъ [1]), чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Родители жениха и невѣсты условливаются въ этомъ калымѣ, въ платѣ, приношеніи со стороны жениха; молодой парень и дѣвчонка слывутъ парою, калымъ выплачивается исподволь, въ теченіе нѣсколькихъ

---

1) Во многихъ русскихъ губерніяхъ крестьяне тоже даютъ *калымъ* за невѣстъ, и плата эта называется *кладкой*.

лѣтъ. Женихъ, возмужавъ, ѣздитъ изъ своего аула гостить въ аулъ невѣсты, иногда на весьма значительное разстояніе, въ богатомъ убранствѣ и на лихомъ конѣ, и если хочетъ показаться невѣстѣ молодцомъ, въ сопровожденіи одного только или двухъ старшихъ товарищей. *Ага*, старшій братъ или дядя, обыкновенно бываетъ товарищемъ—юлдашъ—странствующаго рыцаря любви. Тогда родители невѣсты сберегаютъ для него завѣтное мѣсто, лужокъ, который означаютъ, какъ и всякое занятое уже подъ кочевье мѣсто, воткнутымъ въ землю копьемъ; тамъ они раскидываютъ кибитку, или, буде есть, небольшой шатеръ, гдѣ женихъ, выкупивъ невѣсту свою въ каждый пріѣздъ сызнова у старухъ, родственницъ ея, которыя защищаютъ ее иногда до нешуточной драки, тѣшится и нѣжится невозбранно, за все время пребыванія своего въ аулѣ. Влюбленный же кайсакъ получаетъ нерѣдко отъ дѣвки, которая отвѣчаетъ склонности его, завернутую въ бумажку алую шелковинку, немного гвоздики и два, три совиныхъ перышка, носимыхъ обыкновенно дѣвками на шапочкахъ своихъ и служащихъ представителями дѣвственности. Переѣздъ жениха въ сотню, другую, верстъ, а иногда и болѣе, по степи, бываетъ не безопасенъ. Каждый, безъ исключенія путникъ—*джюлаучи*, каждый бѣглецъ или бродяга — конхъ, мимоходомъ сказать, въ степи довольно, и даже изъ числа ссылочныхъ въ Сибирь, — каждый человѣкъ, достигнувшій аула, почитается гостемъ и можетъ быть увѣренъ въ безопасности своей; но на переѣздѣ степномъ нерѣдко встрѣчается онъ съ толпами *джюрючки*, барантовщиковъ, отправляющихся по междоусобнымъ расчетамъ въ извѣстный родъ, для грабежа и самоуправной мести: и эти-то отряды, на воровскомъ поискѣ своемъ, не щадятъ уже, въ неукротимомъ изступленіи своемъ, никого; или, наконецъ, путникъ встрѣчается съ запис-

ными разбойниками, добывшими себѣ славу батырей непобѣдимыхъ, немилосердыхъ, промышляющихъ и дышащихъ разбоями и грабежами. Къ этому сословію принадлежалъ, напримѣръ, покинувшій послѣ жалкой, но достойной смерти своей незабвенную по себѣ славу и нареканіе батырь чиклинскаго рода, разбойникъ Кутебаръ: онъ, ѣздивъ мирить чумекейцевъ съ чиклинцами, съѣхался ночью съ дружественнымъ, джегалбайлинскимъ отрядомъ; не опознавъ другъ друга, обозвались путники, по взаимной окличкѣ, изъ предосторожности, ложными родами; толпа джегалбайлинцевъ сказалась чумекейцами, а Кутебаръ, у котораго совѣсть была крѣпко не чиста насчетъ бѣдныхъ чумекейцевъ, коихъ онъ варварски ограбилъ и разорилъ, не разсудилъ за благо попасться имъ въ руки, особенно ночью, глазъ-на-глазъ; онъ испугался отзыва: чумекей, и кинулся бѣжать; добрый конь и вынесъ-было его уже изъ мнимо вражеской толпы, но, поскакавъ въ противную сторону, налетѣлъ онъ на копья двухъ отсталыхъ оборванныхъ худоконныхъ мальчишекъ и палъ, съ обломками ихъ копій подъ ребрами. Тщетно силился онъ сорвать зубами платокъ, коимъ, вмѣсто чехла, былъ замотанъ пистолетъ его; онъ палъ, изодравъ себѣ губы и изгрызши, въ отчаяніи и второпяхъ, собственные пальцы свои до костей!

Такая шайка, увидавъ въ степи коннаго путника, немедленно обскакиваетъ его, старается догнать или окружить; если онъ не можетъ уйти и скрыться, доколѣ неумолимая погоня едва мелькаетъ вдалекѣ, то становится на колѣни и съ покорностію и смиреніемъ ожидаетъ участи своей. Но его рѣдко пощадятъ; то, что въ иномъ мѣстѣ могло бы спасти васъ, здѣсь всегда погубитъ: кайсакъ не знаетъ состраданія къ слабому, къ безоружному, охотнѣе всего нападаетъ самъ-сотъ на одного, а еще охотнѣе на коннаго, на женъ, на

дѣтей. Невѣрнаго, то есть иновѣрца, уводятъ въ плѣнъ и продаютъ, какъ товаръ, обыкновенно въ Хиву; но довольно странно, что русскіе, калмыки и персіяне (послѣдніе какъ шіиты) преимущественно попадаютъ въ рабство, а евреи, индійцы и армяне никогда не лишаются свободы, не обращаются въ неволю и на базарахъ востока не продаются. Правовѣрнаго же татарина, башкира или своего брата кайсака обираютъ грабители до нитки, въ буквальномъ значеніи слова, и покидаютъ на произволъ судьбы. Если вблизи нѣтъ ауловъ, если ограбленный не набредетъ на нихъ случайно, то его ждетъ участь ужасная. Предвидя гибель свою, не отстаетъ онъ отъ слѣдующихъ путемъ своимъ грабителей, доколѣ не будетъ ими избитъ до полусмерти или доколѣ самъ, выбившись изъ силъ, не свалится съ ногъ. Тогда провожаетъ онъ глазами удаляющихся вершниковъ, слѣдитъ ихъ по самый небосклонъ,—и остается одинъ, на необъятномъ морѣ степей; одинъ, безъ помощи, безъ пищи, безъ средствъ и безъ надежды. Зной неимовѣрный печетъ голое тѣло его, палитъ обнаженное темя; голодъ и жажда истомляютъ силы—онъ шатается, утративъ всякое соображеніе и познаніе мѣстности,—и достается, почти заживо, на снѣдь плотоядному беркуту и стаѣ хищныхъ коршуновъ, которые творятъ по немъ тризну его же плотію, между тѣмъ какъ трусливые степные волки и шакалы отпѣваютъ покойника по ночамъ дружными, заунывными голосами. Но иногда это нагое, покинутое, изнуренное существо, бродя въ какомъ-то безумномъ, полуживомъ состояніи по изсушенному океану, достигаетъ подвижнаго жилья собратовъ, и если найдется милосердый и щедрый обладатель стадъ и табуновъ, то выходецъ съ того свѣта поступаетъ къ нему, за поденное скудное пропитаніе, въ работники. Неимовѣрно, что можетъ перенести слабое существо это,

человѣкъ, это бренное, хилое животное! Въ одномъ аулѣ поймали киргиза сосѣдняго рода, который подползъ было высматривать и выжидать удобнаго для воровства часа. Избивши его нагайками въ одинъ битокъ, посадили его, связаннаго по рукамъ и по ногамъ, позднею осенью, въ морозъ, по шею въ воду; его вытащили изъ воды только на другое утро, когда находившійся тамъ случайно съ отрядомъ офицеръ нашъ приказалъ вынуть хотя трупъ мученика. Но онъ, ко всеобщему удивленію, былъ еще живъ; тѣло его побагровѣло и посинѣло, черныя губы дрожали, — болѣе знаковъ жизни не было. Его завернули въ кошму, положили около огня, и киргизы, зная пріятеля своего, подставили ему огромное корыто *бишбармаку* или *кулламы*, пятипалаго или ручного кушанья, крошенаго бараньяго сала и масла. Лишь только покойникъ нашъ отошелъ на теплѣ, какъ началъ визжать едва внятно, потомъ рука изъ-подъ кошмы протянулась къ корыту, и горсть за горстью отправлялась въ пасть усопшаго. Съѣвши такимъ образомъ полное корыто крошенаго сала и мяса и выпивши цѣлый *турсукъ* — сшитый изъ шкуры двухъ окороковъ конскихъ мѣхъ — кумысу, нашъ отпѣтый всталъ, встряхнулся, сѣлъ на коня и вышелъ тотъ же молодецъ, что былъ вчера объ эту пору! Другой, родной братъ извѣстнаго нынѣ Джана-кашки, пустился зимою самъ-шесть на промыселъ, былъ пойманъ, избитъ весь въ одинъ синякъ, раздѣтъ до-нага и пущенъ. Онъ, зарывшись въ снѣгъ, просидѣлъ тамъ ровно пятеры сутки, съ одною овчинкою, которая служила ему во все это время и пищею, и подстилкою, и покрышкой. Онъ былъ отысканъ уже на шестой день, и то случайно, и живъ понынѣ. Онъ увѣряетъ, что ему было совсѣмъ хорошо, и тепло и сытно; онъ спалъ день и ночь, а просыпаясь сосалъ овчинку.

данъ былъ Угусъ-ханомъ, начинаетъ воспѣвать его въ стихахъ такъ:

Девятьсотъ кобылъ, девять тысячъ барановъ убилъ:
Девяносто девять кожаныхъ водоемовъ пошилъ,
Въ девять вина, въ девяносто кумысу наливалъ,
Да цѣлое войско свое на пиру угощалъ!

Послѣ ѣды и обжорства, четвероногіе обитатели степей, кони—первыя дѣйствующія лица, а люди уже второстепенныя; это пиръ, гдѣ лошади, какъ и всюду у этого конно-рожденнаго народа, занимаютъ первыя, почетныя мѣста; гдѣ можно только отличиться батырствомъ на конѣ и этимъ стяжать скаковыя ставки богачей и лестный, дружный припѣвъ и похвалу нѣсколькихъ десятковъ степныхъ красавицъ, которыя, садясь вечеркомъ въ кружокъ, воспѣваютъ томнымъ и тоскливымъ напѣвомъ, но чистыми и пріятными голосами, молодечество новаго джигита, воспѣваютъ наобумъ, иногда не дурно вылившимися стихами.

Какъ рѣдки стали, впрочемъ, нынѣ въ степи добрые киргизскіе кони, можно заключить изъ того, что иногда изъ огромнаго табуна въ нѣсколько тысячъ лошадей почти нечего выбрать: пятокъ, а много десятокъ; остальныя—дрянь. Это происходитъ отъ безтолочи и небреженія; кайсаки, равно какъ и башкиры, считаютъ только, сколько головъ скота у нихъ, и этимъ похваляются, а прочее все предоставляютъ Аллаху и великому его послу. Въ оренбургскомъ краѣ, не выключая степи, числится до милліона лошадей; 20,000 идетъ ежегодно въ продажу, и въ томъ числѣ болѣе половины въ степь; время, когда, наоборотъ, кайсаки пригоняли табуны свои для продажи на линію, ушло далеко и, кажется, невозратимо; нынѣ линейцы становятся безпечными пастухами, а киргизы засѣваютъ хлѣбомъ огромныя пространства.

борба, игры и пѣсни нѣсколькихъ сотъ, а можетъ быт и тысячъ, дикарей, которыхъ тароватый хозяинъ кормитъ бараниною и кониною и наливаетъ кумысомъ донельзя, можно назвать великолѣпіемъ. Большая часть гостей,—а приглашенъ всякій, на 500 верстъ въ окружности—приводятъ съ собою и подносятъ хозяину лошадь, барана, верблюда или хотя турсукъ кумысу; и этотъ обычай уменьшаетъ значительно расходы хозяина, у котораго огромная толпа съѣла бы въ два, три дня все достояніе его. Даровой скотины этой бываетъ также большею частію достаточно для ставокъ въ скачкахъ, хотя ставки бываютъ иногда довольно богатыя: косячекъ лошадей или даже 15—20 верблюдовъ. Но въ обжорствѣ состоитъ главное празднество. Нѣкоторые гости выпарываютъ изъ кожаныхъ шароваровъ своихъ карманы, завязываютъ внизу штанину вкругъ ноги и во время обѣда наполняютъ все пространство это крошенымъ жиромъ и мясомъ, этимъ любимымъ и всегдашнимъ кушаньемъ, извѣстнымъ, какъ упомянули мы, подъ именемъ кулламы или бишбармаку, ручного или пятипалаго блюда. Скромнѣйшіе гости завязываютъ остатки въ концы своего пояса, но всѣ безъ исключенія набиваютъ ротъ огромными пригоршнями крупно искрошеннаго мяса и глотаютъ его почти цѣликомъ. Другъ друга потчуютъ они, и особенно почетнѣйшихъ, поднося имъ верхомъ накладенную горсть мяса, жиру и хряща: учтивый вельможа обязанъ захватить все это разомъ въ ротъ и проглотить, при чемъ нерѣдко у него очи на лобъ вылазятъ, и вся рожа вздуется горою, — но дѣло сдѣлано, и приличіе соблюдено. Люди — вездѣ люди, вездѣ рабы обыкновеній и приличій!

Уже историкъ Абулъ-Газы, котораго можно бы справедливѣе назвать сказочникомъ, въ своей исторіи монголовъ и татаръ, восхитившись пиромъ, который

данъ былъ Угусъ-ханомъ, начинаетъ воспѣвать его въ стихахъ такъ:

Девятьсотъ кобылъ, девять тысячъ барановъ убилъ:
Девяносто девять кожаныхъ водоемовъ пошилъ,
Въ девять вина, въ девяносто кумысу наливалъ,
Да цѣлое войско свое на пиру угощалъ!

Послѣ ѣды и обжорства, четвероногіе обитатели степей, кони—первыя дѣйствующія лица, а люди уже второстепенныя; это пиръ, гдѣ лошади, какъ и всюду у этого конно-рожденнаго народа, занимаютъ первыя, почетныя мѣста; гдѣ можно только отличиться батырствомъ на конѣ и этимъ стяжать скаковыя ставки богачей и лестный, дружный припѣвъ и похвалу нѣсколькихъ десятковъ степныхъ красавицъ, которыя, садясь вечеркомъ въ кружокъ, воспѣваютъ томнымъ и тоскливымъ напѣвомъ, но чистыми и пріятными голосами, молодечество новаго джигита, воспѣваютъ наобумъ, иногда не дурно вылившимися стихами.

Какъ рѣдки стали, впрочемъ, нынѣ въ степи добрые киргизскіе кони, можно заключить изъ того, что иногда изъ огромнаго табуна въ нѣсколько тысячъ лошадей почти нечего выбрать: пятокъ, а много десятокъ; остальныя—дрянь. Это происходитъ отъ безтолочи и небреженія; кайсаки, равно какъ и башкиры, считаютъ только, сколько головъ скота у нихъ, и этимъ похваляются, а прочее все предоставляютъ Аллаху и великому его послу. Въ оренбургскомъ краѣ, не выключая степи, числится до милліона лошадей; 20,000 идетъ ежегодно въ продажу, и въ томъ числѣ болѣе половины въ степь; время, когда, наоборотъ, кайсаки пригоняли табуны свои для продажи на линію, ушло далеко и, кажется, невозратимо; нынѣ линейцы становятся безпечными пастухами, а киргизы засѣваютъ хлѣбомъ огромныя пространства.

Къ скачкѣ, какъ извѣстно, подготовляютъ, подмариваютъ, подъяровываютъ степныхъ лошадей; въ этомъ дѣлѣ, по крайней мѣрѣ, столько же удачи, сколько искусства; недояруешь — скакунъ загорится, тяжелъ, не дойдетъ; переяруешь—ослабѣетъ и опять таки станетъ. Подготовка эта состоитъ въ томъ, что лошадей по зарямъ, проѣзжаютъ шагомъ и рысью до-поту, потомъ оставляютъ на всю ночь въ сѣдлѣ и безъ корму. Если вспомнить, что лошади эти не видятъ и не знаютъ овса — изрѣдка любимаго скакуна, баловня, кайсаки поятъ кобыльимъ молокомъ,—что они не кованы и круглый годъ на подножномъ корму, то нельзя не согласиться, что порода эта необычайно крѣпка. Одноконный кайсакъ дѣлаетъ въ сутки верстъ по сту, а двуконный полтораста. Въ Бухару, мѣрныя 1500 верстъ, кайсакъ о двуконь поспѣваетъ въ двѣ недѣли и иногда скорѣе. На скачкахъ кайсаки берутъ обыкновенно разстояніе отъ 30 до 50 верстъ; скакуны, на этомъ разстояніи, проходятъ версту въ полторы минуты, иногда и скорѣе, въ 1′ 20″.

Борьба кайсаковъ и башкировъ почти одинакова; но она не походитъ на борьбу русскую. Подъ силки не берутся, подъ ножку не любятъ и не знаютъ; а закинувъ другъ другу поясъ за поясницу, заматываютъ каждый въ него обѣ руки, упираются одинъ въ другого правыми плечами и возятся, что медвѣди, иногда четверть часа на одномъ мѣстѣ. Здѣсь рѣшаетъ сила: ловкость и искусство измѣняютъ.

Бухарцы, къ слову молвить, борются крайне забавно: они раздѣваются и разуваются, выступаютъ полунагіе, въ однихъ шароварахъ, ходятъ и кружатъ другъ противъ друга, словно пѣтухи, изноравливаются, прицѣливаются со смѣшными ужимками, и вдругъ, улучивъ время, наскакиваютъ одинъ на другого, схватываются какъ, и за что ни попало—за ногу, за руку,

голову и сцѣпившись минутъ, ломаютъ и царапаютъ
ругъ друга, какъ и кто можетъ.

Но возвратимся къ своему пиру. Вмѣсто того,
обы говорить вамъ—Унгбай обскакалъ Бузауа, а Мин-
аръ Сафарбая, Кутлугильди поборолъ Кагарманда,
скендера и Урмана,—вмѣсто этого, опишу извѣстную
кайсаковъ и страсто любимую ими игру, въ которой
бѣдителя ждетъ награда неоцѣненная, а смѣхъ и по-
щеніе ожидаютъ побѣжденнаго. Дѣло вотъ какое: со-
язаются молодой парень съ отборною, молодецкою
вкой. Дѣвка эта выѣзжаетъ на лихомъ скакунѣ,
мостившись, по обыкновенію, на высокое, попонами,
ѣялами и подушками покрытое сѣдло; она выѣз-
аетъ на лучшемъ и завѣтномъ конѣ отца или брата,
сится по чистому полю, налетаетъ на молодцовъ,
махивается на нихъ плетью, а коли который не увер-
ъ, такъ часомъ того и пріодѣнетъ; кричитъ, хохо-
тъ, рѣзвится и вызываетъ на бой. У кого сердечко
ней разгорится, тотъ кидается на коня и пускается
погою. Начинается травля и скачка—народъ реветъ,
асавица мчится стрѣлой, — молодецъ нагоняетъ—
а даетъ крутой поворотъ вбокъ, другой, опять
ередъ, назадъ, наконецъ парень донимаетъ ее:
заскакиваетъ впередъ и, осаживая коня, ста-
ется только коснуться ее рукою персей ея: то,
стигая ее съ тылу и вытягиваясь въ маховую
жень, едва не досягаетъ рукою...—она мечется и
дается, то съ тылу, то сбоку...—дѣвка, не щадя ни
ря, ни коня его, ни плети своей, съ которою, право,
утить вовсе невыгодно, стегаетъ зря и съ плеча и
ертя голову по чемъ попало; молодецъ свивается
убомъ, налетаетъ соколомъ, подвертывается жгути-
мъ и, коснувшись однажды рукою груди ея, обни-
етъ уже смѣло сильными мышцами противницу
ою, и она уже не смѣетъ противиться; и степные

кони дружно мчатся по мягкой травѣ, а обнявшіеся всадники, покинувъ повода, не заботятся о направленіи скакуновъ своихъ. Если же молодецъ принужденъ бываетъ отвязаться отъ дѣвки, не нагнавъ ея, не коснувшись рукою персей ея, тогда, какъ говорится, хорони головушку въ мать сыру землю,—отъ посмѣянія и житья и проходу нѣтъ. А вдобавокъ тогда уже дѣвка его нагоняетъ и, не давая своротить, гонитъ передъ собою до упаду и лупитъ нагайкою, *камчи*, при громогласныхъ крикахъ и хохотѣ народа. Это выходитъ: и стыдно, и больно.

Дѣвка, въ аломъ бархатномъ чапанѣ, подъ золотою стежкою, въ трехцѣтныхъ бухарскихъ сапогахъ изъ чешуйчатой ослиной кожи, въ острой, конической бархатной шапочкѣ, унизанной бисеромъ и украшенной селезневыми и совиными перышками и темнозеленымъ, искусно набраннымъ висячимъ перомъ, длинными поднизями и сѣтками, кистями и плетешками изъ разноцвѣтнаго бисера, корольковъ и стекляруса,—дѣвка эта появилась верхомъ на просторѣ. Она, вопреки обыкновенному мнѣнію, смѣшивающему кайсаковъ нашихъ съ калмыками, съ которыми они ничего общаго не имѣютъ, лицомъ нисколько не была калмыковата: пріятный продолговатый обликъ, не томные, не нѣжные глазки, но быстрыя, искрометныя темнокарія очи необычайной жизни и блеска; черты лица особенныя, свойственныя кайсачкѣ, но не менѣе того прекрасныя.

Пригожество и красота—вещи условныя; не знаю, приглянулась ли бы вамъ моя степная красавица съ перваго раза, особенно еслибы вы пожаловали въ зауральскую степь прямо съ партера Александринскаго театра, изъ филармонической залы, съ пышнаго придворнаго бала; — если жъ нѣтъ, то виною этому былъ бы, вѣроятно, только тяжелый, мѣшковатый нарядъ ея; я думаю, что еслибы вы обжились немного

со степью и съ дикарями ея и дикарками, еслибы привыкли только къ этимъ тройнымъ и четвернымъ неподпоясаннымъ халатамъ, неуклюжимъ чоботамъ и мужиковатой поступи, то стали бы вглядываться въ иное свѣжее, дикое, яркое и смуглое лицо, въ которомъ брови, рѣсницы, очи, губы и подборные, скатнаго жемчуга зубы украсили бы любую изъ московскихъ и питерскихъ красавицъ, похожихъ нерѣко — извините меня, неуча,—на куколку, которую шаловливыя дѣвчонки умывали, и смыли съ нея и румянецъ, и алый цвѣтъ усть, а въ голубыхъ глазкахъ оставили одинъ только блѣдный, мутный намекъ на прежній цвѣтъ ихъ. Плосковатое лицо и нѣсколько выдавшіяся скулы не дѣлаютъ на меня никакого непріятнаго впечатлѣнія, а высокое чело и благообразный носъ вполнѣ соотвѣтствуютъ пріятному облику кайсачки.

Итакъ, дѣвка эта сѣла и понеслась, давая круги; шумный говоръ и разнообразное движеніе оживило толпы и пестрые ряды множества гостей и зрителей; насмѣшки и колкія шутки сыпались градомъ отъ дѣвокъ, бабъ и стариковъ на молодежь, на парней, которые стояли, почесывая бритые затылки и отшучиваясь площадными остротами, но и не думали скакаться со смѣлымъ вершникомъ, который, избочениваясь на каждомъ поворотѣ, давилъ толпу тяжеловѣсныхъ мужиковъ, между тѣмъ какъ эти едва успѣвали увертываться и разступаться. Слѣдомъ за нею раздавался хохотъ, и неповоротливые парни почесывали лбы, плеча и спины, на которыхъ глухіе удары камчи, удары нѣжной, дѣвичьей руки, отзывались преизрядными синяками.

Бикей слѣдилъ ее глазами, — оглянулся опять, кинулъ взоры на нее — опять вокругъ, на толпу, какъ будто удивляясь и не вѣря, что нѣтъ *шункара*,

нѣтъ кречета на эту пигалицу. И въ тотъ же мигъ она полетѣла вихремъ на него, — народъ отхлынулъ съ крикомъ, и ребятишки въ давкѣ завизжали. Бикей ни съ мѣста,—какъ стоялъ, сложа руки и выставивъ ногу впередъ, такъ и остался, вперяя жадныя очи въ батырку на рыжемъ, нескладномъ, неутомимомъ скакунѣ. Она, пролетая мимо, замахнулась было на Бикея, занесла руку и, быстро опустивъ карающую десницу, обмахнула повисшею на темлякѣ нагайкой два быстрыхъ круга около головы его—и промелькнула.

Не знаю почему, но милосердіе это странно поразило Бикея и круто имъ повернуло: онъ закричалъ: *бирк-булъ!* держись! и уже несся вслѣдъ за непобѣдимою, за которою никто болѣе не посмѣлъ гнаться; всѣ знали горбоносаго скакуна ея, знали, что она, не щадя ни плечъ, ни головы друга-противника, сѣкла вальковою нагайкой оплошавшаго и не настигшаго ея состязателя; знали и то, что ее, со времени возмужалости ея, на всѣхъ игрищахъ и пирахъ никто еще не догонялъ, не обнималъ. Понятно, что ловкость, смѣлость и умѣнье здѣсь еще важнѣе быстроты скакуна: посадите легкихъ какъ пухъ красавицъ нашихъ на любого степного коня, — и онѣ пропали: нѣтъ пощады, нѣтъ спасенья, онѣ... о ужасъ! въ объятіяхъ неистоваго монгола-татарина, который, вѣроятно, при всей осторожности своей, изомнетъ и изломаетъ всѣ хрящеватыя, воробьиныя ребрышки ихъ, всю, такъ называемую, талію — извините, чуть не проговорился, не сказалъ, станъ!

Не станемъ разбирать, какъ и чѣмъ взялъ Бикей: завѣтнымъ ли гнѣдымъ жеребцомъ, котораго выбралъ жеребенкомъ, на свою долю, изъ отцовскаго десятитысячнаго табуна, и въ которомъ души не чаялъ, — или чѣмъ другимъ — скачкою ли взялъ, сноровкою ли, или просто тѣмъ, что ринулся въ погоню нежданный,

ловно камень изъ-за угла,—все равно: довольно намъ отѣшиться картиной, оглянувшись на этотъ изступительный и оглушающій ревъ тысячи зрителей, и встрѣить взоромъ всадниковъ нашихъ въ самую ту минуту, огда Бикей, обнявъ станъ Мауляны крѣпко правою укою, почти лежалъ, растянувшись и перегнувшись окомъ съ упрямаго жеребца своего, который мчался рямъ, но почти въ цѣлой сажени отъ рыжаго, горбоосаго скакуна побѣжденной и задыхающейся отъ мѣха Мауляны.

Мауляна эта была нареченная невѣста старшаго рата Бикеева, который, однакоже, не заблагоразсудилъ съ нею скакаться и стоялъ въ толпѣ зрителей; о все, что видѣли мы теперь, не могло быть по нраву лобному и ревнивому жениху, который, какъ нерѣдко идимъ это въ природѣ, былъ запятнанъ рукою ея и блеченъ знаменіемъ: онъ не имѣлъ пріятнаго и молецкаго монголо-татарскаго лица Бикеева, въ которомъ ольшіе, яркіе глаза и носъ дугою соединяются съ лоскимъ лбомъ и выдающимися впередъ щеками; онъ ылъ очень дуренъ собой, и на изуродованномъ спою подбородкѣ его рѣдкая борода пробивалась только а одной, правой половинѣ. Онъ отвернулся и пошелъ рочь отъ толпы; и шумныя восклицанія: «гоу, гоу, оу, батырь! джигитъ!»—поражавшія громогласно слухъ го, раздирали со всѣхъ сторонъ бѣшеное сердце. Оно скипѣло местію, ненавистью, и клокотало, доколѣ лая кровь еще текла въ жилахъ Бикея.

ГЛАВА IV

БАРАНТА.

Что такое *баранта?*

Если одинъ кайсакъ у другого украдетъ или уго-итъ скотину, то за это платитъ онъ *туляу*, пеню;

если же онъ отказывается отъ пени или не сознается въ воровствѣ, а родъ или аулъ его не выдаетъ виновнаго, то біи и аксакалы разрѣшаютъ обиженному искать права силою; онъ набираетъ товарищей и отправляется, говоря: *барамнъ-та*, пойду до, пойду за— вотъ вамъ *баранта*, или, какъ говорятъ русскіе, баранта. Но при этомъ самоуправствѣ трудно знать ладъ и мѣру; одинъ захватываетъ болѣе, чѣмъ ему, по обычаю народному, слѣдовало· другой предъявляетъ искъ неправый; третій, пользуясь смятеніемъ и безпорядками, поживляется самъ на свою руку; опять иной, въ сумятицѣ, невпопадъ угоняетъ скотъ не того хозяина, котораго бы слѣдовало; иногда у вора нѣтъ добра никакого, а родъ его отказывается отъ платежа и отвѣта; за все это насчитывается новая пеня, а за случайныя или умышленныя убійства, во время баранты, со стороны нападающихъ, — *кунъ*, весьма значительный и часто неуплатимый; бываетъ все это причиною и поводомъ тому, что взаимные расчеты, а съ ними и баранты и междоусобія, поддерживаемыя еще сверхъ этого султанами, которые въ мутной водѣ рыбу удятъ, расплодились и размножились до безконечности. Баранта обратилась въ какой-то гибельный, разорительный промыселъ степныхъ дикарей; всѣ роды и племена перепутались во взаимныхъ счетахъ и начетахъ и пользуются каждымъ случаемъ для взаимнаго разоренія и нападенія. И здѣсь, какъ всюду, *мое* и *твое* служатъ поводомъ, началомъ и корнемъ взаимной вражды и усобицы. Строгая, суровая зима, въ продолженіе которой ртуть стынетъ въ тепломѣрахъ нашихъ и степные бураны заносятъ очи путника, кружатъ и мятутъ мысли и чувства его, до того, что онъ не въ состояніи различить пяти пальцевъ своихъ передъ носомъ, — едва удерживаютъ неукротимыхъ, свирѣпыхъ хищниковъ, въ лютости подобныхъ барсу,

въ трусости — степному волку; но, лишь только сочные ростки пробиваются на раннихъ солнопекахъ, отощавшія на зимней *тебеневкѣ* кобылы мгновенно добрѣютъ, разъѣдаются,—какъ и дикари, пробуждаются отъ зимней спячки своей; сытный, питательный *кумысъ* разливается алою кровью въ изсякшихъ жилахъ ихъ, краситъ щеки, наливаетъ блескомъ и жизнію потухшія очи, — и шумныя толпы уже пускаются во всѣ стороны на поискъ, разоряютъ безъ милосердія другъ друга, безпощадно губятъ собственное достояніе и насущное пропитаніе свое. *Баранта, туляу и кунъ*, куинъ, туляу и баранта — вотъ, въ чемъ заключается почти все уголовное уложеніе, все правосудіе степныхъ дикарей. Извѣстно, что судъ и расправа всѣхъ мусульманскихъ народовъ основываются на законѣ, на коранѣ; а потому и всякій *кади* или *казы*, судья, бываетъ лицо духовное; но нигдѣ это не соблюдается менѣе, чѣмъ у кайсаковъ, которые неохотно признаютъ надъ собою власть, а самоуправство предпочитаютъ всякой иной расправѣ. Но кунъ у нихъ священная вещь; киргизъ, нанимающійся въ работники, условливается нерѣдко съ вами, будете ли за него платить *кунъ*, коли онъ умретъ на вашихъ рукахъ? Цѣна куна вообще полагается за мужчину 1000, за женщину 500 барановъ. Расплачиваясь другимъ скотомъ, зависѣть будетъ отъ сдѣлки, сколько барановъ полагать на лошадь, корову или верблюда. За убійство султана полагается 1000 верблюдовъ, — кунъ огромный, который едва ли когда бывалъ сполна уплачиваемъ, а установленъ, какъ объясняетъ и самъ султанъ Кусябъ, для того только, чтобы никто и никогда не могъ посягнуть на священную жизнь бѣлой кости. Между тѣмъ, и въ прежнее и даже въ новѣйшее время, убійства султановъ изрѣдка случались. Вотъ вамъ примѣръ киргизской расправы: двое кайсаковъ

поссорились, при перекочевкѣ, за луги; отъ ссоры до драки у нихъ не далеко — они подрались, одинъ другого укусилъ въ палецъ, и бабы насилу розняли дураковъ. У раненаго палецъ разболѣлся; его отдали, какъ водится, на попеченіе и отвѣтственность виновнаго. Былъ-ли тотъ плохой лѣкарь, или ужъ такъ судьба порядила, довольно того, что прикинулся волосъ, а вскорѣ вся рука до плеча распухла, разболѣлась, конецъ концовъ—больной умираетъ. Родные его пріѣзжаютъ въ аулъ лѣкаря за тѣломъ покойника, какъ водится у достаточныхъ людей, на бѣломъ верблюдѣ; но, противу обыкновенія, вооруженные, съ крикомъ, съ шумомъ, съ ругательствами, съ угрозами; это было строгою зимой; дѣвчоночка, испугавшись пріѣзжихъ и бушующихъ въ тѣсной кибиткѣ батырей, выскочила изъ-подъ кошмы, въ которую завернули-было ее отъ стужи, выбѣжала изъ кибитки, отшатнулась и замерзла въ тридцати шагахъ отъ жилья своего. Сдѣлка и мировая произошли на слѣдующемъ основаніи: ты обязанъ заплатить кунъ за того, котораго ты укусилъ и залѣчилъ; а ты долженъ заплатить кунъ за дѣвчонку, которая отъ тебя погибла, $a - b = c$; слѣдовательно, укусившій товарища смертельно въ палецъ платитъ, вмѣсто тысячи, только 500 барановъ, ибо за остальные 500 поверстался смертію дѣвчонки.

Я уже выше замѣтилъ, что разбои степные отличаются отъ баранты, вошедшей въ законную силу. Всѣ торгующіе на линіи купцы наши знаютъ, что на слово киргиза, при мѣновыхъ сдѣлкахъ, почти всегда положиться можно; кайсакъ пригонитъ вамъ, въ назначенный день и мѣсяцъ, въ назначенную точку линіи, лошадей или барановъ, взявши деньги даже напередъ; но онъ всегда украдетъ ихъ снова, коли дадите ему на это случай, и будетъ этимъ хвалиться; онъ вещи не тронетъ, ибо называетъ это: *урлыкъ*, —

воровствомъ; а украсть коня, барана — молодечествомъ, *джигитлыкъ:* это то же, что у насъ поймать чужого голубя или сманить собаку. При перекочевкѣ нерѣдко покидаютъ кайсаки цѣлыя груды скарба своего, прикрытыя кошмами, войлоками; этого никто не тронетъ, между тѣмъ какъ добраго коня нельзя достаточно уберечь и устеречь; его только развѣ не уведутъ изъ-подъ васъ! За воровство вообще полагается у кайсаковъ *туляу*, пеня, особенно если украденная скотина будетъ уже съѣдена: и расчетъ при этомъ довольно страненъ и сложенъ; за украденную лошадь платятъ три девята, три *тогуза* скота; первый тогузъ состоитъ: изъ одного верблюда, двухъ тельныхъ, къ будущему году, коровъ, съ нынѣшними телками, бычка и яловой коровки; итого: девять. Второй тогузъ: лошадь вмѣсто верблюда, а прочее все то же. Третій тогузъ: корова, двѣ овцы съ ягнятами нынѣшняго помету и обѣщающія то же на будущій годъ и, наконецъ, два козленка. За верблюда полагается такихъ же шесть тогузовъ, ибо верблюдъ идетъ за два коня, а корова въ цѣнности равна лошади. Начетъ этотъ столь значителенъ, что рѣдкій воръ согласится добровольно и даже рѣдкій въ состояніи уплатить требуемое, а отказъ или даже замедленіе въ уплатѣ нерѣдко влечетъ за собою угоны, грабежи ауловъ и убійства. Начеты эти переходятъ съ дѣда и отца на сыновей и внучатъ, дробятся съ родовъ на поколѣнія, съ поколѣній на частныя лица и семейства.

Собираясь на баранту, на разбой, хищники съѣзжаются иногда десятками, особенно если хотятъ только сдѣлать ночное нападеніе, для отгона табуновъ; иногда же и сотнями и тысячами, и тогда уже нападаютъ на аулъ открытыми силами, на разсвѣтѣ или во время полуденнаго жара и всеобщаго отдыха. Идущіе на

промыселъ этотъ берутъ лучшихъ коней, ибо всѣ киргизы храбры копытами и ногами скакуновъ своихъ, но берутъ самую плохую сбрую и одежду и обвѣшиваются, полунагіе, одними лохмотьями изношенныхъ и изодранныхъ халатовъ. Вооруженіе ихъ состоитъ тогда почти исключительно изъ легкихъ длинныхъ копій или даже однихъ заостренныхъ въ концѣ копеищъ, безъ желѣзка, да изъ чекановъ. Огнестрѣльнаго оружія не возятъ они съ собою на баранту частію, чтобы не обременять себя попустому, частію же, чтобы не вводить себя въ искушеніе: убить человѣка не долго, какъ они говорятъ, да послѣ кунъ выплачивать накладно. Отрядъ этихъ грабителей наводитъ уныніе, тоску и омерзеніе, особенно если взвѣсить духъ и храбрость воителей, коихъ десятки тысячъ можно разсѣять и уничтожить сотнею, другою добрыхъ казаковъ,—если взглянешь на этихъ выродковъ, неумолимыхъ въ звѣрской жестокости своей противу слабаго и трусливыхъ до безконечности, гдѣ дѣло дойдетъ до устойки!

Буйные чиклинцы, въ числѣ 3000 человѣкъ, нагрянули, въ самый знойный полдень, когда все покоилось въ аулахъ, когда, по обыкновенію, всѣ кайсаки, скрывшись отъ зноя въ кибитки, спали глубокимъ сномъ, — нагрянули на танинцевъ. Аулы, на которые сдѣлано было нападеніе и при коихъ находился старшиною Исянгильди, состояли изъ 400 кибитокъ, раскинутыхъ, по пяткàмъ и по десяткамъ, черными холмами, по обширному, отлогому скату. Издали глядя, невольно сравниваешь ихъ съ черноземными холмами кротовъ, по зеленому лугу безпорядочно наброшенными. Все покоилось. Не было видно ни души. Разсыпавшіеся стада и табуны занимали по нѣскольку десятковъ верстъ во всѣ стороны; пастухи при нихъ спали, раскинувшись въ травѣ. Чиклинцы ворвались,

отдѣльными толпами, въ передовые стада и табуны, и прискакавшій сломя-голову въ аулы, съ извѣстіемъ о вторженіи непріятеля, привелъ за собою почти на хвостѣ и самихъ грабителей. Старикъ Исянгильди вскочилъ—всѣ взревѣли въ одинъ голосъ; каждый кидался къ оружію, схватывалъ лучшее платье и добро свое, вскакивалъ на первую попавшуюся ему лошадь — и летѣлъ во весь духъ — навстрѣчу врагамъ, думаете вы? нѣтъ, этого здѣсь не бываетъ; здѣсь нападающій всегда уже побѣдитель: все кидалось и летѣло въ противную сторону, сгоняло и спасало стада и табуны, сколько можно было еще ихъ занять и удержать. Обширная степь ожила, зашевелилась, пыль поднялась; толпы разсѣянныхъ всадниковъ мелькали и пропадали; кони ржали и оглушали топотомъ своимъ окрестность; хриплые, дикіе крики побѣдителей и побѣжденныхъ раздирали воздухъ. Вмѣстѣ съ мужчинами, или еще и напередъ ихъ, кидались на коней молодыя дѣвки и улетали; остались въ аулахъ, при скарбѣ и имуществѣ, хилые, хворые старики, дѣти и бабы. Итакъ, дѣло кончено, скажете, и обойдется безъ кровопролитія, и чиклинцы вовсе не встрѣтятъ и не найдутъ своихъ непріятелей? Посмотримъ. Грабители, взбивая тучи пыли, уже налетѣли съ ревомъ на аулъ — уже крикъ, визгъ и проклятія смѣшались съ гуломъ и топотомъ, со ржаніемъ и блеяніемъ; уже копья, подобно желѣзнымъ щупамъ неумолимыхъ винныхъ досмотрщиковъ, которые нерѣдко, на заставахъ нашихъ, прокалываютъ и платья, и посуду, и книги у проѣзжающихъ, — уже копья погружаются тамъ и сямъ, сквозь рѣшетчатыя стѣны, въ беззащитныя, одинокія кибитки, и оборванные, полунагіе потомки Батыя и Чингиса, съ неистовствомъ и изступленіемъ, колютъ, бьютъ и рѣжутъ все живое и живущее, до чего дошарились копьями своими подъ тюками и кошмами..

но теперь завязывается жестокій и отчаянный бой, упорный, какого вы не видали, коли не видали, какъ мать отстаиваетъ дѣтище свое: вотъ зрѣлище, вотъ черта, гдѣ я узнаю природу; киргизка и самка степного барса одинаково дерутся за дѣтенышей своихъ и не уступаютъ ихъ, доколѣ сами еще живы! Оставьте блѣдныхъ и хилыхъ горожанокъ, нѣжныхъ красавицъ нашихъ, запасающихся мамками и кормилицами и отдающихъ новорожденное изъ лона своего прямо къ чуждой и купленной груди, — идите сюда и посмотрите, какъ та же слабая женщина отстаиваетъ своихъ малютокъ! Бабы вооружаются *баганами*; каждая схватываетъ длинную, крѣпкую дубину, которою обыкновенно подпирается средина кибитки и которою кайсачка мастерски владѣетъ, привыкнувъ управляться этимъ орудіемъ не только каждый разъ, когда ставитъ переносное жилье свое, но и вообще всегда, когда только случается поправлять *турлыкъ*, *узукъ* или *тууидукъ*, кошемныя полсти и лоскуты на бокахъ и на кровлѣ кибитки, ловить и принимать вилообразною оконечностію баггана *арканы*, шерстяныя веревки и тесьмы, перекинутыя черезъ верхъ подвижнаго жилья ихъ, — итакъ, этимъ багганомъ вооружаются бабы и отстаиваютъ каждая свою кибитку. Угрозъ грабителя она не слышитъ, копья его и чекана не страшится, и если онъ не поразитъ ее смертельно при первомъ ударѣ, то мѣткій взмахъ баггана раздробляетъ голову разбойника или коня его — и это все равно; свалившійся съ коня всадникъ убивается нещадно до смерти тѣмъ же оружіемъ, страшнымъ въ сильныхъ рукахъ свирѣпой дикарки! Жена султана Медетъ-Галія, убитаго джагалбайлинцами въ 1831 году близъ Орска, отстаивала такимъ образомъ семью свою; она уложила передъ жильемъ своимъ двухъ вершниковъ на вѣчный покой, и не прежде, какъ когда уже сама испустила духъ,

двѣ дочери ея были схвачены и увлечены разбойниками на поруганіе.

Грабители не сочли нужнымъ мѣриться и тягаться съ амазонками, свирѣпыми, безстрашными, отчаянными, а потому, угнавъ скотъ, приколовъ нѣсколькихъ дѣтей и стариковъ, на коихъ наткнулись врасплохъ и невзначай, захвативъ съ десятокъ бабъ и дѣвокъ, не успѣвшихъ добѣжать до аула или не имѣвшихъ силъ или причинъ обороняться до послѣдняго издыханія,— отправились во-свояси. Мужчинъ, одновѣрцевъ, кайсаки въ плѣнъ не берутъ; но дѣвки и бабы считаются товаромъ; ихъ сажаютъ на добытыхъ коней, связываютъ ноги подъ брюхомъ лошади и гонятъ по пути домой. Коранъ позволяетъ мусульманамъ имѣть до четырехъ только женъ вдругъ; но иные владѣльцы и вельможи, по примѣру пророка, или, переводя точнѣе и вѣрнѣе, посла Аллаха, берутъ до девяти; сожительницъ, мусульманокъ, кромѣ этого, держать не дозволено вовсе; но услужливые толковники объясняютъ: купленная или взятая въ полонъ красавица—собственность каждаго, товаръ; съ нею дѣлаю, что хочу; и на этомъ-то основаніи, запрещеніе распространяется только на единовѣрокъ, мусульманокъ. Пригожія дѣвки, на барантѣ захваченныя, достаются обыкновенно на долю батырей, и участь ихъ нерѣдко бываетъ почти та же, какъ еслибы онѣ вышли замужъ въ отдаленные аулы; иногда полусупругъ даже, полюбивъ плѣнницу свою, посылаетъ родителямъ ея подарки, калымъ, и вражда забыта. Вотъ вамъ романическое похищеніе красавицы въ киргизской степи! Но молодыя матери, коихъ брали въ неволю, разлучая съ дѣтьми, нерѣдко посягали на жизнь свою, если имъ не было средствъ и надежды на побѣгъ. Были примѣры на оренбургской линіи, что мать киргизка, коей дитя продано было отцомъ въ ужасной крайности за нѣс-

колько пудовъ хлѣба, убѣгала изъ степи, являлась на линію, крестилась и оставалась при дитяти своемъ.

Барантующіе удалились; табуны, послушные голосу новаго вожака, заскакавшаго впередъ и летящяго на борзомъ конѣ во весь духъ во-свояси, исчезли; все стихло; только пыль стлалась издалека, и амазонки наши бродили по аулу и собирали, въ ожиданіи мужей и дѣтей, раскиданную утварь. Медленно и въ величайшемъ безпорядкѣ, попарно, по три, по десятку, тащились, мчались и плелись побѣдители; кто налегкѣ, кто съ баранами, кто съ вьючными верблюдами, лошадьми, коровами и быками; трехтысячная толпа растянулась на нѣсколько десятковъ верстъ — каждый думалъ только о себѣ и о загребленномъ имуществѣ, болѣе ни о чемъ.

Бикей, ѣздившій въ гости ли куда то или за дѣломъ, возвращался медленно въ свои аулы, когда, поднявшись на пригорокъ, остановился и вперилъ всепроницающія очи свои въ мерцающую обманчивой водою даль—явленіе, о которомъ я уже гдѣ-то говорилъ; оно въ знойные дни обольщаетъ и обманываетъ нетерпѣливаго, истомленнаго степного путника, и на піитическомъ языкѣ древняго Тибета столь выразительно называется: *жаждою сайги*, у арабовъ *серабъ*, у кайсаковъ *мунаръ*, у французовъ и у русскихъ *миражъ*, а у—извините—у нашего простолюдина: *марево*. Только необыкновенная привычка, смѣтливость и зоркость можетъ отличить что-либо въ этомъ пламенѣющемъ воздушномъ морѣ. Надобно видѣть степного дикаря на родинѣ его, на опасномъ перепутьѣ, какъ теперь нашъ Бикей: онъ слѣдуетъ по сухому океану своему—какъ китайцы, руководимые счастливою и слѣпою догадкой, называютъ степь эту,—проходитъ огромныя пространства, гдѣ не проложено слѣда человѣческаго, и выведетъ васъ, наконецъ, въ струнку, на желаемое урочище. И

не шутя скажу, что кайсакъ дѣлаетъ это по какому-то епонятному, темному чувству, въ коемъ самъ себѣ е можетъ дать отчета, и которое только сравнить ожно со способностію перелетныхъ птицъ... Отвезите ы кайсака на край свѣта, въ страны, о коихъ у него ѣтъ ни малѣйшаго понятія, и пустите его тамъ — нъ оборотится, какъ магнитная стрѣла, которую ни-ѣмъ нельзя сбить съ толку, и пустится прямо на ро-ину свою. Не только изъ западной и восточной Си-ири уходятъ кайсаки нерѣдко домой, но есть нѣсколько римѣровъ, что, сосланные за преступленія въ Архан-ельскъ, пролагали они себѣ новый путь отъ береговъ едовитаго моря, чрезъ безлюдныя тундры, пустынныя, ертвыя степи, за родной Яикъ; они достигали благо-олучно, и почти не касаясь путемъ жилья людского, о кровныхъ степей своихъ, и доселѣ снова прожи-аютъ между своими, похваляясь дивными и едва вѣ-оятными похожденіями своими. Надобно посмотрѣть а кайсака, когда онъ на пути завидитъ нѣчто живое ъ знойномъ волнистомъ морѣ, искажающемъ для асъ всѣ предметы самымъ чудовищнымъ образомъ: ы едва только отличаете что-то и нѣчто, а онъ, при-однявшись на стременахъ и прикрывъ брови рукою, итаетъ какъ по книгѣ: столько-то всадниковъ налегкѣ, ооруженныхъ—они ѣдутъ на изморенныхъ коняхъ — асъ увидали—это не наши; это чиклинцы, дюртъ-ка-инцы, джегалбайлинцы... — Бикей, проговоривъ все го про себя, поворотилъ въ ту же минуту отъ нихъ право, помчался, и черезъ часъ настигъ танинцевъ воихъ, которые стерегли спасенный ими скотъ и жидали извѣстій изъ аула. Стоитъ только тронуть, адѣть и расшевелить кайсака, и онъ вспыхнетъ яр-имъ пламенемъ: Бикей былъ окруженъ въ минуту отнею молодцовъ, которые, будучи еще изъ числа амыхъ бойкихъ и смѣлыхъ, вооружились и пригото

вились, въ случаѣ крайности, защищать и отстаивать стада́ и табуны свои. Бикей, не спрашивая ни о чемъ, не слушая никого, ругнулъ перваго встрѣчнаго, который сунулся было къ нему съ вопросомъ: *ни хабаръ?* что новаго? что дѣлается въ аулѣ? — ругнулъ и прочихъ молодцовъ, вправо и влѣво, распушилъ ихъ на чемъ свѣтъ стоитъ и вызывалъ охотниковъ за собою. Взявъ не болѣе сотни человѣкъ налегкѣ, исправно вооруженныхъ и снабженныхъ запасною, заводною и уже осѣдланною лошадью, пустился онъ въ погоню за непріятелемъ. Пересаживаясь до трехъ разъ съ коня на коня, открыла наконецъ дружина наша, съ вечернею зарею, слѣды грабителей, и до разсвѣта еще, слѣдуя по свѣже-измятой росистой травѣ и по тому именно направленію, куда трава ложилась, настигла безпорядочныя, беззаботныя толпы чиклинцевъ, которые безпечно тянулись почти гуськомъ, разсѣянными и раздробленными толпами. Конецъ концовъ—легко предвидѣть: сотня танинцевъ съ Бикеемъ нанесли мнимымъ побѣдителямъ своимъ гораздо большее пораженіе, чѣмъ наканунѣ еще претерпѣли отъ нихъ сами. Все летѣло безъ толку, безъ ладу, безъ цѣли, стремглавъ; все спасалось бѣгствомъ, покидая добычу; не было ни сопротивленія, ни устóю; бикейцы едва успѣвали спихивать настигаемыхъ ими чиклинцевъ копьями съ коней. Если и невозможно было отбить всѣхъ табуновъ, коихъ часть угнана была уже при самомъ началѣ вчерашняго нападенія, то, по крайней мѣрѣ, новый батырь съ молодцами своими пригналъ въ аулы свои значительную часть отбитыхъ имъ стадъ, табуновъ и почти всѣхъ навьюченныхъ верблюдовъ, и покрылся, въ лицѣ народа, неувядаемою славою. Какъ мало нужно иногда для этого, и какъ мало такихъ, которыхъ и на это малое достаетъ! Но, въ то же время, Бикей озлобилъ старшихъ братьевъ своихъ, коихъ врожденное чувство са-

сохраненія удержало отъ всякихъ заносчивыхъ, воин-
ихъ покушеній, и коихъ предпріимчивый духъ удо-
льствовался наиноспѣшнѣйшимъ бѣгствомъ. Теперь
ницы стали указывать на нихъ перстами и вслухъ
въ очи пеняли за трусость ихъ и за бездѣйствіе;
зъ головы, говорили они, и руки и ноги не слу-
атъ; а вамъ, предводителямъ и старшинамъ нашимъ
наслѣдникамъ престарѣлаго старшины, предстояла
авная обязанность—быть главою тысячи вамъ покор-
ихъ рукъ и ногъ и наказать чиклинцевъ за дерзост-
е ихъ покушеніе! И это все опять въ порядкѣ ве-
ей: трусъ бѣжитъ рядомъ съ трусомъ или еще впе-
ди его; но опасность миновалась — и онъ же его
езираетъ.

При этомъ же самомъ набѣгѣ, передовая, оборван-
я, голодная, звѣрская толпа чиклинцевъ наткнулась
аулы сосѣдственныхъ и союзныхъ съ танинцами
юлинцевъ, на отдѣленіе маскаръ, на кочевую родину
ауляны. Конецъ одинъ; отвратительная картина оди-
кова; не стану говорить пространно и подробно,
къ и здѣсь опять алчная толпа грабителей подсте-
гла мирные аулы, и свирѣпость людская не знала
мѣры, ни предѣловъ; не буду говорить, какъ и кто
жалъ, кто и куда схоронился — скажу только, что
ржествующіе грабители вели восемнадцати-лѣтнюю
ауляну въ числѣ одиннадцати молодыхъ плѣницъ.
дали малорослаго, кривоногаго конька, взятаго въ
же аулѣ; не связывали, изъ особеннаго къ ней ува-
енія и милости, ногъ, а одинъ изъ двухъ услужли-
ихъ парней, которые ѣхали съ боковъ милой плѣн-
цы нашей и взапуски забрасывали ее шутками и
ибаутками, вѣроятно, не совсѣмъ тонкими и скром-
ми, — одинъ держалъ въ рукѣ поводъ коня ея, а
угой, по другую сторону, чембургъ. Дѣвка сидѣла
отно, отшучивалась и отбранивалась, не оставаясь

въ долгу, мазала иногда ластившихся около нея стражей своихъ медомъ по губамъ,—а сама держала ухо на чекѣ: она была коротко знакома съ уродливою клячей, на которую ее посадили, и которая, несмотря на уродливость эту и на распоротыя вилообразно ослиныя уши, была понадежнѣе иного пяти-вершковаго слона орденскаго кирасирскаго полка; Мауляна, смѣтивъ и улучивъ пригодный мигъ, наклонилась впередъ, какъ будто хотѣла поправить холку или уши лошаденки, но въ тотъ же мигъ скинула съ нея, черезъ голову, гладкую, плетеную изъ тонкихъ черныхъ волосъ уздечку, гикнула, круто повернула конька своего ногами въ сторону, прямо на одного изъ конвойныхъ своихъ, ринулась на него во всю силу распростертыми руками, сшибла его съ лошади и ускакала; ускакала, въ виду сотни или болѣе хищниковъ, кои большею частію на измученныхъ въ продолженіе набѣга клячахъ тщетно носились за нею, разсѣявшись и разметавшись по обширной степи. Мауляна благополучно прискакала навстрѣчу Бикею, который мчался еще по пятамъ грабителей, настигая и сбивая бѣгущихъ, отбивая скотъ и имущество земляковъ своихъ, единогласно признавшихъ Бикея первымъ батыремъ на цѣломъ пространствѣ между Яикомъ, Тоболомъ и Сыръ-Дарьею, а можетъ быть и цѣлаго свѣта.

Бикей и Мауляна возвратились со славою при громогласныхъ кликахъ народа: его величали джигитомъ, батыремъ, султаномъ, наконецъ, ханомъ; качали на рукахъ при громогласныхъ восклицаніяхъ, не обращая никакого вниманія на отца, который, къ стыду своему, могъ завидовать кровному сыну, ниже на злобныхъ братьевъ, которые въ это время поклялись, каждый порознь, клятвой мести; а турокъ и монголъ, которыхъ божба не стоитъ гроша, сами вы знаете, въ мести даромъ не клянутся!

ГЛАВА V

НОВАЯ ЧЕТА.

Колебаніе души и нерѣшимость обыкновенно приписываютъ нравственно-слабому человѣку; прибавлю еще, что свойства эти сверхъ этого составляютъ принадлежность нрава, утонченнаго образованіемъ нашего вѣка. Только это разсудительное, тонкошкурое твореніе, образованный человѣкъ, можетъ думать, мѣрить и взвѣшивать тамъ, гдѣ сама природа порывается дѣйствовать; у дикаря, гдѣ умственныя способности болѣе или менѣе поотстали, первое сильное впечатлѣніе беретъ верхъ—и тогда, прощай благоразуміе и разсудительность, прощай и размышленіе и нерѣшимость! вліяніямъ второстепеннымъ, постороннимъ уже нѣтъ мѣста; онъ дѣйствуетъ скоропостижно, вслѣдъ за сильнѣйшимъ толчкомъ, ударомъ, впечатлѣніемъ, и всегда болѣе зависитъ отъ вліяній и двигателей внѣшнихъ, чѣмъ отъ самого себя.

Бикей, который невольно, и самъ того не зная, подтверждалъ на дѣлѣ истину нашихъ умозрительныхъ положеній, и тѣмъ еще болѣе, что былъ природою надѣленъ бойкостью и быстротою духа, — Бикей, спознавшись и слюбившись съ Мауляною, не думалъ, не гадалъ, не хилѣлъ и не болѣлъ цѣлые мѣсяцы по-пустому; не томилъ самъ себя бездѣйствіемъ и нерѣшимостію, а побывавъ однажды у баюлинцевъ, завернулъ въ аулы Маскаръ, толкнулся тамъ черезъ добрыхъ людей, которыхъ на это дѣло всюду много, къ старику Сатлы, отцу Мауляны прекрасной,—и воротившись оттолѣ, пришелъ къ отцу своему объявить, что бойбактынецъ Тохтамышъ ему, Бикею, не тесть, а отцу его не зять; что пава многоцѣнная, достойная

украшать райскіе сады пророка, нынѣ прогуливается по ауламъ маскарцевъ, — и просилъ отца послать переговорить со старикомъ Сатлы и готовить калымъ ему, а не Тохтамышу.

Исянгильди такъ же мало призадумался надъ отвѣтомъ, какъ сынъ его, Бикей, надъ запросомъ своимъ: калымъ былъ отчасти уже выплаченъ Тохтамышу; «невѣста твоя», сказалъ старикъ, «*танри бурса*, — коли Богу угодно, дочь его, Дамиля; на первый случай будетъ съ тебя и одной, а современемъ, — *инша Аллахъ*, съ помощію Божіею,—возьмешь и другую».

— Не хочу я другой, не хочу иной, хочу Мауляну,—говорилъ Бикей; но отецъ едва удостоилъ его, въ отвѣтъ на это, назвать взбалмошнымъ, сумасброднымъ, и болѣе ни въ какія разсужденія не пускался. Въ глазахъ его, дѣло было кончено, и не стоило болѣе о пустякахъ этихъ толковать. Не такъ думалъ Бикей; онъ зналъ отца, зналъ обычаи народа своего, и потому, хотя также не тратилъ понапрасну словъ, но ухватился прямо и просто за дѣло. Такъ, братцы и сестрицы, Бикей нашъ распростился съ суженою своею, которая числилась, по выбору родителей, въ невѣстахъ его уже годика три; кинулъ ее и выданный ей уже почти до половины калымъ, отыскалъ себѣ въ другомъ аулѣ, въ другомъ родѣ и племени, невѣсту по душѣ и тестя по нраву. Кто зналъ Бикея искони, не узнавалъ его теперь: Бикей сталъ новымъ и инымъ человѣкомъ; такъ полюбилъ онъ Мауляну и такъ былъ любимъ ею. Это не сказка, а былъ. Изъ этого видите вы, что и тамъ, за Яикомъ, между созданіями, коихъ, во многихъ отношеніяхъ, не рѣшаемся мы почтить названіемъ людей, себѣ подобныхъ тварей, что и тамъ прорывается иногда это влеченіе, это чувство, которое уноситъ человѣка далеко, далеко выше всѣхъ извѣстныхъ намъ созданій. Иногда, сказалъ я, и именно

не болѣе, какъ иногда: въ кои вѣки разъ, такъ же точно, какъ и у насъ; вѣдь и у насъ также сотни людей, въ образѣ человѣка, родятся, живутъ и женятся и умираютъ,—и только. Не такъ ли?

Бикей—женихъ; Бикей, вопреки волѣ родительской, покинулъ, говорю, первую невѣсту и калымъ и выплатилъ самъ за себя 60 барановъ, 20 лошадей и трехъ верблюдовъ за Мауляну, задолжавшись калымомъ этимъ уральскимъ казакамъ. И вотъ еще новая причина ко враждѣ и семейнымъ ссорамъ, новая здѣсь, въ разсказѣ моемъ, а въ свѣтѣ, да и въ другихъ разсказахъ, романахъ и повѣстяхъ, все это не ново: дѣти любятся, а старики не выдаютъ ихъ, артачатся, привередничаютъ—это всегдашняя завязка!

Годъ прошелъ скоро, и Бикей женился. Принявъ молитву отъ полуграмотнаго бѣглаго казанскаго татарина, ушедшаго отъ рекрутской очереди въ степь и назвавшагося тамъ муллою, Бикей увезъ уже Мауляну въ аулъ свой и уже поставилъ, на произвольномъ скатѣ, на отборномъ мѣстѣ, новую кибитку изъ бѣлыхъ кошмъ, на красныхъ *киряга*—рѣшеткахъ, о стадвадцати стрѣлахъ или стропилахъ, и зажилъ съ молодою. Вы видите, что нашъ Бикей не измѣняетъ себѣ никогда и нигдѣ: онъ и здѣсь опять прихотничаетъ, щеголяетъ и мотаетъ, какъ на все и всюду. «Я помню», говорилъ мнѣ старожилъ оренбургскій: «когда Бикей, вскорѣ послѣ свадьбы своей, пріѣхалъ въ Оренбургъ: на немъ были, между прочимъ, шитые золотомъ малиноваго бархата шаровары; помню также, когда онъ пожаловалъ, мѣсяца два спустя, въ алыхъ суконныхъ; и на вопросъ любопытныхъ, куда дѣвались бархатные, золотошвейные?—отвѣчалъ, махнувъ рукой: «проспалъ; дѣвки украли да *тюбетеи* пошили; пусть щеголяютъ на-здоровье!»

Мауляна была рождена для Бикея: ей все нрави-

лось въ мужѣ, котораго ни въ какомъ отношеніи нельзя было ставить въ одну шеренгу съ прочими земляками его: онъ былъ не рядовой. Всѣ прихоти и причуды его, не исключая даже и бархатныхъ шароваръ, радовали и утѣшали ее, были ей по вкусу; она умѣла цѣнить Бикея, истинно гордилась мужемъ необыкновеннымъ. Не хочу докучать читателямъ разсказами о подробностяхъ жизни жениха Бикея, жениха счастливаго; не хочу разсказывать, какъ онъ, навѣщая невѣсту свою, каждый разъ снова пробирался между страхомъ и надеждой, по опасному, долгому, одинокому пути; каждый разъ снова выкупалъ невѣсту у старухъ, родственницъ ея, подарками: вымѣненными у казаковъ платками, подвѣсками, лентами, стеклярусомъ, бусами; не стану пересказывать всего этого; довольно того, что онъ уже мужемъ привезъ, говорю, Мауляну свою въ длинномъ щегольскомъ поѣздѣ, подъ прикрытіемъ всѣхъ друзей и сотоварищей своихъ, богатырей и *джигитовъ* заяицкихъ, привезъ въ танинскіе аулы и началъ жить да поживать. Съ первымъ нареченнымъ тестемъ ссоры у нихъ не было никакой; женихъ отсталъ, калымъ пропалъ, и старикъ сказалъ еще спасибо за подарокъ. Но со своими Бикей не ладилъ: вражда усилилась и ожесточилась; Бикей не переставалъ требовать калыма за сестру свою, отданную постыднымъ образомъ, какъ *хулъ* или *кенизакъ*, какъ рабыня, между тѣмъ какъ значительный калымъ, за нее слѣдовавшій, остался у старшихъ братьевъ, сыновей первой жены; старикъ и братья спорили, возставали на Бикея дружнымъ оплотомъ, и взаимная ненависть кипѣла, росла и укоренялась. Но вы захотите, быть можетъ, коли Мауляна полюбилась вамъ хотя въ десятую долю моего, захотите узнать кой-что о ней, о жизни ея и молодости? Что же я вамъ скажу кромѣ того, что она была дочь зажиточнаго киргиза Сатлы,

рода Баюлы, отдѣленія или поколѣнія Маскаръ, что была рослая и статная молодица, красавица и умница на всѣ аулы, лицомъ привѣтливѣе, а умомъ смышленѣе, душой милѣе всѣхъ подругъ своихъ; сказать вамъ болѣе? И она, какъ всѣ землячки ея, бѣгала до семи лѣтъ нагишомъ, на жару и на стужѣ, въ вёдро и въ ненастье; хоронилась при 30 слишкомъ градусахъ степного мороза, съ сѣвернымъ бураномъ, отъ котораго вся кибитка осиновымъ листомъ дрожала и которымъ нерѣдко цѣлыя кошмы и полсти срывало и уносило, заметало цѣлые аулы снѣгомъ — и она, говорю, хоронилась подъ лохмотья, подъ груду шерсти, въ войлоки и кошмы, зарывалась въ горячую золу, когда огонекъ среди кибитки потухалъ; и она, дочь зажиточнаго киргиза, плела, шила, скребла, вязала уздечки, ткала армячину, чинила платье и сбрую отца и братьевъ, выдѣлывала жеребячьи шкуры на *яргаки* и *дахи*—вымачивала ихъ въ квашеномъ молокѣ, провѣшивала, смазывала бараньимъ саломъ; коптила и выминала ихъ руками—и дождь не промокалъ яргакъ ея работы; и она копала и собирала марену и красила козловую замшу и овечьи шкуры, и хохотала и забавлялась отъ души, глядя, какъ собранные для этого на *помочь* гости и гостьи жуютъ мареновый корень во всѣ скулы — а кайсаки положительно утверждаютъ, что толченый или крошеный не даетъ такой доброй краски, какъ жеваный; и она также вьючила верблюдовъ, ставила и сымала кибитку, сѣдлала и подводила отцу и братьямъ коней — все это было и есть обязанность и дѣло бабъ и дѣвокъ; мужчины холятся, валяются на кошмахъ и коврахъ, пьютъ кумысъ и спятъ. И она рядилась, какъ это водится, при перекочевкѣ, въ лучшее платье свое, убиралась ожерельями и запястьями, выпрашивала у отца, у братьевъ бойкаго скакуна, на коемъ загаливала *кулановъ*, и мчалась вдоль и поперекъ шумнаго,

многоголоснаго, обширнаго скопища, гдѣ цѣлое огромное селеніе, цѣлый городъ, со всѣмъ имуществомъ и скарбомъ своимъ, съ хижинами и съ жителями, былъ на ходу, — гдѣ стада и табуны, изморенные за зиму *тебеневкой*, подножнымъ кормомъ, до костей въ переплетѣ, стали входить уже въ сокъ и силу, роскошно топтали мягкую зеленую траву, и послушно слѣдуя голосу вожака и табунщика, опереживали огромные караваны вьючныхъ верблюдовъ, коровъ и лошадей, которые медленно и задумчиво ставили копыта свои въ ступни другъ друга; все это шло своимъ чередомъ, и Мауляна выросла статна и пригожа, какъ видѣли сами. Но, скажете вы можетъ быть, придерживаясь любомудрія, этой, такъ называемой, потребности нашего вѣка,—но это все внѣшняя жизнь ея, тѣлесная— а духовная жизнь Мауляны? Объ ней ни слова? Почти такъ, господа, потому что это и для меня самого такая же загадка: что, спрашиваю, можно вывѣдать объ этомъ дѣлѣ на словахъ отъ степной дикарки? Какой она или близкіе къ ней дадутъ вамъ въ этомъ отчетъ? Да полно, поймутъ ли, о чемъ вы толкуете, чего хотите?—Что въ ней была душа, въ Маулянѣ нашей, и душа страстная, пылкая, необузданная, неразгаданная, а все-таки душа; что она мыслила, чувствовала, тѣшилась и страдала, противоборствовала и отдавалась, въ этомъ, по крайней мѣрѣ, не сомнѣваюсь. И вотъ вамъ, для доказательства сказаннаго, между прочимъ, *улянъ* или *перепъвъ* Мауляны и подругъ ея, на одномъ изъ праздниковъ, съ молодыми ребятами. Дѣвки и парни садятся особыми кружками, одни поодаль отъ другихъ, а нерѣдко дѣвки и внутри кибитки, а женихи снаружи, за рѣшеткой, между тѣмъ какъ кощемная полсть подымается, и обѣ стороны перепѣваются взапуски, отвѣчая другъ другу въ очередную четыреститишіями. Импровизаторы, запѣвало и запѣвалка выказываютъ при

этомъ всю остроту и витійство свое, и толпа тѣшится, слушаетъ, хохочетъ и повторяетъ тѣ изъ стиховъ, которые ей болѣе понравились.

Народная пѣсня турецкихъ и татарскихъ племенъ—это риѳмованное четырестишіе, не скажу, какого именно размѣра, ибо народные барды довольствуются уже тѣмъ, коли пѣсню ихъ можно пѣть, растягивая и скрадывая слоги, гдѣ нужно, на извѣстный напѣвъ или голосъ. Образецъ всѣхъ восточныхъ размѣровъ—это арабская поэма *Мохаммедья*, переложенная искусно на турецкій языкъ. Сочинитель ея, сказываютъ, носился съ нею, какъ курица съ яичкомъ, и не зналъ, куда ее дѣвать; никто ея не принималъ, не понималъ, и сочинителю ни въ чемъ не было удачи. Оказалось впослѣдствіи, что Аллахъ не далъ ему таланта за одно какое-то богохульное слово, неосторожно и некстати въ поэмѣ употребленное; когда же слово это, на закинутомъ несчастнымъ сочинителемъ спискѣ, случайно стерлось и исчезло, тогда твореніе было оцѣнено по достоинству, пошло въ ходъ и слыветъ доселѣ образцовымъ. Ему подражаютъ, въ размѣрахъ, турки и татары; распѣвая «Мохаммедью», они приноравливаютъ къ размѣру ея и свои пѣсни, хотя и не всегда равно удачно. Въ пѣсняхъ этихъ смыслъ всегда оканчивается четвертымъ стихомъ; каждое четырестишіе составляетъ, такъ сказать, отдѣльную пѣсенку, и настоящія народныя киргизскія, башкирскія и татарскія пѣсни не бываютъ длиннѣе четырехъ стиховъ. Небольшое число старинныхъ, богатырскихъ пѣсенъ, или поэмъ, составляетъ исключеніе изъ этого общаго правила. У киргизовъ очень мало обще принятыхъ или постоянныхъ пѣсенъ: они поютъ обыкновенно наобумъ, о томъ, что у нихъ въ глазахъ; постегивая нагайкой по тебенькамъ сѣдла своего, покачиваясь взадъ и впередъ, тянетъ кайсакъ полчаса сряду плачевнымъ на-

пѣвомъ: тау, агачъ, ссу, урманъ, тюэ—то есть: гора, дерево, вода, лѣсъ, верблюдъ, доколѣ ему не взбредетъ на умъ иной предметъ или слово. Но есть пѣвцы записные, пѣвцы *наобумъ*, безъ которыхъ и пиръ не живетъ; они являются всюду, гдѣ только рѣжутъ барановъ, гдѣ только сходятся въ кучу и пьютъ кумысъ; они же играютъ и на *кобызѣ*, на гудкѣ плотницкой отдѣлки, состоящемъ изъ корытца или долбушки, снабженной двумя, тремя, изъ конскаго волоса свитыми, струнами; играютъ и на *домбрѣ*, небольшой, длинношеей балалайкѣ; а тѣ, которые понавострились на лиріи, у башкировъ, играютъ и на *чибызгѣ*, на дудкѣ, сопѣлкѣ, запасаясь каждый разъ, при каждомъ напѣвѣ, духомъ, на цѣлую пѣсню, за отрывистымъ концомъ который сново переводятъ дыханье. Они воспѣваютъ на пирахъ того, кто ихъ кормитъ, поитъ и даритъ. Есть, какъ я упомянулъ, кромѣ этого обычай, по которому на пирахъ и особенно на свадьбахъ и поминкахъ, молодцы и молодицы состязаются поочередно и нападаютъ другъ на друга, какъ у насъ подчасъ, въ словесныхъ сшибкахъ въ гостиныхъ: это бываетъ иногда довольно потѣшно и забавно, хотя и длится долгонько: всю ночь напролетъ, до бѣлаго утра. Вотъ пѣсенка Мауляны съ подружками и отвѣты противниковъ ея,—пѣсенка, записанная татариномъ скорописчикомъ; напѣвъ такъ тихъ и медлителенъ, что вовсе не трудно слѣдовать за пѣвцами и пѣвицами. Языкъ татарскій такъ сжатъ,—да и самыя слова такъ коротки и малосложны, что рѣшительно нѣтъ возможности переводить пѣсни ихъ въ мѣру, ограничиваясь тѣми же четырьмя стопами.

Онъ

Кто, праздничный пиръ встрѣчая, алымъ сукномъ не облекается?
Чье сердце, дѣвку завидѣвъ, алою кровью не загорается?

Не гляди на меня такъ: не то уважусь за тобою:
Въ тебѣ искать буду волю сгубленную, волю молодецкую!

Она

И на проводы слезные, видала я, красно убираются;
Алому цвѣту не вѣрь: цвѣтъ, самъ знаешь, дѣло обманчивое,
А какую ты вещь сгубилъ — волю молодецкую — я не вѣдаю;
Назови примѣты ея; да зачѣмъ зайдетъ она къ дѣвицамъ?

Онъ

На Яикѣ-рѣкѣ, на тихой водѣ, есть ятовья, омуты глубокіе,
А зыбкая струйка его скорѣй алаго цвѣта обманетъ!
И въ очахъ твоихъ то же: очи — омуты глубокіе;
Не заглядывать было, не топить въ нихъ воли молодецкія!

Она

Не разгадывать намъ, дѣвкамъ заяицкимъ, загадокъ твоихъ:
Назови ты вещь, коли потерялъ, назови примѣты ея;
Утопилъ, говоришь теперь, а сказывалъ давече: потерялъ;
О, лукавы рѣчи твои! И пошелъ же гдѣ, у дѣвокъ, искать утопленниковъ.

Онъ

Караганка-лиса и передъ волкомъ права живетъ,
Проведетъ кругомъ тебя, да грѣхъ на тебя же и свалитъ!
Такъ и вы, красныя, вы изворотливѣй караганки-лисы;
Сами вы — алый цвѣтъ, а наши, вишь, рѣчи лукавы!

Бикей и Мауляна проживали вмѣстѣ почти два года, не нуждаясь въ дружбѣ родичей своихъ и не слишкомъ замѣчая ихъ непріязнь и злобу. Бикей, не заботясь ни о чемъ, добылъ уже вѣсъ и значеніе не только въ аулѣ своемъ, но и во всемъ таинскомъ родѣ; но, повторяю, никогда онъ не искалъ этого, а и того менѣе посягалъ на отцовское званіе и достоинство, въ

чемъ братья всегда старались оклеветать и обвинить его передъ отцомъ, обрадовавшись тому, что нашли слабую струну въ старикѣ, нашли обвиненіе, самая сбыточность котораго была уже достаточна, чтобы возстановить отца противъ сына. Свобода собственная и разгульная, молодецкая жизнь были единственною потребностію Бикея; но оскорбленное съ-издѣтства чувство не переставало изливаться желчью на притѣснителей своихъ; а постоянная дружба съ полинейными уральцами и частыя его съ ними сношенія подавали всѣ средства врагамъ его, своднымъ братьямъ, поддерживать и подстрекать гнѣвъ и недовѣрчивость отца и старшины, Исянгильдія, котораго легко было увѣрить, что Бикей *урусъ*, русскій, и добивается на линіи почестей и могущества.

Мауляна была единственною его женою и единственною радостію и утѣшеніемъ. Въ этой четѣ столкнулись два человѣка, въ своемъ родѣ необыкновенныхъ: упрямая судьба одарила дикарей этихъ мозгомъ и сердцемъ, которые, при надлежащемъ развитіи понятій и способностей, можетъ быть украсили бы чело и грудь царственной четы; можетъ быть, другой Суворовъ, Киръ, Кантъ, Гумбольдтъ сгинули и пропали здѣсь, сколько окованный духъ ни порывался на просторъ! Я знаю, по крайней мѣрѣ, что *кушъ-юлы*—птичій путь, то есть млечный, и *темиръ-казыкъ* — желѣзный колъ, то есть полярная звѣзда, вкругъ которой, по мнѣнію кайсаковъ, лошадь - медвѣдица ходитъ на приколѣ, не разъ заставляли призадумываться нашего Бикея такою думою, которая едва ли когда освятила помышленія прочихъ его земляковъ.

Чета эта понимала другъ друга: *онъ* гордился *ею*, охотно хвастался, похвалялся и показывалъ ее линейнымъ кунакамъ своимъ, какъ вещь рѣдкую, диковинную и дорогую; она была не только горазд

пригожѣе всѣхъ молодицъ своего аула, но и бойчѣе, осанистѣе, проворнѣе и гораздо умнѣе ихъ. Есть доселѣ много людей на линіи и въ Оренбургѣ, которые видѣли и знали ее: вы услышите одно, и разноголосицы насчетъ Мауляны нѣтъ, словно всѣ условились и сговорились. Еще недавно смѣялся я внутренно, сидя вечеркомъ, въ дружеской бесѣдѣ, гдѣ зашла рѣчь о Маулянѣ прекрасной: одинъ изъ самыхъ сухихъ и закоснѣлыхъ, угрюмыхъ брюзгачей нашихъ улыбнулся, осклабилъ уста свои и не могъ скрыть пробудившихся въ немъ пріятныхъ воспоминаній; она поражала и озадачивала собою каждаго, съ кѣмъ бы ни сходилась, ни встрѣчалась: думаешь видѣть передъ собою милую окрутницу, которая ловко, удачно и искусно поддѣлалась подъ стать и ладъ дикарки, не покидая благородной, образованной осанки нашихъ барынь и дѣвицъ лучшаго круга.

Но Бикей былъ вѣчно тотъ же; онъ не умѣлъ по нашему, въ тиши, вдали отъ суетъ и притязаній, лелѣять блаженство свое и вкушать его каплю по каплѣ; не умѣлъ подладить подъ нравъ упрямаго, угрюмаго старика; Бикей и теперь все еще леталъ, какъ и прежде, по скачкамъ, знался и водился съ казаками и требовалъ, по старой привычкѣ, наступя на горло, тамъ, гдѣ можно, гдѣ должно было или просить—или молчать.

«Выдѣли меня!» сказалъ онъ однажды отцу своему, будучи у него въ гостяхъ, «выдѣли меня, батюшка; я уже не ребенокъ; хочу жить самъ по себѣ, своимъ умомъ, своимъ добромъ; коли ты умрешь, такъ братья меня разобидятъ въ пухъ: я же имъ не захочу спустить, не подарю ничего — и быть бѣдѣ, сердце мое слышитъ! Выдѣли меня до грѣха, отдай мнѣ, что будетъ моимъ, и я не стану болѣе считаться съ вами, ни тягаться; пусть братья дѣлаютъ, отъ чего отстать

не могутъ, пусть натравливаютъ тебя, старика, на меня, а я — стану молчать; выдѣли только меня, батюшка, честно, правдиво, безобидно.

— А какой дѣлежъ, по-твоему, будетъ правдивъ и безобиденъ? — спросилъ старикъ, сидя на землѣ орликомъ, перекинувъ руку за руку на колѣняхъ и глянувъ черными очами своими, подернутыми притворнымъ спокойствіемъ, на стоящаго передъ нимъ сына.

«А вотъ какой: дай ты мнѣ всего скота поровну съ братьями, да прибавь еще что-нибудь за калымъ сестры, которую вы продали какъ барана, — и дѣло кончено!»

— Не только не будетъ тебѣ прибавки за сестру,— отвѣчалъ старикъ, покачивая головою: — но я, коли Богъ пособитъ, вычту еще съ тебя калымъ, который выплатилъ я Тохматышу за невѣсту твою: возьми ее къ себѣ, сорванецъ бѣшеный!

«Твоя воля браниться, отецъ, а я ея не беру; есть у меня жена, а покуда другой не хочу. И не будетъ помощи тебѣ отъ Бога на неправое дѣло, не призывай Его! Не годится мнѣ, сыну, съ тобою считаться; бранились вы со мною годы, не хочу я браниться съ вами ни годины; слушай: еслибы я взялъ за себя Дамилю, дочь Тохтамыша, то ты бы не сталъ искать на мнѣ калыма, который за нее отдалъ; за что же теперь правишь его съ меня? раавѣ легче тебѣ будетъ, коли возьму за себя еще другую жену?»

— Пусть не пропадаетъ даромъ добро мое,—отвѣчалъ упрямый старикъ настоятельно: — я заплатилъ за нее...

«Дѣло твое неправое, батюшка, видитъ Аллахъ, неправое; и самъ ты видишь это, но... суди Богъ, какъ знаетъ, а кромѣ Него намъ нѣтъ судьи. Слушай же: я съ тебя правлю калымъ за сестру, ты съ меня калымъ за невѣсту; вернстай же калымъ за калымъ;

пусть добро мое пропадаетъ, да выдѣли меня только наравнѣ съ братьями, и я снова Божій и твой!»

— Нѣтъ тебѣ калыма за сестру, — молвилъ упрямый старикъ:—моя дочь, а не твоя; а выдѣлю я тебя съ учетомъ за весь калымъ невѣсты твоей, Дамили, и живи, какъ знаешь!

Это огорчило Бикея въ конецъ и раздражило его крайне. «Со старикомъ нечего дѣлать,» подумалъ онъ: «старикъ выжилъ изъ лѣтъ; онъ дряхлъ и глупъ, а все-таки отецъ мой; но мнѣ отвѣтъ держать должны братья; они не ребята и не старичишки, а знаютъ дѣло и понимаютъ его не хуже меня. А уступить имъ—я не уступлю: они и такъ уже заживо обобрали и отца, и меня; выманили у него что ни есть лучшихъ скакуновъ, то туда, то сюда, и я же остался у нихъ въ дуракахъ; а мнѣ имѣнье нужно, нужнѣе ихняго; я и такъ уже позамотался немного, да и не доплатилъ еще уральцамъ половины займа, на калымъ Мауляны, а срокъ подходитъ; они *кунаки* и *дустлары* мои, и друзья и пріятели, да если я не раздѣлаюсь съ ними въ срокъ,—такъ, видно, класть имъ будетъ послѣ по *тринадцати* барановъ на дюжину! Упрямый старикъ! За то, что не хочу держать другой жены, что не хочу засватанной имъ невѣсты, правитъ онъ съ меня калымъ; будто не все одно ему, за ту ли, за эту ли онъ отдалъ добро свое, и не разсудитъ, что Мауляну я самъ засваталъ, самъ, за свое добро, а не онъ! А самъ онъ продалъ сестру, что калмычку, и молчитъ; и тѣ тоже, Богъ ихъ суди, притаились съ нимъ и залегли въ заплотъ, всѣ заодно, на меня жъ! такъ нѣтъ, онъ правъ, вишь, а я виноватъ! добро, все это братья! *Джяманъ кишиляръ*, подлецы они; у меня рука на нихъ не подымется, а языкъ поворотится, буду смѣяться имъ въ глаза, буду дурачить ихъ при людяхъ; имъ стыдно станетъ—и авось, дадутъ они мнѣ покой!»

Прошло нѣсколько времени, и Исянгильди назначилъ въ стадахъ и табунахъ своихъ участки сыновьямъ: изъ доли Бикея братья выбрали себѣ, съ согласія отца, любую сотню головъ крупнаго скота и объявили ихъ своими. Столько, утверждали они, старикъ далъ калыму за первую невѣсту Бикея. И здѣсь опять Бикей былъ обиженъ вдвойнѣ; во-первыхъ, не за что было взыскивать и вычитать калымъ этотъ съ него за то только, что онъ не бралъ другой жены, а во-вторыхъ, Исянгильди никогда ста головъ не заплатилъ Тохтамышу, а почти вчетверо менѣе. Это былъ одинъ только предлогъ, чтобы обобрать и обдѣлить Бикея по мѣрѣ силъ и возможности. Но онъ и тутъ не вышелъ изъ себя и не измѣнилъ себѣ: «берите,» говорилъ онъ смѣючись, «берите, что хотите, будьте пастухами моими, я же вамъ за это спасибо скажу! берите и пасите; да только приглядывайте у меня за добромъ моимъ исправно! счетомъ взяли, счетомъ и отдадите!»

Бикей дѣйствительно въ полной мѣрѣ оставался вѣренъ слову своему, и дѣло слѣдовало слову: когда онъ нуждался въ конѣ, когда хотѣлъ рѣзать барана, то приходилъ, какъ хозяинъ, въ стада братьевъ своихъ, бралъ взачетъ, что хотѣлъ, распоряжался въ самомъ дѣлѣ какъ у пастуховъ своихъ, какъ дома; онъ при этомъ всегда успѣвалъ молодецкимъ обычаемъ своимъ, всегда дѣлалъ набѣги эти удачно, хотя, изъ похвальбы и хвастовства, а можетъ быть изъ благоразумной предосторожности,—ходилъ на поискъ этотъ всегда одинъ и безъ всякаго оружія; ходилъ, какъ самъ говаривалъ, въ свои стада, къ пастухамъ своимъ. Такимъ образомъ, Бикей, въ теченіе лѣта, отогналъ у братьевъ уже нѣсколько головъ разнаго скота; и братья, чувствуя неправое дѣло свое, которое всѣ сосѣдніе аулы, гласъ народа, давно уже порѣшили въ пользу Бикея,—братья ссорились, бранились, грозились, просили на него шум-

ными и нахальными рѣчами у отца, драли горло,— и только. Они пытались было нѣсколько разъ наверстать убытки свои изъ стадъ и табуновъ Бикея, угоняли обратно у него, по кореннымъ, степнымъ законамъ баранты, овецъ и лошадей — но скоро оставили этотъ напрасный трудъ: Бикей никогда не отражалъ ихъ силою, никогда не встрѣчалъ ихъ, какъ они надѣялись можетъ быть, — съ оружіемъ; словомъ, онъ ни малѣйше не противился набѣгамъ и покушеніямъ ихъ. «Берите», говорилъ онъ, «берите, что хотите; пасите, приглядывайте за добромъ моимъ, а коли прокормите скотину мою благополучно зиму, такъ я ее приму отъ васъ снова весною, и подарю еще, пожалуй, за пастьбу сороковину. Мнѣ же лучше: буду сидѣть въ зимніе бураны спокойно съ хозяйкою своею въ *тирмэ*, въ кибиткѣ, не буду плестись и разъѣзжать худоконнымъ вершникомъ, на исхудавшей клячѣ, согнувшись горбомъ отъ стужи и бурана, въ тройномъ *ярлакъ*, да въ мохнатомъ *тумакъ* [1]), и сгонять хриплымъ голосомъ и ознобленною рукою разбитые зимнею вьюгою стада и табуны! буду грѣться подъ крышей, у огня, буду отогрѣвать и пить замороженный впрокъ кумысъ, буду пить грѣтую, теплую воду [2]) а закусывать *крутомъ* [3]), буду ѣсть копченыя конинныя колбасы и полотки... а вы пасите за меня скотъ мой,—все равно, надобно жъ мнѣ нанимать пастуховъ!»

Это обстоятельство поставило вовсе втупикъ братьевъ Бикеевыхъ; нѣтъ суда и нѣтъ средствъ ни поко-

---

[1]) Тумакъ, малахай, карнаухъ — шапка о трехъ лоскутахъ, покрывающихъ щеки и затылокъ.

[2]) Кайсаки, особенно почетные, степенные люди, никогда не пьютъ холодной воды, производя отъ нея множество болѣзней; котелокъ съ водою лѣто и зиму прѣетъ на небольшомъ, кизячномъ огонькѣ, и это ихъ обыкновенное питье, коли нѣтъ кумысу.

[3]) Соленый высушенный овечій сыръ, обыкновенная и любимая ихъ пища.

рить его, ни наказать; а сколько они ни стерегли его въ табунахъ своихъ, сколько ни старались поймать его на мѣстѣ, все по пустому и безъ малѣйшаго успѣха. Онъ надъ ними только потѣшался: онъ стращалъ и подсылалъ сказать, что пріѣдетъ въ темную полночь за расправою, и братья вооружались, стерегли, разъѣзжали всю ночь напролетъ; а онъ являлся среди бѣлаго дня, кидался на любого скакуна и улеталъ стрѣлою, прежде чѣмъ пастухи успѣвали повѣстить братьевъ его о новомъ набѣгѣ и похищеніи.

Братья, составивъ съ отцомъ совѣтъ, рѣшились прибѣгнуть къ послѣднему средству: позвать *баксы*, киргизскаго шамана, обѣщать ему лучшаго стригуна, жеребенка, если онъ откроетъ имъ средство, какъ наказать брата и воротить отъ него все добро свое.

Пусть читателей не удивляетъ этотъ языческій шаманъ среди почитателей ислама; я думаю, они—читатели—припомнятъ, что есть гдѣ-то иная, чистѣйшая, спасительнѣйшая вѣра, среди которой, однакоже, процвѣтаютъ, во всемъ блескѣ своемъ, и ворожба, и заговоры, и колдовство, и гаданья, и всякая всячина; словомъ, то же самое шаманство...

Баксы этого привезли верхомъ на быкѣ, въ носовой хрящъ котораго продѣтъ былъ арканъ,—экипажъ, на коемъ разъѣзжаютъ впрочемъ и не одни баксы, а вообще неимущіе, пастухи и другіе люди. Баксы этотъ, съ обнаженною черною грудью своею, съ худощавымъ, смуглымъ, судорожно истерзаннымъ лицомъ и черными косыми очами,—съ длинной черной, лоснящеюся косою, въ лохмотьяхъ съ ногъ до головы, былъ гаже и отвратительнѣе всего, что можно только постичь пятью чувствами. Глядя на него, обдавало васъ муращками, какъ въ обществѣ безумнаго, прокаженнаго, который напоминаетъ какъ-то наружностію своею человѣка, но, въ сущности, есть тварь безсмысленная. Сближеніе

это, для всякаго мыслящаго человѣка, тягостно, унизительно и больно. Баксы нашъ былъ и жалокъ и смѣшонъ, коли хотите, но болѣе всего неизященъ и отвратителенъ. Онъ началъ продѣлку свою тѣмъ, что велѣлъ отыскать въ аулѣ и привести къ себѣ больного; этотъ бѣднякъ поплатился за все; баксы мучилъ и терзалъ его неотступно; ему, шаману, нужно было выгнать изъ хвораго *шайтана*, чтобы съ нимъ вдвоемъ потолковать объ извѣстномъ дѣлѣ. Можно себѣ вообразить, что выйдетъ доброе дѣло изъ обоюднаго совѣщанія бѣснующагося, воплощеннаго бѣса съ шайтаномъ, съ чортомъ!

Вся продѣлка баксы состоитъ въ томъ, что онъ садится, посреди кибитки, на земь, засучиваетъ рукава и начинаетъ медленно и спокойно пѣть, подыгривая на *кобзѣ* и покачиваясь съ боку на бокъ. Мало-по-малу онъ входитъ въ восторгъ, реветъ громче и безтолковѣе; толстыя короткія струны и смычокъ дико вторятъ неистовому напѣву бѣснующагося,—а наконецъ, вышедъ изъ себя, вскочивъ, кривляясь и ломаясь ужаснымъ образомъ, объявляетъ баксы, что бѣсъ въ него влѣзъ; тогда вопрошаютъ его, о чемъ нужно, и онъ, кусая себя зубами, при чемъ присутствующіе вскакиваютъ и кричатъ: *минымъ кулымъ*, моя рука, чтобы, видите, онъ самъ себя не изувѣчилъ,—царапаясь ногтями, заколачивая, довольно грубымъ обманомъ, ножъ или топоръ себѣ въ брюхо, и прочее, и прочее,—оканчиваетъ наконецъ продѣлку тѣмъ же, какъ и началъ: провожаетъ чорта на кобзѣ и, выпроводивъ его, опять дѣлается человѣкомъ.

Итакъ, баксы кричалъ и пѣлъ, и метался, и падалъ, и стегалъ самъ себя плетью, приподнималъ больного зубами за поясъ и ронялъ его на землю; ломался, пѣлъ, потомъ снова успокоился, усѣлся, началъ скрипѣть смычкомъ по гудку, который состоялъ изъ корытца

или долбушки, вилообразной подставки и трехъ, свитыхъ изъ конскихъ волосъ, струнъ, — началъ, сидя, покачиваться туда и сюда, косить и подкатывать бѣльма свои, вскочилъ снова, ревѣлъ туромъ и ржалъ жеребцомъ, а наконецъ, поставилъ хвораго на четвереньки, грудью надъ глиняною плошкой, которая горѣла семью яркими огнями: и началъ, заглушая крикомъ своимъ стоны больного, бить его по спинѣ нагайкой... Онъ читалъ и пророчилъ по щелямъ и трещинамъ жженой бараньей лопатки, къ которой ножъ и зубъ не смѣли прикоснуться,—опять ломался и бѣсновался; словомъ, не знаю, чѣмъ бы все это кончилось, еслибы онъ не оборвался наконецъ со стропилъ, или съ круга кибитки, куда полѣзъ, шайтанъ его знаетъ зачѣмъ, и не упалъ бы, среди бѣшенства своего и изступленія, на дымящіяся посреди кибитки головни; бумажный, стеганый, изодранный халатъ его вспыхнулъ, и знахаря нашего насилу залили турсукомъ воды. Это приключеніе уняло, простудило и угомонило нѣсколько гаера; онъ успокоился и потребовалъ пить: ему подали чашку кумысу. Потъ съ него, съ лѣшаго, катился градомъ, вода бѣжала ручьемъ, а корча все еще ломала и коробила его во всѣ стороны. Онъ свалился съ ногъ, пролежалъ, немного зажмурившись, въ безпамятствѣ, и прокричалъ слѣдующій приговоръ: *Женѣ судья — мужъ; дочери — отецъ, а возмужалому человѣку – старшій въ родѣ. Передъ судьею долженъ явиться обвиняемый во всякое время, а непокорнаго судьѣ—Богъ велитъ навязать на хвостъ кулану* [1]) *и пустить на безводный, раскаленный кизылъ-кумъ!*

Этимъ представленіе кончилось. Баксы выспался, наѣлся, напился, взялъ стригуна своего и отправился верхомъ, на томъ же быкѣ, на которомъ прибылъ.

---

[1]) Дикой лошади

Однажды, на разсвѣтѣ—это было осенью, когда въ ругихъ странахъ одна только вершина шатра небесаго сквозитъ еще своею лазурью, а небосклонъ облеаютъ уже сѣрыя, сребристыя тучки, и когда въ)ренбургѣ и степныхъ окрестностяхъ его, свѣтлое, ихое и безоблачное небо—до ноября и позже—стоитъ еподвижно и величественно, подъ безконечнымъ протранствомъ желтой, блеклой степи, и кой-гдѣ еще олышится уцѣлѣвшій кустъ стараго серебристаго овыля,—на разсвѣтѣ такого дня, 4 сентября 1831 ода, прискакалъ одинъ изъ табунщиковъ старшихъ ыновъ Исянгильдіевыхъ, Джанъ-Кучюка или Кунакъая, съ вѣстью, что Бикей опять уже пріѣхалъ хозяйичать въ косяки братніе. Поскакавшіе въ табунъ озяева нашли все въ своемъ порядкѣ; Бикея уже не ыло, а пастухи донесли, что онъ угналъ пару отборыхъ коней — и ускакалъ. Братья Бикея теперь приступили къ отцу и неотвязчиво требовали, чтобы онъ ызвалъ на судъ сына: они собрали, на скорую руку, ѣсколько человѣкъ, изъ единомышленныхъ родствениковъ своихъ, въ кибитку старика Исянгильдія, увѣили отца, что въ этомъ общемъ засѣданіи должно удить и осудить Бикея—и перекричавъ всѣхъ и оглушивъ крикомъ своимъ самого отца, поставили, какъ то быкновенно водится у пріятелей нашихъ, кайсаковъ, ѣло на своемъ. Они раздражили старика и вывели его зъ себя.

«Позвать его ко мнѣ!» заревѣлъ онъ, и глаза его скрились гнѣвомъ неукротимымъ, губы дрожали: «позвать сейчасъ; я отецъ его, я старшій въ родѣ *Тана*, таршій въ поколѣніи *Гассанъ*, я глава семейства *Инмурзы*, я судья беззаконію его, я и каратель; я ему докажу, что своеволіе его мнѣ надоѣло; докажу, что ему судья, а не онъ мнѣ! позвать его сейчасъ!»

И гонецъ слеталъ уже въ аулъ Бикея, не оглады-

ваясь, и привезъ уже отвѣтъ: «Тебя послали братья мои, а не отецъ; отцу уже нѣтъ дѣла до ссоръ нашихъ, онъ выдѣлилъ насъ, по своему, и отказался отъ правосудія. На зовъ отца я готовъ идти всегда, но тебя послали братья. Скажи жъ имъ, братьямъ моимъ, что я наказовъ ихъ не слушаю, что званый къ нимъ не ѣду, а ѣзжу незваный, а ихъ прошу, коли хотятъ, пожаловать въ гости ко мнѣ во всякое время; саба [1]) моя полна кумысу, баранъ всегда найдется для гостей, и коверъ на подстилку.»

— Подайте его сюда!—заревѣлъ бѣшеный старикъ, вышедъ изъ себя, когда сыновья донесли ему слова Бикея, по-своему: — подайте его сюда!—кричалъ онъ, вскочивъ съ кошмы своей, покрытой ковромъ персидскимъ, современнымъ Надыръ-шаху,—подайте!»

«Нейдетъ онъ», отвѣчали въ голосъ Джанъ-Кучюкъ и Кунакъ-бай: «смѣется немощному, слабому старцу, нейдетъ и знать его не хочетъ!»

— Живого или мертваго подайте!—гаркнулъ изступленный старикъ и затрясся всѣмъ тѣломъ:—я приказываю, чтобы онъ здѣсь былъ черезъ полчаса!

Вотъ слова, которыхъ жаждали, вѣроятно, уже нѣсколько лѣтъ сряду, братья Бикея; и не успѣлъ еще выведенный изъ себя отецъ произнести страшныхъ угрозъ, какъ они были уже обращены въ наказъ и въ самое дѣло. Шестеро вооруженныхъ вершниковъ мчались уже во весь духъ по тому же направленію, по коему едва только первый гонецъ возвратился.

Бикей собирался ѣхать на линію, въ Калмыкову крѣпость, и жена ему подводила коня, когда, занесши уже ногу въ стремя, Бикей поднялъ голову и увидѣлъ всадниковъ. Предугадывалъ ли онъ послѣдствія отказа своего и хотѣлъ избѣгнуть, на первый случай, встрѣчи,

---

[1]) Саба, кожаный мѣхъ большого размѣра, турсукъ меньшаго.

или случайно и ничего не замышляя, собрался въ этотъ путь — не знаю; но было такъ, какъ я разсказываю. Онъ мигомъ узналъ дорогихъ гостей, впереди которыхъ летѣли любезные братья его,—угадалъ, по чеканамъ и копьямъ, что они ѣдутъ не въ гости къ нему,—и впервые измѣнилъ себѣ и обычаю своему, впервые не нашелся; хладнокровіе его не устояло противу этого новаго, стремительнаго натиска мерзавцевъ; — онъ кинулся въ кибитку за оружіемъ

Мауляна, покинувъ поводъ вѣрнаго коня, бросилась за мужемъ и выкрутила силою изъ рукъ его винтовку, не внимая заклинаніямъ и божбѣ Бикея, что онъ стрѣлять по братьямъ не станетъ, что даже ружье не заряжено, что онъ только въ острастку имъ беретъ мултукъ свой, зная, что никто не посмѣетъ сунуться на него, и братья первые уйдутъ домой, не оглядываясь, коли увидятъ ружье въ рукахъ его; несмотря на все это, она силою обезоружила Бикея, вывела изъ кибитки, требуя и настаивая, чтобы онъ сѣлъ, не вооруженный, на жеребца и ускакалъ бы, какъ намѣревался прежде, на линію.

Нехотя и какъ бы предчувствуя всю бѣду, повиновался онъ Маулянѣ, любимицѣ своей; «садись», кричала она: «садись и скачи», вынесла мужа почти на рукахъ изъ кибитки и увидѣла, что покинутый ею въ испугѣ, безъ надзора, конь, на котораго была вся надежда, конь, съ которымъ неудачи въ побѣгѣ и быть не могло,—тряхнулъ гривою, почуявъ вольность свою, и ускакалъ.

Бикей вскочилъ на какую-то клячонку, которая стояла, осѣдланная, подлѣ сосѣдней кибитки и вѣроятно принадлежала какому-нибудь пріѣзжему гостю или пастуху; вскочилъ—и по первой выступкѣ кобылки позналъ моготу ея: ему и думать нельзя было уйти на ней отъ шести вершниковъ, которые уже доскакивали

до аула; Бикей, будучи, какъ уже сказалъ я, вовсе безоруженъ и теперь такъ близокъ къ бѣдствію, снова нашелся и успокоился; онъ повернулъ въ ту жъ минуту навстрѣчу погонѣ и подъѣхалъ шагомъ къ дикому звѣрю, котораго, какъ говорилъ я выше, сама природа запятнала не двусмысленною печатью, присудивъ Бикею называть его *карандашъ*—одноутробнымъ. Бикей принялъ спокойный видъ и произнесъ всегдашнее привѣтствіе: *селямъ-алейкюмъ*; но получилъ въ отвѣтъ, вмѣсто обычнаго: *алейкюмъ-селямъ*—градъ ругательныхъ словъ, въ которыхъ татарскіе народы едва ли не перещеголяли насъ, русскихъ, и которыхъ я повторять здѣсь не намѣренъ — а затѣмъ, выслушалъ объявленіе слѣдовать за ними, за братьями, коли не хочетъ, чтобы надъ нимъ былъ исполненъ смертный приговоръ отцовскій.

«Я ѣду сегодня въ другое мѣсто», отвѣчалъ Бикей твердо и спокойно: «и съ вами ѣхать мнѣ не по пути; а какъ вы, кажется, отправляетесь куда-нибудь на разбой, то я мѣшать вамъ не стану; прощайте!» И за словомъ поворотилъ онъ коня отъ нихъ и поѣхалъ, шагомъ, своимъ путемъ.

Старшій братъ, Джанъ-Кучюкъ, не далъ ему отъѣхать пяти шаговъ, какъ, налетѣвъ на него сзади, разсѣкъ ему, тяжелымъ чеканомъ своимъ, черепъ. Бикей зашатался, припалъ, обезпамятѣвъ, на переднюю луку, замоталъ обѣ руки въ гриву — и уже долѣе лица не подымалъ. Невѣрный конь равнодушно продолжалъ свой путь шагомъ. Всадникъ его былъ убитъ или добитъ обоими братьями и снятъ уже мертвый съ сѣдла. Остывшіе, судорожно сомкнутые персты насилу были выпутаны изъ косматой гривы клячонки.

ГЛАВА VI

ВДОВИЦА.

Не стоило бы начинать здѣсь еще новую главу; повѣсть моя, какъ сами видите, вся или почти вся, а что остается досказать, то можно бы пришить и къ предъидущему. Но, описавъ братоубійство, отдѣлилъ я толстою чертою писанное отъ оставшагося внизу пробѣла и кинулъ перо; нынѣ же, когда пробѣжалъ я снова давно наброшенный разсказъ свой, съ тѣмъ, чтобы предать его тисненію, наткнулся я на эту длинную и толстую черту, Бикеевъ скромный мавзолей, — не хочется мнѣ тревожить памяти и праха убитаго разореніемъ этого, отъ избытка чувствъ сооруженнаго памятника; невольно перевертываю листъ и начинаю въ новую строку.

Бикей былъ убитъ; месть и жажда крови братьевъ-изверговъ утолена; онъ лежалъ передъ ними бездыханенъ, и алая кровь его запеклась на желтой, солнцемъ сожженой, сухой травѣ. Весь аулъ сбѣжался, старъ и малъ подняли крикъ и вой ужасный; всѣ кричали о мести, кричали: «кровь за кровь!» тревога поднялась и разлилась во всѣ стороны; и когда убійцы поспѣшно взвалили трупъ Бикеевъ на коня и помчались съ нимъ безъ оглядки въ аулъ Исянгильдія, то шумная, безтолковая толпа, съ угрозами и проклятіями, скакала вслѣдъ за убійцами, вплоть до самой кибитки старшинской.

И на пути, неожиданное появленіе значительной конной толпы встревожило всѣ аулы, а послышавъ крикъ: «Бикей *улганъ!*—Бикей убитъ!»—старъ и малъ завывали страшными голосами и, всплескивая руками, приставали къ поѣзду. Исянгильди, на крикъ приближенныхъ своихъ: «ѣдутъ! ѣдутъ!» — вышелъ изъ

кибитки своей въ сердцахъ, готовый встрѣтить гнѣвно, строго и сурово непокорнаго, кипящаго жизнію сына— и встрѣтилъ его — тихимъ, покорнымъ и *покойнымъ*... Какая разительная противоположность — живой человѣкъ и мертвый!

Лицо Исянгильдія мгновенно измѣнилось, такъ что всѣ предстоящіе, взглянувъ на него, замолкли: казалось, и здѣсь, въ чертахъ отцовскихъ, совершился переходъ отъ жизни къ смерти. Исянгильди прошепталъ, пробормоталъ что-то, сложивъ руки, какъ привыкъ ихъ складывать ежедневно при *намазѣ*, молитвѣ, и, наклонивъ голову, дрожащими перстами коснулся бороды своей—и все вокругъ затихло; шумная, дикая, голосистая толпа умолкла — отецъ убилъ сына, братъ брата; казалось, это было происшествіе, которое могло заставить опомниться и призадуматься даже и заяицкаго степного волка, называемаго у насъ киргизъ-кайсакомъ. Это выходило изъ круга дѣлъ обыкновенныхъ, и мохнатые зрители наши походили и сами на невыѣзженныхъ, дикихъ коней своихъ, которые храпѣли, когда проволокли по землѣ мимо нихъ трупъ убитаго, пряли ушами и, выкативъ бѣльма, боязливо переступали съ ноги на ногу, попрашивая поводьевъ и оглядываясь другъ на друга.

Итакъ, старикъ этого не ожидалъ. Опамятовавшись, спросилъ онъ: «кто смѣлъ убить сына его?» Убійцы громко, нагло и какъ бы съ укоромъ отвѣчали ему: «Ты его убилъ, не мы, ты самъ, мы только исполнители воли твоей!»

Исянгильди замолкъ опять, глядя на трупъ сына, сложилъ, опустивъ ихъ передъ собою, руки и, покачивая головою, повторилъ два раза: *минъ уны ультердымъ* — я его убилъ; онъ вынулъ изъ-за пояса ножъ, сдѣлалъ имъ разрѣзъ на обнаженной груди сыновняго трупа, омокнулъ палецъ въ простывшую уже кровь

его, коснулся имъ устъ своихъ и сказалъ: *Лишаясь одного сына, я долженъ спасти остальныхъ;—я его убилъ; на мнѣ кровь его, на мнѣ и отвѣтъ за кровь.*— Потомъ онъ горько зарыдалъ, закрылъ лицо руками, удалился въ *тирмэ*, въ теремъ свой, и не велѣлъ пускать къ себѣ убійцъ. Дѣло было сдѣлано, пособить было нечѣмъ, и старикъ, зная строгость законовъ нашихъ, зная и обратившійся въ неизмѣнный законъ обычай крово-мести земляковъ своихъ — онъ предпочелъ взвалить на себя все бремя отвѣтственности, и спасти, коли можно, остальныхъ сыновей своихъ.

Чтобы досказать начатое, а потомъ уже перейти къ иному, упомяну теперь же, чѣмъ рѣшилась судьба убійцъ.

Оренбургская пограничная комиссія писала объ этомъ, въ донесеніи своемъ, слѣдующее: «Всѣ вообще свѣдѣнія, относительно смерти Бикея Исянгильдіева, состоятъ: въ донесеніи султана-правителя, по показаніямъ вдовы умершаго; въ донесеніи султана Махмуда Алгазыева, посланнаго для розысканія, на мѣсто происшествія; а наконецъ, въ донесеніи самого отца, *подозрѣваемаго* въ убійствѣ сына. Въ первомъ, старшина Исянгильди съ сыновьями именуются умышленными убійцами, изъ второго только видно, что султанъ Махмудъ не могъ или не хотѣлъ изслѣдовать дѣла; онъ говоритъ, что Бикей, упавъ съ лошади, самъ себя поранилъ саблею и разбилъ голову, отъ чего и скончался. Отецъ умершаго, или убитаго, говоритъ то же— а между тѣмъ уже откочевалъ подальше отъ линіи.

«Но народная молва, громко и согласно, обвиняетъ Исянгильдія со старшими сыновьями его, Джанъ-Кучюкомъ и Кунакъ-баемъ, въ убійствѣ. Отецъ, послѣ продолжительныхъ и крайне запутанныхъ споровъ и ссоръ съ сыномъ своимъ Бикеемъ, подстрекаемъ и раздражаемъ будучи братьями и врагами его, Бикея,

произнесъ, забывшись, роковой приговоръ, а тѣ исполнили его, не давъ остыть необузданнымъ чувствамъ старика. Но два обстоятельства важны въ молвѣ этой: первое—Бикей противъ отца никогда не забывался, и отвѣчалъ посланнымъ: «на зовъ отцовскій я готовъ идти во всякое время; но васъ послали братья, а не отецъ», и второе: старикъ Исянгильди не ожидалъ и не хотѣлъ убійства; онъ горько и неутѣшно зарыдалъ и обагрилъ самъ себя кровію убитаго, чтобы спасти, отъ мести народной и кары закона, остальныхъ сыновей и родственниковъ своихъ, принять съ кровію убитаго всю отвѣтственность на себя и положить конецъ дѣлу, которое вовлекло бы въ бѣдствіе цѣлый родъ и племя его.

«Старшина Исянгильди считается однимъ изъ почетнѣйшихъ и, безъ сомнѣнія, самымъ богатымъ изъ всѣхъ оренбургскихъ кайсаковъ; гассановское отдѣленіе рода Тана, имъ управляемое, отличается благосостояніемъ и спокойствіемъ; Исянгильдію нынѣ — въ 1831 году — 88 лѣтъ отроду; преслѣдованіе виновныхъ по закону было бы не только трудно и безполезно, но даже вредно и невозможно. Аулы гассановцевъ тогда, безъ сомнѣнія, немедленно откочевали бы отъ линіи; богатые, почетные и многочисленные родственники старшины удалились бы въ степь, присоединившись къ шайкѣ разбойника Каипъ-галія [1]), который нашелъ бы въ новыхъ приверженцахъ этихъ давно желанное подкрѣпленіе; сверхъ этого, виноватые не сознаются; уликъ законныхъ нѣтъ и найти ихъ почти невозможно, ибо всѣ прикосновенные къ дѣлу не только никогда добровольно не явятся къ суду, но, напротивъ, ненавидя и не постигая судъ нашъ, законы и обряды

1) Нынѣ ушедшаго въ Хиву и принявшаго, отъ хана Хивы, начальство надъ непринадлежащими вовсе Хивѣ кайсаками и туркменами.

нашего судопроизводства, уйдутъ, вмѣстѣ съ виновными, при первомъ слухѣ о начатіи законнаго слѣдствія. Словомъ, можно предвидѣть, что дѣло затянулось бы на вѣчныя времена, не было бы никакихъ средствъ очистить и порѣшить сообразно съ нашими постановленіями; мирные и покорные аулы, преслѣдуемые строгимъ и справедливымъ закономъ, обратились бы во враждебные, между тѣмъ какъ, съ другой стороны, все это не принесло бы ни малѣйшей пользы.

«Совершенное бездѣйствіе,» сказано далѣе въ донесеніи этомъ: «совершенное бездѣйствіе, со стороны начальства, было бы почти такъ же невыгодно, какъ и чрезмѣрно строгое преслѣдованіе виновныхъ; а посему, кажется, было бы сообразно съ дѣломъ и обоюдными выгодами народа и правительства поступить слѣдующимъ образомъ:

1. Объявить Исянгильдію и прочимъ соучастникамъ его, что они состоятъ въ подозрѣніи по убійству старшины Бикея,—предоставляя имъ, коли пожелаютъ и возмогутъ, представить ясныя доказательства невинности своей.

2. До этого отрѣшить старшину Исянгильдія отъ должности дистаночнаго начальника надъ линейными киргизами 4-й дистанціи.

3. Имена всѣхъ сотоварищей Исянгильдія внести въ алфавитный списокъ подозрительныхъ киргизовъ.

4. Султану-правителю предписать: имѣть строгое наблюденіе за поведеніемъ и поступками подозрѣваемыхъ.

5. Ему же предписать: принять подъ покровительство свое оставшееся послѣ убитаго семейство.

6. Обо всемъ вышеозначенномъ обнародовать по ордѣ.»

Вотъ въ чемъ состояло распоряженіе, безъ сомнѣнія вполнѣ благоразумное и сообразное съ мѣстными

обстоятельствами; оно, конечно, въ сущности, не измѣнило положенія дѣла, потому что дѣло это было, въ отношеніи мѣръ законной власти, неисправимо и неизмѣняемо. Не должно забывать, что начальство нашё вѣдалось здѣсь не съ образованными подданными своими, а съ дикарями; что убійцы не сознавались въ злодѣяніи своемъ и что, какъ мы видѣли, въ донесеніи султана-правителя было сказано, будто бы Бикей умеръ отъ нечаяннаго самоубійства: онъ, увѣряли, на скаку споткнулся и напоролся на саблю свою. Всѣ знали, что это вздоръ; но кто, по вызову начальства, пріѣдетъ со степи на линію, для изобличенія виновныхъ? Кайсаки боятся суда и судей, какъ огня.

Происшествіе это нынѣ заснуло повидимому въ памяти причастныхъ ему, съ той и съ другой стороны—но это искры, тлѣющія подъ легкимъ пепломъ. Стóитъ только пахнуть вѣтру—и пламя вспыхнетъ и разгорится; а въ заяицкой степи, богатой буранами, за этимъ едва ли станетъ дѣло! Здѣсь каждая драка, каждая ссора, а тѣмъ болѣе убійство, влекутъ необходимо за собою цѣлый пóѣздъ подобныхъ явленій. Такъ и нынѣ: вражда Бикея съ братьями и съ отцомъ расплодилась, размножилась до безконечности, нынѣ взаимно враждующіе насчитываютъ другъ на друга слѣдующіе долги и недоимки: 1) наслѣдники Бикея правятъ съ отца и братьевъ его старый долгъ, извѣстный калымъ за сестру Бикея; 2) требуютъ *куна* за убіеніе послѣдняго и наконецъ еще 3) требуютъ уплаты, за косяки и стада, захваченные Исянгильдіемъ или сыновьями его силою, послѣ убійства, изъ принадлежащихъ собственно Маулянѣ и Бикею, равно изъ имѣнія второй жены Исянгильдіевой, матери Бикея, для удовлетворенія Мауляны и освобожденія симъ самымъ захваченнаго въ Уральскѣ, въ залогъ, сына своего Кунакъ-бая.

Вотъ какъ многосложны семейные раздоры, послѣдовавшіе убіенію Бикея; и можно, не бывъ пророкомъ, ожидать, что, скоро ль, нѣтъ ли, каша снова заварится и будетъ стоить, можетъ быть, не одной богатырской головы. Месть за кровь убитаго есть доблесть, столь свято въ степи чтимая, что доселѣ не было еще, какъ говорятъ, примѣра, гдѣ бы наслѣдники и родичи убитаго забывали выместить, хотя бы то и въ десятомъ поколѣніи, позорную смерть пращура.

Теперь я долженъ приступить еще къ разсказу одного обстоятельства, трогательнаго и истиннаго, относительно вдовицы Бикея, милой и прекрасной Мауляны.

Плано-Карпини, ѣздившій въ 1246 году, по приказанію папы, черезъ Россію къ татарамъ и монголамъ и благополучно возвратившійся опять во-свояси, говоритъ, между прочимъ, въ достойномъ любопытства путешествіи своемъ, написанномъ имъ по-латыни, что у помянутыхъ народовъ ведется обычай, по которому каждая вдова обязана выйти за брата или ближайшаго родственника умершаго. Изъ этого замѣчанія мы усматриваемъ, какъ древни бываютъ иногда обычаи народные; почти шесть столѣтій протекло, и мы нынѣ находимъ у киргизовъ то же. Жена есть вещь, купленная мужемъ; она принадлежитъ ближайшему по немъ наслѣднику, по той линіи, отъ который былъ выданъ калымъ, то есть по восходящей, или боковой, отцовской, но отнюдь не по нисходящей; такъ что мать, по смерти мужа своего, никогда не можетъ достаться въ удѣлъ сыну, а принадлежитъ боковымъ родственникамъ отца, братьямъ, дядямъ его и прочее.

И Мауляна, лишившись мужа, доставалась въ удѣлъ... убійцѣ его, старшему брату, Джанъ-Кучюку, который присватывался за нею еще въ дѣвствѣ ея и

никогда не могъ простить счастливому сопернику оказаннаго ему преимущества. Итакъ, вотъ еще новая пружина, новая махина, рычагъ и воротъ! Какъ было не посягнуть Джанъ-Кучюку на жизнь ненавистнаго ему брата, коли, сверхъ всего, подвигъ его долженъ былъ увѣнчаться такой наградой. Погубить соперника, уничтожить, втоптать въ прахъ противника своего и врага, — брата онъ въ немъ не зналъ и не видѣлъ, — быть въ то же время наслѣдникомъ достоянія его, силы и власти; а наконецъ, утолить еще жажду мщенія отверженной съ презрѣніемъ любви — обнять насильственно гордую, заносчивую, насмѣшливую, а все-таки прекрасную Мауляну, — все это соблазнило бы, можетъ быть, и не одного Джанъ-Кучюка, который не умѣлъ отдавать себѣ и другимъ никакого отчета въ проступкахъ своихъ, а дѣйствовалъ, какъ руки и ноги подымались, какъ дѣйствуютъ волкъ и коршунъ.

Въ какомъ положеніи была бѣдная Мауляна по убіеніи мужа ея — этого, воистину, выразить словами нельзя. Мнѣ говорилъ объ этомъ, между прочимъ, близкій родственникъ ея, прискакавшій къ ней на помощь изъ дальняго аула, въ ночь по совершеніи злодѣянія. Отчаяніе въ груди, въ умѣ дикарки не знаетъ никакой мѣры. Но каково было потомъ еще положеніе ея, когда на третій день послѣ убійства Джанъ-Кучюкъ пріѣхалъ было объявить ей, что она теперь его *джясыръ* и будетъ его четвертою женою? Она едва не зарѣзала его большимъ кабульскимъ ножемъ своимъ, въ бирюзовой оправѣ, съ черенномъ изъ рога носорога, и Джанъ-Кучюкъ бѣжалъ отъ изступленной не только по всему аулу — бѣжалъ отъ нея верхомъ, и степью, и палъ бы, можетъ быть, подъ обоюдо-острымъ *каратабаномъ* ея, еслибъ своякъ ея, султанъ Кусябъ, не кинулся за нею въ погоню и не отнялъ бы у нея ханджара. Султанъ привелъ ее,

лишенную ума и памяти, домой, и несчастная провела ужасную ночь, въ злѣйшей горячкѣ. Все утро она проплакала, рыдала горько и неутѣшно, во весь день не брала ни крохи, ни капли въ ротъ, а къ вечеру спокойно уснула. Утромъ, на разсвѣтѣ, спохватились— Мауляны нѣтъ. Кидались туда, сюда, по цѣлому аулу, поскакали въ аулы сосѣдніе—Мауляны нѣтъ, и слуху объ ней никакого. Не могли ничего придумать, куда бы ей дѣваться, коли не кинулась она, въ безпамятствѣ, въ Яикъ; какъ, около полудня уже, узнали отъ пикетныхъ, отъ сторожевыхъ уральскихъ казаковъ, занимающихъ передовую цѣпь по лѣвому берегу Урала, узнали, что киргизка, на разсвѣтѣ, промчалась мимо, о трехъ конь, и казаки, окликнувъ ее, не могли догнать. Мауляна ушла ночью изъ аула, поймала тройку удалыхъ коней, сѣла, и, не переводя духу, прискакала въ Уральскъ, гдѣ явилась къ атаману, Д. М. Б., прилетѣвъ прямикомъ къ нему во дворъ. Не скажу я, сколько верстъ проскакала Мауляна, въ какихъ-нибудь двадцать часовъ, пересаживаясь съ коня на коня, между тѣмъ какъ порожнихъ лошадей гнала во весь духъ передъ собою, а загнанныхъ покидала — не скажу для того, что степь дорога немѣренная; а еслибы я повторилъ только общую молву объ этомъ, то безъ всякаго сомнѣнія назвали бы вѣсть мою преувеличеннымъ, не заслуживающимъ никакого вѣроятія, пустословіемъ. Скажу только, что Калмыкова крѣпость, противъ которой кочевали тогда гассанцы, отстоитъ отъ Уральска 270 верстъ, что верстъ полтораста въ сутки дѣлаетъ двуконный исправный киргизъ легко; а сколько въ двадцать часовъ можно выскакать на трехъ перемѣнныхъ добрыхъ скакунахъ—коли станетъ на это силъ ѣздока, это досужіе читатели мои расчитаютъ по пальцамъ и безъ меня, и тогда пусть и пеняютъ не на меня, коли выйдетъ очень много!

Атаманъ препроводилъ искавшую у него убѣжища убитую судьбой красавицу къ военному губернатору, въ Оренбургъ. Смѣло и величественно вступила она въ переднюю залу и чрезвычайно поразила находившихся тамъ осанкою своею, красотою, смѣлою и величавою поступью и неожиданнымъ появленіемъ. Не менѣе того былъ изумленъ и самъ военный губернаторъ. Мауляна говорила, что пріѣхала искать защиты его, ибо у нея нѣтъ въ цѣломъ мірѣ благонадежнаго убѣжища. «Я пріѣхала», продолжала она спокойно и твердо: «просить позволенія губернаторскаго зарѣзать изъ рукъ своихъ Джанъ-Кучюка, убійцу мужа моего». Просьбу эту повторяла она нѣсколко разъ, съ такимъ прямодушіемъ и такъ настоятельно, что стоило большого труда вразумить ее и убѣдить отказаться отъ этого предпріятія. Долго думала она, что графъ не понимаетъ просьбы ея, и что переводчикъ виноватъ недоразумѣнію. Наконецъ, когда дѣло для нея объяснилось, объявила она рѣшительно, что по крайней мѣрѣ не переступитъ обратно порога, доколѣ не получитъ великаго слова намѣстника царскаго, что она будетъ жить спокойно въ аулѣ отцовскомъ и не будетъ выдана убійцѣ мужа. «*Ни файда*—что пользы въ этомъ», говорила она выразительнымъ трогательнымъ голосомъ: «что пользы, коли выдадутъ меня ему? Я его зарѣжу въ первую же ночь; и... назовите мнѣ хотя одну душу въ мірѣ, которой бы отъ этого было легче!«

Мауляна была доставлена, подъ вѣрнымъ прикрытіемъ, въ аулъ отца своего, киргиза Сатлы, рода Лаюлы, отдѣленія Маскаръ. Джанъ-Кучюку намекнули, чтобы онъ искалъ себѣ другой невѣсты, буде имѣетъ надобность въ четвертой женѣ. Мужнее имущество возвращено Маулянѣ безъ замедленія, хотя и при этомъ *опять* произошло, къ несчастію, новое злоупотреб-

леніе со стороны ей виноватыхъ, какъ мы видѣли это выше.

На этомъ я бы могъ кончить; но я не могу и не хочу утаить и окончательной доли милой Мауляны, потому что я пишу не сказку, а быль.

У меня есть въ Оренбургѣ товарищъ, знакомый, близкій человѣкъ, котораго я крайне люблю и уважаю Онъ изъ числа тѣхъ людей, коихъ большею частію называютъ чудаками, и это по-дѣломъ; они всегда пекутся только о благѣ и добрѣ чужомъ, а сами вѣчно ни при чемъ; кричатъ и надрываются, коли *честный человѣкъ*, который взялъ мѣсто, для того, чтобы оно его кормило—коли этотъ честный человѣкъ, изъ скуднаго жалованья своего, выспиживаетъ небольшіе векселишки да кой-какіе каменные домишки; пріятель мой человѣкъ, который, не взирая ни на чинъ, ни на мѣсто, ни на званіе, кричитъ вслухъ, по улицамъ и на базарѣ, что такой то воръ, а такой то плутъ, а такой то мошенникъ; оно иному, знаете, и непріятно. Онъ вообще все дѣлаетъ по-своему; люди ѣздятъ по линіи, по большой битой дорогѣ, да водятъ за собою цѣлый поѣздъ конвойныхъ; а онъ всю степь насквозь, вдоль и попереперекъ, прошелъ одинъ, припѣвая: *А и первый товарищъ мой добрый конь, а другой мой товарищъ калена стрѣла*... Онъ много занимается, читаетъ, особенно путешествія, любитъ самъ быть вѣчно въ разгонѣ, чѣмъ дальше и глубже въ новую и неизвѣстную ему доселѣ страну, тѣмъ лучше. Онъ выучился азіатскимъ языкамъ, знается и братается со всѣми нехристями, такъ что мы его зовемъ татариномъ, хотя и мусульмане иногда еще его бранятъ: кяфыромъ. Я слышалъ самъ, какъ русскіе называли его полякомъ, и слышалъ, какъ поляки честили его москалемъ. Какъ тутъ быть? Чему вѣрить, чего держаться? Я полагаю, что онъ

долженъ быть — какъ бишь земля, гдѣ эти люди родятся?

Этотъ человѣкъ, когда бываетъ въ степи, обыкновенно брѣетъ голову, отращиваетъ бороду — видите, все наоборотъ! — и слыветъ за-урядъ киргизомъ или по крайней мѣрѣ татариномъ. Однажды, на одной изъ такихъ поѣздокъ, въ глубинѣ степи, присталъ онъ, среди знойнаго, огненнаго лѣта, къ киргизскому аулу, на скатѣ расположенному. Здѣсь увидѣлъ онъ, на одномъ изъ отдѣльныхъ холмовъ, не совсѣмъ рѣдкое въ степи зрѣлище — несчастный дикарь, сынъ степей и разгульной воли, пораженный бичомъ дикаго человѣчества—оспою, былъ покинутъ всѣми и оставленъ безъ крова, безъ пищи, безъ призрѣнія, на произволъ судьбы. Все бѣжитъ отъ этого ужаснаго бѣдствія, котораго боятся въ степи такъ, какъ только можемъ мы бояться чумы, самой ужасной, лютой; все покидаетъ бѣдствующаго, и онъ гибнетъ, обыкновенно, безъ всякой помощи и призрѣнія. Рѣдко, очень рѣдко найдете вы сострадательную мать которая бы рѣшилась подать изнемогающему, сгарающему жаждою дитяти чашу воды. Вблизи линіи, кайсаки прибѣгаютъ къ помощи казаковъ; эти берутъ и *вылѣчиваютъ*, какъ они говорятъ, иногда зараженныхъ; то есть, не страшась оспы, ходятъ они около больного, и, коли Богъ милостивъ, то этотъ встаетъ; въ степи, напротивъ, онъ почти всегда гибнетъ уже отъ одного недостатка въ питіи и пищѣ.

Итакъ, пріятель мой подошелъ, по врожденной страсти своей хлопотать всегда о другихъ, подошелъ, чтобы подать бѣдствующей, — это была женщина, — чашу воды. Казалось, это было лишнее; она сгорала уже огнемъ горячки, и сострадательный хожалый нашъ услышалъ только невнятныя слова, произнесенныя въ безпамятствѣ: *Уой, бой, Бикей! сынъ мины*

ашламасъ идынъ! — то есть: «О Бикей, ты бы меня е покинулъ!»..—Какой Бикей?—спросилъ нетерпѣливо едовѣрчивый путникъ, какъ будто подозрѣвалъ уже здѣсь опять какой-нибудь обманъ или подлогъ — ка-ой Бикей? какъ зовутъ больную?

«Мауляна», отвѣчали ему: «это вдова убитаго икея». Она дѣйствительно умерла отъ оспы, лѣтомъ 832 года, менѣе года послѣ убіенія мужа, на 22-мъ оду отъ рожденія своего.

долженъ быть — какъ бишь земля, гдѣ эти люди родятся?

Этотъ человѣкъ, когда бываетъ въ степи, обыкновенно брѣетъ голову, отращиваетъ бороду — видите, все наоборотъ! — и слыветъ за-урядъ киргизомъ или по крайней мѣрѣ татариномъ. Однажды, на одной изъ такихъ поѣздокъ, въ глубинѣ степи, присталъ онъ, среди знойнаго, огненнаго лѣта, къ киргизскому аулу, на скатѣ расположенному. Здѣсь увидѣлъ онъ, на одномъ изъ отдѣльныхъ холмовъ, не совсѣмъ рѣдкое въ степи зрѣлище — несчастный дикарь, сынъ степей и разгульной воли, пораженный бичомъ дикаго человѣчества—оспою, былъ покинутъ всѣми и оставленъ безъ крова, безъ пищи, безъ призрѣнія, на произволъ судьбы. Все бѣжитъ отъ этого ужаснаго бѣдствія, котораго боятся въ степи такъ, какъ только можемъ мы бояться чумы, самой ужасной, лютой; все покидаетъ бѣдствующаго, и онъ гибнетъ, обыкновенно, безъ всякой помощи и призрѣнія. Рѣдко, очень рѣдко найдете вы сострадательную мать которая бы рѣшилась подать изнемогающему, сгарающему жаждою дитяти чашу воды. Вблизи линіи, кайсаки прибѣгаютъ къ помощи казаковъ; эти берутъ и *вылѣчиваютъ*, какъ они говорятъ, иногда зараженныхъ; то есть, не страшась оспы, ходятъ они около больного, и, коли Богъ милостивъ, то этотъ встаетъ; въ степи, напротивъ, онъ почти всегда гибнетъ уже отъ одного недостатка въ питіи и пищѣ.

Итакъ, пріятель мой подошелъ, по врожденной страсти своей хлопотать всегда о другихъ, подошелъ, чтобы подать бѣдствующей, — это была женщина, — чашу воды. Казалось, это было лишнее; она сгорала уже огнемъ горячки, и сострадательный хожалый нашъ услышалъ только невнятныя слова, произнесенныя въ безпамятствѣ: *Уой, бой, Бикей! сынъ мины*

ташламасъ идынгъ! — то есть: «О Бикей, ты бы меня не покинулъ!»..—Какой Бикей?—спросилъ нетерпѣливо недовѣрчивый путникъ, какъ будто подозрѣвалъ уже и здѣсь опять какой-нибудь обманъ или подлогъ — какой Бикей? какъ зовутъ больную?

«Мауляна», отвѣчали ему: «это вдова убитаго Бикея». Она дѣйствительно умерла отъ оспы, лѣтомъ 1832 года, менѣе года послѣ убіенія мужа, на 22-мъ году отъ рожденія своего.

XV

БАШКИРСКАЯ РУСАЛКА

Въ горной области Урала живетъ полукочевой народъ. Онъ просилъ у царя Іоанна Грознаго защиты и подданства: съ востока сибирскіе князья, а съ юга монгольскія, татарскія орды утомили зажиточныхъ скотоводцевъ непрестанными набѣгами. На сѣверъ однакоже и сѣверовостокъ сами они дѣлали набѣги и уводили себѣ оттуда, отъ племенъ чудскихъ, женъ. Откуда народъ этотъ взялся — неизвѣстно; вѣра его нынѣ мусульманская; языкъ нарѣчія турецкаго или татарскаго, произношеніе болѣе гортанное, монгольское; лица у мужчинъ—что-то среднее между лицомъ казанскаго татарина и заяицкаго кайсака; у женщинъ—между кайсачкою и самоѣдкою; словомъ, здѣсь, кажется, видна смѣсь племенъ: татарскаго, монгольскаго и чудского. Народъ этотъ называетъ самъ себя: башкуртъ; ученые наши тѣшились надъ этимъ словомъ, ломали и переводили его всячески: главный волкъ или

воръ [1]), главный пчеловодъ, отдѣльное племя или владѣніе, и проч. Сами башкиры говорятъ, что они происходятъ отъ ногаевъ или ногайцевъ, отдѣлившись отъ нихъ по усобицамъ. Иные помнятъ, по преданію, какое-то родство съ бурятами; въ сказкахъ и пѣсняхъ ихъ, поминаютъ родоначальникомъ дивнаго Чингисъ-Хана, коего предокъ рожденъ дѣвственницею отъ паитія солнечнаго луча, а самъ онъ, Чингисъ, вдовою Алангу, которую также посѣтилъ лучъ солнца и возвратился отъ нея сѣрымъ волкомъ съ конскою гривою.

Народъ башкуртъ раздѣлился съ незапамятныхъ временъ на племена, или, какъ ихъ называютъ у насъ, на волости; у каждой волости свой уранъ, откликъ, своя тамга, рукоприкладный знакъ, свое дерево и своя птица, розданные, какъ вѣритъ народъ, самимъ Чингисъ-Ханомъ. Ученые бытописатели наши ищутъ въ башкирахъ предковъ маджаровъ, нынѣшнихъ венгровъ; теперь же народъ башкуртъ, составляя общее съ мещеряками казачье войско, почти въ 200,000 человѣкъ, разселился отъ Уральскаго хребта до Яика, Большого Ика, Бѣлой и Камы, мѣстами еще кочуетъ лѣтомъ и

---

[1]) Люблю я этихъ переводчиковъ, которые все знаютъ и все толкуютъ: на здѣшнемъ нарѣчіи курдъ или куртъ никогда не означало вора. Тутъ нельзя не вспомнить длиннаго разсужденія, въ которомъ одинъ ученый нашъ старался доказать, что *аралъ* никакъ не можетъ означать островитаго моря или моря острова, потому что островъ по турецки *ада*, а не аралъ. Очень похвально знать по-турецки, но не похвально спорить положительно, опровергать и даже переиначивать то, что написали другіе, если не знаешь вовсе того языка или нарѣчія, къ коему спорное слово относится. Кайсаки, хивинцы и туркмены вовсе не знаютъ слова ада въ значеніи острова; собственно, островъ у нихъ утрай, а берегъ, материкъ, суша, островъ, словомъ—земля, въ противоположность воды, дѣйствительно называется аралъ. Поэтому аралъ-дингизы, или аралъ-дингизъ, скорѣе можетъ значить островное, береговое море, чѣмъ междо-рѣчье, какъ утверждаетъ строгій нашъ законникъ, тѣмъ болѣе, что послѣднее толкованіе, по свойству не турецкаго, а здѣшняго, татарскаго языка, нельзя допустить вовсе.

живетъ скотоводствомъ, промышляетъ и звѣриною ловлей, пьетъ кумысъ и ѣстъ крутъ; мѣстами же поселился уже осѣдлыми деревнями, разводитъ пчелъ, сѣетъ хлѣбъ, и одеждою и обычаями своими все болѣе и болѣе сливается съ сосѣдними татарами.

Но у кочевыхъ башкировъ осталось еще много своихъ повѣрій и преданій: есть злой духъ, дью-пари, (дивъ и пери), принимающій образъ человѣка, кошки, собаки и особенно барса и тигра; иногда у него грива бываетъ золотая: знаменитѣйшіе батыри башкирскіе прославились битвами съ этимъ чудовищемъ, которое, нападая и защищаясь и особенно похищая дѣвокъ, перекидывается и принимаетъ разные образы; если же дью-пари является въ образѣ человѣка, батыря, то можетъ быть раненъ, какъ Ахиллъ, только въ пятку. Лѣса, дебри, горы, воды и пещеры населены лѣшими, водяными, русалками, извѣстными вообще подъ именемъ *джинъ*, духъ; каждою горою, каждымъ озеромъ обладаетъ такой джинъ, добрый или злой;—но все это разсказываетъ вамъ башкиръ стихами, или напѣваетъ, вторя чибызгѣ или кураю, въ прошломъ временѣ; нынѣ безплотныхъ жильцовъ и жилицъ этихъ осталось не много, золотой вѣкъ, какъ всюду, такъ и здѣсь, прошелъ, промчался, остались одни воспоминанія!

Одна изъ знаменитѣйшихъ пещеръ въ Башкиріи это Бѣльская или Шуллюганъ-таши. Ее смотрѣли и описывали Рычковъ и Лепехинъ. Она лежитъ на правомъ берегу *Акъ-Идыля*, рѣки Бѣлой, въ 12—15 верстахъ отъ Вознесенскаго завода, на бывшей ногайской дорогѣ, въ землѣ Бурзянской волости. Но Рычковъ, безъ сомнѣнія, очень ошибался, когда полагалъ, что вертепъ этотъ дѣло рукъ человѣческихъ. Гора возвышается саженъ на 80; пещера идетъ снизу вверхъ, длиною саженъ въ полтораста или болѣе: она вся еще не изслѣдована и состоитъ изъ множества отдѣльныхъ боль-

шихъ и малыхъ пещеръ, связанныхъ переходами, оконцами и трещинами. Подземныя палаты эти шириною отъ двухъ, трехъ и до 12, вышиною, мѣстами, также до 12-ти саженъ, между тѣмъ, какъ тутъ и тамъ надо пробираться ползкомъ. Известковые капельники образуютъ на полу и на сводахъ дивныя изваянія, подающія башкирамъ поводъ къ новымъ баснямъ. Тутъ есть ключи, озера, пропасти, подземныя горы, огромные самородные своды, ступеньчатыя лѣстницы, погребальный одръ, изъ капельника, и вокругъ шесть огромныхъ шандаловъ со свѣчами, изъ той же известковой накипи. Въ стѣнахъ и сводахъ есть отверстія, ведущія въ верхніе и боковые ярусы пещеры. Въ подземельѣ этомъ обитало когда-то особое племя людей, о которомъ разсказываютъ много дивнаго. Тамъ же нерѣдко укрывались разные джины, дивы и дью-пари. Во время смутъ и возмущеній, башкиры спасались въ подземельѣ этомъ съ семействами и имуществомъ. Старики разсказываютъ о каменной, здѣсь находящейся, собакѣ: это дивъ, окаменѣвшій въ принятомъ имъ образѣ. Замѣчательно, что каменная собака эта боится плети, что дождевыя облака ей подвластны, и собака не можетъ снести ста ударовъ плетью; она издаетъ глухой вой, и обильный дождь окропляетъ окрестность.

Верстахъ въ трехъ есть небольшое озеро Елкикичканъ, конскій выходъ или выгонъ. Озеро это прибываетъ и убываетъ непостоянно. Оно было встарину жильемъ и царствомъ могучаго падишаха водяныхъ; онъ-то наградилъ смѣлаго Кунгрбая, башкира Бурзянской или Усергенской волости, косякомъ лошадей, выплывшихъ изъ этого озера вслѣдъ за безстрашнымъ наѣзднякомъ, пустившимся вплавь на знаменитѣйшемъ жеребцѣ своемъ черезъ неприступную для другихъ пучину. Верстахъ въ десяти ниже, найдете озерцо чистѣйшей воды, изъ коего вытекаетъ рѣчка Шуллю-

ганъ и впадаетъ въ Бѣлую. Въ этой рѣчкѣ найденъ хомутъ съ лошади, украденной и утопленной преслѣдуемымъ воромъ въ нагорномъ озерѣ: стало быть, говорятъ башкиры, озера эти сообщаются подъ землею.

Есть или была еще въ другомъ мѣстѣ въ Башкиріи пещера или, лучше сказать, провалъ, котловина, изъ которой когда-то вода подымалась повременамъ чернымъ смерчемъ. Это было каждый разъ предзнаменованіемъ общаго бѣдствія: вода вскорѣ упадала опять въ уровень съ землею; смѣлые ловцы, пускаясь сюда за медвѣдями, погружали въ пучину высочайшія сосны и не доставали дна; наконецъ, вода, исчезала, ямина просыхала, и о полуночи выбѣгала изъ нея чернобурая лиса: этотъ звѣрь, или дивъ, приносилъ съ собою бѣду, бичъ небесный, гибель, и разносилъ ее по землѣ: моръ, голодъ, палы, пожары, засухи, войны и усобицы — все это выносила съ собою чернобурая зловѣщая лиса. Смѣлый звѣроловъ подстерегъ ее у самаго выхода и пустилъ въ нее въ одинъ мигъ, разобравъ ихъ по пальцамъ и въ зубы, двѣнадцать стрѣлъ; за каждою стрѣлою оборотень перекидывался то собакой, то кошкой, то выдрой, то росомахой, а наконецъ барсомъ и юлбарсомъ, т. е. лютымъ полосатымъ тигромъ; батырь наступалъ все смѣлѣе да смѣлѣе, поражалъ его стрѣлами разъ въ разъ, и наконецъ, заставивъ отчаяннаго дью-пари принять послѣдній, человѣческій образъ, въ латахъ, шишакѣ, съ огромнымъ обоюдоострымъ мечемъ, поразилъ его копьемъ въ лѣвую пяту и свалилъ трупъ, отъ котораго пошелъ смрадъ и паръ коромысломъ, въ жерло бездонной котловины. Съ тѣхъ поръ, въ Башкиріи нѣтъ и мятежей.

Пещера Муйнакъ-ташъ, также на Бѣлой, не менѣе славна; въ ней есть огромныя палаты до 20 саженъ вышины и до 60 саженъ длины. Въ пещерѣ Тирменетау слышенъ вѣчный подземный гулъ, какъ отъ

низвергающагося водопада: это жилище дью-пaріевъ, которые день и ночь дуютъ огромными мѣхами и куютъ стопудовыми молотами. Въ подошву змѣиной горы, Зиланъ-тау, ввергается, протекши не болѣе полуверсты, подземельная рѣчка и пропадаетъ; она, съ незапамятныхъ временъ, пошла къ шайтану въ кабалу жернова ворочать.

На рѣчкѣ Шашнякъ есть скала Тауча; въ отвѣсѣ скалы этой есть небольшое отверстіе, но никто не знаетъ, куда оно ведетъ; края его обтерты, будто какой-нибудь жилецъ ходитъ туда и оттуда; по ночамъ нерѣдко виднѣется огонекъ, и башкирцы разсказываютъ между прочимъ, что два духа вылетѣли однажды изъ пещеры этой, ухватили башкира съ сѣнокоса подъ руки, понесли его по воздуху и хотѣли втащить въ узкое отверстіе; но тотъ былъ широкъ въ плечахъ, да при томъ сталъ читать молитву изъ корана; явился изнутри пещеры третій духъ и сказалъ товарищамъ своимъ: «бросьте его, на что вы съ поганымъ связались» — и башкиръ полетѣлъ на дно пропасти, въ рѣчку Шишнякъ, выплылъ на берегъ и, отдохнувъ, разсказалъ о приключеніи своемъ.

Не совсѣмъ мало и теперь еще въ Башкиріи древняго оружія, особенно кольчугъ, панцырей и шлемовъ. Они зашли сюда въ незапамятныя времена изъ Средней Азіи. Кольчугу башкиры охотно надѣваютъ на алый суконный чапанъ, подпоясываются тисненымъ ремнемъ, на которомъ виситъ лукъ, въ кожаномъ раскрашенномъ налучникѣ, и такой же колчанъ со стрѣлами, и украшаютъ шлемъ свой перышками или надѣваютъ широкую развалистую бурзенскую шапку съ алымъ верхомъ и широкими приподнятыми полями изъ пушистой лисы; такой воинъ, на бѣлой, плотной, малорослой лошади своей, олицетворяетъ передъ вами средніе вѣка.

Нынѣшнія башкирскія пѣсни состоятъ изъ отрывистыхъ четырестишій, въ которыхъ обыкновенно два первые стиха заключаютъ въ себѣ картину, басню, притчу, а два послѣдніе примѣненіе, сравненіе съ сущностію. Но есть нѣсколько старинныхъ батырскихъ пѣсенъ, есть и сказки, преданія, которыя такъ между собою перемѣшаны, что дѣписаніе и баснословіе смотаны всегда на одинъ общій клубокъ. Напѣвы тоскливы, унылы, протяжны и дики, но пріятны и пѣвучи. Курай или чибызга, дуда или сопѣлка, издающая пріятные сурдинные звуки, держится строго, нота въ ноту, голоса пѣсенника; вторы у нихъ нѣтъ вовсе, голоса довольно чисты и звучны, но тонки или высоки и очень не обширны. Если же пѣсенники умолкаютъ, то къ чибызгамъ пристаютъ нерѣдко пѣвчіе особаго рода; они поютъ, какъ говорится здѣсь, *горломъ*. Это въ самомъ дѣлѣ вещь замѣчательная: набирая въ легкія какъ можно болѣе воздуха, пѣвчій этотъ гонитъ усильно, не переводя духа, воздухъ сквозь дыхательное горло и скважину его, или горловинку, и вы слышите чистый, ясный, звонкій свистъ, съ трелями и перекатами, какъ отъ стекляннаго колокольчика, только гораздо протяжнѣе. Это не иное что, какъ свистъ дыхательнымъ горломъ — явленіе физіологически-замѣчательное, тѣмъ болѣе, что грудной голосъ вторитъ этому свисту въ то же время глухимъ, но довольно внятнымъ, однообразнымъ басомъ. Сильная натуга видна въ это время на лицѣ пѣсенника: оно вздувается, краснѣетъ, глаза наливаются кровью.

Башкиръ на себя работаетъ не охотно, только по нуждѣ; его дѣло разъѣзжать съ ногайкой и сибирской винтовкой по горамъ, сунувъ за щеку, вмѣсто жвачки, кусочекъ рубленаго свинца, изъ котораго зубами округляетъ запасную пульку; его дѣло пить кумысъ, ѣсть вкусную и жирную кобылятину или баранину, любуясь

табункомъ лошадокъ своихъ; валяться, отдыхать, пѣть вполголоса пѣсенку или слушать вечеркомъ, при огнѣ, чибызгу или разсказчика — и вспоминать прошлое, батырское время, былое и небывалое. Южные башкиры воинственны и ждутъ, какъ воронъ крови, вызова охотниковъ для поиска въ степь, на заклятыхъ враговъ своихъ, на кайсаковъ; сѣверные, частію уже перемѣшанные съ мещеряками, къ оружію не привычны.

Сядемъ и мы на широкую кошму, около пылающей огромной сосны, стонавшей столько разъ отъ бурнаго порыва вѣтровъ и отстонавшей нынѣ въ послѣдній, подъ ударами небольшой башкирской сѣкиры; закройте передъ собою рукою яркое полымя и глядите на бездну искръ, которыя змѣйками взмываютъ скорѣе самой мысли, рѣютъ по синему мраку туда и сюда— и гаснутъ; вѣтеръ уноситъ пепелъ ихъ, развѣваетъ дымъ — и вѣковая сосна въ глазахъ вашихъ отжила, истлѣла, обратилась въ прахъ и—уже не существуетъ! И Зая-тулякъ былъ, и онъ разрушенъ стихіями, и нѣтъ уже слѣда плоти его и самаго праха; осталось одно только славное имя его, да память по немъ въ сказкахъ.

Въ 12-мъ башкирскомъ кантонѣ есть мѣсто въ 1800 квадратныхъ верстъ, гдѣ нѣтъ ни одного русскаго, ни татарина, ни мещеряка, ни чувашина, ни мордовина, ни вотяка, ни тептеря, ни черемисина, нѣтъ вовсе этихъ, такъ называемыхъ, припущенниковъ и переселенцевъ, которые, обще съ нашими заводчиками, переполосавали и испятнали уже почти всю Башкирь, тягаются лѣтъ по тридцати и болѣе съ родовыми жителями, владѣющими землями на вотчинномъ правѣ, и частію уже оттягали сотни тысячъ десятинъ бога-

тѣйшихъ въ мірѣ земель, расквитавшись съ вотчинниками-башкирами или десятилѣтнею давностію владѣнія, или полюбовною сдѣлкою, тремя головами сахару, фунтомъ чаю и словеснымъ обѣщаніемъ не припускать никого болѣе на ихъ земли; земля эта, о которой я говорю, лежитъ въ Белебеевскомъ уѣздѣ и принадлежитъ четыремъ родамъ или волостямъ, извѣстнымъ подъ общимъ названіемъ демскихъ башкиръ, по рѣкѣ Демѣ или, вѣрнѣе, Димѣ. Здѣсь есть степи, луга, рѣчки, озера, горы и лѣса. Демскіе башкиры еще кочуютъ и даже держатъ верблюдовъ, старина ими еще не совсѣмъ забыта.

Тутъ-то, неподалеку заводовъ: Усть-Ивановскаго, въ 30-ти отъ него верстахъ, и бывшаго Курганскаго, гдѣ остались нынѣ только три избушки на Сыртѣ, раздѣляющемъ долины Димы и Большого Ика, лежитъ озеро Ачулы, или, какъ башкиры, не выговаривающіе буквы *ч*, его называютъ: Ассулы. Сѣверные берега его возвышаются исподволь довольно ровною степью; у восточной ихъ оконечности выступаетъ мысъ Малый Нра; западные берега состоятъ изъ возвышающагося постепенно, къ вершинамъ рѣчки Чермасана, горъ; они кажутъ вамъ, съ озера, хорошій видъ: они идутъ, постепенно возвышаясь, уступами; сѣверная ихъ половина, прилегающая къ степи, гола; южная образуетъ одеждою своею переходъ къ сосѣднему Усенскому лѣсу. Здѣсь видите вы, начиная отъ сѣвера, горы: Бурлытау, Бика-тюбе, Караулъ-тау, Кучларъ-коро, Келимъ-бетъ, Угузъ-кулъ, Тиренъ-кулъ, Ташъ-бурунъ и Карагачъ. Сѣверныя горы, прилегающія къ степи, круты, поросли однимъ ковылемъ и выказываютъ расчесанныя буйнымъ вѣтромъ округлыя къ озеру и нагія вершины свои, словно сѣдыя, полуплѣшивыя головы отжившихъ старичковъ; Бурлы-тау упирается въ озеро красною, глинистою пятою своею, мысомъ Зуръ-Нра;

Тиренъ-кулъ спускается волнистыми уступами которые, близъ озера, называются Искизъ-Ма; нако-нецъ, Карагачъ, у котораго за плечами огромный Усенъ-ивановскій лѣсъ, раскинулъ передъ озеромъ Ачулы волнистую, уступистую грудь свою и вынесъ еще на себѣ, но окраинѣ каждаго уступа, лѣсистую опушку. Карагачъ на сѣверозападѣ подаетъ руку Угузъ-кулу, и у нихъ изъ-подъ мышекъ вытекаетъ рѣчка Курьятмасъ. Съ хребта Карагача видны лѣсистыя Чармасанскія горы, на югозападѣ. На югъ и на востокъ озера, вы опять видите одну волнистую степь, а въ полуверстѣ отъ озера—уступъ или увалъ. Юговосточный берегъ—солонецъ, весною топкій, лѣтомъ сухой. Такимъ образомъ, озеро образуетъ продолговатую водную плоскость, длиною въ 7, шириною въ 5 верстъ, съ двумя перехватами, отъ мысовъ Большого и Малаго-Нра. Глубина озера до 10-ти саж. На сѣверѣ, неподалеку, аулъ или зимовка Чапай; на югъ Варангулъ и Курьятмасъ; а вокругъ — кочевки ауловъ: Кидрячъ, Барангилъ и Мекешъ. На югозападѣ, въ березовомъ и липовомъ лѣсу, Усень-ивановскій заводъ; на рѣкѣ Усенѣ есть и сосновый лѣсъ, единственный во всей окружности.

Съ разсвѣтомъ, въ лѣтній день, густые туманы встаютъ съ Ачулы-куля, съ озера, и тянутся столбомъ, перегнувшись коромысломъ на призывъ къ Усень-ивановскому лѣсу, и лѣсъ походитъ издали на огромное дымовье, изъ котораго синій дымъ тянется, перегнувшись и постепенно разстилаясь, къ далекому озеру; около полудня Усенскій лѣсъ убрался и управился съ прическою своею, одѣлся облаками или тучами, но незваный гость и закоснѣлый врагъ всякой прически, горный вѣтеръ,—растрепалъ уже снова буйную голову Усеня, разогналъ волны кудрей ея во всѣ четыре стороны, и тучки быстро несутся по вѣтру, чтобы къ ночи снова пасть туманомъ на дремлющее озеро.

Но глубина и самые берега озера Ассулы не постоянны; не потому, чтобы вешніе притоки его измѣняли, не потому, чтобы наносные пески, которыхъ здѣсь нѣтъ, его засыпали, а просто потому, что въ озерѣ этомъ жила когда-то прихотливая ундина, баловливая русалочка, которая хозяйничала здѣсь по произволу, а теперь живетъ еще вѣчною жизнію отецъ ея, падишахъ духовъ водяныхъ и подводныхъ. Онъ добръ, но угрюмъ и суровъ: онъ не играетъ и не шалитъ; но онъ, негодуя на злыя дѣла, на помышленія людскія, и предвидя въ прозрачномъ царствѣ своемъ всякую бѣду, какъ слѣдствіе дѣлъ и замысловъ нашихъ, вздымаетъ подвластную ему стихію, разливаетъ ее черезъ край и грозитъ затопить окрестности; потомъ онъ стихаетъ, щадитъ неразумныхъ; озеро вступаетъ въ лоно свое и стоитъ спокойно въ берегахъ, доколѣ новое событіе не встревожитъ падишаха, и старикъ снова, въ негодованіи своемъ, потрясаетъ косматою головою.

Озеро Ассулы или Ачулы, въ переводѣ: открытое, отверстое, бездонное, или, можетъ быть, вѣрнѣе, сердитое—въ самомъ дѣлѣ разливается и упадаетъ, прибываетъ и убываетъ, не постоянно, не равномѣрно, безъ всякихъ видимыхъ причинъ. Башкиры увѣрены, что первое дѣлается только передъ какою-нибудь бѣдою. Они сосчитаютъ вамъ по пальцамъ не только событія отъ 1772 года по 1860-й, отъ Емельки Пугачева и до мятежа въ Польшѣ, не забывъ ни одной войны нашей, ни одного мѣстнаго или общаго для имперіи бѣдствія, но прихватятъ ину пору такой старины, что послѣ того событія или времени во всѣхъ уѣздныхъ городахъ нашей губерніи разъ по семи уже погорѣли всѣ архивы, и вамъ было бы негдѣ навести справку ни о событіи, ни о тогдашнемъ состояніи озера Ачулы, еслибы исправникъ и доносилъ въ то время о послѣднемъ

обстоятельствѣ, какъ нынѣ, присовокупляя иногда, что «озеро Ачулы-куль вздувается и прибываетъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, и повидимому Божьею волей; ибо, при обслѣдованіи дѣла, ничего подозрительнаго не оказалось». У восточной оконечности озера тянется оврагъ, въ который заливается вода, когда озеро въ разливѣ.

На сѣверозападѣ отъ Ачулы, верстахъ въ 50-ти за вершинами рѣчекъ: Чермасана, Чукады и Нугуша, лежитъ такое же дивное озеро Кандра, Кандра-куль. На югѣ отъ него горы съ рѣдкимъ лѣсомъ; на западѣ обрывы и увалъ каймой; тутъ же мысъ и островокъ, на которомъ башкиры пасутъ лучшихъ коней своихъ, потому что они здѣсь въ безпечности, даже и безъ пастуха; на сѣверѣ — песчаная, кочковатая, поросшая травою покатость и далѣе степной кряжъ уступомъ; тутъ же тянется ровъ или оврагъ, отъ самаго озера до лощины рѣки Нугуша, — и вода течетъ, во время разлива озера, по этому рукаву; на востокѣ—мочижина, болотце, и далѣе холмистый увалъ. На Кандра-кулѣ стоятъ три аула или деревни, всѣ три Кандры; озеро покрыто челноками рыболововъ: замѣчательно, что въ Кандра-кулѣ есть сомы, а нѣтъ вовсе карасей, а въ Ачулы, обратно, сомовъ нѣтъ, а карасей много. Отъ Кандра-куля на юго-западѣ, саженяхъ во ста, въ горахъ, лежитъ озерцо Тюменски, а изъ него течетъ рѣчка Тимошка и впадаетъ въ Кандру. И Кандра-куль составляетъ еще часть владѣнія дяди струя и прибываетъ и убываетъ постоянно, одинаково и въ одно время съ Ачулы-кулемъ. Есть преданіе, что въ Кандра-кулѣ потонулъ когда то конный башкиръ, разгнѣвавшій чѣмъ-то царя влаги: долго башкиръ пропадалъ безъ вѣсти, и наконецъ выплылъ, съ лошадью своею, мертвый, въ Ачулы-кулѣ. Умные старики похоронили его въ невѣдомомъ мѣстѣ, чтобы незваные посѣтители

и любители тризны и поминокъ не нарушали покоя, не раздражали царя-нелюдима.

Но надобно, приступая къ дивному разсказу, кончить описаніе мѣстности. Юговосточный берегъ Ассулы за грязнымъ солонцомъ окаймленъ степнымъ уваломъ, за которымъ вытекаетъ рѣчка Ачулы-Удрякъ, одна изъ трехъ Удряковъ, составляющихъ главный или большой Удрякъ, впадающій въ Диму. Южнѣе Ачулы-Удряка встрѣчаете еще увалъ, или небольшой гребень, за которымъ вытекаетъ рѣчка Тюлянъ, также одинъ изъ притоковъ Димы. По лѣвому берегу Тюляна тянется невысокій хребетъ, который верстахъ въ десяти обращается въ отдѣльныя, волнистыя, довольно высокія ступени; югозападный скатъ ихъ идетъ къ Туляну, сѣверовосточный образуетъ, обще съ горами: Кяметау, Шаро-чагылъ и Карабашъ, долину, среди которой возвышается отдѣльно и одиноко сахарная голова въ 50 саженъ или болѣе, извѣстная подъ именемъ Балкана. На правомъ берегу Тюляна, у вершинъ его, стоятъ двѣ такія-же сахарныя головы меньшаго размѣра: это Шайтанъ-сары и Санай-сары. Здѣсь происходила когда-то страшная битва Санай-батыря съ шайтанами: Санай-батырь, преслѣдуемый множествомъ злыхъ духовъ, занялъ, для защиты своей, вершину одной горы, а шайтаны, желая сбить его и вогнать въ долину, взобрались на другую. Санай не подался ни шагу: изстрѣлявъ всѣ стрѣлы свои и перебивъ множество шайтановъ, онъ изломалъ самъ лукъ свой, закололся и легъ на мѣстѣ; и гора эта понынѣ показывается вамъ, какъ могила Санай-батыря.

Между Ачулы-кулемъ и Димою кочевалъ въ древнія времена ханъ Самаръ-ханъ, одинъ изъ сыновей Чингиса. У Самаръ-хана былъ сынъ Зая Тулякъ. Юный князь былъ любимецъ отца и матери своей, прекрасной плѣнницы русской, которая плакала и тосковала

по милой отчизнѣ своей, покуда не излила тоску и грусть свою въ новое существо и—забылась въ сынѣ. Зая-Туляка берегли и холили, какъ царскаго баловня и любимца; онъ былъ хорошъ, какъ солнце, и не было на Димѣ достойной его луны. Завистливые братья Туляка, сыновья другихъ женъ Самаръ-хана, озлобились на балованья: «чѣмъ онъ лучше насъ, за что его холятъ, какъ зѣницу ока, не выпускаютъ за порогъ кибитки ханской, между тѣмъ какъ насъ заставляютъ нести службу и заботиться о суетахъ житейскихъ? развѣ мы не одной съ нимъ крови?»

А Зая-Тулякъ думалъ въ это время: «зачѣмъ мнѣ не даютъ воли—хочу воли, свободы, а не плѣна! Зачѣмъ братья мои объѣзжаютъ свободно отцовскія земли, изъ края въ край, изъ конца въ конецъ, дерутся съ врагами и приводятъ ясырей, плѣнниковъ и плѣнницъ,—а я сижу, сложа руки? О, еслибы мнѣ была воля! Я бы себѣ отыскалъ и взялъ и привезъ не такую плѣнницу, какъ братья мои: я нашелъ бы дивную красавицу, неслыханную и невиданную!»

Самаръ-ханъ созвалъ приближенныхъ своихъ и велѣлъ имъ готовиться въ отъѣздъ. «Сыну моему Зая-Туляку», сказалъ онъ: «пора увидѣть свѣтъ. Пусть онъ увидитъ его въ первый разъ съ веселой, радостной стороны, какъ долженъ видѣть его достойный внукъ Чингиса; забирайте съ собою лучшихъ соколовъ моихъ, ястребовъ, кречетовъ и беркутовъ, бейте утицу перелетную, бейте куртлука, косача-тетерева, пускайте беркута на лису и волка, пусть потѣшается царскій отрокъ, и берегите его, какъ завѣтную душу свою!»

Зая-Тулякъ, простившись съ отцомъ и ханомъ, сѣлъ на лошадь, и пышный поѣздъ тронулся. Вельможи раболѣпствовали юношѣ, неопытному царскому сыну, доколѣ еще страшились проницательнаго ока Самаръ-хана; удалившись же отъ ханскаго кочевья,

нагло смѣялись простотѣ и невѣдѣнію отрока бѣлой кости и поднесли ему сову, которую поймали въ дуплѣ, вмѣсто отцовскаго кречета. Зая-Туляк, не видавши травли соколиной и не знавши ловчихъ птицъ, повѣрилъ имъ на слово, пустилъ птицу свою на первую встрѣчную вереницу дикихъ гусей, тянувшихся клиномъ; птица взмыла выше гусей перелетныхъ, поджала машистыя плечи, ринулась клубочкомъ въ стаю, ударилась стрѣлою, вправо, потомъ влѣво, опять вправо, промелькнула, зубчатою молніею ныряя каждый разъ сѣрому гусю подъ лѣвое крыло—и семь гусей сряду полетѣли кубаремъ на землю. Стая всполошилась, перемѣшалась въ одинъ клубокъ, поднялась столбомъ, гуси хотѣли забить крыльями дерзкаго непріятеля своего, но ловчая птица Зая-Туляка камешкомъ упала на хозяина своего и сидѣла уже у него на правой рукѣ. Оказалось, что это была не сова, а дорогой бѣлый кречетъ, и билъ лучше всѣхъ соколовъ царскихъ.

Злобные и завистливые братья Зая-Туляка, отпуская придворныхъ отцовскихъ, сказали имъ притчу: «тѣсно тремъ отросткамъ расти на одномъ корнѣ и мало имъ пищи: еслибы подчистить и выкинуть одинъ, который ближе другихъ къ дуплистому дубу, такъ двумъ остальнымъ было бы попривольнѣе; перевели бы они духъ и распустили бы широкія вѣтви, подъ которыми нашли бы современемъ тѣнь и нынѣшніе ихъ покровители.» Придворные и самъ Кушъ-беги, первый сокольничій—а Кушъ-беги, какъ и нынѣ, напримѣръ, въ Бухарѣ, былъ первый сановникъ государства—придворные промолчали; но когда заѣхали они съ Шахъ-Заде, съ сыномъ ханскимъ, въ далекую сторону, и когда неудачная насмѣшка надъ Зая-Туляком поставила ихъ самихъ въ дураки, между тѣмъ какъ у Туляка оказался первый по царству кречетъ, который побивалъ разомъ по семи гусей, — тогда взяла людей

этихъ злость и зависть; они вспомнили слова и обѣщаніе двухъ князей, братьевъ Зая-Туляка, и стали совѣтъ совѣтовать, какъ извести повѣреннаго имъ наслѣдника.

Зая-Тулякъ вышелъ въ свѣтлую лунную ночь изъ парчеваго шатра своего, сѣлъ наземь и любовался Божьимъ міромъ, между тѣмъ какъ юлдаши его, спутники, думали, что онъ давно спитъ; онъ услышалъ нечестивый совѣтъ вельможъ и рѣшился бѣжать. Подкравшись потихоньку къ осѣдланному коню своему, снялъ онъ съ него треногу, потрепалъ его, сѣлъ и поскакалъ. Но въ станѣ сдѣлалась тревога, закричали: «*атлемъ!* на-конь!» погнались за княземъ и стали его настигать. Подъ нимъ была лошадь Тульфаръ, она сказала хозяину своему: «ударь меня нагайкою трижды, и я тебя вынесу». Онъ ударилъ жеребца своего, и этотъ въ три скачка принесъ его на гору Карагачъ, къ озеру Ачулы. Погоня потеряла Зая-Туляка, а онъ спокойно легъ отдыхать, пустивъ Тульфара своего на траву. Конь его проскакалъ по степи въ такихъ широкихъ скачкахъ, что пустившіеся за Туляком не могли выслѣдить его по измятой копытами травѣ: слѣды были затеряны.

Раскинувшись на одномъ изъ уступовъ Карагача, на которомъ, какъ показываетъ и самое названіе, въ тѣ поры росъ лиственный лѣсъ, Зая-Тулякъ закрылъ очи, сталъ думать о томъ, куда ему теперь дѣваться, какъ вдругъ услышалъ на берегу озера плескъ. Зая-Тулякъ сталъ присматриваться, легонько подходить, и его тянуло все ближе и ближе къ озеру. Онъ увидѣлъ, чего еще никогда не видалъ: заря занималась, востокъ алѣлъ, утренніе туманы развивались на поверхности Ачулы-куля—и среди тумановъ этихъ, какъ окутанная полупрозрачными тканями, плескалась дѣва водъ, статная, гибкая, красоты непомѣрной, во всей прелести дѣвственной полноты и миловидности. Она, не примѣ-

чая Зая-Туляка, вышла на берегъ, сѣла и стала расчесывать золотымъ гребнемъ черную косу свою, длиною въ сорокъ маховыхъ саженъ. Зая-Тулякъ не смѣлъ дохнуть; наконецъ, когда она закинула косу свою назадъ, во всю длину, онъ кинулся со всѣхъ ногъ—русалка прянула, какъ пухъ отъ вѣтра, на зыбкую влагу; но Зая-Тулякъ держалъ уже въ рукахъ своихъ шелковую косу и не выпускалъ дорогую свою плѣнницу. Русалка, скрестивъ руки на груди, оборотила къ нему умоляющіе взоры—но они измѣнили дѣвственной жилицѣ подводныхъ чертоговъ: Зая-Тулякъ впился жаднымъ окомъ въ полуобращенное личико и держался за шелковую косу русалки, какъ юная угасающая жизнь хватается за преждевременно отлетающую душу. Русалка стала умолять Зая-Туляка: «пусти меня, о, сынъ плоти! пусти; я живу спокойно и безмятежно въ чертогахъ водныхъ; пусти, ради себя самаго: ты погубишь меня, но ты погубишь и себя!» Когда же Зая-Тулякъ не уступалъ и самымъ убѣдительнымъ мольбамъ ея, а клялся слѣдовать за нею и на дно озера, тогда русалочка обвила его своею мягкою косою и увлекла въ глубокія воды.

Зая-Тулякъ увидѣлъ на днѣ озера роскошные луга, по которымъ ходили кони, быстрѣе и красивѣе коня Тульфара; посреди муравчатаго луга стояла обширная бѣлокошемная кибитка, устланная внутри дорогими коврами. Туда привела его русалка, обняла, заплакала и сказала: «ты хотѣлъ этого — я твоя теперь; забудь прошлое, если можешь; не гляди на вольный свѣтъ, покуда меня любишь; сиди здѣсь, не выходи изъ кибитки моей—я теперь твоя!»

Вскорѣ пріѣхалъ къ кибиткѣ алый всадникъ въ аломъ чапанѣ, на аломъ конѣ, съ алымъ соколомъ на лукѣ сѣдла: это былъ братъ русалки. Она спрятала Зая-Туляка въ свою дѣвичью половину кибитки, за парче-

ной пологъ. Алый братъ оглянулся въ кибиткѣ и сказалъ: «Сестра, здѣсь что-то пахнетъ человѣчьимъ духомъ.—Не мудрено, — отвѣчала улыбаясь русалка: — сами вы ѣздите на охоту по горамъ и дебрямъ; самъ ты пріѣхалъ теперь съ лица земли, гдѣ живутъ люди, не мудрено тебѣ занести сюда и человѣческій духъ».

Немного погодя, пріѣхалъ черный всадникъ: конь подъ нимъ вороной, чапанъ черный, шапка черная, оружіе черное и черный соколъ на передней лукѣ. Это былъ отецъ русалки. «Никакъ, дочь, здѣсь пахнетъ человѣчьимъ духомъ», — сказалъ онъ. — Не мудрено, батюшка, — отвѣчала дочь: — только мнѣ бы васъ объ этомъ спрашивать, а не вамъ меня. Вы пріѣхали съ лица земли; видно, вы или вороной конь вашъ на копытахъ своихъ занесли сюда и духъ человѣческій.

Такъ русалочка таила отъ отца и брата любовь свою и выпускала Зая-Туляка изъ-за пологa, только когда тѣ отъѣзжали на ловлю. Она приносила любимцу своему, каждое утро и каждый вечеръ, свѣжаго кумысу, круту, салмы и баранины, и, поцѣловавъ своего суженаго, ставила передъ нимъ сытныя яства и напитки.

Однажды алый всадникъ, братъ русалки, воротился домой рано и услышалъ, подъѣзжая, говоръ людской. Онъ сталъ допытываться, сестра ему во всемъ призналась и со слезами умоляла брата не сказывать о преступной любви ея. Братъ побранилъ сестру и сказалъ, что надобно обо всемъ объявить отцу: его власть, его и воля. Черный всадникъ пріѣхалъ, и братъ съ сестрою вмѣстѣ встрѣтили его и разсказали все. Русалка говорила: «я не искала его, я не хотѣла его, я бѣжала отъ него и скрылась въ завѣтное озеро; но онъ упорно держался за шелковую мою косу; я ушла на дно озера и потянула его съ собою».

Черный всадникъ нахмурилъ брови—и вѣсть разнеслась на ханскомъ кочевьѣ, на Димѣ, что Ачулы-куль прибываетъ, и быть бѣдѣ. Подумавъ и вздохнувъ, падишахъ подводный вызвалъ Зая-Туляка, самъ же онъ не ступалъ ногою въ завѣтный уголъ дочери, за пологъ, вызвалъ и разспросилъ обо всемъ «Любитесь,—сказалъ владыка Ачулы и Кандря-куля, «любитесь, коли олюбились; тутъ дѣлать уже нечего. Тебя, дочь моя, бранить не за что: это твоя судьба. А ты, Зая-Тулякъ, слушай: не безчести дочери моей за то, что отдалъ я тебѣ ее безъ калыма, принеси ты въ калымъ невѣстѣ свою любовь да совѣтъ, и не скучай съ нею; а соскучишься — быть бѣдѣ. Не ходи ты и на лицо земли: и тамъ не будетъ вамъ блага, а пойдешь, погубишь и себя и ее».

Но Зая-Тулякъ, съ этой самой поры, сталъ скучать въ подводномъ теремѣ, въ кибиткѣ своего тестя. Русалка въ одно утро ушла за кумысомъ шипучимъ, а Зая-Тулякъ вышелъ изъ кибитки и сталъ оглядываться кругомъ. Озеро поднялось высоко, обмывало уже уступы Карагача, а сквозь зеленую влагу его виднѣлись горы и лѣса, и вѣрный конь Тульфаръ стоялъ на томъ же мѣстѣ, громко ржалъ и топталъ подъ собою землю. Туляку взгрустнулось; онъ вошелъ опять въ кибитку, но русалка, воротившись, глянула на него и залилась слезами. «Ты выходилъ», сказала она, «ты выходилъ—о, зачѣмъ ты меня ослушался!»

— Я хочу опять на вольный свѣтъ,—сказалъ подумавъ Зая-Тулякъ: — сердце изсохнетъ, коли сидѣть вѣкъ свой въ тюрьмѣ этой. — Русалка молчала и плакала потихоньку, про себя. Воротился и черный всадникъ. Услышавъ обо всемъ, что было, онъ призадумался, и спросилъ Зая-Туляка: «есть ли у тебя земля и вода?»—Земля моя Балканъ-тау,—отвѣчалъ князь:—а вода Дима, а всѣ земли и воды, подвластныя Бал-

кану и Димѣ, мое наслѣдіе.»—«Ступай»,—сказалъ старикъ,—«коли тебѣ здѣсь не живется; ты не сосунокъ, тебя силою держать нельзя. Жена слѣдуетъ за мужемъ, а не мужъ за женою, это законъ». — Русалка обвила мягкія руки свои вкругъ Зая-Туляка и сказала: «бери меня, вези меня, куда хочешь—я твоя» Въ первый и въ послѣдній разъ, сказываютъ, прослезился тутъ и самъ старикъ.

«Вотъ вамъ конь вѣрный»,—сказалъ онъ:—«садитесь и ступайте. Зая-Тулякъ! не забывай, если можешь, что ты отнынѣ самъ себѣ судья, а дочь моя твоя покорная рабыня. Дарю тебѣ обзаведеніе, на початокъ хозяйства, небольшое приданое; когда выплывешь изъ нашего озера, то скачи, безъ оглядки, прямо на Балканъ, и не оглядывайся, поколѣ не будешь на Балканѣ, хотя бы за тобою небо треснуло и земля разсыпалась. Зятю должно довольствоваться тѣмъ, что отъ тестя получитъ; а преждевременное любопытство ему не идетъ».

Зая-Тулякъ подошелъ къ коню, русалка подала ему стремя, онъ сѣлъ, взялъ ее на колѣна и помчался. Зеленая вода вскипѣла бѣлымъ ключемъ подъ копытами добраго коня, и выбравшись на отлогій берегъ, пустился онъ стрѣлой къ востоку на Балканъ. Зая-Тулякъ услышалъ за собою ржаніе, топотъ и страшный шумъ и плескъ въ волнахъ—онъ невольно оглянулся и только успѣлъ увидѣть, что изъ озера выплываетъ, слѣдомъ за жеребцомъ его, цѣлый табунъ отличныхъ коней. Но за Тулякомъ послѣдовали тѣ только лошади, которыя были уже на берегу; всѣ тѣ, которыя еще только было выплывали, потонули снова и исчезли въ ту минуту, когда Зая-Тулякъ оглянулся. Отъ этихъ то лошадей, подарка ачулынскаго падишаха, произошла порода лучшихъ димскихъ башкирскихъ коней. Нынѣ порода эта перевелась и переродилась; нынѣ лошади хотятъ корму и съ трудомъ перемогаются зиму на

тебеневкѣ да на каизѣ, на рубленыхъ древесныхъ сучьяхъ; древняя порода, которою славились димскіе башкиры, со времени Зая-Туляка, бывала сыта съ одного гону, а корму не спрашивала.

Молодой князь съ русалкою поселились на Карагачѣ, гдѣ князь нашелъ и покинутаго коня своего, и жили они нѣсколько времени спокойно. Въ одно утро русалка, скупавшись въ озерѣ и расчесавъ долгую косу свою, подымалась на гору, какъ услышала, со стороны Димы, глухой конскій топотъ и завидѣла пыль. Чуткое сердце ее не обмануло; она прибѣжала въ слезахъ къ Зая-Туляку и сказала: «Отецъ твой шлетъ за тобою погоню!» Тулякъ думалъ было противиться силою, потомъ хотѣлъ бѣжать, но она умоляла его остаться, не противиться волѣ отцовской, слѣдовать за посланными, не говорить никому о тайной любви своей и воротиться на Карагачъ, когда и какъ будетъ можно. «Бѣжать тебѣ некуда», говорила она: «прошлаго не воротишь; на двѣ озера со мною уже попрежнему жить не можешь — это миновалось, какъ сонъ!»

Самаръ-ханъ, услышавъ отъ воротившихся вельможъ, что сынъ его бѣжалъ—о причинѣ этого побѣга придворные благоразумно умолчали, — послалъ сорокъ тысячъ войска искать сына по цѣлому свѣту. Войско это приближалось теперь и уже открыло слѣды новаго жилья молодого князя; Зая-Туляка взяли и повезли къ отцу, а русалка, выждавъ, на мысу большой Нра, приближеніе посланныхъ, кинулась съ крутого берега и исчезла.

Когда до хана дошла вѣсть, что сынъ его найденъ, то онъ, сомнѣваясь въ любви его и приверженности, вздумалъ его испытать. Для этого Самаръ-ханъ посадилъ въ кибиткѣ своей одного изъ подданныхъ въ великолѣпной одеждѣ на престолъ, а самъ, въ про-

стомъ синемъ чапанѣ, сталъ у дверей передъ входомъ. Зая-Тулякъ, проходя мимо, узналъ отца, изумился, но вошелъ въ кибитку, гдѣ, какъ говорили ему, возсѣдаетъ ханъ, поклонился мнимому властелину и сказалъ: «Какъ измѣнчивы времена! Прежній ханъ стоитъ у порога, а бывшій рабъ сидитъ на престолѣ!» Самаръ-ханъ, разгнѣванный равнодушіемъ и холодностію сына, велѣлъ на мѣстѣ выколоть ему глаза и отвести снова на Карагачъ; но вѣщій духъ русалки парилъ надъ несчастнымъ своимъ любимцемъ: палачи Самаръ-хана не успѣли еще приступить къ сыноубійству, какъ совершилось чудо: Зая-Тулякъ въ горести своей закрылъ лицо руками, и глазное яблоко выкатилось изъ обоихъ глазъ цѣликомъ къ нему въ руки. «Богъ отомстилъ за меня», сказалъ Самаръ-ханъ. Палачамъ не надо было трудиться, и ослѣпленный сынъ царскій былъ отвезенъ и брошенъ на произволъ судьбы, на угорьѣ Карагача.

Вѣрная русалка, разметавъ шелковую косу, которую не чесала со дня отбытія любимца своего, стерегла уже и ожидала друга: она коснулась устами очей Зая-Тулака, дохнула на нихъ, и они снова ожили и заиграли попрежнему въ своихъ ямкахъ.

Лишь только Зая-Тулякъ прозрѣлъ, какъ сталъ онъ снова скучать бездѣйствіемъ своимъ и одиночествомъ. «Пойдемъ жить на Балканъ», сказалъ онъ своей русалкѣ: «съ Балкана видно далече во всѣ стороны: мы будемъ знать и видѣть, гдѣ что дѣлается, и это будетъ жилье, приличное ханскому наслѣднику! Карагачъ-гора для меня мѣсто низкое».

Русалка заплакала, только молчаливой лунной ночи повѣрила она одинокую грусть свою, вышла на тихое озеро, любовалась серебрянымъ его отливомъ, сѣла на берегъ, на крутой мысъ, и тихо запѣла:

«Не лѣпите, пчелки, сотъ своихъ въ дикомъ бору:

медвѣдь придетъ и выдеретъ, а вамъ покинетъ дупло; не носите, русалочки, тихое блаженство свое въ люди: люди попрутъ его ногами, а корысти имъ съ него будетъ мало.

«Оглядывается красное солнышко съ заката на восходъ прошлый, да не воротится; не видать вечерней зарѣ зорюшки утренней! Оглядывайтесь, сестрицы, на свою зорюшку утреннюю — да не воротить вамъ ее, не любоваться ею въ другожды!

«А дважды василекъ въ землю ложится: изъ земли вышелъ и въ землю падетъ прахъ его. И ты не лучше василька небоцвѣтнаго: не выходить было на свѣтъ — а вышла, такъ набѣдуешься, поколѣ не приклонишь головку къ лону родной матери!

«Желна черная и бѣлая лебедка въ отлетъ летятъ, а теплынь придетъ, опять домой къ родному гнѣзду тянутся; а мнѣ, сироткѣ, отъ живого отца, мнѣ до вѣку не видать струи твои, Ачулы-куль родимый, серебристый мой!

«Прости, сказалъ мотылекъ родимому стебельку, родному зеленому лугу, когда пришла пора, что подулъ вѣтръ полунощный, заволокъ заповѣдные луга сизымъ инеемъ, зазнобило мотыльку летки и щупальце: прости, говоритъ свободнорожденная дочь Ачулы-куля родному озеру, Карагачу лѣсистому, Ташбуруну каменному, Тиренъ-колу холмистому! прости, говоритъ она, роднымъ берегамъ, колыбели своей, Ачулы озеру!»

Такъ русалочка поплакала одна надъ роднымъ озеромъ своимъ, а Зая-Туляку она улыбалась. Они перекочевали на Балканъ; но едва успѣли они тамъ поселиться, какъ русалка, на разсвѣтѣ, снова послышала чуткимъ ухомъ своимъ топотъ конскій, завидѣла отдаленную пыль. Она прибѣжала къ князю своему и молвила: «О, Зая-Тулякъ! было время, когда я, послышавъ шумъ и топотъ, спѣшила схорониться въ вол-

нахъ Ачулы-куля и въ объятіяхъ вѣрной стихіи находила спасеніе; теперь ты щитъ и защита моя, и я надѣюсь только на грудь твою! Но, Зая-Тулякъ, ты меня не спасешь на этотъ разъ, а кромѣ тебя, у меня защиты нѣтъ! Слушай, князь мой! за тобою опять идутъ; повинуйся и иди, искушеніе черезчуръ велико, ты не устоишь, и я тебя держать не хочу! но, Зая-Тулякъ, помни послѣднія слова мои: сорокъ дней и сорокъ ночей я буду сидѣть здѣсь на Балканѣ и буду по тебѣ плакать; если ты не воротишься черезъ 40 дней и 40 ночей, тогда ты найдешь меня, какъ находятъ алый цвѣтъ на зеленомъ лугу, по которому прошло войско отца твоего, Самаръ-хана, а растоптанный цвѣтокъ не оживаетъ—это помни!»

Вельможи и войско подошли съ великими почестями къ Зая-Туляку, объявили, цвѣтистою рѣчью востока, что душа отца его, хана Самаръ-хана, воспарила по пути, указаному душами отошедшихъ, въ рай небесный великихъ праотцевъ; народъ и войско зоветъ Зая-Туляка на ханство

Молодой князь хотѣлъ оглянуться на свою дѣву водъ, но ея уже не было. Его посадили на покрытаго богатою попоною жеребца и повезли на Диму, а восемь нукеровъ шли во всю дорогу пѣшкомъ и вели поочередно жеребца его подъ уздцы.

Справивъ, по закону, богатую тризну по отцѣ, Зая-Тулякъ принялъ старшинъ, посольство отъ народа, приглашавшаго его на ханство. Народъ и войско качали молодого хана своего на рукахъ, и на рукахъ же, поднявъ выше головъ своихъ, возвели на ханство—таковъ былъ обычай. Шумная многотысячная толпа пировала и ликовала, стекшись съ цѣлаго владѣнія. Берега Димы не могли помѣстить на себѣ безчисленнаго множества кибитокъ; земля стонала отъ топота конскаго и людскаго; солнце устало свѣтить пирующимъ

и ликующимъ гулякамъ. Настала ночь, и огромные костры запылали, и солнце взошло снова, и костры еще дымились, кумысъ игралъ въ огромныхъ чашахъ, въ сабахъ и турсукахъ, чибызга напѣвала веселье.

А Зая-Тулякъ, посидѣвъ на престолѣ, соскучился опять по любимицѣ своей и тяжело вздохнулъ, когда, оглянувшись во всѣ стороны, увидѣлъ, что въ цѣломъ ханствѣ его нѣтъ подобной. Ему наскучило быть и падишахомъ безъ нея, и онъ хотѣлъ уже отправить за неюословъ, когда вспомнилъ, что завѣтный срокъ, сорокъ дней и сорокъ ночей, были уже на исходѣ. Онъ кинулся самъ на лучшаго скакуна своего, на которомъ вывезъ дѣву водъ изъ Ачулы-куля, и поскакалъ одинъ къ одинокому Балкану.

Скоро бѣжитъ конь подъ Зая-Тулякомъ; но какой конь обгонитъ солнце, и какой конь воротитъ его на сутки и добѣжитъ до озера вчера, коли поскакалъ сегодня? Зая-Тулякъ зоветъ отчаяннымъ зовомъ дѣву свою, а она молчитъ, потому что мертвые не говорятъ. Не встанетъ алый цвѣтъ, не подыметъ онъ бархатной маковки своей, коли черезъ лугъ пронеслось грозное войско Самаръ-хана. Зая-Тулякъ нашелъ русалку свою на томъ же мѣстѣ, гдѣ ее покинулъ, на вершинѣ Балканъ-тау, но она лежала, какъ василекъ послѣ покоса.

Зая-Тулякъ выкопалъ булатнымъ копьемъ своимъ двуложную могилу на вершинѣ Балкана и золотымъ шлемомъ своимъ выбиралъ изъ нея землю: положилъ онъ въ могилу это бѣлое тѣло дѣвы Ачулы-куля, закололся тѣмъ же копьемъ и упалъ мертвый на вѣрную свою подругу.

Народъ и войско долго искали своего хана и засыпали его наконецъ землею въ изрытой имъ же самимъ могилѣ. Братья Зая-Туляка рѣзались за ханство, и всѣ погибли: съ тѣхъ поръ народъ утратилъ падишаховъ

и каковы были жители, растерялися и разбрелися по отрогамъ и долинамъ Урала.

Стало быть, Ачулы-кулъ и въ тѣ поры не даромъ взволновался и вылилъ широко и далеко за берега: Самаръ-ханъ вымолвилъ родному сыну своему гнѣвъ, потомъ могучій ханъ лишился — а за нимъ погибли и Зая-Тулякъ, и Сылу русалка, царевна Ачулы-кулъ, и братъ поднялъ руку на брата, и цѣлое царство рушилось.

XVI

МАЙНА

Киргизскій султанъ Каипъ былъ нѣкогда призванъ на ханство хивинское. Почетъ большой, честь велика, отказываться, казалось, не должно; да и для чего? Чѣмъ жить въ степи пастухомъ, жить въ подвижной палаткѣ зиму и лѣто, въ вёдро и въ ненастье, неужели не лучше сѣсть на коверъ въ палатахъ хивинскаго арка, дворца, хоть онъ и земляной или глиняный, и сидѣть спокойно дома, повелѣвая безотчетно и безотвѣтно.

Каипъ пошелъ на ханство и сталъ самовластнымъ ханомъ; всѣ прихоти его исполнялись раболѣпно, и не было приказанія ханскаго, надъ которымъ бы Мяхтеръ, Кушъ-беги, не только ясаулы его, на мигъ призадумались. Но когда, черезъ полтора года по вступленіи султана Каипа на ханство, стрѣлокъ-землякъ хана, принесъ ему *тарту*, гостинецъ, убитаго лебедя, тогда ханъ погладилъ себя широкою холодною лапою птицы этой по лицу, покачалъ головою и сказалъ: «Эта лапа купалась свободно въ рѣкахъ и озерахъ вольной родины моей, топтала муравy луговую и песокъ сыпучій!» Хивинцы изъ этого заключили, что чуть ли ханъ не хочетъ ихъ покинуть, и стали его стеречь;

но Каина въ тотъ же вечеръ одолѣла такая грусть и тоска, что онъ бѣжалъ въ лахмотьяхъ нищаго; съ опасностію жизни пробирался пустынями до ауловъ своего народа, едва не истомился голодомъ и жаждою, и плакалъ какъ дитя, когда прикочевалъ опять въ родныя степи свои, на просторъ, гдѣ ничто не замыкало передъ нимъ окраины неба и земли, гдѣ услышалъ снова рычаніе верблюдовъ, мычаніе быковъ, блеяніе несмѣтныхъ стадъ овецъ и ржаніе, и конскій топотъ.

«За что я буду жить хуже скота своего», говоритъ кайсакъ, если вы его спросите, для чего онъ не терпитъ осѣдлости:—«зачѣмъ мнѣ жить хуже скота, которому больше воли, чѣмъ мнѣ? Развѣ я отдамъ любимаго коня своего урусу на конюшню, въ стойло? Развѣ я хуже птицы, которая бьется и въ золотой клѣткѣ и проситъ воли? Кто приросъ домомъ къ землѣ, тотъ рабъ земли и рабъ людей; кто въ полчаса можетъ подняться, днемъ и ночью, со всѣми пожитками своими, и идти на всѣ четыре стороны, тотъ воленъ.»

Осѣдлую жизнь кайсакъ почитаетъ величайшимъ бѣдствіемъ въ мірѣ, и одна только крайность можетъ, и то временно, его къ тому понудить. Если нынѣ стали много сѣять хлѣба на Илекѣ и на Сырѣ, то это доказываетъ яснѣе всего, что орда бѣднѣетъ: здѣсь хлѣбъ сѣетъ только пѣшій, безконный и нищій; а намѣнявши опять сотню головъ скота, бросаетъ соху и идетъ кочевать. Когда какое-нибудь бѣдствіе разоритъ кайсака, лишитъ всего скота и сдѣлаетъ нищимъ, тогда онъ идетъ на Усть-Уртъ въ сайгачники или черезъ Мугоджары къ линіи нашей въ сурочники, и перебивается иногда много лѣтъ, покуда заработаетъ себѣ небольшое стадо; только ближніе къ линіи пріучаются наниматься къ намъ въ работники; старики и

ребятишки охотнѣе идутъ въ городъ за подаяніемъ и поютъ подъ окнами:

Руби дрова безъ топоръ,
Вари крупа безъ котелъ;
Хлебай каша безъ ложка,
Давай деньга немножка...

И прибавляютъ обыкновенно еще къ этому плачевное и не совсѣмъ умѣстное для мусульманина: Христа-ради!

Сайгачники ловятъ съ неумолимымъ стараніемъ сайгъ и мѣняютъ мясо ихъ, семь, восемь, десять тушекъ на барана, такимъ образомъ снова обзаводится стадомъ и прикочевываютъ опять къ своимъ ауламъ. Сурочники питаются сами вонючимъ мясомъ сурка, а шкуры его мѣняютъ землякамъ своимъ или продаютъ на линію. «Коли платить мнѣ подать», говоритъ кайсакъ: «такъ возьми съ меня сороковину скотомъ, и я воленъ; я заплачу подъ Троицкомъ и пойду къ Бухарѣ; заплачу въ Ташкентѣ и прикочую къ Семипалатинску; отдамъ, что слѣдуетъ, въ Хивѣ, а на мѣну пойду въ Сарайчикъ». Деньги для степного дикаря цѣны не имѣютъ никакой; скотъ—его богатство, за скотъ свой онъ пріобрѣтаетъ все, что ему нужно. Когда продавали однажды въ степи казенныхъ верблюдовъ съ молотка, то въ торговомъ листѣ, вмѣсто извѣстныхъ двухъ графъ: рубли и копѣйки, были выставлены *козы* и *овцы*, козлы да бараны. «Кто знается съ деньгами», говорятъ киргизы, «кто взялъ въ руки деньги, тотъ купленъ и закабаленъ, тотъ себя продалъ».

Я сказалъ уже, что кайсаки начинаютъ сильно заниматься хлѣбопашествомъ на Илекѣ на Сырѣ и въ другихъ мѣстахъ. Этому двѣ причины: обѣднѣвшіе черезъ взаимныя баранты или набѣги, отъ гибельной зимы съ мокрыми буранами, жестокой стужи, отъ го-

ледицы и безкормицы, не находятъ другого убѣжища; но, во-вторыхъ, кайсакамъ нашимъ становится уже тѣсно. Кайсаковъ оренбургскаго вѣдомства, Малой и половины Средней орды, должно быть, по всѣмъ свѣдѣніямъ, болѣе милліона душъ обоего пола; я бы сказалъ: взгляните на карту, еслибы у насъ была годная карта этихъ странъ, и вы бы увѣрились, что а выключкой безводныхъ сухоглинистыхъ пространствъ, — въ коихъ и самыя копани даютъ только орькую воду, — безводныхъ песковъ, сухихъ и моковыхъ солончаковъ, останется удобной для скотоводства—не говорю уже для хлѣбопашества—земли не ъ избыткѣ. Кормъ такого рода, какъ наша луговая рава, наше сѣно, бываетъ почти только у сѣверныхъ предѣловъ степи, гдѣ, повидимому, почва уже не такъ молода и успѣла покрыться небольшимъ слоемъ тука; далѣе видите одинъ только жалкій ковыль, а еще южнѣе солянки и собственно, такъ называемое, степное прозябеніе, то-есть не траву, а бурьянъ, полукусты, большею частью двухгодичные,—кормъ, надъ которымъ наша избалованная лошадь и скотина издохнетъ прежде, чѣмъ пойметъ, что этимъ хворостомъ можно питаться.

Повѣсть наша происходила въ Малой ордѣ, кочующей по южному и западному пространству степи, хотя предѣлы эти обозначить довольно трудно. Орда эта самая многочисленная. Въ ней считается три рода (уру) или поколѣнія: Байуллы (или Бай-углы—богатый сынъ), Алимолла и такъ называемые Семиродцы; роды эти дѣлятся на отдѣленія (таифэ), дробятся на подотдѣленія (джакъ), коихъ наберется въ одной Малой Ордѣ едва ли не до трехъ сотъ. Названія ихъ иногда взяты отъ собственныхъ именъ какихъ-нибудь родоначальниковъ, какъ напр.: Назаръ, Гассанъ, Куломанъ, Караманъ, Каипъ, Тукумбетъ; иногда отъ разныхъ предметовъ или понятій, какъ: Пеглюанъ — силачъ, Кавасакалъ —

черная борода, Сарыбашъ — желтая голова, Алтыбашъ — шесть головъ, Кара-балыкъ — черная рыба, Казъ—гусь, Балта—топоръ, Акча—деньги, Кркъ—мултукъ—40 ружей, Тюряляръ — господа, дворяне, Аталывъ—намѣстникъ, Тугузъ—девять, Исянъ-Кильды—добро пожаловать, и пр. Есть наемена: бусурманъ и кумысъ. Иногда же названія эти взяты отъ страны или народа, что довольно странно, если не допустить, что кайсаки образовались отъ смѣшенія разныхъ племенъ и народовъ; вы найдете поколѣніе: Кыргызъ, Урусъ (Русскій), Иштякъ (Остякъ, такъ, впрочемъ, азіатцы называютъ башкировъ), Туркменъ, Чаудуръ (это же названіе носитъ обширное туркменское поколѣніе). Черкесъ, Мугалъ (Монголъ), и наконецъ: Кипчакъ, Тибетъ, Китай, Туркестанъ. Алачъ-ханъ, по словамъ кайсаковъ, общій предокъ ихъ, и это же общій уранъ или военный кличъ. Кричатъ они иногда при нападеніяхъ также *ура*, съ полугласнымъ, едва внятнымъ *а* на концѣ; это слово татарское, повелительное наклоненіе глагола урмакъ — бить: бей. Очень замѣчательно, что нѣкоторыя поколѣнія отличаются не только особымъ произношеніемъ, но и образованіемъ лица.

Если вы спросите кайсака, не холодно ли зимой въ войлочной кибиткѣ, онъ отвѣтитъ вамъ: «спросите гуся, не зябнутъ ли у него ноги?» Заговорите съ нимъ объ удобствахъ осѣдлой жизни, и онъ вамъ скажетъ: «тутовому дереву хорошо расти въ ханскомъ саду, да я не дамъ закопать себя живьемъ по поясъ, хоть бы и зналъ, что ноги у меня корни пустятъ, а руки сучья. Богатому всюду хорошо, а бѣдному вездѣ худо; бѣда бѣднаго та, что, покуда жирный исхудаетъ, худого чортъ возьметъ». Скажите ему, что грѣшно жить тунеядцемъ, что надобно работать,—онъ вамъ отвѣтитъ: «нужда придетъ, работа не уйдетъ: на голоднаго коня

травы въ полѣ много, на долгую твою работу дней у Бога много.»

Удивительно, до какой степени расходятся понятія дикарей, не видавшихъ никогда нашего образа жизни, съ нашими понятіями. Степной кайсакъ хотѣлъ подарить чѣмъ-нибудь оренбургскаго гостя своего и предложилъ ему кибитку. Этотъ отказался, сказавъ, что онъ живетъ въ городѣ, въ домѣ. «И на лѣто не ставишь кибитки?»—Нѣтъ, не ставлю.—«А изъ дому въ домъ перебираешься иногда?»—Случается.—«Ну, такъ возьми верблюда у меня, чтобъ было на чемъ перетаскиваться». Одинъ дикарь, завезенный въ первый разъ отроду случайно въ Орскъ, хотѣлъ, забывшись, выглянуть изъ окна во время разговора, прободалъ стекло и разрѣзалъ себѣ лицо. Испугъ его превосходилъ всякое описаніе. Когда одинъ зажиточный армянинъ въ Бухарѣ вздумалъ вставить въ дверь свою, въ караванъ-сараѣ, вывезенное изъ Россіи небольшое стекольчатое окно, то не могъ его никоимъ образомъ уберечь и защитить отъ разныхъ пробъ и испытаній любопытной толпы, тѣснившейся непрестанно у дверей, и окно было нѣсколько разъ выбито, отъ глупости и любопытства; армянинъ сдѣлалъ опять глухую дверь. Киргизки обступили заѣзжаго въ глубокую степь русскаго путника и, ощупывая его со всѣхъ сторонъ, спросили съ хохотомъ: для чего на немъ такой чапанъ, который спереди не сходится, колѣнъ не закрываетъ, сзади хвостомъ и не даетъ свободно поднять руки? Онъ отвѣчалъ: чтобъ меньше сукна пошло. Бабы захохотали во все горло: «дураки вы, дураки! кибитки, которыя надобно разбивать только на сутки, строите каменныя, будто въ нихъ вѣкъ вѣковать; а платье, въ которомъ надобно ходить безсмѣнно каждый день, шьете узенькое!» Одинъ башкиръ, наглядѣвшись уже болѣе на бытъ нашъ, выразился осторожнѣе и только условно:

«либо русскій человѣкъ больно уменъ, либо больно дуракъ; у насъ одна лошадь тащитъ четырехъ бабъ, у нихъ четыре лошади тащатъ одну бабу!»

Итакъ, вотъ народъ, изъ частной жизни коего я хочу разсказать истинное и свѣжее происшествіе. Народъ этотъ, при всей грубости своего невѣжества и и черствости души или сердца, по нашему образу чувствъ и мыслей, не лишенъ природою ни того, ни другого — ни чувствъ, ни мыслей. Послы, или выборные этого народа, сказали еще очень недавно, по случаю вражды двухъ смежныхъ съ ними и грозныхъ для него государствъ,—послы эти сказали: «Мы рады покориться и сами ищемъ защиты; но дайте намъ отца, который бы не только сѣкъ шаловливое дитя свое, а укрывалъ бы его также отъ обидъ и насилій; намъ съ двухъ сторонъ грозятъ плетью, и мать и мачиха держатъ розгу наготовѣ — а сосца не подаетъ ни одна, его мы не видимъ!»

Въ словахъ этихъ есть и мысль и чувство, есть болѣе мысли и чувства, чѣмъ вы найдете во всей осѣдлой Средней Азіи. Тамъ одно ханжество, изувѣрство, скрытность, закоснѣлое невѣжество и хитрость; здѣсь природа еще всему господинъ, и только одна нужда и обстоятельства обращаютъ иногда человѣка въ скота.

Чумекейцы, принадлежащіе къ роду Алимолла и состоящіе изъ 40 слишкомъ подотдѣленій, кочуютъ по р. Кувану, Сыру, доходятъ лѣтомъ на сѣверъ до Иргиза и далѣе, держась вообще караванныхъ путей, потому что они завладѣли главнѣйшею частью извознаго промысла между оренбургской линіей, Хивой и Бухарой, и весь бытъ ихъ, съ давнихъ временъ, согласуется съ этимъ родомъ жизни. Часть ихъ зимуетъ на рѣкѣ Заревшанѣ, подъ Бухарой, а лѣтуетъ подъ Троицкомъ, переходя ежегодно два раза пространство въ 1500 верстъ. У нихъ немного большихъ кибитокъ,

а кочуютъ они съ юлламахъ, дорожныхъ маленькихъ и легонькихъ кибиткахъ, легко укладывающихся на одного верблюда; они держатъ мало овецъ и лошадей, а болѣе верблюдовъ; подымаются легко и скоро, идутъ ходко и, получая плату за извозъ серебромъ и золотомъ, знаютъ цѣну его, но доселѣ не приняли отъ насъ еще никакихъ предметовъ роскоши, за исключеніемъ *назбой*, что означаетъ по-персидски: косовая пища, и что линейцами очень удачно передѣлано въ *носовой* и означаетъ нюхательный табакъ.

Чумекейцы, поколѣнія Наурузбай, во время лѣтней кочевки между Илека и Темира, сошлись съ баюлинцами, съ поколѣніемъ Каныкъ, отдѣленія Байбакты. Историкъ или сказочникъ Абулгазы Багадуръ-ханъ пишетъ, что прозваніе Каныкъ дано было во времена Чингиса или Тамерлана—не помню—первымъ изобрѣтателемъ телѣгъ; телѣги эти изобрѣтены были воинами для укладки награбленнаго имущества; скрипъ ихъ уподоблялся звуку: *каныкъ;* изобрѣтателямъ дано это звукоподражательное прозваніе [1]), и отъ ихъ поколѣнія произошелъ какой то народъ каныкъ. Если наши баюлинцы потомки этого знаменитаго механика, что весьма вѣроятно, потому что мы другого народа *каныкъ* не знаемъ, то родословное древо этихъ изобрѣтателей телѣгъ длиннѣе дышла и оглобли, и родъ ихъ не уступитъ въ древности ни одному роду нѣмецкихъ барановъ.

Чумекейцы тянулись вверхъ по Илеку, на мѣну; баюлинцы внизъ по Темиру, съ мѣны. При этой ежегодной встрѣчѣ, тѣ и другіе навѣщали пріятелей своихъ, размѣнивались новостями и прощались опять на годъ.

---

[1]) Не отъ этого ли происходитъ наше русское *канючить*, какъ вѣроятно *татакать* отъ татарина, *казакать* отъ татарскаго *каз*, гусь?

Тутъ отцы условливались съ отцами о взаимной участи дѣтей своихъ, выплачивали одинъ другому мимоходомъ по уговору часть калыма, или по-русски: кладки, которая еще и донынѣ употребительна въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи и уплачивается отцомъ жениха родителямъ невѣсты. Тутъ молодые видѣлись нѣсколько лѣтъ сряду, прежде чѣмъ наконецъ калымъ былъ уплаченъ сполна и свадьба съиграна. Кайсаки неохотно берутъ невѣстъ изъ своихъ ауловъ, щеголяютъ тѣмъ, что засватали дѣвку въ другомъ и отдаленномъ поколѣніи, и никогда не женятся вскорѣ послѣ помолвки, тѣмъ болѣе, что нерѣдко сговариваютъ дѣвокъ еще дѣтьми.

Между баюлинцами былъ старикъ Сакалбай и у него четыре сына—Полковникъ, Маіоръ, Капитанъ и Поручикъ. Я называю всѣхъ ихъ по именамъ—это не чины, а имена ихъ—только по странности именъ сихъ, которыя даны были въ честь русскихъ чиновъ. Разсказа нашего касается одинъ только Маіоръ. Отецъ его, Сакалбай велѣлъ, сѣдлать коня, когда вѣсть о прикочеваніи чумекейцевъ дошла на Темиръ; младшая жена его подвела ему коня, подсадила его подъ мышку на сѣдло, и онъ, съ двумя или тремя товарищами и съ Маіоромъ, отправился къ чумекейцамъ, къ давнишнему пріятелю своему Кара-Сакалъ-батырю. День былъ теплый, но вершники наши нахлобучили корсучьи малахаи (тумакъ), подъ алымъ и синимъ сукномъ съ галунами по швамъ; надѣли сверхъ халата по суконному чапану и второчили въ запасъ по яргаку изъ жеребячьихъ шкуръ; лошади пошли съ мѣста ходою. Сакалбай ѣхалъ впереди, оборотившись, какъ магнитная стрѣлка, на урочище, гдѣ стояли аулы чумекейцевъ, повѣсилъ носъ, покачивая слегка головою, по ходу коня; и спустивъ длинный рукавъ чапана во все кнутовище нагайки своей, постегивалъ задумавшись плетью

набивные тебеньки сѣдла. Лошадь не считала этого угрозой, не боялась повидимому плети, а выступала ходко, полушагомъ и полу-иноходью, удерживая постоянно данное ей сначала направленіе.

Маіоръ ѣхалъ молча подлѣ отца и дяди, подогнувши одну лопасть малахая въ тулью, между тѣмъ какъ другая болталась и трепала его по щекѣ; почернѣвшая отъ лѣтняго загара грудь была обнажена клиномъ, почти до самаго пояса; правая рука болталась отвѣсно, какъ привѣшенная къ плечу, а самъ онъ то поглядывалъ на вычеканенное серебромъ правое стремя свое, то глядѣлъ прямо впередъ себя,—и вдругъ соскочилъ, покинулъ лошадь, которая остановилась въ ту же минуту и стала щипать траву, побѣжалъ въ сторону и ударилъ нѣсколько разъ каблукомъ въ землю.

«Что тамъ такое?—спросилъ Сакалбай.

— Зиланъ, змѣя, — отвѣчалъ Маіоръ, подошедши къ лошади, которая стояла на одномъ мѣстѣ какъ вкопаная, и сѣлъ, подвернувъ подъ себя на лету рукою полы чапана

«Никогда не топчи ее ногами», сказалъ отецъ: «и ни чѣмъ больше не бей ее, какъ плетью. Ты знаешь, змѣя боится лошадинаго поту, и ничѣмъ не убьешь ее лучше, какъ нагайкой. Ты слышалъ былъ, что въ старинные годы батырь башкирскій, Клянча, убилъ не такую гадину, а огромнаго крылатаго змѣя? Онъ побѣдилъ его, напоивши саблю свою лошадинымъ потомъ».

Дядя, который уже нѣсколько разъ поглядывалъ путемъ на Маіора, какъ будто бы хотѣлъ съ нимъ заговорить, и сидѣлъ на коротенькихъ стременахъ бочкомъ, подавшись всею лѣвою половиной тѣла впередъ вслѣдъ за протянутою къ поводу лѣвою рукою,—дядя приподнялъ значительно угловатыя брови и сказалъ, съ чуть замѣтною улыбкой: «На этой поѣздкѣ, братъ,

тебѣ бы найти *шамрана*, царя змѣй, такъ это было бы кстати»

Сакалбай испустилъ какой-то одобрительный возгласъ, и морщины отъ широкихъ, выдавшихся скулъ собрались, сбѣгаясь въ двѣ связки по обѣ стороны рта его—что также означало улыбку, — а сынъ, Маіоръ, спросилъ, догнавъ рысью опередившихъ его попутчиковъ: «Царя змѣй? а мнѣ на что его?»

— Шамранъ,—сказалъ дядя значительно, поглядывая исподлобья на племянника:—шамранъ — небольшая бѣлая змѣя, не длиннѣе плети твоей, съ рожкомъ на головѣ. Если встрѣтишь ее, такъ разстели передъ нею новый платокъ и прочитай молитву: она переползетъ черезъ платокъ и скинетъ рожокъ свой, а ты возьми его бережно и спрячь. Гдѣ онъ лежитъ, всегда будетъ золото и серебро, и богатъ будешь на весь вѣкъ свой; а на скотину падежа никогда не будетъ; хоть какая ни будь гибельная зима, твои овцы всегда цѣлы. А теперь же подходитъ для тебя такое время, что скоро нужно богатство, скоро пора зажить тебѣ своимъ домомъ: гляди, проведи-ка рукой, у тебя къ завтраму никакъ уже и борода будетъ.

«Не даромъ же у него отецъ Сакалбай», сказалъ замысловато самъ старикъ отецъ, то есть: богатобородый, и доставъ, рожокъ свой изъ калты, покинулъ поводья, насыпалъ табаку на ладонь и, подкрѣпившись добрыми тремя напойками, продолжалъ, оборотясь къ сыну: «Дядя твой умный человѣкъ, говоритъ правду; вотъ къ полудню пріѣдемъ, дастъ Богъ, къ чумекейцамъ, къ доброму пріятелю моему Карасакалу; такъ оглянись помаленьку, покуда мы съ дядей потолкуемъ со старикомъ: мы поѣхали сватать за тебя дочь его Майну».

— На что же вы меня повезли съ собою? — сказалъ Маіоръ робко, удерживая коня своего: — что же я тамъ стану дѣлать?.. Мнѣ тамъ стыдно будетъ!

«Ничего, пустяки», утѣшалъ его дядя, стегнувъ черезъ руку плетью коня племянника, чтобы догнать его: «ты какъ будто и не знаешь ничего; тебѣ какая нужда? и ты пріѣхалъ съ отцомъ и дядей въ гости, да и только»

Но Маіоръ увѣрялъ, что ему стыдно будетъ, что онъ не можетъ ѣхать самъ на сватовство свое, и не шутя остановился.

Отецъ хотѣлъ было сердиться, но дяди упросилъ его ѣхать спокойно впередъ, а самъ, съ другимъ товарищемъ своимъ, пустили Маіора впередъ себя и усердно погоняли сзади лошадь его. Такимъ образомъ, поѣздъ подвигался впередъ. Но когда черезъ нѣсколько времени аулы чумекейцевъ открылись издали по степному увалу Илека, и Сакалбай сказалъ: «вотъ и пріѣхали» — то Маіору до того стало стыдно, что онъ, закричалъ вдругъ: «нѣтъ, не поѣду, ни за что не поѣду!» стегнулъ коня плетью, пригнулся на луку и пустился, вырвавшись изъ подъ конвоя, во весь духъ домой. Отецъ горланилъ ему вслѣдъ, дяди съ товарищемъ пустились было въ погоню, но Маіоръ ускакалъ, и тѣ воротились со смѣхомъ и досадой, бранили его и бранили отца, зачѣмъ онъ сказалъ сыну, чего совсѣмъ не слѣдовало говорить, и этимъ только пристыдилъ его.

Бѣгство стыдливаго жениха не помѣшало отцу и дядѣ кончить дѣло. Когда гости подъѣхали къ кибиткѣ Карасакалъ-батыря и молодые парни, тутъ бывшіе, увидѣли, что старики, хорошо одѣтые, пріѣхали въ гости, то, подскочивъ неуклюжимъ, размашистымъ бѣгомъ, подхватили ихъ подъ руки, какъ у насъ барынь высаживаютъ изъ кареты, приняли коней и, подтянувъ имъ головы подъ шеи, намотали поводъ на переднюю луку сѣдла, чтобы лошади выстоялись и не смѣли бы ѣсть траву.

Карасакалъ-батырь принялъ гостей своихъ, поздо-

ровавшись съ ними рука въ руку и въ два пріема къ сердцу, какъ будто примѣривалъ что-нибудь на аршинъ, посадилъ ихъ вглубь кибитки, противу дверей; между тѣмъ хозяйка ударила уже веслообразною, съ рѣзной и расписной рукоятью, мутовкой въ сабу, кожаный мѣхъ, наполненный кумысомъ, и налила три огромныя миски; потомъ пошла бесѣда. Чумекеецъ разсказывалъ, что зима на рѣкѣ Куванѣ была благодатная, скотъ живъ и здоровъ; что въ Бухарѣ даютъ по полтора батмана проса за барана; что кипчаки два раза ходили на чиклинцевъ и угнали много скота; что правитель Ташкента требуетъ пошлину съ камышеваго моста и съ парома, которые устроены однородцами Карасакала, чумекейцами, черезъ рѣку Сыръ. Сакалбай жаловался на мокрые бураны, вьюги, которые были на весну по нижнеуральской линіи, отъ Сахарной до Мергенева; этимъ бураномъ набиваетъ мокрый снѣгъ въ руно овецъ, и если послѣ вдругъ ударитъ морозъ, то овцы гибнутъ; хвалился, что прошлую осень они при линіи набили множество корсука, степной лисы, который валилъ валомъ, кочевалъ тысячами на сѣверъ и зарывался только на день въ небольшія норочки, забиваясь туда по два и по три [1]); что бараны на мѣнѣ вздо-

---

[1]) Эта перекочевка звѣря въ иные годы дѣло очень замѣчательное, и на него, кажется, мало обращали вниманія; я не говорю здѣсь о тягѣ и перелетѣ птицы по временамъ года, о переходѣ сибирскаго оленя, степной сайги и кулана (дикой лошади), также по временамъ года, постоянно съ одного мѣста на другое; но разныя животныя въ иные годы, безъ всякой видимой причины, являются вдругъ въ огромномъ количествѣ и тянутся постоянно по принятому направленію, дни, недѣли и мѣсяцы сряду. Такимъ образомъ въ 1826 году шли раки изъ Ильменя въ Ладожское озеро р. Волховомъ, день и ночь валили они несмѣтнымъ множествомъ, на ночь выходили даже на берегъ, такъ что солдаты набирали ихъ четвертями, и начальство боялось вредныхъ послѣдствій, болѣзней, отъ этого множество раковъ, и запрещало ихъ ловить; такъ въ 1820 году бѣлка, векша шла огромными стаями съ праваго берега Вол-

рожали, даютъ за годовалаго по 8-ми пудовъ муки и по пяти папушъ табаку, — и прочее. Наконецъ, подъ вечеръ, когда хозяинъ уже накормилъ гостей своихъ бараниной и отваромъ съ небольшими въ немъ мучными лепешками, и напоилъ кумысомъ до-сыта, дядя принялъ слово за Маіора, между тѣмъ какъ отецъ его сидѣлъ чинно, потупивъ глаза, вздыхая отъ времени до времени и поглаживая рѣденькую сѣдую бородку. Надувшись и принявъ важную осанку, дядя сказалъ пренапыщенное похвальное слово хозяину, Карасакалу, и брату своему Сакалбаю; превозносилъ дружбу ихъ, зажиточность, добрую славу, заключилъ изъ этого, что и дѣти ихъ должны быть имъ подобны и другъ друга достойны; потомъ сталъ насчитывать калымъ, который братъ намѣренъ дать за невѣсту, стараясь по обычаю умножить разными уловками счетъ головъ; въ первый годъ, говорилъ онъ, братъ дастъ десять овецъ ягненныхъ и двухъ козъ—24 головы: тамъ трехъ жеребыхъ кобылъ—тридцать, и такъ далѣе. Карасакалъ-батырь слушалъ очень спокойно, поддакивая отъ времени до времени головою, и наконецъ замѣтилъ, что на третій, послѣдній годъ, слѣдовало бы отдать верблюда, и просилъ кромѣ того не требовать съ него, какъ съ походнаго чумекейца, большой кибитки для молодыхъ, а обѣщалъ вмѣсто этого подарить бухарскій коверъ. Толковали долго, наконецъ ударили по рукамъ и за-

---

хова на лѣвый, въ Новгородской губерніи: она столпилась на правомъ берегу въ несмѣтномъ множествѣ, ее били палками, ловили руками; потомъ показалась на лѣвомъ берегу, пошла дальше, а въ прежнихъ мѣстахъ почти исчезла вовсе. Такъ въ 1836-мъ или 37-мъ г. корсукъ осенью вдругъ двинулся изъ южныхъ предѣловъ степи кайсацкой на сѣверъ; киргизы преслѣдовали его, били сотнями и тысячами, днемъ въ норахъ, лѣсная стража, башкиры, встрѣтили его на линіи, и били безъ пощады—онъ все таки валилъ своимъ путемъ и потомъ вдругъ скрылся, не подавшись далеко за линію. Былъ ли онъ уничтоженъ, или разсыпался и принялъ другое направленіе, не могу рѣшить.

пили кумысомъ. Карасакалъ созвалъ всѣхъ своихъ— аулъ его состоялъ изъ шести родственныхъ кибитокъ— и объявилъ имъ дѣло; потомъ уже позвалъ въ общее присутствіе дочь Майну.

Майнѣ было всего годовъ 14; мать велѣла ей уже одѣться; и она вошла въ бархатномъ аломъ чапанѣ съ галунами, въ конической шапочкѣ, опушенной котикомъ, обнизанной и обвѣшанной бусами и стеклярусомъ, съ коей висѣли по обѣ стороны длинныя и широкія подъ низи. Волоса, заплетенные въ одну косу, и на первый взглядъ почти одна шапочка эта только и отличала ее отъ мужчинъ, на коихъ были подъ исподомъ такіе же халаты, сверху суконные чапаны того же покроя, остроконечные неуклюжіе сапоги и голая шея. Но Майна подпоясана была по халату поясомъ, а чапанъ накинутъ сверху, тогда какъ мужчины опоясываются кожанымъ ремнемъ съ карманомъ и другимъ приборомъ сверхъ чапана; кромѣ того, халатъ на Майнѣ застегнутъ былъ на груди серебряной пряжкой.

«Башъ-уръ», сказалъ ей отецъ, указывая на Сакалбая, «кланяйся: вотъ твой будущій отецъ, онъ тебя беретъ за сына». Потомъ велѣлъ ей пойти къ себѣ и наклониться, повѣсилъ ей нагайку свою черезъ затылокъ и читалъ наставленія, какъ ей должно слушаться тестя и мужа.

Майна во все это время быстро глядѣла черными глазенками своими вокругъ, останавливалась ими нѣсколько разъ съ видомъ какого то сомнѣнія на дядѣ Маіора, искала кругомъ—сняла и подала съ поклономъ отцу плеть его, вышла, шагая почти по головамъ родичей своихъ, которые, усѣвшись по такому торжественному случаю чинно въ кибиткѣ Карасакала, заняли ее собой всю; а вышедши изъ-подъ запона, прикрывавшаго двери, кинулась проворно къ дѣвкамъ и бабамъ, ожидавшимъ ее тутъ, и пробормотала въ одинъ

духъ: «который же это, который? неужели старикъ сидѣвшій рядомъ со сватомъ? а болѣе никого не видно было въ кибиткѣ.»

— Коли старъ, такъ богатъ можетъ быть,—отвѣчали подруги.—Пойдемъ, сядемъ въ кибитку свою, да подымемъ кошму сбоку, увидимъ его въ рѣшетку, когда будетъ уѣзжать.

Карасакалъ-батырь отпустилъ гостей своихъ только въ слѣдующее утро, но Майна съ подругами тѣмъ не менѣе провожала ихъ глазами изъ-за рѣшетки сосѣдней кибитки и указывала пальцемъ то на того, то на другого или третьяго, полагая, что тотъ или этотъ долженъ быть ея женихомъ.

Когда Сакалбай съ товарищами выѣзжалъ рано утромъ отъ чумекейцевъ, то въ аулахъ ихъ сдѣлалась тревога: огромный степной палъ, напольный огонь, шелъ при попутномъ вѣтрѣ съ юга, почти во всю ширину между Илека и Темира, верстъ на 60. Вершники скакали уже до зари осматривать это разливающееся огненное море, упущенное по неосторожности какимъ-нибудь пастухомъ или проходящею шайкой. Сотни кибитокъ сымались, навьючивались на верблюдовъ, и, вмѣстѣ со скотомъ, отправлялись черезъ рѣчку. Баюлинцы наши думали, что успѣютъ доѣхать до своихъ ауловъ, особенно если прибавятъ шагу, но ошиблись въ разсчетѣ: палъ настигъ ихъ на перепутьи. Нѣсколько времени принимали они все правѣе къ сѣверу, надѣясь объѣхать огонь, но наконецъ увидѣли, что онъ ихъ такимъ образомъ загонитъ слишкомъ далеко. Они остановились, сошли съ лошадей, вырубили и раздули огня и зажгли отъ себя траву. Это называется у насъ: пустить встрѣчный палъ. Трава выгорѣла тутъ вскорѣ на большое пространство, и на немъ то путники наши расположились преспокойно ожидать конца и развязки. Пламя катилось на нихъ съ юга клубомъ, взмывая по

кустамъ и бурьяну иногда въ ростъ человѣческій и разстилаясь огненнымъ ручьемъ по низкому, объѣденному ковылю; дымъ стлался впередъ, огонь подвигался за нимъ почти съ тою же скоростію, какъ пѣшій ходокъ; чѣмъ ближе онъ подходилъ, тѣмъ слышнѣе былъ этотъ гулъ особаго рода, который нельзя сравнить ни съ какимъ инымъ шумомъ, развѣ только съ отдаленнымъ гуломъ взволнованнаго бурей моря. Огненный гребень или гряда эта, будучи въ глубину не болѣе сажени, простиралась въ обѣ стороны уступами и зубцами, мысами и заливами, на необозримое протяженіе. Когда она настигла путниковъ нашихъ, сидѣвшихъ преспокойно на выжженномъ ими пространствѣ, спиною къ набѣгающему на нихъ палу, то она раздвоилась вокругъ пожарища, гдѣ горѣть было нечему, и прошла далѣе, а Сакалбай съ товарищами сѣли на коней и поѣхали опять своимъ путемъ.

«Года тому четыре», сказалъ Сакалбай: «когда я ходилъ вожакомъ съ русскими на Тоболъ, такъ тамъ ночью палъ захватилъ кипчаковъ и аргинцевъ, и сгорѣло много скота и человѣкъ до 80-ти; кибитокъ погорѣло болѣе сотни».

— Бѣда намъ у линіи сидѣть, — сказалъ другой товарищъ,—когда случится, что набѣжитъ палъ. Это такое жъ горе, какъ и потравы сѣна и луговъ, гдѣ разбирательствамъ нѣтъ конца. Тутъ думаешь, какъ бы самому чего не потерять, да чтобы скотъ уцѣлѣлъ, не охватило бы гдѣ гуртъ; а тутъ, глядишь, на слѣдствіе выѣзжаютъ чиновники, да за душу тебя тянутъ. Слышалъ дядя, ага, — продолжалъ онъ: — прошлогоднее слѣдствіе, что пріѣзжалъ косой да взялъ 8 барановъ, да сказалъ: кончено все,—не кончено—нынѣ, говорятъ, опять будетъ онъ разбирать по *горячимъ* слѣдамъ, кто пустилъ палъ; а онъ уже съ годъ, какъ простылъ, и мѣсто давно травой поросло

Пріѣхавъ въ аулъ свой, Сакалбай позвалъ тотчасъ сына Маіора, и между тѣмъ, какъ байбича, старшая жена его, Сакалбая, наливала въ миску взболтаный и взбитый кумысъ, а младшая отпускала лошади его подпруги и протирала ей глаза, старикъ, будучи въ хорошемъ расположеніи духа, собрался трунить надъ сыномъ: сердце его уже прошло. И онъ началъ такъ:

«Собака, чего лаешь? волковъ пугаю. Собака, чего хвостъ поджала? волковъ боюсь. Таковъ и ты, сынъ мой; за дѣвками гоняешься, а ихъ же боишься; тебѣ бы жениться, да невѣсты не видать. Соромъ, стыдъ! глядите на парня, вѣдь онъ ребенокъ; что онъ смыслитъ? Онъ и самъ еще красная дѣвица; онъ не знаетъ еще — жениться ли ему, замужъ ли ему выходить, раздумье беретъ молодца, оттого и стыдится. А зачѣмъ же ты, полоумный, вѣкъ съ дѣвками сидишь, коли у тебя и на это ума не стало, коли ты не знаешь еще, человѣкъ ли ты, или самъ дѣвка? А еще Маіоръ! За что же я на тебя такой почетный урядъ положилъ, коли послѣдній хорунжій больше тебя смыслитъ?»

Маіоръ сидѣлъ на корточкахъ передъ отцомъ, и между тѣмъ какъ всѣ, кто былъ тутъ, хохотали, онъ закрывался тумакомъ своимъ, мохнатой шапкой, то съ правой щеки, то съ лѣвой, смотря по тому, откуда на него заглядывали. Отецъ досталъ вдругъ, не вставая съ мѣста, изъ за пояса плеть, стегнулъ сына порядочно по плечамъ, и у Маіора словно вдругъ ноги выросли: вскочилъ и отпрянулъ, улыбаясь въ сторону, почесывая выбритую какъ ладонь голову.

На другой день Сакалбай отправилъ съ братомъ своимъ первый задатокъ калыма, девять тощихъ овецъ, и дядя Маіора увѣрялъ Карасакала, что эти овцы всѣ по два ягненка мечутъ, и что тутъ вѣрнымъ счетомъ 27 головъ скота. На вечеръ отправили жениха въ небольшомъ поѣздѣ для знакомства съ невѣстой: Маіору

некуда было дѣваться: разодѣлся въ отцовскій жалованный чапанъ, взялъ съ собою въ запасъ два выбойчатыхъ платка, золотникъ алаго шелку и какую-то полинявшую ленточку. Со смѣхомъ и шутками выпроводили его изъ аула, а дорогою сваты или дружки, какъ ихъ назвать, старались подкрѣпить мужество Маіора, который тяжело вздыхалъ, молчалъ и отиралъ потъ съ широкаго лица своего, слушая поученія и наставленія ихъ, какъ дѣйствовать и какъ себя вести.

Женихъ прибылъ къ чумекейцамъ уже въ сумерки; товарищи спровадили его толчками въ кибитку Карасакала и говорили кой-что за него; онъ робко кланялся, прикладывая правую руку къ сердцу и принявъ руку старика въ обѣ руки свои, не замѣчая, что вмѣстѣ съ малахаемъ своимъ стянулъ съ головы и тюбетейку и стоялъ лысый, отъ бровей до затылка. Одинъ изъ товарищей вытащилъ изъ-подъ мышки жениха, изъ огромнаго малахая, тюбетейку и насунулъ ее Маіору на одно ухо. Усѣлись, пили кумысъ, ѣли баранину, а о невѣстѣ еще не было и рѣчи. Наконецъ, старикъ объявилъ, что пора спать, простился съ Маіоромъ, и этого отвели въ маленькую кибитку, юллама, въ которой должно было произойти первое свиданіе его съ невѣстой. Тутъ Маіоръ встрѣтилъ въ дверяхъ почетную стражу невѣсты своей, нѣсколькихъ старухъ, которыя принялись колотить жениха со всѣхъ сторонъ, приговаривая: «а ты зачѣмъ сюда лѣзешь? тебѣ тутъ что нужно? нешто тутъ твое мѣсто?».

Робкій и стыдливый Маіоръ въ эту рѣшительную минуту собралъ съ какою то необыкновенною могутою всѣ духовныя и тѣлесныя силы свои, кинулся, очертя голову, какъ изступленный, въ толпу бабъ, сбилъ ихъ, какъ разъяренный козелъ, ударомъ головы своей съ ногъ, и прорвался подъ запонъ кибитки, прежде чѣмъ тѣ успѣли опомниться. Онѣ подняли хохотъ и крикъ,

грозили и требовали выкупа: Маіоръ, оправившись немного, выкинулъ имъ изъ кибитки взятыя имъ для этого бездѣлицы; бабы еще съ большимъ крикомъ, шумомъ и смѣхомъ удалились, а онъ, Маіоръ, сталъ осматриваться впотьмахъ.

Тундыкъ или по-русски: дымникъ, то есть верхняя полсть кибитки, надъ обручемъ, въ который упираются стрѣлы, былъ откинутъ: посреди кибитки чуть тлѣлся маленькій огонекъ; а на цвѣтной кошмѣ сидѣла Майна, закрывая лицо правымъ локтемъ и отвернувшись нѣсколько отъ той стороны, гдѣ стоялъ Маіоръ. Сверху падалъ на нее бѣлый свѣтъ луны и звѣздъ, снизу разливался на алый бархатъ чапана ея красный свѣтъ огонька. На всѣхъ изломахъ и складкахъ былъ двойной свѣтъ и двойная тѣнь; огонекъ былъ такъ слабъ, что не могъ пересилить и луннаго свѣта.

Маіора опять взяла робость; постоявъ немного, онъ и самъ было накрылъ глаза рукавомъ, но, догадавшись, что это слишкомъ глупо, рѣшился наконецъ поздороваться съ невѣстой, но до того забылся, что, вмѣсто обычнаго привѣтствія женщинамъ, сказалъ ей подобострастно: селямъ-алей-кюмъ, пожеланіе, которое говорится исключительно единовѣрцамъ - мужчинамъ. Майна захохотала и отвѣчала, не отнимая руки отъ лица, скороговоркой: «я тебѣ не братъ и не дядя; или, можетъ статься, ты ошибся и не туда зашелъ?»

Черезъ полчаса, когда Маіоръ нашъ уже оправился отъ всѣхъ недоумѣній и робости своей и сидѣлъ на кошмѣ рядомъ съ невѣстой и рука въ руку съ нею, бабы пришли стучать кулаками въ кибитку и вызывать невѣсту домой. Она вскочила и побѣжала безъ оглядки; бабы приняли ее со смѣхомъ и шутками своего рода, а Маіоръ, оставшись одинъ, прокашлялся, потеръ гладкій подбородокъ свой, вышелъ взглянуть на погоду, увидалъ, что собираются тучи, накрылъ дымникъ и легъ спать.

Во снѣ видѣлъ онъ великолѣпную скачку, нескончаемую толпу народа, крикъ, шумъ, огромныя миски крошеной баранины — словомъ, надобно полагать, что Маіоръ во снѣ уже праздновалъ свадьбу свою; но онъ мгновенно проснулся отъ страшнаго топота конскаго; ему казалось, что тысячи всадниковъ неслись прямо черезъ него. Проснувшись, Маіоръ простоналъ: аллахкеримъ,—но долго не могъ опомниться; стукъ, громъ, крикъ и шумъ всякаго рода окружали его. Тутъ было вотъ что: нашли тучи, сдѣлалась ночью страшная гроза. Кайсаки объясняютъ явленіе это такъ: шайтаны, черти, громоздятся другъ на друга ёлкой, пирамидой, чтобы вылѣзть изъ преисподней на небо. Аллахъ поражаетъ ихъ стрѣлой, и они съ шумомъ и трескомъ разсыпаются. Вотъ вамъ сказка о Титанахъ Разбѣжавшись, они ищутъ спасенія, прячутся за первый встрѣчный предметъ, охотнѣе всего за человѣка, котораго Аллахъ, въ милости своей, обыкновенно щадитъ; но, разгнѣвавшись, онъ посылаетъ стрѣлы на шайтановъ порознь, и тутъ нерѣдко шайтану удается отвести отъ себя стрѣлу на человѣка. Для этого то кайсаки подымаютъ во время грозы страшный шумъ и стукъ, бьютъ въ тазы, котлы, чашки, миски, пугаютъ и гоняютъ всѣми средствами шайтана. Такъ персіяне, приписывающіе ужаленіе скорпіона также происканъ шайтана, выгоняютъ его изъ военныхъ становъ, таборовъ и становищъ своихъ молитвой и хлопаньемъ въ ладоши. Во время походовъ персидскаго войска, станъ ихъ каждый вечеръ оглашается дружными плесками въ ладоши цѣлаго побѣдоноснаго воинства.

Этотъ то шумъ и стукъ, заглушаемый отъ времени до времени раскатами грома, поднялъ на ноги нашего Маіора. Опомнившись и почесавъ затылокъ, онъ сѣлъ, подвернувъ ноги и, улыбаясь самодовольно, протвердилъ на память, то мысленно, то вполголоса и съ

легкими тѣлодвиженіями, все, что происходило вчерашняго вечера, и поглядѣлъ искоса подлѣ себя на то мѣсто, гдѣ сидѣла Майна. Гроза миновалась, и товарищи Маіора пришли къ нему еще до свѣту съ увѣдомленіемъ, что жениху пора ѣхать домой, иначе придется сидѣть въ кибиткѣ еще сутки; днемъ выѣзжать и показываться въ люди нейдетъ ему, надо убираться за-темно.

Вскорѣ чумекейцы подвинулись далѣе впередъ, баюлинцы потянулись на югъ и къ нижней линіи нашей; женихъ съ невѣстой простились по крайней мѣрѣ на годъ, потому что обратный путь чумекейцевъ, по другую сторону Илека, пролегалъ слишкомъ далеко отъ кочевья баюлинцевъ.

Баюлинцы, которые, какъ и всѣ племена кайсаковъ, кочуютъ въ извѣстное время года по извѣстнымъ пространствамъ, очищая мѣсто другимъ и приближаясь осенью къ зимовью своему, подошли спокойно, идучи все вверхъ по Уилу, къ нижней линіи. Сакалбай послалъ двухъ сыновей своихъ, Маіора и Капитана, въ Сахарную, съ гуртомъ овецъ на мѣну. Казаки, которые говорятъ здѣсь всѣ такъ же бойко по-киргизски, какъ и Маіоръ нашъ съ Капитаномъ, обступили кунаковъ своихъ, гостей или пріятелей, забрасывали ихъ цѣлымъ потокомъ рѣчей со множествомъ прибаутокъ, стараясь уторговать овецъ подешевле; кайсаки наши боялись продешевить, кричали взапуски и отстаивали товаръ свой. Казаки хватали барановъ за курдюки и тащили ихъ къ себѣ; киргизы перетаскивали ихъ за рога опять на свою сторону; безотвѣтные бараны ревѣли, и блеяніе ихъ заглушалось крикомъ обоюдно договаривающихся пріятелей. Капитанъ между прочимъ вздумалъ похвалиться казакамъ, что братъ его, Маіоръ, женихъ; Маіоръ прибодрился при этомъ и вытянулся, полагая вѣроятно, что уральцы, ради

поздравленія, уважутъ ему, прибавятъ цѣны. Но уральцы повернули дѣломъ и увѣрили Маіора, что ему не годится же теперь, какъ жениху, ѣздить на такой кляченкѣ, предложили вымѣнять у казака, по дружбѣ, тотчасъ же добраго коня, отдавъ своего и еще пять барановъ на придачу. Не ожидая отвѣта, казаки стали разглядывать, водить, щупать лошадь Маіора, стараясь захаять ее и сбить ей цѣну.

«Конь добрый», сказалъ одинъ, «что и говорить; у иного, чай, плеть живетъ дороже. Снимай, братъ, шкуру, да продавай.» — А который ей годъ? — спросилъ другой. «Первый послѣ прошлаго», отвѣчалъ тотъ, «первая голова на плечахъ и шкура неворочена.»

«Гоу! врете вы», отозвался Маіоръ, «конь съ песковъ, на Тай-суйганѣ выросъ, скоро зубы съѣдаетъ; это дѣло вѣдомое: что хватитъ травы, то и песку въ ротъ.»

— Знаю, знаю, какъ не знать,—принялъ опять тотъ.—Я вижу, что съѣлъ; онъ и глядитъ, словно не солоно хлебалъ. У кого бабушки во дворѣ нѣтъ, годится, держать можно.

Словомъ, не дали Маіору опомниться, какъ пересѣдлали, посадили его на казачьяго коня, назвали молодцомъ и стали разсчитываться. Но Маіоръ съ Капитаномъ объявили казакамъ, что отецъ велѣлъ имъ привозить весь запасъ хлѣба, сколько вымѣняютъ, сполна, и потому не рѣшались отдать барановъ за лошадь. У казаковъ и за этимъ не стало дѣло; они уладили все: они лошади въ долгъ не дали; зачли за нее, что слѣдовало, а отпустили кайсакамъ на *кутарму*, въ долгъ, сколько тѣмъ нужно было, муки, съ тѣмъ разумѣется, чтобы только къ веснѣ поставить за нее овецъ съ процентами, каждую съ ягненкомъ. Маіору съ Капитаномъ сдѣлка показалась очень выгодною, и

они, простившись дружески съ уральцами, отправились домой.

Неустойки казаки не боялись: здѣсь о-сю-пору, безъ векселей и росписокъ, долги платятся гораздо исправнѣе, чѣмъ тамъ, гдѣ они пишутся на гербовой бумагѣ. Знаете ли, какъ безграмотный уральскій казакъ стращаетъ и грозитъ должнику своему, если этотъ не уплачиваетъ ему въ срокъ долга? Онъ приходитъ къ нему на домъ съ биркой, на которой нарѣзанъ долгъ, рублями и десятками, то есть зарубками и крестиками, и пришедши съ биркой и съ ножемъ, говоритъ должнику: эй, братъ, отдай чужое—эй отдай: гляди, *срѣжу*, право, срѣжу! И этого слова, этого безсчестія уральскій торговый казакъ боится: срѣзать долгъ съ бирки, значитъ, уничтожить его, не считать его и долгомъ, потому что нѣтъ надежды его получить. Это было бы то же, или еще хуже того, какъ если бы кто-нибудь вздумалъ вынести на биржу вексель первостатейнаго купца и разорвать его при сотнѣ свидѣтелей.

Итакъ, Маіоръ привезъ въ аулъ свой хлѣбъ сполна и пріѣхалъ еще на знатной лошади—и былъ доволенъ; но не такъ думалъ старикъ Сакалбай, потому что Маіоръ привезъ съ собою и долгъ. Старикъ разсердился, прогналъ Маіора, и только на третій день взглянулъ украдкой на новую лошадь его. «И ты не видишь», сказалъ онъ, «что это выкормокъ хлѣбный и больше ничего? Казаки говорятъ, что наша степная лошадь — травяной мѣшокъ; а это что? Отъ овса, правда, рубашка подъ тѣломъ закладывается, лошадь не толста, да плотна живетъ; а это выкормокъ, только на то и ходили за нимъ, чтобы обмануть такого дурака, какъ ты. За это вотъ тебѣ: я на весну не выплачу Карасакалъ-батырю ничего калыму, пусть еще годъ пройдетъ, а ты дожидайся; авось, поумнѣешь. Теперь еще больно глупъ.» Стыдно стало Маіору и

досадно, да нечего дѣлать; отошелъ молча и понурилъ голову.

Такимъ образомъ, тотъ же казакъ, который вѣрилъ киргизу на́ слово въ баранахъ до весны, который счелъ бы величайшимъ для себя безчестіемъ, если бы товарищъ къ нему пришелъ съ биркой и сказалъ бы: *срѣжу*,—тотъ же казакъ ни на минуту не призадумается обмануть кого бы то ни было, продавъ негодную клячу за добраго коня. «Развѣ у него глазъ нѣту? спросилъ бы онъ, вытаращивъ самъ на тебя глаза: — нешто онъ затылкомъ глядѣлъ?» И такъ же точно кайсакъ съ своей стороны пригонитъ и передастъ счетомъ долговыхъ овецъ своихъ, какъ сдѣлалъ въ свое время и Сакалбай нашъ, но если будетъ случай — придетъ и украдетъ ихъ опять и угонитъ. «Развѣ я ему пастухъ?—скажетъ онъ:— для чего онъ не смотритъ за добромъ своимъ?»

Между тѣмъ какъ все это дѣлалось на юго-западѣ, у баюлинцевъ съ уральцами, на сѣверо-востокѣ, противъ Орска, куда прикочевали на мѣну чумекейцы наши, происходило другое. И баюлинцы жаловались уже, какъ мы слышали, на слѣдствія по степнымъ палямъ и потравамъ, — а чумекейцы встрѣтили, не ожидая того, невдалекѣ отъ линіи также слѣдователя. Дѣло было запутанное и завязалось по доносу таможеннаго чиновника, по доносу о безпошлинномъ, тайномъ провозѣ нѣкоторыми караванбашами разныхъ товаровъ, и по жалобѣ бухарскихъ купцовъ на какія-то притѣсненія по разсчетамъ съ возчиками. Все это было спутано вмѣстѣ, и переписка шла по тремъ, четыремъ вѣдомствамъ, неутомимая. Искали тутъ какого-то общаго, огромнаго злоупотребленія, и чиновникъ былъ присланъ издалека произвести строжайшее слѣдствіе.

Великій мужъ этотъ, со своими понятіями о *дѣлѣ*,

дѣлопроизводствъ и *слѣдствій*, выѣхалъ въ сопровожденіи помощниковъ и небольшого отряда съ девятью стопами бумаги навстрѣчу чумекейцамъ. Онъ собирался, какъ видите, пустить въ свѣтъ девять томовъ, столповъ, или *топъ*, какъ самъ онъ ихъ называлъ. Чумекейцы, не чуя никакого горя, врѣзались прямо навстрѣчу нашему безсребреннику; разбирательство началось огромное, по множеству прикосновенныхъ свидѣтелей и вовсе постороннихъ, которые однакоже всѣ, для полноты дѣла, должны быть опрошены. Кайсаковъ водили въ ставку слѣдователя ежедневно десятками; между тѣмъ было задержано подъ карауломъ еще очень немного: кто только полагалъ, что дѣло его можетъ коснуться, убирался заблаговременно въ чистое поле, а Алексѣю Ѳедоровичу приходилось поневолѣ оставлять въ дѣлѣ много пробѣловъ. Аулы чумекейцевъ раздумали идти на мѣну, начали все понемногу отступать, подъ предлогомъ недостатка корма для скота. Алексѣй Ѳедоровичъ подвигался съ ними, не допуская никакихъ насильственныхъ мѣръ для удержанія ихъ: онъ былъ врагъ всякихъ притѣсненій; чумекейцы отправляли каждую ночь табуны и стада свои, бабъ и дѣтей, все далѣе назадъ, и дѣло кончилось тѣмъ, что, не исписавъ еще и третьей стопы, Алексѣй Ѳедоровичъ, въ одно прекрасное осеннее утро, увидѣлъ себя съ небольшимъ отрядцемъ своимъ, на мѣстѣ ночлега, одного; на всемъ видимомъ пространствѣ не было ни одной кибитки, ни скотины, ни человѣка — и онъ, напившись досыта, возвратился благополучно на линію, съ трофеями своими, съ двумя задержанными уже прежде, по *прикосновенности* ихъ, кайсаками. Товарищи покинули ихъ, а сами убрались на просторъ, шли, сколько силъ было, все дальше въ степь, нагоняя другъ друга, какъ могли и успѣвали. Такое бѣгство иногда совершается въ порядкѣ, если успѣваютъ заби-

рать съ собою все имущество, не бывъ настигаемы непріятелемъ; но иногда киргизы бѣгутъ, при нечаянномъ нападеніи на нихъ, въ такомъ страхѣ и съ такою поспѣшностію, что не только покидаютъ кибитки свои, рогатый скотъ, барановъ, угоняя однихъ лошадей и верблюдовъ, но бросаютъ даже старухъ и хворыхъ стариковъ, грудныхъ дѣтей, врываютъ въ землю по уши чугунные котлы свои, наливъ ихъ молокомъ или кумысомъ.

Когда только часть чумекейцевъ успѣла перейти вершины Илека, направляясь черезъ пески Барсукъ къ Сарычаганаку и Сыру, они на поспѣшномъ бѣгствѣ растянулись, растерялись, и какая-то шайка семиродцевъ, изъ числа таминцевъ, ходившая по своимъ счетамъ на баранту къ аллимолинцамъ и именно къ тляу-кабакамъ, на вершины Эмбы, наткнулась случайно на табуны чумекейцевъ. Такой удобный случай упустить было грѣшно, и шайка захватила, что могла. Тутъ были также лошади Карасакалъ-батыря: онъ оставилъ аулы свои, выждалъ заднихъ, набралъ съ сотню удальцовъ, пошелъ въ погоню за шайкой, но не нагналъ ея, а, нашедши по рѣкѣ Уилу другіе аулы, разгромилъ семиродцевъ, которые можетъ быть и не знали о походѣ и удачномъ поискѣ земляковъ своихъ, чумекейцы наши въ свою очередь удовлетворили себя тѣмъ, что могли захватить тутъ, и поспѣшно ушли вслѣдъ за аулами своими, угоняя добычу; миновавъ же благополучно Барсуки, Каракумъ, а наконецъ и самую рѣку Сыръ, они расположились тамъ на зимовье.

Вотъ похожденія чумекейцевъ въ эту осень, отъ коихъ зависѣла, повидимому, судьба нашихъ молодыхъ, нашего пріятеля Маіора и 14-тилѣтней Майны. Эта часть чумекейцевъ, поколѣніе Наурузбай, къ коему принадлежали аулы Карасакалъ-батыря, опасаясь по-

исковъ съ линіи по неоконченному слѣдствію Алексѣя Ѳедоровича, поссорившись съ семиродцами, которые занимаютъ большую часть западной степи, и опасаясь мести ихъ, не смѣла показываться въ ихъ сосѣдствѣ, не только при линіи, и потому разсудила остаться на нѣсколько лѣтъ за рѣкою Сыромъ, кочуя въ камышахъ, лугахъ и топяхъ между этою рѣкою и другимъ рукавомъ ея, Куваномъ. Угроза Сакалбая — не выплатить на другую весну калыма за Маіора и заставить его обождать съ годъ, въ надеждѣ, что авось-де онъ поумнѣетъ, не только исполнилась сама собою, потому что баюлинцы не имѣли никакихъ сношеній съ отдаленными наурузбайцами, но прошло цѣлыхъ три года, въ продолженіе коихъ не болѣе трехъ разъ была какая-нибудь вѣсть черезъ хабарчіевъ, вѣстовщиковъ, пріѣзжавшихъ случайно съ караванныхъ путей, вѣсть отъ Карасакалъ-батыря, что онъ-де живъ и здоровъ, и поставилъ подъ караванъ столько-то верблюдовъ, — а объ Майнѣ ни слова. Маіоръ ожидалъ спокойно, чѣмъ судьба его рѣшится, когда придетъ пора его, и скоро ли онъ поумнѣетъ, и затягивалъ иногда высокимъ строемъ и тоскливымъ напѣвомъ пѣсенку въ память Майны; и самъ Сакалбай поджидалъ съ весны на осень, съ осени на весну, не кончатъ ли дѣлъ своихъ наурузбайцы, и не пойдутъ ли они къ линіи обычнымъ своимъ путемъ. Но три года прошли, а ихъ не видать. Надобно бы думать, что они жили тамъ спокойно, что ихъ никто не трогалъ и не обижалъ, коли они тамъ оставались, — но это было не совсѣмъ такъ; на Сырѣ и Куванѣ хивинцы приняли чумекейцевъ въ ежовыя рукавицы свои — брали все, что хотѣли, били ихъ, даже убили нѣсколько человѣкъ, — не производя никакихъ слѣдствій и не сажая никого подъ караулъ, а и того менѣе въ острогъ, а разсчитывались всегда на мѣстѣ, и чумекейцы оставались спокойно на своихъ

кочевкахъ. Сборщики податей пріѣзжали, требовали сороковину, выбирали въ счетъ закята, подати, лучшій скотъ, брали еще что имъ нравилось, безчинствовали; наурузбайцы иногда, вышедъ изъ терпѣнія, сопротивлялись—тогда хивинцы принимались за расправу, били и рѣзали около себя, кого могли перваго захватить,— остальные всѣ винились, отдавали, что хотѣли взять съ нихъ, и тѣмъ дѣло было кончено. Послѣ расправы бѣжать поздно, да и не для чего.

Въ Хивѣ и Бухарѣ одно только торгующее сословіе знаетъ грамотѣ; чиновные и должностные пренебрегаютъ всякимъ ученьемъ, и увѣряютъ, что имъ некогда заниматься пустяками: они только умѣютъ воевать и управлять. Въ примѣръ, какъ они умѣютъ воевать, они разсказываютъ вамъ сохранившіяся еще по преданію сказки о Чингисѣ и Тимурѣ, и все это принимаютъ лично на себя, будто они сами сдѣлали все это вчера или сегодня. Но это въ сторону: я хотѣлъ только сказать, что купцы азіатскіе всѣ почти знаютъ грамотѣ, и главное — умѣнье писать; все краснорѣчіе письменнаго слога состоитъ у нихъ въ необъятной напыщенности, громкомъ и важномъ пустословіи, которому позавидовали бы французскіе классики прошлаго столѣтія. Карасакалъ-батырь не надѣялся сойтись когда-нибудь съ баюлинцами; сношенія съ сватомъ были прерваны, повидимому, навсегда или надолго; дочь подросла, два, три жениха напрашивались — что ее держать? лучше взять калымъ да отдать съ рукъ. Карасакалъ дѣйствительно просваталъ Майну за Дюртъкаринца, нынѣшняго сосѣда своего, получилъ уже часть калыма и, воспользовавшись дневкой проходившаго каравана, пригласилъ къ себѣ грамотѣя, напоилъ его кумысомъ, накормилъ салмой и заставилъ написать письмо къ Сакалбаю, старому пріятелю, съ которымъ ссориться не хотѣлъ, — о нынѣшнихъ своихъ обстоя-

тельствахъ. Кончивъ письмо, грамотѣй сталъ читать его вслухъ:

«Точка воззванія излагаетъ недостойное почтеніе свое на страницѣ уваженія: рабъ праха стопъ вашихъ, употребляющій прахъ этотъ вмѣсто сурьмы къ бровямъ своимъ, проситъ отъ Всевышняго на долю вашу счастія и благополучія, въ честь и славу великаго посла Аллаха (да будетъ чтима память его), просить со слезами и отдавая на жертву за васъ себя и своихъ, чтобы вы вѣчно возсѣдали на престолѣ исполненія всѣхъ желаній своихъ. И если исполнится молитва наша, то мы, нижайшіе рабы ваши, пишемъ нынѣ къ знаменамъ вѣры, повелителямъ на престолѣ судебъ, собирателямъ святыхъ пророческихъ преданій, рудникамъ познанія истинной вѣры, свѣтильникамъ просвѣщенія, ходящимъ по сирату [1]), столпамъ правды, обладателямъ великихъ почестей и совершенства. Да будетъ вѣдомо вамъ, что судьбы Всевышняго къ намъ непримиримы; тщетно надѣялись мы на молитвы ваши, видно, вы насъ забыли. Всемѣрно желая исполнить данное вамъ слово, мы терпѣливо переносили бремя налегающихъ на насъ лѣтъ, тѣмъ болѣе, что дочь наша Майна еще только подростала. И теперь не желаемъ мы воспользоваться задаромъ приношеніемъ вашимъ, хотя великодушіе сердца вашего намъ вполнѣ извѣстно; нѣтъ однакоже средствъ возвратить вамъ уплаченный вами отчасти калымъ; идти въ вашу сторону мы не смѣемъ, потому что мы въ войнѣ съ семиродцами, и русскіе считаютъ за нами *слѣдствіе* [2]). Посему, призывая Бога на помощь и не отчаиваясь по милости Его удовлетворить васъ со временемъ, мы разсудили принять калымъ отъ

---

[1]) Мостъ, ведущій въ рай.

[2]) Слово это, какъ техническое, было написано татарскимъ письмомъ по-русски.

любезнаго намъ нынѣ, въ плачевной юдоли нашей, султана Беркута сына Юлбарсова, имѣющаго пребываніе въ родѣ Дюртъ-кара, отъ устья рѣкъ Сыра и Кувана до озеръ Аксакалъ-барбы и далѣе; бѣлая кость султана Беркута несомнѣнна, но я бы не промѣнялъ на нее болѣе мнѣ любезной отрасли вашего почтеннаго племени, коимъ славится вселенная, хотя султанъ и прислалъ мнѣ въ первую осень задатку 40 овецъ и семь козъ ягненныхъ; я не принялъ бы и этого, еслибы неумолимая судьба не разлучила насъ съ вами навсегда, не внемля моимъ грѣшнымъ молитвамъ и не слыша отъ васъ памяти объ насъ, недостойныхъ.

— Оу! берекалда, берекалда! — закричалъ Карасакалъ-батырь, когда, стянувъ губы въ жемочекъ, поднявъ высоко брови и вытаращивъ глаза, дослушался до конца письма:—прекрасно, превосходно!

Письмо это шло до мѣста назначенія своего, до Сакалбая, мѣсяцевъ пять, но наконецъ дошло таки исправно. Оно пришло съ караваномъ въ Орскъ, тамъ было передано каргалинскому татарину, который выѣхалъ на мѣну ни съ чѣмъ, въ легонькой порожней телѣгѣ, въ которой лежали: самоваръ, подушка, аршинъ и безмѣнъ — и только, а возвращался, разжившись Богъ вѣсть съ чего, въ повозкѣ съ верхомъ, въ лапчатомъ лисьемъ тулупѣ, растянувшись на перинѣ, и пилъ дорогою чай ровно пять разъ на день. Въ Оренбургѣ письмо передано было на мѣновомъ дворѣ какимъ-то кайсакамъ, ѣхавшимъ съ мѣны въ степь, и наконецъ, черезъ десятыя руки, заставъ Сакалбая противъ Сахарной, вручено ему исправно. Но этого мало: надобно было прочитать его; и тутъ прошло съ недѣлю времени, покуда собрались да нашли грамотѣя. Старикъ сначала слушалъ, нагнувшись впередъ, уставивъ глаза на бумагу, улыбаясь и поглаживая бородку; онъ заставлялъ повторять каждое слово, каж-

дую строчку, указывая пальцемъ не впопадъ на бумагу, тѣшился и былъ доволенъ. Когда же поклоны и пожеланія кончились и дочитались до дѣла, то Сакалбай наморщился, подперся локтемъ и молча отдувался. «Старый плутъ!» сказалъ онъ наконецъ, когда все письмо было въ десятый разъ перечитано и растолковано: «старый плутъ! а бараны мои за нимъ пропадутъ? Развѣ я на то выплатилъ ему по уговору задатокъ калыма, чтобы онъ ушелъ въ Дюртъ-каринцы, и сидѣлъ тамъ, да отдалъ дѣвку за султана? Шайтанъ его возьми, султана! кто ему велѣлъ отбивать чужихъ дѣвокъ, да еще и сосватанныхъ?»

Маіоръ принялъ вѣсть эту, по благодатному тѣлои духосложенію своему, какъ казалось, довольно равнодушно; онъ, въ теченіе трехъ лѣтъ, привыкъ уже къ тщетнымъ ожиданіямъ, и не зная, что отвѣчать на вѣсть эту, молчалъ и глядѣлъ въ землю. Но ему стали больно надоѣдать насмѣшками, не давали ни проходу, ни покою; а отецъ грызъ ему голову, попрекалъ, что потерялъ за него столько то барановъ; бранилъ, что онъ не хлопочетъ о невѣстѣ своей, стращалъ, что не станетъ сватать за него другой, хотя бѣдному Маіору нечего было дѣлать, какъ слушать и молчать.

Клинообразная равнина между рѣками Сыръ и Куванъ принадлежитъ къ плодороднѣйшимъ пространствамъ степи. На сѣверъ отъ Сыра разстилаются пески Кара-кумъ, на югъ отъ Кувана совершенно безводные, на пяти дняхъ ходу, пески Кизылъ-кумъ, а тутъ, въ срединѣ, сочные, зеленые луга, перемежающіеся изрѣдка песчаными и красноглинистыми полосами, по коимъ разсыпаны горькія, соленыя и прѣсныя озера; копани или колодцы всѣ мелки; вода есть на каждой точкѣ, но только подъ песчаной почвой прѣсная, а въ глинѣ горькая. Ближе къ морю солончаки, топи и необозримые камни. Всюду разсыпаны лѣсочки саксаулу,

хрупкаго, жесткаго, тяжелаго дерева, которое даетъ лучшее топливо. Здѣсь кочевали наурузбайцы, передвигаясь туда и сюда, внизъ и вверхъ, по Сыру и по Кувану. Майнѣ было уже лѣтъ 16; какъ въ первый разъ отецъ просваталъ ее, не спросясь ея совѣта или согласія, такъ и въ другой; но она уже знала и видала нѣсколько разъ султана Беркута Юлбарсова, и выборъ этотъ былъ не по ней.

Беркутъ, то есть орелъ, сынъ Юлбарса, то есть тигра, какъ у насъ говорятъ обыкновенно, или по-русски, бобра — это громкое имя и прозваніе; царь пернатыхъ и первый за львомъ сановникъ и вельможа четвероногихъ. Но султанъ, въ томъ видѣ, по крайней мѣрѣ, какъ онъ былъ нынѣ, вовсе не отвѣчалъ собою на громкое имя свое: ему было за 60 лѣтъ; дряхлый, ничтожный старичишка, женатый на трехъ женахъ, вздумалъ онъ жениться еще на четвертой, и избралъ Майну, которая ему приглянулась. Онъ зналъ на память двѣ, три молитвы изъ корана, разумѣется не понимая ихъ; твердо помнилъ наизустъ всѣ 14 колѣнъ родословнаго древа своего отъ Чингиса и утѣшался твердой надеждой, что въ немъ по крайней мѣрѣ поколѣніе знаменитаго завоевателя не прекратится, потому что произвелъ на свѣтъ огромный аулъ наслѣдниковъ: семнадцать однихъ сыновей, не говоря о внучатахъ. Дочерей онъ не считалъ: это товаръ для сбыту, больше ничего. Но Беркутъ жилъ между дюртъ-каринцами безъ имени и вѣсу, и отличался тѣмъ только отъ прочихъ кайсаковъ, что ему говорили: *таксыръ*[1]). Самъ онъ былъ собою очень доволенъ и зналъ все: такъ напримѣръ, когда одинъ караванъ-башъ попотчивалъ султана на дневкѣ чаемъ, котораго этотъ отродясь не видывалъ, то Беркутъ Юлбарсовъ не хотѣлъ показать

---

1) Такъ чествуютъ султановъ: благородіе, сіятельство.

даже и въ этомъ дѣлѣ невѣжество свое, а сказалъ, прихлебывая: «знаю я чай этотъ, знаю — его дѣлаетъ какая-то птица, комаръ ли, оса ли; только онъ жидокъ что-то у тебя и не сладокъ». Изъ этого надо догадываться, что султанъ слышалъ когда-то и что-то про медъ, который пьютъ съ чаемъ, и полагая, что его потчуютъ медомъ, находилъ его жидкимъ и не сладкимъ.

Какъ бы то ни было, но вотъ онъ женихъ Майны. Дѣваться ей отъ него некуда, согласія или несогласія никто у нея не спрашивалъ. Она умоляла отца, говорила: «у меня есть женихъ; ты же самъ меня просваталъ, ты велѣлъ намъ слюбиться — развѣ бываетъ у дѣвокъ по два жениха? Это стыдъ и позоръ передъ людьми! Я, воля твоя, своего не покину. Что мнѣ до султана Беркута—мало ли стариковъ таскается по бѣлому свѣту, такъ развѣ они всѣ мнѣ женихи? Но никто не слушалъ Майны, и дряхлый старичишка, разодѣвшись женихомъ, пріѣзжаетъ, по обычаю, какъ двадцатилѣтній Маіоръ четыре года тому, на тайное съ невѣстой свиданіе. Свиданіе это рѣшило все: истощивъ слезы и просьбы у отца, она твердо намѣрилась бѣжать за Илекъ и Темиръ, къ баюлинцамъ, отыскать своего Маіора и тѣмъ отдѣлаться отъ Беркута.

Рѣшиться было ей не трудно, но какъ исполнить это, какъ уйти и достигнуть благополучно обѣтованной для нея страны, черезъ 800 верстъ голодной степи, и какъ исполнить это дѣвкѣ, одной, когда такая поѣздка, черезъ тысячи опасностей, устрашаетъ иногда и порядочнаго мужчину, кайсака, который пускается въ путь съ большими предосторожностями и соображеніемъ? Но Майну, легкомысленную, скорую, бойкую и предпріимчивую, все это не устрашало; она начала тайно готовиться въ путь и пріискивать себѣ въ мысляхъ товарища.

Во-первыхъ, она заготовила понемногу запасъ дорожной пищи, то есть круту, сушенаго сыру; и это ей, занимавшейся хозяйствомъ отца, было не трудно. Она откладывала день за день нѣсколько комочковъ, а ночью уносила ихъ и зарывала въ одно мѣсто въ песокъ. Затѣмъ высмотрѣла она себѣ пару добрыхъ коней, въ табунѣ отцовскомъ, и братній чапанъ, тумакъ, поясъ и оружіе: она хотѣла одѣться мужчиной. Случай этотъ тѣмъ любопытнѣе, что онъ не выдуманъ, что разсказъ этотъ заключаетъ въ себѣ одну только истину.

Потомъ Майна стала искать себѣ попутчика и вожака; она не знала мѣстъ, и одной пуститься въ такой путь было слишкомъ опасно. Тутъ предстоитъ намъ вывести передъ читателями новое, также дѣйствительно бывалое лицо.

У Карасакала жилъ уже года два работникъ, пастухъ, безродный дюртъ-каринецъ, за насущный хлѣбъ. У лошади, на которой онъ пасъ табуны хозяйскіе, голодные вербюды отъѣли зимою хвостъ по самую рѣпицу, и кляча стала куцая. На ней-то бодро разъѣзжалъ молодецъ нашъ, сгоняя стада грубымъ, сиплымъ и дикимъ голосомъ своимъ, и самъ получилъ за это прозвище куцаго. Ему было лѣтъ за 40; крѣпкаго, здороваго тѣлосложенія, былъ онъ, особенно въ своей одеждѣ, уродъ, на котораго нельзя было смотрѣть безъ смѣху. Ростомъ не великъ, въ плечахъ широкъ, съ коротенькими ножками, огромной головой и еще огромнѣйшими ушами, подслѣповатыми глазами, представлялъ онъ собою живой бурятскій кумирчикъ, какъ отливаются они изъ мѣди или фарфора. Широкія костлявыя скулы давали уродливой головѣ его точный видъ нашего самовара, гдѣ уши вершка въ три, отставшія отъ головы, представляли, какъ нельзя лучше, ручки. Безпрестанное усиліе раскрыть глаза пошире, — Ку-

цому нашему не помогало; находясь на плоскомъ, какъ доска, лицѣ, въ уровень со скулами, глаза у него, казалось, были чужіе, вставлены только на смѣхъ, и вѣки надъ ними по угламъ зашиты — оттого самоваръ и моргалъ ими безпрестанно, тщетно стараясь проглянуть. Носъ подъ широкимъ лбомъ, гдѣ морщины лежали во всю длину, толщиною въ добрый палецъ, носъ казался какой то замысловатой постройки, горбомъ и крючкомъ; усы у Куцаго были кой-какіе, почему и говорили люди, что у него подъ носомъ взошло, хоть въ головѣ и не засѣяно, — а вмѣсто бороды, не болѣе семи или десяти волосъ, вершка въ три. Губы средней толщины, но ротъ рѣшительно по уши. Когда Куцый объяснялся, какъ обыкновенно съ большимъ жаромъ, растаращивъ пальцы, нагнувшись всѣмъ тѣломъ впередъ, выпятивъ на четверть подбородокъ, поматывая головой и давая полную свободу выразительной игрѣ мышцъ, или лучше сказать сухожилья на лицѣ своемъ, то вы видѣли передъ собою волчью пасть необъятной глубины, настоящую пропасть, передъ которою голова кружилась; она смыкалась и разверзалась передъ вами съ быстротою молніи, и вы видѣли въ ней все, до самаго дна, почти до самаго желудка, и могли пересчитать 32 бѣлыхъ и здоровыхъ зуба, ни въ чемъ не уступающихъ самымъ отборнымъ волчьимъ зубамъ. Къ этому остается только еще прибавить, что Куцый лѣто и зиму ходилъ въ одномъ платьѣ: въ нагольномъ косматомъ тумакѣ или малахаѣ, — который превращалъ и безъ того уже несоразмѣрно большую голову его въ пирамидальную гору,—въ стеганомъ полосатомъ халатѣ, покрытомъ до послѣдней нитки заплатками всѣхъ цвѣтовъ и родовъ — шелковыми, бязевыми, ситцевыми, суконными, наконецъ кожаными и мѣховыми. Лучшее мѣсто на халатѣ былъ лоскутъ алаго сукна, съ ладонь, положенный на спинѣ, между

лопатокъ: тутъ была зашита спасительная молитва, которая однакоже не спасала Куцаго отъ частыхъ побоевъ толстою плетью по этому же самому мѣсту. Халатъ, чтобы не безобразить стана, закладывался разъ навсегда полами въ широкіе кожаные шаровары и вздувалъ ихъ, спереди и сзади и съ боковъ, горою: питаны суживались по ногамъ клинообразно и оканчивались немного ниже того, гдѣ начинались голенища, то есть вполголени Куцый обрѣзалъ ихъ на четверть, употребивъ обрѣзки на заплатки и разсудивъ весьма основательно, что внизу, гдѣ уже есть около ноги голенище толстой юфти, кожѣ болтаться не для чего, она изнашивается безъ всякой пользы. Отъ всегдашней верховой ѣзды, ноги образовали у Куцаго, каждая, почти полукружіе; и если каблуки сходились вмѣстѣ, то колѣно было отъ колѣна еще какъ Москва отъ Питера На ходу Куцый переваливался какимъ-то носорогомъ, растаращивая пальцы, продирая усильно глаза и упираясь въ обѣ стороны на воздухѣ ладонями, чтобы сохранить по возможности равновѣсіе

Куцый служилъ шутомъ или дурачкомъ для всѣхъ кочевыхъ обитателей цѣлаго пространства между Сыромъ и Куваномъ; никто, ниже послѣдній мальчишка или дѣвчонка, не могли съ нимъ сойтись или встрѣтиться, не захохотавъ и не поднявъ его на смѣхъ. На всѣ пиры звали Куцаго, потому что онъ былъ плясунъ и тѣшилъ зрителей ломкой и пляской своей, среди знойнаго азіатскаго лѣта, по нѣскольку часовъ сряду, не снимая ни теплаго халата съ плечъ, ни мохнатаго малахая съ головы. Общественной пляски у азіатцевъ почти нѣтъ: плясуны у нихъ то, что у насъ фигляры. Слабость нашего Куцаго были женщины, женитьба; онъ еще былъ холостъ, какъ бѣднякъ и дуракъ; но охотнѣе всего говаривалъ о сватовствѣ, и, *вызвавшись* въ сваты къ нему, можно было сдѣлать

изъ него все, что угодно. Онъ становился среди чистаго поля на голову, и стоялъ такъ полчаса сряду, помахивая и подергивая замысловато ногами, если какая нибудь баба его о томъ мимоходомъ просила, и былъ порученіемъ этимъ всегда очень доволенъ. Другая слабость Куцаго была ненасытная утроба его, и шутка, на которую въ былыя времена еще съ нимъ пускались, заставивъ съѣсть въ одинъ присѣстъ цѣлаго барана, обглодавъ всѣ косточки, съ уговоромъ получить 500 плетей, если чего не доѣстъ,—шутка эта давно уже потеряла всякую цѣну и вышла изъ употребленія: не было во всей степи дурака, который бы кинулъ ему барана ни за грошъ: Куцый былъ такъ неосторожень, что съѣдалъ каждый разъ барана, какъ нашъ братъ перепелку, и не далъ, къ неудовольствію зрителей, высѣчь себя ни разу; напротивъ, онъ облизывалъ пальцы, высасывалъ косточки и жаловался, что его обманули, что баранъ этотъ вѣрно еще не перогодовалъ. Послѣ такой продѣлки, Куцый ложился, какъ случалось, кверху брюхомъ или кверху спиной, на солнцѣ, накрывалъ голову малахаемъ своимъ, и спалъ сутки двои или трои, вставая только по разу въ день, чтобы выпить миску воды съ наше русское ведро.

На этомъ то сокровищѣ Майна основала всѣ надежды свои: здоровъ какъ быкъ, довольно глупъ и безсмысленъ, чтобы заставить его умѣючи сдѣлать все и повѣрить всему, снабженъ отъ природы достаточнымъ чутьемъ и памятью мѣстности, чтобы служить вожакомъ по такимъ мѣстамъ, гдѣ ему, однако, на вѣку своемъ быть случалось,—всѣ эти соображенія не обманули Майну, и выборъ ея былъ удаченъ. Этого урода душой и тѣломъ увѣрила она, что страстно въ него влюблена, а какъ отецъ, конечно, никогда не согласится, отдать ему ее, то и предложила, какъ одно средство

и спасеніе, бѣжать съ нимъ къ нижней линіи нашей, подъ защиту русскихъ или султана-правителя. Молодецъ нашъ давно слышалъ, отъ сотни людей, которые вѣчно надъ нимъ трунили, что на немъ лежитъ большой чинъ, а потому и повѣрилъ охотно, что дѣвка скорѣе согласится выйти за него, чѣмъ за Маіора или за старика Беркута, въ сравненіи съ коимъ Куцый считалъ себя красавцемъ. Онъ увивался съ этой минуты украдкой вокругъ Майны и отъ ласкъ его спасала ее только острастка: «отвяжись, лѣшій, не ходи за мной хвостомъ, а то люди смѣтятъ да скажутъ отцу, и онъ тебя прогонитъ». Для подкрѣпленія ж въ немъ вѣры и надежды, она позволила ему раза два украдкой поцѣловать руку свою; не знаю, случалось ли когда-нибудь прежде и послѣ этого, чтобы влюбленный кайсакъ цѣловалъ руки свои возлюбленной.

Приготовивъ все и выбравъ темную осеннюю ночь, Майна выползла изъ семейной кибитки, унесши съ собою подготовленный ею съ вечера братній чапанъ, малахай, сайдакъ со стрѣлами и лукъ; разбудила спавшаго подъ собачьимъ хребтомъ [1]) Куцаго, прокралась вмѣстѣ съ нимъ къ табуну; здѣсь взяли они на выборъ, изъ коротко знакомыхъ имъ отцовскихъ коней, каждый по парѣ и осѣдлали ихъ; Майна второчила свой запасъ крута и кумыса; Куцый припасъ для себя также оружіе: огромный семи-аршинный шестъ, заостренный на концѣ копьеобразно; и съ этимъ деревяннымъ копьемъ [2]), рыцарь и герой нашъ пустился

---

1) Итъ-арка, собачій хребетъ — составленныя на скорую руку шатромъ двѣ кибиточныя рѣшетки и накрытыя кошмой.

2) Подобныхъ рыцарей деревяннаго копья можно нерѣдко встрѣтить за Уразомъ: идучи на одинъ только грабежъ и угонъ скота, кайсаки избѣгаютъ по возможности убійства, за которымъ уже всегда слѣдуетъ сложная и большая вражда и разсчеты, а потому нерѣдко довольствуются шестомъ вмѣсто копья, чтобы только спихнуть всадника и угнать табунъ его.

смѣло ратовать съ судьбою и съ людьми за обожаемую имъ красавицу.

Путь лежалъ передъ бѣглянкою не малый и вовсе не безопасный. День доброй ѣзды до рѣки Сыра, потомъ надобно переплыть рѣку, тамъ три дня песками Каракумъ, три дня песками Барсукъ, сутки солончаками до Эмбы и еще двое-трое сутокъ, по обстоятельствамъ, до ауловъ баюлинцевъ — всего восемь, девять дней и почти столько же сотенъ верстъ, и все это надобно проѣхать украдкой, тайкомъ, чтобы други не нагнали, недруги не встрѣтили, и никто не заподозрилъ. Надобно ѣхать ночью, съ большой оглядкой, чтобы вдругъ не наткнуться на кого-нибудь, а днемъ лежать съ лошадьми въ оврагѣ, въ камышѣ, почти притаивъ дыханіе. Похожденія и приключенія бѣглецовъ и землепроходцевъ въ степи Заяицкой иногда очень замѣчательны, иногда неимовѣрны. Недавно еще, строгою зимой, въ декабрѣ, шайка поймала на перепутьѣ четырехъ вѣстовщиковъ, шедшихъ изъ Бухары. Ихъ обобрали до нитки, отняли все, провели еще переходъ или два голодомъ съ собою, а потомъ отпустили нагишемъ, оставивъ имъ, какъ послѣднее убѣжище, одно только огниво. Они высѣкли и развели огонь, обогрѣлись, потомъ двое побѣжали съ головнею впередъ и опять развели огонь; какъ дымокъ въ верстѣ закурился, такъ остальные двое пустились туда же; потомъ эти пошли впередъ, и, чередуясь такимъ образомъ, они благополучно пробѣжали до двухсотъ верстъ, нагишемъ, по снѣгу, при сильной стужѣ и безъ всякой пищи. Тутъ они наткнулись на аулъ и были спасены. Кайсакъ не видитъ въ поступкѣ этомъ, обобрать беззащитнаго путника и погубить его, не видитъ безполезной, звѣрской и безсмысленной жестокости, которую мы въ немъ видимъ; эти же четыре голыша, еслибъ имъ случилось когда нибудь быть на мѣстѣ

грабителей своихъ, поступили бы, безъ сомнѣнія, съ первыми встрѣчными также Нашъ отрядъ поймалъ однажды въ степи отъявленнаго вора и разбойника; связанный сидѣлъ онъ на землѣ. Кайсаки изъ ближнихъ ауловъ, частію служившіе намъ вожаками, обступили пойманнаго, ругались надъ нимъ, плевали на него, такъ что караулъ нашъ долженъ былъ ихъ отогнать. Прибѣгаетъ еще новый зритель, который, услышавъ о поимкѣ разбойника, спѣшилъ насладиться лицезрѣніемъ его, убѣдиться, дѣйствительно ли это онъ. Пришелъ, взглянулъ и ужаснулся! Всплеснувъ руками, начинаетъ онъ проклинать его въ глаза, стараясь разжалобить и его и всѣхъ свидѣтелей, разсказывая сто разъ сряду, какимъ звѣрскимъ образомъ извергъ этотъ напалъ въ его отсутствіе на семейство его, угналъ скотъ, избилъ до полусмерти мать и жену, закинулъ ребенка въ рѣчку, и прочее. Тотъ долго молчалъ; наконецъ, покачавъ головою, сказалъ спокойно. «Ты, я вижу, и былъ и вѣкъ будешь дуракомъ. Въ то время былъ ты дуракъ за то, что тебя не было дома, а теперь ты дуракъ, что сидишь дома; ты видишь, я связанъ: поѣзжай въ аулъ мой на расправу!»

Чета наша продневала первый день, залегши въ прибережные камыши Сыра; и странное обстоятельство едва не передало ихъ обратно въ руки преслѣдователей, коимъ, впрочемъ, и преслѣдовать можно было только наугадъ, не зная, куда и зачѣмъ Майна бѣжала; но вмѣсто того, оно ускорило еще благополучное ихъ бѣгство. По множеству ауловъ и народа близъ Сыра, Майна не осмѣлилась бѣжать далѣе днемъ, а залегла съ разсвѣтомъ, переправившись только вплавь черезъ рѣку, въ глухой, непроходимый камышъ, гдѣ путники наши наткнулись на узенькую тропинку. По этой же тропинкѣ шелъ въ то время имъ навстрѣчу хозяинъ и властелинъ не только проложенной имъ самимъ

тропы, но и обитаемыхъ имъ камышей. Это былъ огромный полосатый барсъ, или тигръ, который валялъ въ одинъ прыжокъ, лучше всякаго коновала, самую крупную скотину. Онъ ходилъ на ночной промыселъ свой въ степь и, напившись крови, возвращался обычнымъ путемъ съ разсвѣтомъ въ свое логово. Майна и Куцый шли спѣшившись и вели лошадей въ поводу; почуявъ звѣря, кони вдругъ захрапѣли и, взметнувъ гривы, вырвались и пошли по камышамъ напроломъ. Майна съ провожатымъ своимъ кинулись нѣсколько въ сторону отъ тропинки, не могли проломиться по этой неимовѣрной чащѣ и остановились: сытый звѣрь прошелъ спокойно въ пяти шагахъ отъ нихъ и не обратилъ на незваныхъ гостей своихъ никакого вниманія. Обождавъ немного, они вышли снова на тропинку, спѣшили по ней въ степь, но, лишившись коней, почти отчаивались въ возможности продолжать путь свой: оставалось развѣ заночевать тутъ, подползти ночью къ ближайшему аулу, высмотрѣть табуны, кинуться на лошадей и скакать. Майна рѣшилась и на это; а Куцый, надобно отдать ему справедливость, не уступалъ ей въ храбрости и предпріимчивости. Но судьба избавила Майну отъ напасти: лошади ихъ стояли спокойно подъ степнымъ уваломъ и паслись, всѣ вмѣстѣ, на тучномъ болотѣ. Майна была въ неизъяснимой радости; ей казалось, что она теперь одолѣла всѣ бѣды и препятствія и достигла уже отдаленной цѣли своей, до которой было еще болѣе 700 верстъ. Они проѣхали до самаго полудня, пробираясь, сколько можно было, оврагами, а въ барханахъ, или песчаныхъ буграхъ Каракума, который весь походитъ на взволнованное бурею море,—углубленіями между бугровъ, и залегли въ скрытномъ мѣстѣ, поодаль отъ копаней или колодцевъ, чтобы на копаняхъ этихъ съ кѣмъ-либо не столкнуться.

Такимъ образомъ, питаясь крутомъ, Майна съ Кучымъ своимъ добрались на шестую ночь благополучно до Эмбы, переѣхали ее вбродъ и, залегши въ кустахъ по рѣчкѣ, увидѣли на зарѣ вдалекѣ по Сырту [1]) двухъ вершниковъ о двуконь и узнала тотчасъ по пріемамъ ихъ, какой это народъ: это, безъ всякаго сомнѣнія, были караульчи, разъѣзды какой-нибудь близкой шайки. Пускаясь на промыслы свои, кайсаки каждый день съ зарею отправляютъ попарно разъѣзды; облетавъ о двуконь, на добрыхъ лошадяхъ, всю окрестность, сдѣлавъ иногда до 150 верстъ, разъѣзды возвращаются на сборное мѣсто и доносятъ о томъ, что видѣли. Эти караулы замѣняютъ наши цѣпи, ведеты и разъѣзды; осмотрѣвъ такое огромное пространство, шайка идетъ или стоитъ на мѣстѣ спокойно, не опасаясь ничего. При нашей мѣстности этого было бы недостаточно; но въ степи, гдѣ глазъ свободно видитъ на десятокъ и болѣе верстъ, предосторожности этой довольно. Иногда впрочемъ и кайсаки ставятъ, гдѣ нужно, отводный караулъ и, какъ искуснѣйшіе въ мірѣ воры, дѣлаютъ это мастерски. Разъѣздные, увидавъ какую-нибудь конную толпу—пѣшей въ степи, разумѣется, не бываетъ,—напередъ всего обманываютъ ее, если она ихъ уже замѣтила, морочатъ, отводятъ, чтобы никакъ не дать угадать, гдѣ, въ которой сторонѣ, сидятъ ихъ товарищи. Разглядѣвъ и убѣдившись хорошенько, какъ сильны противники, караульчи располагаютъ по этому дѣйствіями своими; если тѣ слабы, то дразнятъ, заманиваютъ ихъ и наводятъ прямо на свою засаду; если непріятель не дается въ обманъ, удаляется, то скачутъ во весь духъ къ своимъ, даютъ маяки на кругахъ, чтобы поднять всѣхъ на коня; потомъ скачутъ и машутъ шапкой въ ту сторону, куда надо ѣхать, показывая нерѣдко туда и

[1]) Сыртъ—водопускъ или раздѣленію водъ.

сюда, чтобы шайка раздѣлилась и старалась обскакать и отрѣзать бѣгущихъ. Тутъ уйти противнику очень трудно, потому что кайсаки никогда не гонятся вслѣдъ, за исключеніемъ толпы, слѣдящей добычу свою по измятой травѣ и по свѣжему помету, между тѣмъ какъ остальные обхватываютъ бока и забираютъ впередъ. Если же открытая разъѣздомъ шайка сильнѣе, то караульчи ни за что не подадутся въ ту сторону, гдѣ ихъ притонъ а, надѣясь на бѣгуновъ своихъ, отманиваютъ шайку все далѣе, позволяютъ дать себѣ нѣсколько угонокъ въ противную сторону, пропадаютъ иногда отъ своихъ на сутки и болѣе, и возвращаются дальней околицей, когда уже успѣютъ скрыться отъ непріятеля.

Итакъ Майна увидала на зарѣ пару такихъ караульчи: глаза кайсачки зорки; и она вмигъ отличила, что́ это за люди. Еслибы она увидала ихъ въ полдень,—это бы значило, что шайка довольно далеко; но утромъ, на зарѣ — это доказывало, что шайка стоитъ вплоть, потому что разъѣзды высылаются съ восходомъ солнца. Дѣлать нечего: Майна съ Куцымъ дали миновать себя вершникамъ, а когда они скрылись, поваляли лошадей своихъ въ кустарникѣ при рѣчкѣ и снова залегли. Куцый, который обыкновенно спалъ, какъ убитый, на всякой дневкѣ, не могъ теперь заснуть отъ страху и, растянувшись передъ Майной ничкомъ и загнувъ кверху голову, изъяснялся передъ нею самымъ страстнымъ потокомъ рѣчей. Майна принуждена была не только грозить ему нѣсколько разъ плетью, но ударить его порядочно, чтобы хотя на время успокоить эту огненную сопку и нагнать на нее, вмѣстѣ со страхомъ, кратковременную остуду.

Около полудня, вдругъ показалась на окраинѣ малой возвышенности, со стороны Уила, пыль, а вслѣдъ за нею и порядочная толпа, болѣе или менѣе вразбродъ. Итакъ Майна не обманулась.

Мѣстоположеніе по сю сторону Эмбы, коей вершины отдѣляются отъ вершинъ Илека плоскимъ и широкимъ сыртомъ Буссага, ровное, гладкое: тутъ нѣтъ ни рытвины, ни оврага, ни кусточка на нѣсколько десятковъ верстъ; слѣдовательно, нынѣшнее убѣжище Майны, то есть самая долина Эмбы, было единственное, на большомъ пространствѣ. Бѣглянка съ проводникомъ своимъ пролежала притаившись еще часа три—и гроза миновалась, шайка прошла, прошедши въ виду ихъ Эмбу Настали сумерки. Майна пустилась снова въ путь.

Но не успѣли путники наши отъѣхать пяти верстъ, какъ вдругъ услышали за собою вплоть конскій топотъ. Они пустились скакать, но толпа неслась уже съ гикомъ за ними, на хвосту и обскакивала ихъ съ боковъ. Эта была та же шайка, которая днемъ переправилась за Эмбу; внезапная перемѣна пути ихъ произошла вотъ отъ чего: одинъ изъ разъѣздовъ привезъ возвратившись какой-то гостинецъ, завязанный въ конецъ кушака; всѣ обступили вѣстниковъ, кричали, шумѣли, разглядывали и передавали изъ рукъ въ руки дикобинку, и вдругъ единогласно положили ѣхать поспѣшно назадъ. Диковинка эта была не иное что, какъ комокъ свѣжаго помету, въ которомъ нашли нѣсколько зеренъ овса. Эти невинныя зерна нерѣдко встревоживаютъ мигомъ сотни ауловъ; не мудрено, что шайка наша также казалась крѣпко озабоченною. Эти зерна, овесъ, доказывали неоспоримымъ образомъ, что шайка едва не напоролась на русскій отрядъ, также точно, какъ ячмень или джугары въ пометѣ доказывали бы присутствіе хивинцевъ или туркменъ. Убоясь встрѣчи съ нашимъ поискнымъ отрядомъ, шайка обратилась вспять, настигла случайно путниковъ нашихъ и быстро, нертомимо ихъ преслѣдовала

Подъ Майной были два лучшихъ коня, одинъ подъ верхомъ, другой, также осѣдланный, въ поводу. Куцый,

хотя выѣхалъ на этотъ разъ въ полѣ не на куцомъ своемъ, а также на парѣ добрыхъ коней, былъ однако же вскорѣ отхваченъ, споткнулся еще, ткнувъ огромнымъ шестомъ своимъ на перевѣсѣ въ землю, потомъ сбитъ съ сѣдла и взятъ. Майна неслась во всѣ повода, въ потьмахъ, не разбирая пути, куда мчались кони; она взрѣзала на скаку сѣдельную подушку свою и, выхватывая изъ нея цѣлыя горсти пуху, пускала его за собою, въ глаза настигавшей ее погони, людей и лошадей. Мало-по-малу шайка растянулась, стала отставать, но человѣка три налегали сильно, и одинъ, съ боку, нѣсколько разъ едва не заскакивалъ впередъ. Майна бросила повода лошадей, связавъ ихъ вмѣстѣ выхватила съ пятокъ стрѣлъ и лукъ, чего преслѣдователи не могли впотьмахъ разглядѣть, оборотилась въ вполъ-оборота назадъ, привставъ на стремена, пустила стрѣлу, другую, третью, вытянувъ тетиву, какъ видѣла и слышала отъ брата, во всю стрѣлу, по самое копейцо—стрѣла тихо шикнула, едва слышно, безъ шуму и грохоту нашего огнестрѣльнаго оружія,— и бойкій всадникъ пошатнулся, закричалъ: убили меня, умираю, — погоня отстала и чрезъ четверть часа все вокругъ Майны утихло. Она остановилась, дала вздохнуть лошадямъ и стала выжидать и прислушиваться осторожно, что будетъ.

Майна знала обычаи земляковъ своихъ, знала что спутника ея, если онъ попался въ руки непріятелей— чего она однакоже по темнотѣ не видала, — что плѣнника такого рода не лишатъ жизни, а только поколотятъ и оберутъ; ей стало жаль своего Куцаго, и она рѣшилась проѣхать осторожно нѣсколько верстъ назадъ, до того мѣста, гдѣ она потеряла друга, и поискать его. Шайка пронеслась стороною, по теченію Эмбы, между тѣмъ какъ Майна приняла съ вечера до Эмбы прямо на Уилъ

Проѣхавъ шагомъ, съ осторожностію и растановками, верстъ пять, шесть, Майнѣ показалось, что она послышала стонъ. Остановившись и вслушавшись, она осторожно поворотила туда, прилегала на луку, глядѣла противъ неба, и наконецъ увидала какую-то живую кочку. Смѣло подъѣхала она къ ней, въ увѣренности, что это должно быть Куцый, и не ошиблась. Онъ сидѣлъ подгорюнясь, нагишомъ, какъ мать на свѣтъ родила, и не обращая большого вниманія на подъѣхавшаго вершника, котораго считалъ безъ сомнѣнія принадлежащимъ той же шайкѣ, сказалъ: «А ты чего еще? тебѣ что надо? ты видишь, я сижу — дай Богъ вамъ здоровья — нагой, землѣ подо мной стыдно; а бить также болѣе нельзя меня, не по чему, нѣтъ живого мѣста, все одинъ синякъ. Пріѣзжай съ разсвѣтомъ, да полюбуйся.»

И смѣшно и жаль было Майнѣ; Куцый не испустилъ ни одного стона, ни вздоха, когда избили его нагайками отъ затылка по пятокъ; онъ только, стиснувъ зубы, переминался,— а узнавъ Майну, заплакалъ въ голосъ, и цѣловалъ копыта ея лошади. «Не сказалъ я», воскликнулъ онъ: «не сказалъ ни слова, сколько ни старались они около меня, не выпытали ничего! Не бойся, не знаютъ они, кто ты и откуда; я сказалъ, что мы таминцы, бѣжали отъ разбойниковъ джагалбайлинцевъ. Сколько ни колотили, ничего больше не вывѣдали.»

— Дуракъ ты, дуракъ, бѣдняжка,—сказала Майна,— да что же тебѣ пользы было обманывать, врать и заставлять себя бить? Еслибы джагалбайлинцы нападали на таминцевъ, вѣрно бы и эта шайка о томъ знала; какая же тебѣ польза лгать на свою шею? Кому изъ насъ отъ этого легче?

«Все-таки обманулъ ихъ,» сказалъ покрякивая Куцый, «все-таки они въ дуракахъ остались; а я

имъ не переметчикъ дался, чтобы высказать всю правду.»

Майна отдала уроду чапанъ свой, тюбетейку, одного коня, — и, отдохнувъ немного, поѣхали они дальше. Помолчавъ съ четверть часа, Куцый захохоталъ, пробормотавъ: «обманулъ таки собакъ, обманулъ! Они и теперь думаютъ, что мы таминцы!» Потомъ, оборотясь вдругъ послѣ этого быстро къ Майнѣ и ощупавъ у себя торока, закричалъ: «А гдѣ же нашъ крутъ? а что мы ѣсть будемъ?»

Куцый въ самомъ дѣлѣ былъ правъ. Крутъ пропалъ вмѣстѣ съ лошадьми его, гдѣ былъ второченъ, и у путниковъ нашихъ не осталось ни насущнаго зерна. Куцый умѣлъ и этотъ несчастный случай обратить, мысленно по крайней мѣрѣ, въ свою пользу: «Съѣдимъ барана», сказалъ онъ захохотавъ, «съѣдимъ большого барана, только бы добраться до аула. Ты, Майна, ступай стороной, дальше, а я подползу, украду и принесу. Небось, я приколю его на мѣстѣ, гдѣ ухвачу, чтобы не ревѣлъ, не дралъ горла да не сзывалъ народъ.» И Куцый замолкъ. Наслаждаясь мысленно этимъ лакомымъ и сытнымъ блюдомъ, онъ разбиралъ барана уже по частямъ и суставамъ: хрящеватая грудинка хрустѣла подъ зубами его, огромный курдюкъ чистаго сала расплывался у него во рту, сочное мясо тѣшило неприхотливый языкъ и нёбо. Куцый набиралъ полонъ ротъ, огромную волчью пасть свою, и глаза у него проглянули болѣе обыкновеннаго, яблоки лѣзли на лобъ, какъ будто онъ уже давился огромными пригоршнями кулламы или бишбармаку, пятипалаго, ручного кушанья, крошенаго мяса. Онъ разсмѣялся и утеръ ротъ ладонью, взадъ и впередъ, отъ уха до уха. Потомъ Куцый зѣвнулъ, растворивъ челюсти свои четверти на полторы, поёжился, пожалъ плечами туда и сюда, и сталъ дремать на конѣ какъ послѣ сытнаго обѣда.

Майна между тѣмъ разсчитала, что ей теперь всего лучше искать днемъ аула, положившись на помощь и гостепріимство земляковъ; тутъ могли быть только аулы семиродцевъ или даже баюлинцевъ; можетъ быть, на счастье, удастся наткнуться на послѣднихъ и допроситься о тѣхъ, кого она ищетъ. Заѣхавъ въ небольшой овражекъ, по переправѣ черезъ Уилъ, она рѣшилась дожидаться разсвѣта, тѣмъ болѣе, что утомленныхъ лошадей надо было попасти. Она съ-устали скоро заснула, и проснулась вдругъ съ испугу отъ страшнаго крика и шума, ее окружавшаго. Куцый, задумавъ съѣсть барана, отправился на промыселъ, какъ скоро услышалъ, что въ какой-нибудь верстѣ или двухъ залаяли собаки. Подкравшись къ сонному аулу, онъ высмотрѣлъ ползкомъ, гдѣ какой скотъ, подползъ благополучно къ овцамъ, поймалъ одну, прокололъ ее, оттащилъ ползкомъ за полверсты и принесъ на становище свое. Но этого мало: надобно было сварить въ чемъ-нибудь барана, если не печь его на жару навозномъ; Куцый готовъ былъ въ крайности и на это, но онъ еще не полагалъ себя въ такой крайности, и пошелъ промышлять котелъ. Съ дерзостью голоднаго волка воротился онъ снова въ тотъ же аулъ, добрался ползкомъ до кибитки, въ которой чуть мелькалъ еще тлѣвшій огонекъ, поднялъ легонько нижній уголъ запона и сталъ разглядывать, что дѣлалось въ кибиткѣ. Всѣ спали; плоскій широкій котелъ стоялъ, по обыкновенію, съ водою надъ жаромъ, разложеннымъ по самой срединѣ кибитки. Куцый, глядя на котелъ, съ необычайною живостію представилъ себѣ, какъ бы въ немъ хорошо и вкусно уварился баранъ его; оглянулся еще— за рѣщетку близъ входа заткнутъ косматый малахай; въ одно мгновеніе схватилъ онъ малахай этотъ, ухватилъ имъ, вмѣсто рукавицы, котелъ съ огня, опрокинулъ его, и вылилъ воду не заботясь о томъ, кому

она попала на ноги и на голову, выскочила изъ кибитки и бѣгомъ, опрометью, пустился бѣжать. Собаки бросились въ погоню за нимъ и стали теребить вора сзади за чапанъ, порвали ему даже икры, потому что Куцый былъ, какъ извѣстно читателямъ, босой; но онъ бѣжалъ безъ оглядки и безъ памяти, покуда наконецъ не нагнали его выскочившіе за нимъ слѣдомъ и удивленные неимовѣрною дерзостью хозяева, которые, кинувшись въ погоню на лай собакъ, настигли вора прежде, чѣмъ онъ успѣлъ добѣжать до овражка, гдѣ спокойно отдыхала Майна. Вотъ шумъ и крикъ, отъ котораго она проснулась.

Не зная, что это за люди и что тутъ дѣлается, она только съ осторожностію приподняла голову, но не могла разглядѣть ничего, кромѣ небольшой толпы, ниже́ услышать что-нибудь, кромѣ угрозъ, брани, нѣсколькихъ сильныхъ ударовъ нагайкой,—и вскорѣ все утихло, народъ удалился. Когда разсвѣло, Майна удостовѣрилась, что она одна, Куцаго нѣтъ, а рядомъ съ нею, въ овражкѣ, лежитъ зарѣзанный баранъ; лошади ходятъ внизу, гдѣ были пущены; кругомъ все пусто. Она сѣла верхомъ и, выѣхавъ на бугоръ, увидала аулъ. Закричавъ съ дѣтской радостью вслухъ: слава Тебѣ, Господи! она поворотила туда и черезъ четверть часа стояла передъ пяткомъ кибитокъ, поставленныхъ въ кружокъ.

Отвѣтивъ на мужское привѣтствіе ея тѣмъ же, молодой парень, сидѣвшій на лошади съ укрюкомъ [1]), спросилъ ее: «кто ты? чего надо?»

— Я баюлинецъ, — сказала она: — сынъ Сакалбая, сына Талдыкова, ѣздилъ въ Семиродцы, къ невѣстѣ, и не знаю теперь, гдѣ найду опять свой аулъ. Не слышно у васъ, гдѣ они кочуютъ

[1]) Шестъ съ арканомъ у пастуховъ.

«Кто?» спросилъ тотъ, прислушиваясь и пригнувъ голову на бокъ.

— Гдѣ кочуютъ баюлинцы?—сказала Майна.

«Баюлинцевъ много, по всей степи кочуютъ баюлинцы», отвѣчалъ вершникъ, подъѣхавъ ближе: «Да тебѣ кого надобно, ты кого назвалъ, ты кто?»

— Я сынъ Сакалбая Талдыкова, — повторила Майна:—и его-то мнѣ и нужно, Сакалбая.

Сказавъ это, Майна какъ-то не могла глядѣть прямо въ глаза вершнику и отвела взоры въ сторону; они прямо упали на связаннаго по рукамъ и ногамъ Куцаго, который увидѣлъ Майну, лишь только она подъѣхала, слышалъ весь разговоръ ея и молчалъ, не подавая никакого виду, будто и не зналъ и не видалъ ея отроду, чтобы ихъ, какъ товарищей, не подвергли равной отвѣтственности. Куцый лежалъ спокойно и ждалъ только конца и развязки, то есть чтобы измочалили объ него всѣ, сколько есть въ аулѣ, нагайки, а послѣ этого и самъ надѣялся добраться благополучно до ауловъ Сакалбая. Но молодой парень спросилъ еще разъ довольно настойчиво: «ты сынъ Сакалбая, говоришь? Сакалбая Талдыкова, баюлинца?» и получивъ на это въ отвѣтъ утвердительное *шулай*, такъ,—оборотился къ одной изъ кибитокъ и сказалъ: «Батюшка, а батюшка—выдьте-ка встрѣтить сына, тутъ къ вамъ сынъ пріѣхалъ, только не знаю, братъ ли онъ мнѣ будетъ—спрашиваетъ васъ».

При этихъ словахъ, Майна, конечно, разгадала все; и когда вслѣдъ за тѣмъ старикъ Сакалбай вышелъ изъ кибитки, а потомъ и братъ его и сыновья, кромѣ Маіора, впрочемъ, то Майна кинулась съ лошади въ ноги старику и залилась горькими, радостными слезами. «Я не сынъ твой», сказала она: «а дочь твоя, Майна, которую ты высваталъ за сына, и коли не пріѣзжали за мною, то я пріѣхала къ вамъ. Меня отецъ

отдалъ было за другого — но не быть у дѣвки двумъ женихамъ, какъ не быть двумъ солнцамъ на небѣ; я пріѣхала къ жениху своему, къ отцу; бери меня подъ свое правое крыло, накрой меня своей правой рукой, не давай въ обиду сильному, не вели стыдить меня никому; стыднѣе, чай, покинуть жениха да быть женой другого, чѣмъ придти самой къ первому!»

Правду говоритъ пословица: дѣвку трудно только выносить — а разъ перевабишь, такъ ужъ сама какъ соколъ на руку летать станетъ.

Удивленію и радости не было конца, Сакалбай накрылъ голову Майны полою чапана своего, потомъ поднялъ ее, объявилъ всѣмъ, что она дочь его, око родное, сердце утробы его; повелъ ее въ кибитку свою, потомъ поставилъ ей, какъ самому почетному гостю, особую бѣлую кибитку, воткнулъ у входа ея длинное копье свое, съ рѣзнымъ копеищемъ; словомъ, Майна была принята, какъ самый близкій и дорогой гость.

А Куцый? Куцаго, разумѣется, освободили, приказали ему также быть гостемъ, и когда Сакалбай распоряжался черезъ часъ послѣ этого по хозяйству, велѣвъ зарѣзать для дорогой гостьи барана, то Куцый признался, что у него уже припасенъ цѣлый баранъ, невдалекѣ, и взявъ лошадь, поскакалъ и привезъ украденнаго имъ тутъ же наканунѣ барана. Подъѣзжая къ аулу, онъ хохоталъ отъ души и моргалъ и поматывалъ головой. «Рѣжьте другого», сказалъ онъ наконецъ: «этого уже собаки порвали, на мое счастіе; это мой, я его съѣмъ одинъ». Сакалбай не захотѣлъ лишить Куцаго счастья его, тѣмъ болѣе, что кайсаки относительно собакъ крайне брезгливы, и какъ во многихъ другихъ, такъ и въ этомъ отношеніи, выгодно отличаются отъ калмыковъ.

Маіора не было; Майна провела слишкомъ сутки

въ ожиданіи его съ бабами и дѣвками тестева аула; смѣху и радости было много. Маіоръ возвратился на другой день къ вечеру и слѣзалъ осторожно съ лошади, потому что плечо у него было подстрѣлено стрѣлою Майны. Шайка, которую встрѣтила она, составилась изъ баюлинцевъ, ходившихъ въ сосѣдніе роды на баранту или воровство, по начетамъ своимъ, взаимному праву и обычаю. Дѣло относительно раны Маіора, невольнымъ образомъ, обнаружилось и объяснилось, потому что Майна напередъ уже разсказала всѣ похожденія свои, не подозрѣвая, чтобы женихъ ея могъ быть въ этой шайкѣ. Сакалбаю, по обычаямъ и понятію народному, должно было прикинуться сердитымъ на сына, который дожилъ до такого стыда, что невѣста за нимъ пріѣхала, а не онъ за нею; и еще сверхъ этого онъ былъ раненъ—дѣвкой! Сакалбай сказалъ въ кругу родныхъ рѣчь, въ которой превозносилъ Майну до небесъ, бранилъ сына и говорилъ, что онъ, сынъ, ея не стоитъ. Маіоръ, казалось, худо вѣрилъ этому; онъ сидѣлъ противъ Майны, поглядывалъ на нее исподлобья, будто бы думалъ: толкуйте вы!

Общее недоумѣніе послѣ плодовитой рѣчи Сакалбая было прервано явленіемъ Куцаго; управившись еще наканунѣ съ бараномъ своимъ, котораго не успѣли доѣсть собаки, прикрывъ даровыми обносками наготу свою, онъ отдыхалъ въ вожделѣнномъ пресыщеніи за той самой кибиткой, гдѣ происходило преніе. Вслушавшись нѣсколько, о чемъ идетъ рѣчь, онъ пошелъ наконецъ объявить Сакалбаю, для чего собственно Майна съ нимъ бѣжала, и предложить въ то же время услуги свои на пастьбу коней или овецъ. Куцый пролѣзъ подъ запономъ, оттолкнувъ его головою, и вошелъ съ самодовольнымъ, разсудительнымъ видомъ, держа правую руку на отлетѣ, между тѣмъ какъ пальцы лѣвой руки, которою онъ собирался разсуждать, пере-

бирали по воздуху у него подъ бородою. Всѣ захохотали, глядя на него, и онъ послѣдовалъ ихъ примѣру; наконецъ, съ простодушной улыбкой, которая, казалось, была готова и къ плачу и къ смѣху, спросилъ: «Что же, будемъ смѣяться или будемъ дѣло говорить?» — Дѣло говорено и покончено, — сказалъ Сакалбай: — а тебѣ чего надо? — «Есть у меня просьба», продолжалъ Куцый: «до всѣхъ до васъ, сколько тутъ есть». — Какая просьба? — «Дайте ходъ рѣчи моей, прикажите говорить, а вы будете слушать».— Говори, — сказалъ Сакалбай; и Куцый началъ:

«Дивуюсь я, не надивуюсь, гляжу я, не нагляжусь, а всѣ вы люди умные. Вы меня не знаете, я васъ не знаю, а коли я скажу вамъ: будьте здоровы, то вы отвѣчайте: добро пожаловать. Что вы мнѣ прикажете, то стану дѣлать; что я стану говорить, то вы будете слушать». — А долго еще слушать тебя? — спросилъ Сакалбай. «Нѣтъ, не долго; на то есть ваша воля, вы мой кормилецъ, я вашъ работникъ. Знайте жъ, кто мы и зачѣмъ мы въ эту сторону заѣхали; правды таить нельзя, вы люди умные, вы люди добрые, мы ваши слуги, передъ вами сердца наши настежъ. Мы, не противно закону Божію, замышляемъ сочетаться бракомъ, жить и копить вмѣстѣ, я, то есть, и вотъ Майна, дочь бывшаго хозяина моего, человѣка знатнаго». Всѣ захохотали; но Куцый закричалъ, поднявъ обѣ руки: «постойте» и продолжалъ: «вотъ мы зачѣмъ и ушли вмѣстѣ и поселяемся у лучшаго въ мірѣ хозяина, и просимъ не обижать насъ, а за съѣстное мы вамъ отработаемъ, и будете вы жить за нами спокойно».

Рѣчь эту, для незнающихъ обычаевъ степныхъ, надобно немного пояснить: у кайсаковъ ничто не дѣлается безъ краснобайства, безъ длинныхъ рѣчей, въ коихъ обыкновенно беретъ верхъ тотъ, кто всѣхъ

перекричитъ и, не давъ никому опомниться, оглушаетъ все собраніе полчаса сряду, безъ роздыха, безъ разстановки, дикимъ крикомъ своимъ, и отковавъ такимъ образомъ всѣ умы по своему чекану, увлекаетъ ихъ за собою Люди умные, одаренные кромѣ голоса еще и даромъ слова, умѣютъ имъ пользоваться; они заводятъ окольную рѣчь, въ которой никакъ не ожидаешь такого рѣзкаго конца, и неожиданность эта поражаетъ и увлекаетъ всѣхъ, заставляя смѣяться и согласиться. Слово Куцаго — Энеида на изнанку, карикатура киргизскаго краснорѣчія, но въ духѣ и обычаѣ народа.

Когда Куцый кончилъ, и всѣ захохотали, то Маіоръ вдругъ ожилъ, кровь ударила ему въ лицо, и онъ, не разумѣя шутки, закричалъ, что убьетъ урода этого и закинетъ какъ пса, если онъ осмѣлится еще разъ объявлять гласно притязаніе свое на Майну. Сакалбай велѣлъ молчать сыну, напомнивъ ему, что онъ потерялъ всякое право на Майну, недостоинъ ея, и что, кромѣ этого, для него засватана другая дѣвка у сосѣднихъ таминцевъ. Въ самомъ дѣлѣ, это было справедливо: получивъ вѣсть объ отказѣ Карасакалъ-батыря, Сакалбай пріискалъ второму сыну своему уже другую невѣсту. Но это было распоряженіе и воля отцовская, которой Маіоръ безпрекословно повиновался, а не искалъ, не желалъ этого, и глядя на Майну, не думалъ теперь о другой невѣстѣ своей. Вся семья, братья, дяди, свояки, всѣ, кто былъ въ собраніи этомъ, сидя поджавъ ноги кружкомъ, стали кланяться почтительно главѣ семейства, Сакалбаю, и говорили: «не дѣлай такъ, не иди противъ судьбы, будь милостивъ;— не будетъ такъ, не твоя это воля, твоя воля умная и толковая;—прости сына, сынъ молодецъ у тебя, прими въ милость его, будь ему отцомъ»—и прочее. Сакалбай, принявъ суровый видъ, слушалъ однакоже все это съ удовольствіемъ: онъ исполнялъ только обязанность

свою, по обычаямъ и понятіямъ своего народа, хотѣлъ уступить только усиленнымъ просьбамъ, какъ будто поневолѣ, и собрался, казалось, еще подержаться, не снимать личины, быть еще съ полчаса неумолимымъ. Но въ эту минуту, какъ будто сговорившись, Маіоръ и Майна, сидя,—она позади отца, внѣ круга, а онъ насупротивъ его,—вдругъ ударили передъ старикомъ челомъ въ землю и завыли. Маіоръ лежалъ и вопилъ: «языкъ свой вырву, грудь истерзаю, отсѣку правую руку свою», — а Майна говорила: «за тѣмъ ли я пришла къ тебѣ, покинувъ отца и мать, чтобы ты безчестилъ меня на чужбинѣ; умилосердись надъ сиротою безродною; коли отымешь у нея суженаго, такъ кто же у нея будетъ свой, къ кому же она пріѣхала на чужбину,—или только за позоромъ своимъ, на стыдъ свой и на потѣху злымъ и досужимъ языкамъ? Что же скажутъ въ аулахъ наурузбайцевъ, когда дойдетъ туда вѣсть къ старому Карасакалъ-батырю, что дочь его ушла къ чужимъ, что свои на чужбинѣ отъ нея откинулись, и мужа у нея тамъ нѣтъ? умилосердись, не погуби!»

Женщины, и въ особенности дѣвки, въ степи во всѣхъ случаяхъ, гдѣ дѣло касается ихъ близко, бываютъ краснорѣчивѣе мужчинъ: дѣвки привыкли тамъ импровизировать, распѣвать стихи свои наобумъ, при каждомъ удобномъ случаѣ, на всѣхъ игрищахъ, пирахъ и сборищахъ; привыкли изливать радость, и въ особенности печаль свою, въ піитическихъ порывахъ. Вдова оплакиваетъ мужа не иначе, какъ распѣвая въ честь его похвальныя пѣсни, съ причитываніемъ, точно какъ кой-гдѣ еще у нашихъ простолюдиновъ. Вотъ почему въ словахъ женщинъ и дѣвокъ, если ими управляютъ сильныя страсти, гораздо болѣе смысла и чувства, нежели въ грубыхъ и буйныхъ порывахъ мужчинъ. Онъ дурачится, грозитъ, хочетъ себя искалѣчить,

порываясь къ дѣйствію, не умѣя быть покорнымъ и страдательнымъ; она умоляетъ, убѣждаетъ, выражаетъ то, о чемъ скорбитъ сердце ея, по чемъ болѣетъ душа.

Сакалбай не устоялъ, не выдержалъ, и не успѣлъ кончить всю продѣлку такимъ образомъ, какъ наперед было самъ съ собою условился. Слезы покатились у него градомъ, онъ вздыхалъ тяжело и, обращаясь ко всѣмъ, кто былъ тутъ, повторилъ раза два: «полно, полно,—ну, что же я стану дѣлать—какъ же мнѣ съ ними быть — сами вы видите... я ли тутъ чему виноватъ?—горе мнѣ съ вами, дѣвки, да и только—а какъ же быть»... Оправившись, принялъ онъ опять осанку поважнѣе, велѣлъ встать дѣтямъ и, собравшись съ духомъ, рѣшилъ дѣло такъ:

«Противъ судьбы спорить и рядить нельзя; на это человѣка не станетъ. Майна пришла къ намъ, она наша; возьми же ты ее, Маіоръ, я отдѣлю вамъ и хозяйство. А ты, Капитанъ, вѣдь и ты уже не ребенокъ, и тебѣ можно, по примѣру двухъ старшихъ братьевъ, взять жену. —Поручикъ обождетъ еще, онъ совсѣмъ глупъ, такъ тебѣ будетъ женой братнина невѣста, я за нее выплатилъ почти весь калымъ;— я же старъ, отживаю вѣкъ свой; будете меня кормить. Поручикъ посидитъ еще со мною; старый да малый— товарищи; — и я подъ старость глупѣю; 60 лѣтъ прошло, умъ назадъ пошелъ. Сыграемъ двѣ свадьбы вмѣстѣ».

Майна разсмѣялась сквозь слезы и накрыла глаза рукавомъ чапана; Маіоръ пожимался въ обѣ стороны отъ поздравительныхъ ударовъ руками по плечамъ, а Куцый, понявъ наконецъ, въ чемъ дѣло, также поздравлялъ соперника своего съ какою то огромной, угловатой улыбкой недоумѣнія, а когда все собраніе поднялось на ноги, чтобы кончить и закрыть присутствіе, Куцый опять поднялъ вверхъ обѣ руки, закричалъ, встрях-

нувшись всѣмъ тѣломъ: *токта*! постойте! — сталъ въ дверяхъ и объявилъ, что никого не выпуститъ, доколѣ не дадутъ воли языку его. Рѣчь его на этотъ разъ была коротка; онъ спросилъ только съ изумленіемъ, которое рисовалось на всемъ пространствѣ огромнаго лица его, отъ бороды до бровей: «Развѣ-де меня вовсе забыть хотите, развѣ меня не жените? Такъ обо мнѣ что скажутъ земляки мои, когда дойдетъ до нихъ вѣсть, что я ушелъ съ невѣстой, а живу холостымъ? Не погубите меня, мнѣ будетъ стыдно!» Послѣднее выраженіе Куцый подслушалъ у Майны и полагалъ, что, по всей справедливости, можетъ его примѣнить также къ себѣ.

Послѣ общаго смѣха, гдѣ всѣ кричали въ голосъ и давали Куцому разные совѣты, утѣшая его, Сакалбай одинъ дѣйствительно его утѣшилъ: «За вѣрную службу твою», сказалъ онъ: «что привелъ ты ко мнѣ Майну, укралъ котелъ и барана, я тебѣ въ байгушахъ [1]) найду дешевую невѣсту; а свадьбу твою отпразднуемъ вмѣстѣ со свадьбой моихъ сыновей».

— Башъ! башъ!—кричалъ обрадованный Куцый и кланялся ниже пояса, между тѣмъ какъ шумная толпа толкала его и колотила по спинѣ и плечамъ. «Спасибо! дослужился таки Куцый до чести, и свадьбу его отпразднуютъ со скачкой, съ борьбой, съ кумысомъ и съ бараниной».

Въ день свадьбы Майна сидѣла въ особой кибиткѣ, между дѣвками; лицо у ней завѣшено было алымъ шелковымъ платкомъ; коса распущена и заплетена во множество мелкихъ косичекъ. Дѣвки пѣли всѣ въ одинъ голосъ:

«Нѣтъ напѣва въ русской пѣснѣ, какъ нѣтъ напѣва въ пѣснѣ вешней кукушки; а есть напѣвъ въ той

---

[1]) Байгушъ—обѣднѣвшій, пѣшій кайсакъ, нищій.

пѣснѣ, которую поютъ дѣти кочевой орды, дѣвки красныя, когда отдаютъ сестру замужъ: поютъ какъ лебедь, у котораго беркутъ унесъ лебеденка сѣраго, поютъ — какъ клекчетъ орелъ, подымая отъ земли жеребенка».

И Майна сидѣла посреди этой пестрой толпы подругъ, поющихъ тоскливыя, жалобныя пѣсни; завѣшенная платкомъ, она, казалось, и сама тосковала и плакала; но по временамъ отводилъ палецъ ея край платочка, и быстрый черный глазокъ, изобличающій рѣзвую улыбку, выглядывалъ изъ-подъ покрывала. Маіоръ сидѣлъ въ это время въ отдѣльной, кругомъ закрытой кибиткѣ, и не показывался оттуда во весь день; изрѣдка только заглядывали къ нему товарищи. Онъ не видалъ ни борьбы, ни скачки, а слышалъ только издалека шумный споръ, чья лошадь пришла первою, потому что скакуновъ провожала густая толпа заѣхавшихъ къ нимъ навстрѣчу всадниковъ, и окруживъ и спутавъ ихъ, примчалась вмѣстѣ съ ними, и не дала разсмотрѣть въ точности, на чьей сторонѣ была правда; всякъ отстаивалъ своихъ. Пиръ длился трои сутки.

Вмѣстѣ съ Маіоромъ сидѣли: братъ его, Капитанъ, и счастливый Куцый. Уродъ также считалъ обязанностію стыдиться и не выходить никуда. Рядомъ съ Майной сидѣла будущая невѣстка ея, Хамиль, также подъ покровомъ; а по другую руку еще и третья невѣста, дешевая, какъ выразился объ ней Сакалбай, въ чужомъ чапанѣ, потому что у нея своего не было. Родители ея не думали отпраздновать когда-нибудь свадьбу дочери своей такъ великолѣпно, и не мало этимъ хвастались и гордились.

КОНЕЦЪ СЕДЬМОГО ТОМА.

СОДЕРЖАНІЕ СЕДЬМОГО ТОМА

	стр.
Червоно-русскія преданія	1
Двѣ былины	7
Упырь (Украинское преданіе)	16
Полунощникъ (Уральское преданіе)	31
Заумаркина могила	45
Богатырскія могилы	49
Цыганка	60
Болгарка	105
Подолянка	135
Европа и Азія	164
Уральскій казакъ	172
Разсказъ объ осадѣ крѣпости Герата	193
Разсказъ Грушина	212
Бикей и Мауляна	283
Башкирская русалка	328
Майна	354

891.73
D131
v. 7

Stanford University Libraries
3 6105 013 401 547

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.

PRINTED IN U.S.A.

БИБЛІОТЕКА ЗНАМЕНИТЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ

КНИГА V 1898 ГОДЪ

ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ